

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

№ М О Т В Р Y

4

1994

4

Н О В Ы Й
М И Р

1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(828)

Апрель, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

МИХАИЛ АРДОВ — Легендарная Ордынка	3
СЕМЕН ЛИПКИН — При шуме листьев и дождя, стихи	44
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ — Жизнь здешняя, рассказы	48
ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Не прощенье, а прощанье, стихи	79
АНДРЕЙ БИТОВ — Из книги «Айне кляйне арифметика русской литературы»	81
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ОТ ГОСУДАРСТВА. I. Владислав Кулаков. Как это начиналось; II. Галина Андреева, Олег Гриценко, Станислав Красовицкий, Андрей Сергеев, Валентин Хромов, Леонид Чертков, Николай Шатров, стихи	100

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН — В поисках универсального со-знания. Перечитывая «Вехи»	133
---	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ГЕРМАН АНДРЕЕВ — Не близнецы, но — братья. Споры немецких историков о нацизме и коммунизме	185
--	-----

ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ. Великий князь Константин Константинович в письмах и воспоминаниях. Вступительное слово, составление, публикация и подготовка текста Эллы Матониной	190
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИВАН ЕСАУЛОВ — Сатанинские звезды и священная война. Современный роман в контексте русской духовной традиции	224
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Дмитрий Бак. Бронзовый век русской критики	240
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ	254
SUMMARY	256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

ВНИМАНИЮ Г.Г. ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДПИСЧИКОВ!

Вы можете подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР»
через фирму
EAST VIEW PUBLICATIONS (США).

Вам предоставляется возможность:

- * Оформить подписку в удобное для Вас время на один год, шесть месяцев или три месяца. Вы будете получать журнал незамедлительно. Имеются в наличии и комплекты прошлых номеров.
- * Получать журнал авиапочтой в любой стране мира.
- * Организациям и оптовым распространителям предоставляется скидка.
- * При этом Вы ничем не рискуете. Если Вас что-то не устроит, мы вернем всю сумму в течение 30 дней подписки, а по прошествии 30 дней гарантируем возврат денег за все неотправленные номера.

Частные лица, организации и оптовые распространители могут
обращаться по адресу:

EAST VIEW PUBLICATIONS, INC.
3020 Harbor Lane North
Minneapolis, MN 55447 USA

(612) 550-0961
fax (612) 559-2931
TOLL FREE IN USA 800-477-1005
E-Mail: eastview@mr.net

АО «ИВП-Интернэйшнл, Лтд.»
121108, Москва
ул. Герасима Курина, 10

тел. (095) 144-00-55
факс. (095) 144-00-54

МИХАИЛ АРДОВ

(протоиерей)



ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА

Видит Бог, я не хотел писать эту книгу. Друзья много лет уговаривали меня сделать это, а я отнекивался, отказывался, убеждая их, что в моем теперешнем положении, «в сущем сане», это и неловко, и, главное, неизбежно несет в себе некий соблазн.

И все же я решил взяться за перо. Побудительной к тому причиной стали не столько уговоры приятелей, сколько многочисленные публикации, в которых мемуаристы искажают факты, где содержится ложь, а то и просто клевета на дорогих моему сердцу людей. Существует даже попытка изобразить саму Ахматову эдакой полубезумной старухой, которая на склоне лет окружала себя «мальчишками»...

Итак — «Легендарная Ордынка». Выражение это вошло в наш семейный обиход с легкой руки Анны Андреевны, впервые его употребил какой-то ее гость, иностранец, который описывал свой визит в дом моих родителей.

Мне был год, когда меня привезли на ту квартиру, и я прожил там до тридцати лет, так что словосочетание «легендарная Ордынка» для меня помимо всего прочего означает — детство, отрочество и юность.

I

Я помню, я так отчетливо помню огромную толпу, множество людей, которые заполнили всю платформу, балконы и лестницы... Помню напряженную тишину, ненатуральное молчание, которое сковало всех, головы у людей подняты, и все чего-то ждут, прислушиваются...

Это одна из первых в Москве воздушных тревог, мы прячемся в метро, на станции «Комсомольская».

Вот мое самое раннее сознательное воспоминание. Только что разразилась война, и меня везут с дачи, с Клязьмы — в Москву, на Ордынку. Я даже не припоминаю, кто именно меня вез. Кажется, была няня Мария Тимофеевна и еще кто-то. Быть может, даже мама... Зато совершенно ясно помню толпу на вокзале, панику, звук сирены. Все толкуются, все спешат в метро, в подземелье...

Сама дача на Клязьме вспоминается мне совсем смутно. Зеленый ухоженный сад, веранда, соломенные кресла, фигура хозяйки... Родители говорили, что была она дама характерная, притом эстонка, Розалия Яновна. А муж у нее был русский, очень приветливый и добрый, совершенно подавленный своей властной супругой. А она о нем отзывалась так:

— Мой муш кароший. Ефо фсе люпят. Только я ефо не люплю.

А вот еще одно смутное довоенное воспоминание. Зеленый забор, кусты и два привязанных пса, две будки. Это Голицыно, задворки писательского дома...

Отец вспоминал, что собаки эти произвели на меня сильнейшее впечатление. Он спросил меня, трехлетнего:

- Ты их боишься?
- А они не будут нас кусать? — сказал я.
- Кого — «нас»?
- Ну нас, Алдовых...

Самое удивительное, что я плохо помню свою няню — Марию Тимофеевну. Лицо ее вспоминается мне только таким, каким запечатлено на семейных фотографиях. Зато помню руку ее — большую, мягкую, теплую... Помню, как гладила она меня по голове.

В нашу семью Мария Тимофеевна перешла от академика Зелинского, там ей довелось нянчить сына Андрея. Была она женщина умная, с чувством собственного достоинства и с языком весьма острым. На Ордынке долго бытовали ее поговорки. Например, такая:

- Коня видно по походке, а добра молодца по соплям.

Мой младший брат Борис родился семимесячным. После родильного дома ему создали особенные условия, поддерживали в комнате постоянную температуру. Мария Тимофеевна время от времени заходила туда посмотреть на новорожденного.

- Людеет, — произносила она со знанием дела.

У нас иногда вспоминался такой рассказ моей няни. Деревня, где родилась и жила в детстве Мария Тимофеевна, стояла на реке, а на другом берегу было село Милованово. В 1904 году докатилась до них весть о том, что началась русско-японская война. И тут одна глупая баба забегала по деревне с криком:

- Батюшки!.. Святы!.. Война!.. Война!.. Милованово-то хоть за нас?!..

В памяти моей всплывает тысячи раз слышанное слово — э в а к у а ц и я...

Самые первые скитания, суета, неустроенность, тесные комнаты, где ютятся по несколько писательских семей, товарищи по несчастью.

Маргарита Алигер с крошечной дочкой Таней...

Старший брат Алексей, ему тринадцать, ведет меня за руку вниз, под горку, к какой-то пристани...

Где это? Чистополь?.. Берсут?..

Какое-то время все мы пробыли в Казани. Жили там в гостинице. Однажды Алигер выходила по какой-то надобности на улицу. Сидевший в вестибюле величественный швейцар-татарин сказал ей вслед:

— Дверь закрывай.

Алигер возмутилась:

— А вы тогда здесь для чего?!

— Иди, иди, гамна́ такая, — напутствовал ее татарин со своего кресла.

Ослепительный белый кафель, яркий свет... Огромная ванна, и в ней в теплой воде сидим я и младший брат Боря. Открылась дверь и входит мама, она несет большое пушистое полотенце...

Город со сверлящим, страшным названием — Свердловск. Там мы пробыли недолго, но жили у знакомых в роскошной профессорской квартире, где и была просторная ванная комната, так запомнившаяся мне после долгих недель неустроенного беженского быта.

Это и первое мое сознательное воспоминание о маме. Тонкие руки, худоба, изящество...

В матери нашей были не только женственность и тонкость, но и аристократизм. Родная бабка ее со стороны отца была из Понятовских, а дед (Ольшевский) — небогатый шляхтич. Женились они по любви и после

свадьбы скрылись от аристократической родни в России, во Владимире. Мама вспоминала, как в детстве их с братом водили поздравлять дедушку и бабушку на католическое Рождество. А по профессии ее дед был лесником, кажется, самым главным во Владимирской губернии.

В юности да и в зрелые годы мама была необычайно хороша собою. Она довольно рано стала готовить себя к артистической карьере, семнадцати лет от роду отправилась в Москву и была принята в школу при Художественном театре. Там она познакомилась с Вероникой Витольдовной Полонской и Софьей Станиславовной Пилявской, и они стали подругами на всю жизнь. В шестидесятые годы я еще встречал старых москвичей, которые вспоминали, какими красотками были эти юные ученицы мхатовской Студии.

Бесконечные дощатые заборы, серые деревянные дома, немощеная улица, и вся она заросла травой... (Эту пыльную траву я запомнил особенно, местные мальчишки научили меня находить в ней незрелые семена, мы их называли калачики и съедали.)

Бу-гуль-ма... Это слово в моем сознании стало почти синонимом эвакуации... В этом татарском городке, тогда еще совсем маленьком, нашему семейству довелось прожить не один год.

Голод, постоянный голод — вот что помнится лучше всего.

Какое-то короткое время меня водили в тамошний детский сад. Помню неопрятный просторный двор, а дети не столько играют, сколько смотрят на пристройку, в которой располагается кухня, — оттуда доносится запах гречневой каши-размазни...

Красное кирпичное здание в два этажа...

На фоне сплошь деревянной и одноэтажной Бугульмы этот дом выглядит небоскребом. Там располагался какой-то клуб, а наша мать ухитрилась организовать театр, в котором и начал свою карьеру мой старший брат Алексей Баталов.

Музыкальной частью заведовал Павел Геннадиевич Козлов, старый знакомый матери, еще по Владимиру. Он тоже был в Бугульме вместе с женой Еленой Ивановной и маленьким сыном Виктором. С юности Козлов собирался стать пианистом, но исполнителя из него не получилось, и он всю жизнь преподавал теорию музыки в заведении Гнесиных.

Иногда по вечерам после спектаклей они с мамой оставались в театре вдвоем, Павел Геннадиевич садился за рояль и играл. И вот что поразительно: они оба вспоминали, что, заслушав звуки музыки, на сцену выходили крысы, толпы крыс. Они усаживались рядами и чинно внимали фортепианной классике.

— Он на тебя не бросится, — говорит мне большой мальчик, — ты в уголке лежишь...

Действительно, моя кровать в углу. А всего таких кроватей штук двенадцать. Это больничная палата для детей, и все мы болеем дифтеритом.

Только что на наших глазах умер годовалый ребенок. А сестра объявила нам, что он будет лежать тут до самого утра. И пошли страшные разговоры про покойников, которые нападают по ночам на живых...

Погасла лампочка, в окно проник лунный свет. А жуткие рассказы продолжались.

И даже когда все умолкли, я долго не мог заснуть, все поглядывал на кроватку маленького мертвеца — а вдруг он зашевелится?..

А утром в окно светило яркое весеннее солнце, и в нашей палате уже не было не только покойника, но и его кроватки...

Я еще толком не проснулся, как вдруг услышал стук в окно. Я выглянул и с высоты полуторного этажа увидел три фигуры — мама, брат Алексей, а с ними некто в гимнастерке с погонями и в портупее... Отец!..

Все трое улыбаются мне...

А это — первое сознательное воспоминание об отце. Штатского, довоенного я его почти не помню.

Надо сказать, что в армию он пошел добровольцем, серьезная болезнь — врожденный порок сердца — давала освобождение от фронта. Ему, как и прочим писателям, присвоили майорское звание, и он всю войну служил в армейской печати.

О войне Ардов вспоминал довольно редко, и из его излюбленных застольных новелл к этому времени почти ничего не относится.

Вспоминается его рассказ о первой бомбежке, которую он пережил в армии. Было это под Ростовом, он ехал в воинском эшелоне.

— Начался налет, — рассказывал отец, — все мы выскочили из вагонов, разбежались по полю и улеглись на мокрую землю. Я некоторое время лежал, как все, — лицом вниз. А потом сообразил: если лечь на спину и не держать лицо в грязи, вероятность остаться в живых точно такая же... А потому я перевернулся и стал снизу глядеть на немецкие самолеты, на то, как из них выпадают бомбы... Это было очень интересно...

Тогда, в самом начале войны, кто-то из приятелей так отозвался о нем:

— Ардов такой нахал, что даже не трус.

В армейской газете вместе с отцом служил фотограф. Офицеры какой-то части предъявили ему претензию: он никогда не приезжает к ним — и газета не публикует снимков об их фронтовой жизни. Фотограф отвечал на это:

— Я ни за что к вам не поеду. У вас в блиндажах крысы!

— Какие крысы? — изумились офицеры.

— Вот такие большие! — отвечал тот. — Восемнадцать на двадцать четыре!

У Ардова был рассказ о военной цензуре. Там зорко следили, чтобы в печать не проникали конкретные сведения о войсках. Писать следовало не «батальон», «полк», «дивизия», а «часть», «подразделение», «соединение»... Однажды в газете шла статья о русском патриотизме с именами Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова... Упоминалось там и «Слово о полку Игореве». Военный цензор механически заменил слово «полк», и в печати вышло так: «Слово о подразделении Игореве».

И еще военный рассказ отца. В качестве корреспондента он присутствовал на слете бойцов-отличников своего фронта. Членом военного совета был Каганович. Шел сорок третий год, и всех интересовал только один вопрос: когда союзники откроют второй фронт?

Каганович ответил на него так:

— Открытие второго фронта целиком зависит от одного человека — от Черчилля... Если бы Черчилль был членом партии, мы с товарищем Сталиным вызвали бы его в Кремль и сказали: или открывай второй фронт, или клади партбилет на стол!.. А так что мы можем сделать?..

— Нет, ничего не видно, — разочарованно произносит мой брат Алексей.

Мы с ним стоим у поленницы и ищем на дровах следы пуль...

— Давай еще! — командует брат.

Мы с ним отступаем от дров, отец поднимает руку и стреляет из своего «ТТ» в сторону поленницы...

И мы опять бросаемся искать следы пуль...

Эта стрельба для нашего развлечения запомнилась мне очень хорошо. Отец пробыл у нас в Бугульме всего несколько дней, отпуск у него был совсем короткий.

А потом жизнь опять вошла в свою колею: мама — в театре, Алеша — в школе...

Помню, по выходным дням мама пекла нам пироги с картошкой — неземное лакомство!

В Бугульме мы сменили несколько квартир. Одна из них запомнилась особенно. Там была бодливая корова. Нрав у нее был весьма суровый, даже хозяева выходили по нужде во двор, вооружившись вилами. И вот эта корова принесла приплод. Теленка, как водится в деревнях, на самое первое время поместили в доме за печкой. Там ему отгородили загончик, пол устелили соломой. Меня, пятилетнего, это привело в совершеннейший восторг. Я целыми днями от теленка не отходил — гладил его, целовал...

И это блаженство продолжалось недели две. А потом явились покупатели. И я услышал их разговор с хозяйкой. В припадке отчаянья я бесстрашно выскочил во двор и закричал:

— Корова! Корова! Вашего теленка хотят продавать!

II

Из-под газовой плиты медленно и важно выползает небольшая черепаха.

Мы стоим на кухне и смотрим на нее. Стою я, маленький брат Борис, величественная няня Мария Тимофеевна и щупленькая Оля, домработница.

Мы наконец-то вернулись из Бугульмы на Ордынку.

Самого возвращения я вовсе не помню — как мы ехали, в каком вагоне, как добирались с вокзала домой. А Мария Тимофеевна и Оля жили на Ордынке всю войну. Собственно, она еще и не кончилась — мы вернулись в мае сорок четвертого.

Про черепаху эту нам было доложено, что она оказалась весьма разумной тварью — при воздушной тревоге немедленно пряталась под газовую плиту.

Вот тут вспоминается мне впервые сама наша квартира. Особенно ясно встает перед глазами кабинет отца. Посреди светлой карельской мебели — ржавая железная буржуйка.

А за книжным шкафом досками отгороженное пространство. Там насыпана картошка, несколько мешков. Это сокровище, залог дальнейшего существования.

А вот и приметы военной Москвы.

Нищие, по большей части инвалиды, калеки. Целая толпа их, вернее — шеренга возле угловой булочной. А хлеб там продают по карточкам, он весь разрезан на куски и почти при каждом — маленький довесок.

А наискосок от булочной на противоположной стороне Ордынки совершенно разрушенный дом — прямое попадание бомбы. Стоять остался только угол здания, торчит эдаким обломанным зубом...

(Лет через пятнадцать тут построят громаду атомного министерства.)

Рынок за Пятницкой улицей. Там торгуют по большей части все теми же кусками нарезанного хлеба.

А еще продается соблазнительное лакомство — подсолнечный жмых...

А по самой Пятницкой катят один за другим трамваи. Они звенят, громяхают...

Мы, мальчишки, кладем на рельсы патроны, и они оглушительно рвутся под стальными колесами. Патронов этих у нас сколько угодно, их привозят ребятам демобилизованные отцы.

Брат Боря с топотом удирает от меня в прихожую, я бегу за ним, мы оба хохочем...

Из кухни появляется Мария Тимофеевна, она ловит меня за руку.

— Тише, тише, — вполголоса говорит няня. — Бабушка болеет...

И она уводит нас с братом в детскую комнату.

Эта больная бабушка появилась совсем недавно. Мы никогда ее не видели, мы даже не слышали о ней. У нас уже есть бабушка, папина мама, Евгения Михайловна, — ласковая, говорливая, она была с нами в Бугульме. А эту, Нину Васильевну, бледную, изможденную, едва живую, мама привезла из какого-то Бузулука. Ее водворили в маленькую, «Алешину», комнату, там сразу же появились лекарства и специфический медицинский запах...

Бабка наша со стороны матери Нина (Антонина) Васильевна Нарбекова была в молодости довольно видным членом эсеровской партии. По профессии она была зубной врач и жила со своим семейством в собственном доме на главной улице во Владимире. (Особняк этот и по сию пору там стоит.) После революции она, разумеется, никакой политической деятельностью не занималась, но в городе хорошо помнили ее эсеровское прошлое.

Отец мой, когда женился на нашей матери, настоятельно советовал своей теще уехать куда-нибудь из Владимира, он-то прекрасно понимал, что добром дело не кончится. Но как это вдруг бросить дом, знакомства, практику?

Разумеется, в тридцать седьмом Нину Васильевну арестовали. Деда Антона Александровича Ольшевского — тоже. Но его мучения окончились сравнительно скоро. Он был болен чахоткой. А по натуре был вспыльчивым и резким, то и дело кричал свое любимое: «Ко псам!»

На одном из первых же допросов следователь НКВД свалил его ударом кулака и топтал ногами. После этого у деда началось легочное кровотечение, и он скончался в тюремной больнице.

А Нина Васильевна как «враг народа» прошла тюрьмы и лагеря, и только в конце войны ее «сактировали», выпустили на свободу безнадежно больную, с запущенным раком желудка.

Но тут ее мытарства не кончились. Некоторое время Нина Васильевна прожила у снохи, жены моего дяди Анатолия Антоновича Ольшевского, в Бузулуке. А когда мама взяла ее в Москву, по существу, привезла умирать, выяснилось, что прописать ее на Ордынке невозможно. Ей, «сактированной з/к», полагалось подышать где-нибудь неподалеку от зоны, а вовсе не в «столице нашей Родины».

И тут неординарную услугу оказала приятельница мамы, жена писателя Льва Никулина — Екатерина Ивановна. Она с юности была знакома со всемогущим тогда Абакумовым, кажется, училась с ним в одной школе. Она взяла у мамы паспорт Нины Васильевны и через несколько дней вернула его. В документе стоял штамп о прописке. Этого благодеяния наша мать не забыла до самой смерти.

В восьмидесятых годах, когда маме было за семьдесят, я спросил, кто был ее крестным отцом.

Дело происходило на Ордынке, в столовой, где присутствовали еще несколько человек. На мой вопрос мама спокойно и серьезно ответила:

— Фрунзе.

Оказывается, этот деятель, прежде чем стать эсдеком, был эсером и в то время был дружен с нашей бабкой Ниной Васильевной. А когда в 1908 году у нее родилась дочь, Фрунзе стал ее приемником от купели.

Бабушка Евгения Михайловна стоит в прихожей, она только что вошла и зовет нас своим слащавым голоском:

— Борюнчик!.. Мишунчик!..

Мы с братом подбегаем к ней, и она торжественно вручает нам по мандарину.

Маленький Боря осторожно принимает невиданный плод и шепотом произносит:

— Какая красивая репа!..

Учительница Полина Семеновна расхаживает между рядами низеньких парт и диктует нам из букваря:

— «Ма-ша ест ка-шу»... Написали?.. «Ма-ша ест ка-шу». Точка. С большой буквы: «Хо-ро-ша ка-ша»...

Учиться я начал осенью сорок четвертого, в год возвращения из Бугульмы. Первая моя школа помещалась тут же на Ордынке, в соседнем доме. Все дети были оборвыши и заморыши и все постоянно хотели есть. А в классе нас было сорок с лишним человек.

Школу я сразу же и люто возненавидел на всю жизнь. Класс был первым в моей жизни стадом, или, по-советски, коллективом. Я никогда не был слабейшим, надо мною никогда не измывались, и дрался я со всеми наравне. Но опасность всегда ощущалась: вдруг вся эта гогочущая свора набросится и на тебя? хватит ли тогда сил и характера, чтобы протростать им?..

Чтобы не портить отношения с родителями и избегать учительских придинок, двоек я старался не получать, но и к хорошим отметкам отнюдь не стремился.

Самая большая радость тех лет — начало каникул. Самое большое горе — их окончание, приближение учебного года.

На открытой веранде сидит по пояс голый — в одних трусах — человек с огромной бородой. Он стучит на пишущей машинке. Это знаменитый партизан и писатель Петр Вершигора. А веранда — часть волошинского дома в Коктебеле.

Я впервые попал в Крым летом сорок шестого года. Мне вспоминается совершенно пустой пляж, у моря ничего нет, кроме литфондовского дома, его невысоких строений. Коктебель вообще был почти безлюден.

Под Кара-Дагом в камнях я нашел ржавый немецкий штык-кинжал. А в углу бухты под зданием электрической станции на волнах покачивалась мина-«рогулька».

Мины были и на холмах. Время от времени слышался взрыв, и это означало, что на мину наступила одна из коров местного стада. И тогда бабы с сумками бежали, чтобы подбирать куски окровавленного мяса...

Деревянная лестница, которая ведет на второй этаж волошинского дома. Под ней стоит женщина в чалме и держит в руках куклу. Настоящую театральную куклу. Это был матрос в тельняшке, он двигался и гримасничал...

Так я впервые увидел Наталью Алексеевну Северцову.

III

На роскошном пушистом ковре распластана фигура в темном костюме. Это классик советской драматургии Николай Погодин. Над ним стоит генерал в кителе и в штанах с лампасами, это Крюков, муж певицы Руслановой. Он производит шутовскую экзекуцию, бьет по мягкому месту венником вдребезги пьяного Погодина.

А присутствующие — Русланова и мои родители — заливаются веселым смехом...

Мы в гостях, в сказочно богатой руслановской квартире. Над ковром сияет хрустальная люстра, мебель вся карельской березы... А на диване — предмет нашего с братом Борисом восхищения и любопытства: шкура настоящего тигра. Пасть оскалена, стеклянные глаза сверкают...

Мы едем в просторном трофейном автомобиле. За рулем водитель в военной форме. Генерал Крюков, он был кавалеристом, везет нас на скачки...

Лошади мне вовсе не запомнились, зато запомнился Буденный в маршальской форме и с легендарными усами...

После войны вплоть до самого ареста генерал Владимир Викторович Крюков занимал должность начальника Кавалерийской военной академии (тогда еще была и такая). Он рассказывал о трагикомическом происшествии, довольно характерном для тех голодных лет. Солдат, стоявший на дежурстве в проходной академии, остановил официантку из офицерской столовой и уличил ее в том, что она пыталась вынести килограмм топленого масла, которое было спрятано у нее между двумя бюстгальтерами.

Об этом происшествии было доложено начальнику академии, и Крюков решил поглядеть на этого бдительного стража. Когда солдат явился, генерал поблагодарил его за усердие, а потом спросил:

— А как же ты заметил, что она несет это масло?

— Так что, товарищ генерал, когда она на работу шла, титки вроде бы у нее поменьше были...

С Лидией Андреевной Руслановой у моих родителей были очень близкие отношения. Настолько близкие, что, освободившись из заключения, она и ее муж В. В. Крюков приехали к нам на Ордынку и первые недели жили в нашей с братом так называемой детской комнате.

В свое время кто-то, скорее всего сами «компетентные органы», пустил слух, что Русланову и Крюкова посадили за мародерство. На самом же деле их арест — часть кампании, которую Берия, а может быть, и сам Сталин вели против Жукова, потому что Крюков был одним из самых приближенных к маршалу генералов. Об этом свидетельствует и само их освобождение. Жуков добился этого сразу же после падения Берии. Русланова и ее муж появились на Ордынке летом 1953 года, когда ни о какой реабилитации никто даже и не мечтал.

Сначала вернулась Лидия Андреевна. Исхудавшая, в темном платье, которое буквально висело на ней. Самые первые дни она не только не пела, но и говорила почти шепотом. Если кто-нибудь из нас ненароком повышал голос, она умоляла:

— Тише... Тише...

Почти весь свой срок она просидела в общей камере печально известного Владимирского централа.

И только через несколько недель она стала потихонечку, про себя, напевать.

С ее имени был сейчас же снят запрет, и впервые после длительной паузы ее песни зазвучали по радио.

— Да, — говорили москвичи, — не тот уже у Руслановой голос...

А мы на Ордынке только посмеивались, ведь все записи были те же, старые...

Я запомнил одну историю, которую Русланова привезла из Владимирской тюрьмы. Там с ней в одной камере сидела тихая и кроткая, как белая мышка, старушка-монахиня. А срок она получила за террор. До тюрьмы она жила в каком-то городке вместе с подругой, тоже монахиней. Они занимали небольшую квартирку в двухэтажном каменном доме. Как-то собрались эти старушки солить огурцы или квасить капусту. Будущая узница пошла в храм ко всенощной, а подруга осталась дома, надо было запарить кадку. Способ этого запаривания таков: в полную кадку воды бросают большой кусок раскаленного железа, вода закипает — и деревянный сосуд готов к употреблению. На беду свою, старая монахиня нашла где-то оставшуюся после войны противотанковую гранату и приняла ее за

простую гирю. И эту самую «гирю» она положила в топку печи, чтобы раскалить докрасна. Последовал взрыв, обрушилась часть дома, и сама эта старушка погибла. А подруга ее по возвращении из храма была арестована и получила срок за террористический акт.

Генерал Крюков был третьим мужем Руслановой. Вторым был известный конферансье Михаил Гаркави, а первым — какой-то чекист, который и привез ее в Москву из Саратова. Тут она стала выступать в концертах, и у нее начался роман с Гаркави, который, надо сказать, смолоду отличался необычайной тучностью.

Русланова вспоминала, что в подъезде того дома, где у них с первым мужем была квартира, жила сумасшедшая женщина. По утрам за чекистом приезжал служебный автомобиль, и пока он с портфелем шел к машине, соседка, уперев руки в боки, говорила ему нараспев:

— Коммунист, коммунист, а у твоей жены любовник — то-о-лстый!..

До войны, да и некоторое время после, ни у одного артиста в стране не было такой славы, такой невероятной популярности, как у Лидии Руслановой. Конферансье Лев Мироз мне рассказывал, как в тридцатых годах они ездили с концертами в Серпухов, и там было объявлено, что будет выступать Русланова: Была лютая зима, но из деревень на санях съехались мужики, они жгли костры, грелись и ждали возможности купить билеты...

Уже в пятидесятых годах моя мать была в командировке в Иркутске и там встретила с Руслановой. Мама пошла с ней на концерт, а когда они возвращались в гостиницу, толпа восторженных поклонников певицы подхватила автомобиль (это была «Победа») и понесла ее по улицам на руках...

Вот еще один запомнившийся мне рассказ Льва Мирова. Если в концерте, который он вел со своим тогдашним партнером Евсеем Дарским, участвовала Русланова, она непременно с кем-нибудь за кулисами ссорилась. Чаще всего именно с ним, Мирозым. То она требовала, чтобы ее выпустили на сцену раньше срока, то, наоборот, позже, то предъявляла еще какие-нибудь претензии... И всегда это оканчивалось скандалом и криком...

Как-то Мироз пожаловался на это Дарскому, и тот, как более опытный, объяснил партнеру:

— Русланова таким образом настраивается на выступление. Ссора для нее вроде разминки.

И вот Мироз с Дарским, предварительно сговорившись с прочими участниками концерта, поставили своеобразный опыт. Когда приблизился момент выхода Руслановой на сцену, все до одного спрятались и из укрытый наблюдали за певицей. Она походила по комнатам, искала людей, но — тщетно... Тогда, проходя мимо колонны, она как бы ненароком задела ее плечом и буквально взревела:

— Колонн тут понаставили!!!

Нрав у нее вообще был весьма крутой. В тридцатые годы, задолго до войны, ее пригласили выступить на приеме в Кремле.

После пения подозвали к столу, где восседали члены Политбюро.

— Садитесь, — говорят, — угощайтесь.

— Я-то сыта, — отвечала Русланова, — вы вот родственников моих накормите в Саратове. Голодают.

— Рэ-чистая, — произнес Сталин.

С тех пор ее в Кремль никогда не приглашали.

Приятель и сосед Руслановой по Лаврушинскому писатель Лев Никулин иногда обращался к ней с шуточной фразой:

— Раздай все мне и иди в монастырь.

Там действительно было что раздавать. Бриллианты, картины, посуда, мебель...

Моя мама вспоминала, что старинный рояль, стоявший среди прочей роскошной обстановки, не мог издать ни единого звука, ибо под его крышкой лежали пачки денег.

В гости к Руслановой пришел эстрадный актер и знаменитый коллекционер Н. П. Смирнов-Сокольский. Певица продемонстрировала ему только что купленный ею антикварный письменный стол чуть ли не из дворцового имущества.

— Видал, Колька, какой я себе стол отхватила?

— Да, — сказал Сокольский, — стол хорош... Только что ты на нем будешь писать? «Зы кан-цер пы-лу-чи-ла»?

И еще одно мое детское воспоминание...

Трехэтажный кирпичный дом с портиком и колоннами... И это все еще не оштукатурено, идет стройка...

Это Баковка, под Москвою, строят здесь дачу для Руслановой и генерала Крюкова.

А мы с братом Борисом смотрим на двоих рабочих, которые несут носилки с кирпичами. У них мирный и покорный вид, а мы глядим на них с любопытством и ужасом. Ведь это — пленные немцы, фашисты...

IV

Я вхожу в кабинет отца. В комнате никого нет.

Я приближаюсь к овальному столику, на котором стоит большая трофейная пишущая машинка «мерседес». В нее заправлен лист бумаги.

Я читаю слово, которое повторяется на странице много раз: «Коверный»... Что это значит — «коверный»?.. Может быть, тут ошибка, опечатка? Наверное, надо печатать «коварный»...

«Коварный», я это узнал много позже, означало «коверный клоун», а заложенный в машинку лист — часть сочиняемой клоунады для цирка. Этот коверный должен был на манеже произносить слова и выделывать трюки, изобретаемые моим отцом...

Ардов стал работать для печати с середины двадцатых годов. Начал он с театральных рецензий, потом принялся сочинять фельетоны и юмористические рассказы. Затем он стал соавтором Льва Никулина, писателя уже сложившегося, они вдвоем написали несколько комедий. Помню названия двух пьес — «Статья 114» и «Таракановщина». Запомнился мне и краткий диалог, который звучал за сценой в одной из пьес Ардова и Никулина:

«— Извозчик! На улицу Проклятия убийцам Розы Люксембург и Карла Либкнехта!

— А! На Проклятую?.. Полтинничек положим, барин».

К тридцатым годам Ардов стал известным юмористом, регулярно выпускал сборники рассказов и фельетонов, дружил с Зошенко, с Ильфом и Петровым. Перед войной в Московском театре сатиры шла его пьеса «Мелкие козыри», и он стал вполне преуспевающим советским писателем. На Ордынке появилась мебель карельской березы и красного дерева, был даже небольшой кабинетный рояль.

Я как-то спросил отца:

— А ты был знаком с Горьким?

— Нет, — отвечал Ардов, — я его боялся... — И в ответ на мое недоумение объяснил: — Когда Горький вернулся из Италии, Сталин сделал распоряжение, чтобы все его просьбы и пожелания исполнялись неукоснительно. Я полагаю, сам Горький не вполне сознавал свое безграничное могущество. Он по-прежнему вел себя как истинный русский интелли-

гент, открыто заявлял о симпатиях и антипатиях... Так, например, без его вмешательства не мог бы быть напечатан «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Книгу практически уже запретили, но Горький просил наркома Бубнова напечатать роман, и тот не посмел послушаться... Но с такой же легкостью он мог и погубить человека. Стоило ему дурно отзываться о сочинениях какого-нибудь литератора — и все, ты погиб, ты уже не сможешь печататься. А то и в тюрьму угодишь... Вот почему я боялся с ним знакомиться, даже попадаться ему на глаза...

После войны на Ордынке еще с год продолжалось относительно благоденствие. Весьма относительное, если принять во внимание всеобщую нищету и голод тех лет.

А потом произошла катастрофа: вышло постановление ЦК «О журналах „Звезда” и „Ленинград”». В самом постановлении да и в докладе Жданова имя Ардова не упоминается, но изничтожить принялись не только Зоценко, но и вообще всех сатириков и юмористов. На несколько лет Ардова перестали печатать совершенно.

Вот тогда-то исчезли из нашей квартиры и кабинетный рояль, и почти все ценные книги, например собрание сочинений Льва Толстого.

Кормился, да и нас всех кормил, Ардов тем, что читал свои смешные рассказы в жалких загородных клубах, а еще писал репертуар для артистов эстрады и цирка.

На стене, обитой темно-красным шелком, висят большие фотографические портреты. Величественный старик в чалме, клоун в колпаке и с размазанным лицом и еще какие-то неизвестные мне люди. Но зато там есть фотография человека в смешной шляпе и с усиками: это самый лучший артист на свете, обожаемый мною Карандаш!

Портреты эти висели в маленьком фойе при директорской ложе в цирке на Цветном бульваре. А еще там стоял небольшой столик с белой скатертью, а около него находилась приветливая и услужливая женщина, которая продавала бутерброды, пирожные и откупоривала нам бутылки с лимонадом...

Ах, как я в детстве любил цирк!.. Насколько театр мне был всегда отвратителен своей изначальной фальшью, настолько цирк пленял своей естественностью. Лошадь так лошадь, силач так силач!.. А в этой тяготной «Синей птице» — уродливые псевдодети, а в клетке — никакая не птица, а чучело...

Директор нашей школы стоит в вестибюле возле дверей своего кабинета. Он в коричневом мятом костюме и с неопрятной шевелюрой. За сильную кривизну ног директор получил прозвище Колёса. (Иногда это произносится и в единственном числе — Колёс.) Он не выговаривает, как-то проглатывает буквы «р» и «л», и по этой причине каждый второй ученик с успехом имитирует его речь. Пронзительный взгляд директора выхватывает из толпы спящих детей мою фигурку, и он властным жестом подзывает меня к себе. Колёс слегка склоняется надо мной и говорит:

— Мама в шко-е бу-а?.. Почему не бу-а?.. Кто тебе мешает?.. Мы тебе мешаем?.. Почему ты мо-учишь?.. А?..

Вспоминаю учителей своих, по большей части довольно жалких. Классная руководительница Наталия Дмитриевна. По причине все той же кривизны ног она носила прозвище Плоскодонка... А историчка Антонина Георгиевна была к тому же и парторг школы. В пятьдесят четвертом году она нам говорила:

— В связи с Берием...

Отец заглядывает в детскую комнату.

— Зайди ко мне в кабинет, — говорит он, и в голосе его мне слышится некий подвох...

Этому предшествовало нечто вроде продолжительного нашего с ним спора. Мне было лет двенадцать, и он уже был слегка озабочен будущей моей профессией. Тем паче что я никаких определенных склонностей не проявлял, да и учился неважнецки. И тут вдруг я решительно объявил ему, что желаю стать биржевым маклером. В 1950 году в Москве это звучало более чем фантастически. Да к тому же Ардова коробила и сама измененность устремлений сына. А я, как назло, бессмысленно твердил:

— Хочу быть биржевым маклером, больше никем.

И вот я вхожу в кабинет отца.

Там сидит гость — невысокий плотный человек с лысой головой.

— Познакомься, — говорит отец. — Это Георгий Александрович Амурский. Теперь он конферансье, а до революции был поверенным Путилова в делах Санкт-Петербургской фондовой биржи... Мой сын, — обращается он к гостю, — твердит, что хочет стать биржевым маклером...

— Деточка ты моя! — Амурский всплеснул руками. — Дорогой ты мой! Да ведь интересней этого ничего не может быть на свете! Вот ты представь себе: акции падают, а я в это время...

И он пустился в восторженные воспоминания.

Последнее, что всплывает в памяти, — сконфуженное лицо отца, выражение, которое я видел нечасто.

И опять я уныло плетусь за директором школы.

Меня только что выгнали с урока, и Колёса поймал меня в пустом коридоре. Теперь он ведет меня в свой кабинет, мы с ним спускаемся по лестнице.

Он усаживается за свой стол, а я остаюсь стоять посреди небольшой комнаты. Колёса раздумчиво смотрит на меня и говорит:

— Зачем ты мне нужен?.. П-о-гу-й-щик, отстающий, ху-и-ганствующий э-э-мент...

И ведь все это сущая правда.

Году в пятьдесят втором отвращение мое к школе несколько поуменишилось. Это произошло оттого, что в нашем классе сбилась небольшая компания учеников, которые по своему развитию превосходили прочих, а потому верховодили. И вот решили мы учредить нелегальный журнал. Идея всем очень понравилась. Придумали название — «Голос из-под парты», собирались уже сочинять заметки. Я поделился этой новостью с домашними. После долгой паузы заговорил отец. Он довольно резко, почти без обиняков объяснил мне, в какой стране мы живем и чем эта затея может кончиться не только для нас, но и для наших родителей.

Наутро я шел в школу в большом смущении. Я решил отказаться от участия в журнале и уговорить друзей вообще бросить эту затею. Но истинную причину этого решения мне бы не хотелось открывать в классе...

Но, по счастью, все прошло очень гладко. Никто из моих товарищей не произнес о журнале ни слова, судя по всему, подобные разговоры с родителями произошли у каждого из нас.

V

Часов десять вечера. Мы с братом Борисом пьем чай, сейчас нас отправят спать. А нам так этого не хочется...

На другой стороне того же овального стола, на котором стоят наши чашки, идет карточная игра. Это ежевечернее на Ордынке «шестьдесят шесть». Играют отец, он сидит на своем кресле спиной к окну, и мама — она на диване, а рядом с нею — Ахматова.

— Так, — произносит отец, он тасует колоду. — Маз будет?

— Пять рублей, — произносит Ахматова.

Отец сдает карты, и начинается новая игра.

Довоенных приездов Ахматовой на Ордынку я не помню. Смутно вспоминаю ее появление в сорок шестом году — весной и осенью, уже после постановления, ее тогда мама привезла из Ленинграда. Но начиная с пятидесятого года Анна Андреевна жила у нас на Ордынке едва ли не больше, нежели в Ленинграде. Сначала тянулось следствие по делу сына, он сидел в Лефортовской тюрьме. А затем этого требовала и работа — Ахматовой давали стихотворные переводы именно в московских издательствах.

За вечерними картами обыкновенно возникала забавная игра. В ней Ардов изображал зятя-грузина, а Анна Андреевна — тещу. Мама фигурировала в игре как дочь Ахматовой. В ответ на какой-нибудь мамин неловкий картонный ход отец говорил Анне Андреевне с сильным акцентом:

— Ви мэна парастыгэ, мама, но я удивляюсь ваший дочэры...

В свое время отец придумал Ахматовой и такое семейное прозвище — «теща гонорис кауза».

Иногда свои шуточные упреки Ардов преподносил Анне Андреевне в манере типичного советского оратора:

— И прав был товарищ Ж., когда он нам указывал...

(Имелся в виду Жданов со своим докладом.)

За чаем на Ордынке, если вдруг оказывалось, что потерялся какой-нибудь мелкий предмет, отец обычно говорил шутя:

— Граждане, прошу не расходиться — у меня пропала ложка.

Анна Андреевна, которой это много раз случалось слышать, однажды заметила:

— Как часто мне приходится не расходиться.

Ардов рассказал, что в бюро изобретений до сих пор висят такие объявления: «Проекты перпетуум-мобиле к рассмотрению не принимаются» (ибо «вечные двигатели» все несут и несут).

— Вот это и есть перпетуум-мобиле, — говорит Ахматова.

Ардов очень любил ходить по магазинам на Пятницкой улице. Он знакомился с продавцами, дарил им свои книжечки, словом, был в этих лавках своим человеком. При этом особенную слабость он питал к бракованным и уцененным предметам. И вот несколько раз он приносил с Пятницкой подпорченные, давленные конфеты. Однажды, когда он принес очередную порцию и объяснил, что конфеты опять давленные, Анна Андреевна учтиво осведомилась:

— Их хоть при вас дают?

Ахматова иногда вспоминала, как еще до войны, в возрасте двух с лишним лет, я заходил к ней в маленькую комнату, тянулся к черным бусам, которые она тогда носила, и говорил:

— Бусики, бусики...

И эти «бусики, бусики» были чем-то вроде моего детского прозвища.

Я сижу за отцовским письменным столом. Передо мною небольшая книга в голубом коленкором переплете. Это «Четки», я переписываю стихи в тетрадь...

(Мне было лет тринадцать, когда я решил прочитать, что же такое пишет Ахматова. Почему, собственно, отец, мать и все, кто к нам приходит, относятся к ней по-особенному.)

Ее стихи произвели на меня такое впечатление, что в первый же вечер, когда родители куда-то ушли, я пошел в кабинет, достал из маленького шкафчика «Четки» и сел переписывать.)

Я слышу, как распахивается дверь, я поворачиваю голову... И к ужасу своему, к смущению, вижу стоящую на пороге Ахматову.

— Ну вот, — говорит она, — Бусики-бусики, а уже переписывает мои стихи.

Я захожу в столовую в пальто. Я беру со стола большой конверт. Мне надо поехать в Союз писателей и передать письмо для секретаря Союза А. А. Суркова. Это поручение Ахматовой.

Я уже поворачиваюсь, чтобы идти, но тут мне в голову приходит забавная мысль. Я говорю:

— А вдруг Сурков поступит со мною, как Грозный с Василием Шибановым, — вонзит мне в ногу жезл, обопрется и прикажет читать вслух?

Шутка всем, а в особенности Анне Андреевне, нравится.

Так меня окрестили Шибановым.

С той поры Анна Андреевна часто называла меня Василий. В особенности если я куда-нибудь ее сопровождал или оказывал разного рода мелкие услуги.

Почти все подаренные мне книги надписаны — «Шибанову». А на газетной вырезке, где напечатаны ее переводы из древнеегипетских писцов, Анна Андреевна начертала:

«Самому Шибанову — смиренный переводчик».

Когда Ахматовой исполнилось семьдесят пять лет, я дал в Ленинград телеграмму без подписи: «Но слово его все едино». Домочадцы Анны Андреевны были озадачены. Моя мать, которая там присутствовала, сказала:

— Дайте телеграмму Анне Андреевне.

Ахматова прочла и докончила:

— «Он славит своего господина». Это телеграмма от Миши.

Ахматова смотрит на меня с легким укором и полушутя произносит:

— Ребен-ык! Разве так я тебя воспитывала?

И мне и брату Борису приходилось это слышать частенько.

Она воспитывала нас в самом прямом смысле этого слова. Например, с раннего детства запрещала нам держать локти на столе (вспоминая при этом свою гувернантку, которая в таких случаях пребольно ударяла руку локтем об стол). Она требовала, чтобы мы сидели за столом прямо, учила держать носовой платок во внутреннем кармане пиджака и говорила:

— Так носили петербургские франты.

Больше всего, конечно, Ахматова заботилась о том, чтобы мы с братом правильно говорили по-русски. Она запрещала нам употреблять глагол «кушать» в первом лице, учила говорить не «туфли», не «ботинки» или — упаси Бог! — «полуботинки», а «башмаки», наглядно преподавала нам разницу между глаголами «одевать» и «надевать»:

— Одевать можно жену или ребенка, а пальто или башмаки надевают.

Сетую на искажения русской речи, Ахматова вспоминала слова Игнатия Ивановского о деревне:

— Он сказал мне: «Там только и слышишь настоящий русский язык. Мужики говорят: „Нет, это не рядом, это — напротив”».

(Увы! — это замечание требует некоторых топографических разъяснений. На деревенской улице дома стоят обыкновенно в два ряда, или порядка. По этой причине, как бы ни был дом на той стороне улицы близок, про него никак нельзя сказать, что он рядом.)

Мы едем в такси по Мясницкой улице. Анна Андреевна сидит рядом с водителем. Я только что встретил ее на вокзале, она очередной раз приехала из Ленинграда.

Наша машина поравнялась с домом Корбюзье.

Ахматова поворачивает голову и говорит:

— Ну, что матушка Москва?

Ахматова и Петербург — тема известная, но вот Ахматова и Москва — звучит не совсем обычно.

По своей «шибановской должности» я часто сопровождал Анну Андреевну в ее московских поездках и могу кое-что сообщить об ее отношении к белокаменной.

Она часто говаривала с грустью:

— Здесь было сорок сороков церквей и при каждой — кладбище.

Иногда прибавляла:

— А лучший звонарь был в Сретенском монастыре.

Если ехали по Пречистенке (Кропоткинской), Анна Андреевна почти всегда вспоминала историю первого переименования этой улицы. (Она только не помнила ее старого названия — Чертольская.)

— Здесь ехал царь Алексей Михайлович и спросил, как называется улица. Ему сказали какое-то неприличное название. Тогда он сказал: «В моей столице не может быть улицы с таким названием». И ее переименовали в Пречистенку.

Однажды в разговоре я употребил выражение «у Кировских ворот». Анна Андреевна поправила меня с возмущением:

— У Мясницких ворот! Какие у Кирова в Москве могут быть ворота?

Мясницкие ворота из-за близости ВХУТЕМАСа Ахматова считала самым «пастернаковским местом» в Москве. Однажды она указала мне на статую Грибоедова, которая стоит за станцией метро, и произнесла:

— Здесь мог бы стоять памятник Пастернаку.

Узнав, что один мой приятель живет в Трехпрудном переулке, Анна Андреевна очень этим заинтересовалась, сказала, что Трехпрудный — «цветаевское место», и даже выразила желание как-нибудь туда поехать.

VI

Не помню уж, по какому поводу Ахматова проговорила однажды с оттенком августейшей гордости:

— Марина мне подарила Москву...

(Имелись в виду строчки Цветаевой:

Я дарю тебе свой колокольный град,
Ахматова! — и сердце свое в придачу.)

Однажды я сказал о Некрасове:

— Можно ли так игриво и беззаботно писать стихи об экзекуции:

Вчерашний день часу в шестом
Зашел я на Сенную.
Там били женщину кнутом —
Крестьянку молодую...

На это Ахматова сказала мне серьезно и с упреком:

— А ты помнишь, что там дальше? — И сама закончила:

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: — Гляди!
Сестра твоя родная!

(Я тогда еще не знал ее строчек:

Кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что Музу засекли мою.)

Помню, Ахматова говорит о пристрастии Достоевского описывать публичные скандалы:

— У Федора Михайловича так. Сначала у дверей стоит швейцар с булавой, а в гостиной сидит генеральша. Потом начинается скандал, и уже невозможно разобрать, где швейцар, где булава, где генеральша...

Анна Андреевна иногда вспоминала надпись на пакете с тремя тысячами, которые Федор Павлович Карамазов приготовил для возлюбленной:

«Ангелу моему Грушеньке, коли захочет придти».

И приписка карандашом:

«И цыпленочку».

Бывало, показывая чье-нибудь неловкое письмо, обращенное к ней, Анна Андреевна говорила:

— Ну, это уже — «и цыпленочку».

В «Бедных людях», помнится, она обратила мое внимание на то место, где Достоевский устами Девушкина хвалит «Станционного смотрителя» и ругает «Шинель».

— Гоголя он даже не называет по имени, пишет что-то вроде «этот», — вспоминала Анна Андреевна.

Сама Ахматова Гоголя очень любила и шутя называла хохлом. «Хохлацкую» сущность великого русского писателя, которую он сохранил до конца своих дней, Анна Андреевна доказывала очень хитроумно. Она приводила фразу с первой страницы «Мертвых душ», где описывается въезд Чичикова в город Н.:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем».

— Зачем здесь слово «русские»? — спрашивала Анна Андреевна. — Почему не написать просто: два мужика?

Однажды она добавила:

— А кого он ожидал здесь увидеть? Испанских грандов?

В «Мертвых душах» Ахматова особенно любила описание сада Плюшкина. Она говорила, что это отступление нагляднее всего доказывает, что Гоголь — поэт. Ведь никакой необходимости для сюжета в этом куске нет, и он не несет никакой смысловой нагрузки.

Про отступление о двух писателях она как-то сказала мне:

— Это он про себя и про Пушкина. Только Пушкин совсем не такой...

Одна приятельница моей матери, дама весьма недалекая, заявила Анне Андреевне, что считает Пушкина человеком нескромным, так как он написал «Памятник». Ахматова рассказывала об этом с возмущением:

— Я, конечно, объяснила ей, что «Памятник» написан, когда он читал о себе в журналах только ругань.

Однажды Ахматова рассказала мне о случае, происшедшем с одной ее знакомой — сотрудницей библиотеки.

— К ней пришел истопник и спросил, действительно ли для того, чтобы найти книгу, надо знать не только ее название, но и кто написал. Она подтвердила. Тогда он сказал: «Очень жалко. Я читал такую хорошую книгу, а вот кто написал — не помню». Она на всякий случай спросила название. Он сказал: «Капитанская дочка».

В свое время я получил в подарок изданную в 1921 году книгу Анненского «Пушкин и Царское Село (Речь, произнесенная И. Ф. Анненским в бытность его директором Царскосельской мужской гимназии, 27 мая 1899 г., на пушкинском празднике в Китайском театре, в Царском Селе)». Я показал книжку Ахматовой. Она сказала:

— Я помню, как он это говорил.

Потом я обратил внимание Анны Андреевны на дивные строки из «Бориса Годунова», которые Иннокентий Федорович цитирует:

Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный.

— Пушкин весь такой, — произнесла она и, отдавая мне растрепанную книжку, добавила:

— Только не переплетай заново, пусть останется так.

VII

В столовой на Ордынке утро. Анна Андреевна пьет свой «кофий» и разбирает корреспонденцию. Большая часть писем читателей начинается примерно так: «Вы, конечно, удивитесь, что вам пишет незнакомый человек...»

— Как они себе это представляют? — говорит Ахматова. — Мне пишут уже пятьдесят лет, и я всякий раз должна удивляться?

Одним из ее почитателей оказался некий адмирал. Письмо его было подписано: «Ваш адмирал Н. Н.». Прочитав это, Анна Андреевна говорит:

— Я чувствую себя королевой. У меня уже есть флот.

Примерно с пятьдесят третьего года, с тех пор как научился печатать на машинке, я стал выполнять при Анне Андреевне некоторые секретарские обязанности: переписывал стихи для публикаций, деловые письма... Впоследствии эту работу для Ахматовой стала делать Ника Николаевна Глен, а еще позднее Анатолий Генрихович Найман.

Я переписываю письмо. Когда текст напечатан, говорю:

— А в конце — «Ваша Ахматова»?

— Ни в коем случае! Я очень мало кому пишу «Ваша Ахматова».

Анна Андреевна диктует мне свои стихи.

— Вот это место непонятное, — вырывается у меня.

Она говорит, имея в виду Пастернака:

— Со мной и с Борисом произошло нечто обратное. Он вначале писал очень сложно, а теперь пишет абсолютно просто. А я — наоборот...

Я печатаю под ее диктовку:

Китайский ветер поет во мгле,
И все знакомо.

Тут Ахматова прерывается и простодушно говорит:

— Ох и достанется мне от Левы за «китайский ветер»...

(Л. Н. Гумилев называл себя доктором истории Востока).

Анна Ахматова прожила на свете семьдесят шесть лет. В течение двадцати последних я был ее собеседником, слушал царственную речь этой необыкновенной женщины.

— Я помню, как в начале века у нас говорили, что в Царском Селе очень полезно жить, потому что там радиоактивная земля...

Анна Андреевна уверяла, что с распространением электричества у людей ухудшилось зрение. Она говорила:

— В юности я зажигала свечу в своей комнате, ложилась и читала на ночь. Если бы я вздумала зажечь две свечи, вошла бы моя мама и сказала: «Что за иллюминацию ты устроила?»

— Коля Гумилев говорил мне: «В Царском Селе я ругаю извозчиков и даже бью их, потому что тут их мало, они могут запомнить меня и рассказать обо мне друг другу. А в Петербурге их такое количество, что никакой надежды на это нет, и я отдаю себя в их власть».

— Когда вышла из печати моя первая книга, я очень смущалась, а Гумилев смеялся и читал мне:

Ретроградка иль жорж-зандка,
 Все равно теперь ликуй!
 Ты с приданым, гувернантка,
 Плой на все и торжествуй!

О жизни в имени Гумилевых Слепневе:

— На престольный праздник там непременно кого-нибудь убивали. Приезжал следователь, оставался обедать...

В разговоре о склонности великих русских писателей на вершине славы переходить от литературы к прямому проповедничеству Ахматова сказала:

— По-моему, это только у русских. Коля Гумилев называл это «пасти народы». Он говорил: «Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы».

Году в пятнадцатом в Петербурге в гости к Ахматовой пришли Георгий Адамович и Георгий Иванов. Они пожелали видеть сына Анны Андреевны и Николая Степановича. По приказу хозяйки няня привела нарядного и курчавого младенца. Он посмотрел на визитеров и спросил:

— Где живете, дураки?

Анна Андреевна любила рассказывать об одном пророчестве. В Петрограде сразу же после февральской революции они с приятельницей поехали кататься, кажется, на острова. Расплачиваясь с бородатым стариком извозчиком, дамы дали ему золотую монету. Тот взял ее, посмотрел и сказал:

— Не держать больше в руках золота ни нам, ни внукам нашим.

— Я встретила Мариэтту Шагинян. Она сказала мне: «Я уезжаю в Армению. Навсегда. Слишком изолгалось перо». Это было в двадцать втором году. Представляешь, что с этим пером сейчас?

— Демьян Бедный сказал мне: «Я бы считал вас первым поэтом, если бы не считал им себя».

— В двадцать четвертом году, вернувшись с известных похорон, Осип (Мандельштам) сказал: «Я придумал пол-анекдота. Один еврей стоит на месте, а другой все время вокруг него бегает...»

— В тридцать восьмом году я ехала в метро с Борисом. Он мне сказал: «Вы знаете, я вчера написал стихи: „Скажите, милый Поль, вы изваяли властелина из пластмассы?“» Это неизвестная строчка Пастернака.

— В Ташкенте ко мне пришла Фаина (Раневская). Я лежала и читала. Она спросила: «Что вы читаете?» Я сказала: «Биографию Будды». «А у Будды была интересная биография?»

О Константине Симонове:

— Когда он пришел ко мне первый раз, то от застенчивости снял на лестнице орден. А когда через несколько лет пришел опять, он уже ничего не снимал...

— В Англии две религии. Одна обыкновенная, а другая такая: папа по вечерам читает Библию вслух, а негры (?) плачут.

— Корней (Чуковский) не был в Третьяковке сорок лет. Он посмотрел современный отдел, пришел домой и сказал: «Почему я не ослеп раньше?»

Уличив кого-нибудь в неграмотности, Ахматова говорила:

— Почему я должна все знать? Я — лирический поэт, я могу валяться в канаве.

— Гомера не было. Теперь это уже доказано. Все было совсем не так. «Илиаду» и «Одиссею» написал совершенно другой старик, тоже слепой...

Тогда, в пятидесятых годах, многие мужчины ходили так — из верхнего наружного кармана пиджака непременно торчали авторучка и гребенка. Ахматова говорит:

— Когда я это вижу, мне всегда хочется спросить: «А где ваша зубная щетка?»

Вернувшись из очередной больницы, Анна Андреевна произносит:

— Теперь я поняла, что главная специальность всех баб — не жить с собственными мужьями. Каждая новая, как только приходит в палату, первым делом заявляет: «Ну, с мужем я уже давно не живу».

VIII

К Ахматовой всегда, а в особенности в последние годы, приходило множество визитеров. У нее могли встретиться самые неожиданные люди. Как-то Б. Л. Пастернак назвал это:

— Столкновение поездов на станции Ахматовка.

Шутка прочно вошла в обиход Ордынки. Впоследствии «столкновение поездов на станции» отпало, и Анна Андреевна за завтраком сообщала нам:

— Сегодня — большая Ахматовка.

Это означало, что у нее будет много гостей.

Прежде всего мне вспоминаются самые близкие и преданные ее друзья — Эмма Григорьевна Герштейн, Николай Иванович Харджиев, Мария Сергеевна Петровых, Лидия Корнеевна Чуковская, Любовь Давыдовна Большинцова...

Несколько особняком — Надежда Яковлевна Мандельштам. Пронзительный взгляд, крючковатый нос, вечно дымящаяся папироса в откинутой правой руке... Была в ней какая-то неустрашенность, нарочитое неблагополучие... Являлась она в те годы нечасто.

А потом в памяти возникают и другие лица...

Серьезный и значительный Семен Израилевич Липкин.

Обаятельный и восторженный Дмитрий Николаевич Журавлев...

Несколько набыченный — сообразно фамилии — Юлиан Григорьевич Оксман.

Миниатюрный и манерный Виталий Яковлевич Виленкин...

Красивая и язвительная Наталия Александровна Роскина («Наташа плохая»)...

Сдержанная до застенчивости Татьяна Семеновна Айзенман...

Веселая и говорливая Наталия Иосифовна Ильина...

Умудренный от молодых ногтей Вячеслав Всеволодович Иванов...

Молчаливый, знающий себе цену Борис Абрамович Слуцкий...

Так и слышу его голос, доносящийся из маленькой комнаты. Он нараспев читает Ахматовой стихи про тонущих в море лошадей и притесняемых на суше евреев...

Ахматова провожает гостя. Я тоже выхожу в переднюю, снимаю с вешалки пальто и хочу подать его.

Гость с испугом отстраняется от меня.

— Нет!.. Нет!.. Что вы!

Это — А. И. Солженицын. Он берет у меня из рук пальто и надевает его сам.

— Я очень боюсь переменить психологию, — объясняет он Ахматовой и мне. — По этой причине я стараюсь не ездить на такси... Я не могу видеть, как перед автомобилем разбегаются маленькие люди...

— Случилось, — говорю я, — что молодой, но уже очень известный поэт Твардовский был в гостях у академика — кораблестроителя Крылова. На прощание хозяин попытался подать ему пальто. Твардовский остановил его жестом. На это Крылов сказал: «Поверьте, молодой человек, у меня нет причин заискивать перед вами...»

— Да, да, — подтверждает Солженицын, — это было... Мне об этом сам Твардовский рассказывал...

В начале шестидесятых годов, в тогдашнее либеральное времечко, появилось на свет Европейское сообщество писателей. Среди привлеченных к этому делу была и М. И. Алигер — Алигерица, как ее обыкновенно называла Ахматова.

В один из своих визитов на Ордынку она довольно долго просидела наедине с Анной Андреевной, а потом удалилась. После ее ухода Ахматова рассказала за столом, что Алигерица приходила вербовать ее в Европейское сообщество. При этом Анна Андреевна со смехом повторила фразу своей гостью:

— Она мне сказала: «Мы боремся с Ватиканом...»

Это позабавило всех, а Ардов не поленился и нарисовал для ордынского юмористического семейного альбома карикатуру, изображающую борьбу Алигер с Ватиканом. На рисунке был величественный папа в тиаре и со шпагой в руке, а против него выступала тщедушная фигурка Алигерицы.

К тому же времени относится появление в этом альбоме и другого подобного рисунка. М. И. Алигер ездила в Италию по делам сообщества. Кто-то принес на Ордынку итальянскую газету, где было написано примерно следующее: Данту было бы гораздо приятнее, если бы вместо его однофамилицы в Италию приехала бы его истинная сестра — Ахматова. И вот Ардов нарисовал нечто вроде медальона с двумя профилями — Данта и Алигерицы, оба увенчаны лаврами. Надпись гласила: «Поэты-лауреаты Маргарита и Данте Алигеры».

Не тогда ли родились известные строки:

Те, кого и не звали, — в Италии,
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.

Мы все сидим за завтраком. Анна Андреевна полушутя обращается ко мне и к брату:

— Мальчики, сегодня вечером ко мне придет академик Виноградов. Я прошу вас вести себя прилично.

В ответ я говорю:

— Мы встретим вашего академика гармонию и лихим матлотом. И еще споем ему частушки.

И мы с Борисом тут же за столом принимаемся сочинять эти частушки...

Одна из них оказалась удачнее прочих, и Анна Андреевна даже запомнила ее:

К нам приехал Виноградов —
Виноградова не надо!
Выйду в поле, закричу:
— Мещанинова хочу!

Кстати, о частушках. Как-то брат Борис прочел Анне Андреевне такую:

Дура я, дура я,
Дура я проклятая!
У него четыре дуры,
А я дура пятая!

— Это похоже на мои стихи, — проговорила Ахматова.

Нарядный и важный Алексей Александрович Сурков, нарочито окая, говорит Анне Андреевне:

— Мы знаем вас как человека с огромным чувством национального достоинства...

1964 год, Сурков «инструктирует» ее перед поездкой на Сицилию для получения премии Таормино.

Поэт и литературный начальник А. А. Сурков был истинным благодетелем Ахматовой. Разумеется, благодеяния его не выходили и не могли выходить за пределы дозволенного. Он, например, был неизменным автором предисловий и составителем тех жалких сборничков, которые выходили у нее после смерти Сталина.

По этой причине, сколько я себя помню, на Ордынке все время были телефонные звонки от Суркова и к нему, разговоры с его секретаршей Еленой Аветовой и с женой Софьей Антоновной.

Однажды Ахматова довольно долго говорила по телефону с супругой Суркова, а когда повесила трубку, произнесла:

— Это уже почти из «Ревизора» — Анна Андреевна и Софья Антоновна...

Как известно, Ахматова была делегатом Второго съезда писателей. Сурков читал там доклад и, по словам Анны Андреевны, сделал весьма характерную оговорку:

— Мы, советские писатели, работаем ради миллионов рублей... то есть ради миллионов людей!..

IX

— Сегодня придет Фаина и будет меня виноватить, — произносит Анна Андреевна...

Среди ее друзей Фаина Георгиевна Раневская стояла особняком, ибо принадлежала театру, миру, с которым Ахматова никак не была связана. Однако же дружба их, которая возникла во время войны в Ташкенте, продолжалась до самой смерти Анны Андреевны.

Настоящая фамилия Раневской была, если не ошибаюсь, Фельдман, и была она из семьи весьма и весьма состоятельной.

Помню, она говорила:

— Меня подросили написать автобиографию. Я начала так: «Я — дочь небогатого нефтепромышленника...»

В юности, после революции, Раневская очень бедствовала и как-то обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал:

— Дать дочери Фельдмана мало — я не могу. А много — у меня уже нет...

(Кстати, в своих воспоминаниях о Чехове Иван Бунин, к вящему удовольствию моему, ругательски ругает столь знаменитые и популярные пьесы Антона Павловича, в частности, за совершенное незнание дворянского быта. И мне было очень забавно прочесть там такое:

«Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка <...>

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы».)

Насколько мне известно, в своей, актерской среде Фаина Раневская позволяла себе весьма крутые шутки и даже вполне непристойные выражения, но при Ахматовой она всегда держалась сообразно обществу.

Я даже вспоминаю и такое. Анна Андреевна послала меня с каким-то поручением к Раневской. Та приняла меня в одной из комнат своей квартиры и во время нашего разговора уселась под большим фотографическим портретом Ахматовой. Через некоторое время я заметил, что она, быть может, инстинктивно, повторяет позу Анны Андреевны, ту самую, что запечатлена на фотографии...

Ахматова любила и иногда повторяла шутки и короткие новеллы Раневской. Дословно помню такую фразу Анны Андреевны:

— Фаина говорит: «Моя домработница мне сказала: „Да, чтобы не забыть — в субботу конец света”».

На Ордынке имело хождение множество цитат из Раневской. Все это произносилось с южным, одесским акцентом.

— Ой, в вас волос густой!.. В вас воши есть?.. А шо вы обижаетесь?.. В кого их нет?.. А вы намажьте голову фотоженом, и они уси как одна сбегут!

— Ой, в вас нежная кожа!.. Когда я была молодая, у меня тоже была нежная кожа... Я шла по улице, так люди висовывались с форточек и говорили: «Ось идет иностранка».

Однажды в трамвае Раневскую узнала какая-то женщина, пришла в совершеннейший восторг, наговорила массу любезностей... Но тут, как назло, ей нужно было выходить, а потому она ухватила артистку за ладонь и сказала:

— Мысленно жму вашу руку.

Всплывает в памяти беспощадный отзыв Фаины Георгиевны об одной молодой женщине:

— У нее не лицо, а копыто...

В Театре Моссовета, где Раневская работала последние годы, у нее шла непрекращающаяся вражда с главным режиссером Ю. А. Завадским. И тут она давала волю своему острому языку.

Как-то она и прочие актеры ждали прихода Завадского на репетицию, он только что получил звание Героя Социалистического Труда.

После нескольких минут ожидания Раневская громко произнесла:

— Ну, где же наша Гертруда?

Надо сказать, Завадского Раневская пережила и, помнится, так говорила по поводу его кончины:

— Да, да, это очень печально... Но между нами говоря, он уже давным-давно умер.

Я поднимаю телефонную трубку.

— Можно попросить Виктора Ефимовича? — говорит далекий голос.

— Здравствуйте, Фаина Георгиевна, — говорю я. — Это Миша. Виктора Ефимовича нет дома...

— Вы знаете, — говорит Раневская, — он написал мне письмо о моем спектакле... А я ему ответила... И там я так неудачно выразилась... Я написала, что я люблю рожать. Я имела в виду творить, создавать что-то на сцене... А то ведь могут подумать, что рожать в прямом смысле слова...

— Все кончено, — говорю, — ваше письмо уже находится в Центральном архиве литературы и искусства. И теперь грядущие исследователи станут утверждать, что у вас было трое детей... И из них двое — от Завадского...

— Я кончаю разговор с ненавистью, — слышалось из трубки...

Еще только раз в жизни я позволил себе пошутить с Раневской. Это было у нее дома. Я машинально взял со стола фотографию, на которой были две фигуры — сама Фаина и Е. А. Фурцева, которая смотрела на актрису снизу вверх и очень преданно. На оборотной стороне снимка рукою Раневской было написано буквально следующее:

«Е. А. Фурцева: Как поживает ваша сестра?

Я: Она умерла...»

Повертевши фотографию в руке, я сказал:

— Фаина Георгиевна, а Фурцева на этом снимке играет лучше, чем вы... Мой выпад она игнорировала и произнесла:

— Я очень, очень ей благодарна... Она так мне помогла. Когда приехала моя сестра из Парижа, Фурцева устроила ей прописку в моей квартире... Но она крайне невежественный человек... Я позвонила ей по телефону и говорю: «Екатерина Алексеевна, я не знаю, как вас благодарить... Вы — мой добрый гений...» А она мне отвечает: «Ну что вы! Какой же я — гений?.. Я скромный советский работник...»

X

В нашей столовой много людей. Они сидят на диване, на всех стульях и даже на табуретках, которые принесены с кухни.

За столом в некотором обособлении сидит седой красивый человек, который читает рукопись, аккуратно переворачивая страницы...

Мы с братом Борисом стоим в прихожей и смотрим на все это через раскрытую дверь...

И вдруг мы слышим такое:

Водилась крыса в погребке,
Питалась ветчиною,
Как Лютер с салом на брюшке
В два пальца толщиной.

Подсыпали ей мышьяку,
И впала туг она в тоску,
Как от любви несчастной...

Мы с Борисом начинаем безудержно хохотать.

Взрослые оборачиваются и начинают шикать на нас. Чтение прерывается, и человек за столом говорит:

— Это очень хорошо, что дети смеются... Сцена в погребке Ауэрбаха и должна быть смешной...

Борис Леонидович Пастернак читает на Ордынке свой перевод «Фауста».

А еще я помню в его чтении самое начало «Доктора Живаго» и стихи — «Огни заката догорали», «Я кончился, а ты жива», «Август», «Белой ночью»...

По поводу последнего стихотворения у Пастернака с Ахматовой произошёл примечательный диалог. Там есть такие строчки:

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью...

Анна Андреевна заметила:

— Во время белых ночей фонари никогда не горели.

Борис Леонидович подумал и сказал:

— Нет, горели...

Я помню, как он жаловался на то, что в журнале «Знамя» отвергли стихи «Ты значил все в моей судьбе». Там есть такая строчка:

Со мною люди без имен...

Так вот Вера Инбер в своем отзыве написала: «У нас нет людей без имен. Все советские люди имеют имя».

Тут я хочу дословно привести запись из небольшой тетрадки, в которую Ардов некоторое время заносил слова Ахматовой и свои впечатления о ней:

«Рассказ Н. А. Ольшевской:

«К нам пришел Борис Леонидович. Анна Андреевна ему впервые прочитала свое стихотворение, посвященное ему. Он стал хвалить стихи. И

потом они оба стали разговаривать о чем-то. О чем, я не могла понять даже отдаленно. Как будто не по-русски говорили. Потом Пастернак ушел. И я спросила:

— Анна Андреевна, о чем вы говорили?

Она засмеялась и сказала:

— Как? Разве вы не поняли? Он просил, чтобы из моего стихотворения о нем я выбросила слово „лягушка”...»

(Во второй редакции этой вещи «лягушки» нет, Ахматова заменила ее словом «пространство».)»

Мой младший брат в детстве презабавно перевирал слова. Например, булочную он называл «хлебушная»... Часто произносимая в доме фамилия Пастернак тоже далась Боре не сразу. Поначалу он говорил «Монастырев». Об этом рассказали самому Борису Леонидовичу. Реакция была такая:

— Да, да... Это так понятно... Па-стер-нак... Мо-на-стырь...

Как-то Борис Леонидович рассмешил Анну Андреевну и всех нас такой фразой:

— Я знаю, я — нам не нужен.

Вот еще история, связанная с ним, которая бытовала в доме моих родителей. До переезда на Ордынку наша семья года два жила в Лаврушинском переулке, в писательском доме, и в том же подъезде, что и Борис Леонидович. Когда я был грудным младенцем, примерно в таком же возрасте был сын Пастернака Леня. У моих родителей были специальные весы для взвешивания маленьких детей, и Борис Леонидович регулярно брал их, чтобы проверить вес Лени. На этой почве между поэтом и моим отцом произошло некоторое сближение, и как-то Пастернак попросил у Ардова почитать какую-нибудь его книгу. Отец дал соседу сборник своих юмористических рассказов. В следующий свой приход за весами Борис Леонидович вернул книгу и сказал:

— Вы знаете, мне очень понравилось... Я думаю, вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе...

В пятидесятых годах Борис Леонидович часто бывал на Ордынке. Обычно эти визиты сопровождались многочисленными телефонными звонками. Он мог, например, позвонить и сказать:

— Анна Андреевна думает, что я приду через сорок минут, а я приду через пятьдесят...

Однажды он позвонил на другой день после визита и сказал:

— Вы знаете, Анна Андреевна, мне кажется, что вчера я слишком мало смеялся анекдотам Виктора Ефимовича...

Как-то после очередного подобного звонка мы с Ахматовой заговорили о великих русских поэтах двадцатого века. Она вдруг указала мне рукою на телефон и произнесла:

— Этот сумасшедший старик — тоже гений.

Иногда Борис Леонидович приходил к нам как-то странно одетый. На нем бывала поношенная кофта явно домашнего вида. Мы удивлялись этому. Анна Андреевна со свойственной ей проницательностью объяснила нам однажды:

— Все очень просто. Он не говорит Зине, что идет сюда, а объявляет, что хочет пройтись.

Я иду заснеженным замоскворецким переулком, а навстречу мне движется величественная и несколько отстраненная от уличной суеты фигура. Это — Пастернак. Мне всегда казалось, что он движется как бы на вершок от земли...

— Здравствуйте, Борис Леонидович.

— А-а-а... — Он некоторое время узнает меня, как бы спускается с неба на землю. — А-а-а... Здравствуйте, здравствуйте... Что дома? Как

Анна Андреевна? Как мама?.. Кланяйтесь, кланяйтесь им от меня...

И опять он двинулся, опять воспарил в заоблачные выси.

Я полагаю, здесь уместно привести нечто рассказанное мне Марией Сергеевной Петровых. Сравнительно скоро после смерти Ахматовой знаковая писательница показала Марии Сергеевне свои воспоминания. (Тут надо сказать, что Ахматова была твердо убеждена, что эта литературная дама — специально приставленный к ней соглядатай. Разумеется, сама писательница этого мнения знать не могла.) Так вот эта дама вспоминала, что в тот день, когда разразился скандал в связи с присуждением Борису Леонидовичу Нобелевской премии, она с утра, едва прочитав газеты, помчалась к Ахматовой, дабы спросить, что Анна Андреевна по этому поводу думает. Разумеется, Ахматова должна была счесть этот визит и сам вопрос отнюдь не случайными, и тем не менее она сказала:

— Поэт всегда прав.

Несомненно, этот ответ был рассчитан на передачу во все тогдашние инстанции.

Я стою на лестничной площадке перед дверью квартиры Пастернака. Звоню, довольно долго звоню, но мне не открывают...

У меня в руке небольшой сверток, в нем книжица. Анна Андреевна просила отнести ее и передать Борису Леонидовичу...

Наконец я слышу шаги в прихожей.

Дверь распаивается — и передо мною хозяин, по пояс голый и мокрый. Очевидно, я прервал его мытье...

— А-а-а, спасибо, спасибо, — говорит он, принимая сверток влажной рукою. — Простите, я заставил вас ждать... Я был в ванной... Поклон Анне Андреевне и маме...

Дверь закрывается, и я опять один на лестнице.

А пока я шел до Лаврушинского, я заглянул в книжицу. Там рукою Ахматовой было написано: «To our first poet Boris Pasternak».

Мы — Ахматова, М. С. Петровых и я — сидим на деревянной больничной скамье. Все трое молчим. Мария Сергеевна и я не знаем, как начать... Мы пришли к Ахматовой в Боткинскую больницу, чтобы объявить ей о смерти Пастернака. Мы боимся, что весть о его кончине повлияет на течение ее собственной болезни...

Анна Андреевна расспрашивает нас о чем-то. Отвечаем мы односложно. Наконец она сама интересуется, какие вести из Переделкина.

Мария Сергеевна нежно гладит руку Ахматовой, глядя ей в глаза и приговаривая:

— Там плохо... Там очень плохо... Там совсем плохо...

— Он скончался? — тихо говорит Ахматова.

— Да, — отвечаем мы.

И тогда вместо ожидаемых проявлений отчаяния мы видим, как она истово крестится и произносит:

— Царствие ему небесное.

XI

На Ордынке завтрак. За столом не вполне понятное мне тягостное молчание. Отец читает юмористический журнал «Крокодил», а сам мрачнее тучи. Потом он молча передает журнал Ахматовой.

Анна Андреевна смотрит на страницу в течение нескольких секунд и кладет «Крокодил» на диван рядом с собою.

Завтрак окончился, все выходят из-за стола, я хватаю журнал и гляжу.

Страница так и стоит у меня перед глазами:

«Николай Грибачев. „Ощипанный джойнт“».

Я помню даже первую фразу:

«Плач стоит на реках Вавилонских, главная из которых — Гудзон». Это «памфлет» о «деле врачей-убийц».

Рискуя сорваться, я лезу по скользкой, обледеневшей крыше... Впереди и сзади меня еще человек двадцать таких же смельчаков. Теперь прыжок вниз, в подтаявший сугроб, — и мы почти у цели...

Это происходит 7 марта 1953 года. Крыша эта и двор расположены между Столешниковым и Камергерским переулками.

Все мы, в том числе и я с двумя приятелями, стремимся, минуя бесконечную очередь, попасть в Колонный зал и поглядеть на лежащего там мертвого Сталина.

Идея эта пришла в голову мне. В свои пятнадцать я сумел сообразить, что вполне реально пройти с той стороны, с которой движутся люди, уже побывавшие в Колонном зале.

Сказано — сделано. От площади Маяковского до Пушкинской оцепление было неплотным, и мы с приятелями пробрались без особенных усилий. От Пушкинской пришлось идти проходными дворами, и так добрались до Столешникова...

Мы примкнули к очереди почти у самой цели и через двадцать минут оказались там, куда тщетно рвались осатаневшие от горя несметные толпы.

В памяти осталась только пышная зелень, окружавшая гроб, да звуки траурной музыки...

Люди моего поколения помнят, как несколько дней подряд из всех репродукторов доносилась классика — симфоническая и фортепианная.

Скрипач Давид Ойстрах впоследствии вот что рассказывал одной нашей с ним общей знакомой. Пока гроб Сталина стоял в Колонном зале, они, лучшие исполнители, играли по очереди. Там же они могли немного отдохнуть и подкрепиться. За занавеской стояли стулья, стол с бутербродами и чаем.

В какой-то момент за эту занавеску заглянул Хрущев — лицо небритое, усталое, но довольное. Оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса:

— Повеселей, ребята!

И лысая голова исчезла.

И еще немного о музыкантах.

Кто-то из коллег увидел в те дни плачущую Е. Г. Гилельс и принялся ее утешать:

— Ну что вы так убиваетесь... У нас будут еще вожди. Ну, может быть, не такие, как Сталин...

— Да плевать мне на вашего Сталина, — отвечала она, — я плачу оттого, что Сергей Сергеевич Прокофьев умер...

Действительно, С. С. Прокофьев скончался в один день с тираном. В свое время композитор Андрей Волконский рассказывал мне, что ему и другим ученикам Сергея Сергеевича, тем, кто занимался похоронами его, досталось много хлопот.

И самое главное, Прокофьев жил на улице Горького, а туда из-за оцепления невозможно было подогнать похоронную машину. И вот ученики несколько кварталов несли на плечах гроб, и их горе никак не смешивалось с горем прочих людей, устремившихся к Колонному залу.

Десять часов вечера, но еще совсем светло. Мы с отцом идем по летней Москве, тут, в центре, толкотня, гомон толпы, гудки автомобилей...

Ардов впервые ведет меня, повзрослевшего, в ресторан «Арагви».

Швейцары почтительно приветствуют отца, и мы с ним спускаемся в малый зал.

Низкие своды, росписи художника Тоидзе...

(Я даже столик тот помню, за который нас усадили.)

Официант записывает заказ, почтительно наклонив голову.

Потом он исчезает, и слышно, как его голос повторяет все буфетчику и повару.

— Так... Два шашлычка, — доносится до нас, — повнимательней пойдут!..

Мы с отцом сидим за мраморным столиком. Перед нами — кружки с пивом, моченый горох, соленые сухарики. Это «Пивной зал» на Пушкинской площади.

Я с любопытством оглядываюсь, здесь я тоже впервые.

В дальнем конце зала — лепной портик, а под ним три танцующие женские фигуры.

— Это что такое? — спрашиваю я отца.

— Три грации, — отвечает Ардов. — Набузовались пива и пляшут.

Мы с отцом сидим в артистической уборной знаменитой актрисы Евдокии Дмитриевны Турчаниновой. Мы пришли, чтобы выразить восхищение ее игрой. Старуха польщена и приветливо нам улыбается.

Чтобы слегка ее поразвлечь, Ардов решается рассказать ей один из самых последних анекдотов тогдашнего, хрущевского времени. Он говорит:

— Вы слышали, что сейчас всюду идут слияния — сливаются главки, тресты, министерства...

— Да, — отвечает актриса, — это я читала...

— И вот, говорят, чтобы не отстать от моды, в Министерстве культуры решили слить МХАТ и Малый, чтобы был один Московский Академический Мало-Художественный театр...

— Как?! Неужели есть такое решение?! — испуганно говорит Турчанинова. — Но это же ужасно! Это невозможно!

Она переполошилась не на шутку.

— Нет, нет, что вы! Это анекдот такой, всего-навсего анекдот, — пытается успокоить ее Ардов.

Но старуха еще долго волнуется и возмущается, никакого юмора она в толк взять не может.

Эта сцена происходила в помещении филиала Малого, в уютном театрик, который располагается в самом конце Большой Ордынки. С некоторых пор Ардов стал захаживать туда сравнительно регулярно. Все началось с того, что он где-то встретил своего приятеля актера Николая Рыжова и тот сказал:

— Пойди посмотри, как Турчанинова и моя мать играют «Правда хорошо, а счастье лучше». Не пожалейшь... Сходи, пока обе старухи живы.

И вот мы с отцом отправились на этот самый спектакль, а потом смотрели там «Волки и овцы» и еще что-то. Ардову нравилось, что сам театр располагается тут же на Ордынке, да и репертуар там был, что называется, наш, замоскворецкий...

Вообще же к театру на Ордынке было несколько неоднозначное отношение. Ну, прежде всего потому, что наша мать была актрисой и режиссером и оба моих брата обучались в школе-студии при МХАТе.

Сам Ардов в юности был весьма увлечен сценой, был участником каких-то тогдашних студий, а литературную карьеру начинал как театральный рецензент. Но в конце жизни почти не ходил на спектакли, это ему было скучно. Он уже любил вовсе не театр, а самих актеров — за инфантилизм, готовность к розыгрышам, шуткам... Ардов по этой причине всегда охотно посещал капустники, юбилеи, вечера в Доме актера...

Помнится, отец внушал мне мысль, что актер вообще профессия не мужская, а женская. А если умный и мужественный человек наделен сценическим талантом, то это сущее несчастье. И самый красноречивый тому пример, который он всегда приводил, — великий артист Леонид Миронович Леонидов.

У Ахматовой отношение к театру было вполне прохладным. Приведу здесь небольшой отрывок из воспоминаний Ардова об Анне Андреевне:

«Театр она не любила.

Например, никогда не была в Художественном. Но у нас дома был альбом, посвященный очередному юбилею МХАТа. Ахматова полистала его, посмотрела фотоиллюстрации и сказала свой приговор, так сказать, заочно:

— Ну, так... Теперь я вам скажу: все, что относится к современности, они умеют делать хорошо, а исторические пьесы у них не удаются. Особенно плох у них должен быть Шекспир».

На столе бутылки и тарелки с закуской.

Сегодня к нашей матери пришли две ближайшие подруги — Вероника Витольдовна Полонская и Софья Станиславовна Пилявская.

Ужин тянется долго, они обсуждают внутритеатральные дела.

Ахматова, которая слушает их беседу, вдруг произносит:

— Я не понимаю ни одного слова. Впечатление, будто присутствуешь при профессиональном разговоре гангстеров.

ХII

— Превосходное вино, — произносит Михаил Давыдович Вольпин. Он берет бутылку со стола и читает надпись на зеленоватой этикетке: — «Кахетинское № 8... Цена 14 рублей»...

— Мне за строчку перевода платят пятнадцать, — говорит Ахматова.

— Ну вот, — отзывается Вольпин, — даже и рифмовать не надо, чтобы купить такую бутылку...

Сидящий рядом с Вольпиным Николай Робертович Эрдман, как всегда, молчалив.

М. Д. Вольпин, близкий друг моих родителей, именно в его честь меня и назвали Михаилом, был одним из умнейших, остроумнейших и достойнейших людей, которых я знал на протяжении всей жизни.

Помню, на Ордынке был один из бесконечных разговоров о Сталине, и Вольпин поделился с нами таким воспоминанием.

Их везли в телячем вагоне, человек тридцать столичных интеллигентов и восемь уголовников. У «политических» была с собой теплая одежда, еда на дорогу и все прочее, а у тех, разумеется, ничего. Урки сразу же выдвинули ультиматум — платить определенную дань. Интеллигенты взялись обсуждать это требование, и Вольпин дал совет: пойти на все их условия. Но большинство решило так: нас много, их мало, — а потому ультиматум был отвергнут.

В первую же ночь урки набросились на интеллигентов с железными прутьями, жестоко их избили и отобрали вообще все вещи. После этого «политические» принялись рассуждать, отчего они не смогли дать грабителям отпор, несмотря на внушительное численное преимущество.

Вольпин говорил:

— Я им тогда пытался объяснить. Наши возможности заведомо не равны. Я ради того, чтобы сохранить свой чемодан, урку не убью, не смогу убить. А он ради моего чемодана меня убьет, он с тем и идет. А потому исход всегда предрешен, всегда в его пользу. Вот точно таким же был и Сталин. Все его соперники — теоретики, демагоги — не были готовы к тому, чтобы ради власти Сталина убить. А он знал, на что идет, был совершенно к этому готов. И он их всех до одного убил.

Все лагерные рассказы были у Вольпина замечательные. Например, таковой. После освобождения он уезжал на поезде из Архангельска в Москву. Соседом по купе в вагоне у него оказался удаляющийся на «заслуженный покой» комендант архангельского управления НКВД, то есть человек, который в течение многих лет приводил в исполнение приговоры к расстрелу. В частности, он рассказал Вольпину, что пришел работать в органы еще при Дзержинском и сам «железный Феликс» проводил с ним и с другими новичками беседу. Он говорил им о высокой ответственности че-

кистов, о том, что в их руках будут находиться человеческие жизни. А чтобы почувствовать меру этой ответственности, предложил каждому новичку расстрелять одного из многочисленных приговоренных. Попутчик Вольпина сделал это столь мастерски, что сразу же был начальством отмечен и вскоре получил свою должность коменданта.

Вольпина арестовали довольно рано, еще в начале тридцатых годов. Он познакомился с ГУЛАГом, и кроме того много ездил по стране, а потому в нем не было и тени тех иллюзий, какие в то время усиленно культивировали в себе «собратья по перу», которым очень хотелось жить «дыша и большевее», по меткому выражению Осипа Мандельштама.

Михаил Давыдович несколько раз при мне рассказывал о примечательном разговоре, который был у него с Мандельштамом и Олешей. Вольпин пытался открыть им глаза на мрачную реальность. Осип Эмильевич отделился одной сакраментальной фразой:

— Надо без страха смотреть в железный лик эпохи.

А Олеша стал возражать по существу дела.

Вольпин вспоминал:

— Ну, с Мандельштамом я спорить не стал.. А Олеша был мне ровня, и я ему сказал буквально так: «Юра, если вы не опомнитесь и станете культивировать в себе казенный оптимизм, вы или перестанете писать, или сопьетесь».

(От себя добавлю: сбылись оба пророчества.)

Далее Вольпин говорил:

— Олеша этого нашего разговора не забыл. Уже в пятидесятые годы я пришел в управление охраны авторских прав, чтобы получить деньги, и увидел там Олешу. Ему ничего не причиталось, он просто выпрашивал у знакомых мелкие суммы, побирался.. Я отвел его в сторону и сказал: «Юра, я вам дам столько денег, сколько вам нужно». И вдруг он взглянул на меня и произнес: «У вас я не возьму». «Почему?» — спросил я. «А вы помните, что вы мне когда-то сказали?..»

Вспоминая свой давний разговор с Мандельштамом и Олешей, Вольпин прибавлял еще и такое:

— Осип Эмильевич мне говорит: «Это правда, что вы пишете юмористические стихи?» «Да, — отвечаю, — пишу». «Я тоже написал недавно юмористическое стихотворение, — продолжает Мандельштам, — как вам оно понравится?» И прочел такие строки:

Я — мужчина-иностранец,
Я — мужчина-лесбиянец,
На Лесбосе я возрос,
О, Лесбос, Лесбос, Лесбос.

Перед войною Вольпин не имел права жительства в Москве. В таком же положении находился и Н. Эрдман. Они оба поселились тогда в Твери и вместе сочиняли сценарий для кинорежиссера Бориса Барнета.

Как-то раз тот приехал в Тверь для очередной встречи со своими авторами, но явился в страшном раздражении и даже гневе.

— Больше я к вам сюда ни за что не приеду, — с порога заявил Барнет.

Позднее, слегка успокоившись, он сказал:

— Вы люди талантливые, и сценарий ваш мне очень нравится... Но ездить сюда невозможно. В вагоне против меня сидел мужик, который всю дорогу жрал селедку с газеты, рыгал, пускал газы и при этом то и дело повторял, обращаясь к попутчикам: «Простите вы меня за такое мое безобразие...»

После войны, уже вернувшись в Москву, Вольпин и Эрдман продолжали писать сценарии для кино и пьесы для музыкальных театров. Но, как

репрессированные, были несколько в тени. Дела их окончательно поправились, когда фильм по их сценарию «Смелые люди» получил Сталинскую премию.

Эта история тоже примечательная. Именно из-за их авторства картину на премию не выставляли. (Тут надо заметить, что действие фильма разворачивается на конном заводе, а герой — наездник.) Так вот, по словам Вольпина, когда Сталину дали на утверждение список награждавшихся в тот год, он будто бы произнес такую фразу:

— Смелым лошадям тоже надо дать.

И еще из рассказов Вольпина. Как-то он побывал с женой в Одессе, и они отправились на местную барахолку. Сам Михаил Давыдович особенного интереса к торжищу не испытывал, а потому, пока жена ходила по рядам, он присел на крылечко у небольшого домика, стоявшего при входе. Над этим самым крыльцом были электрические часы.

Через некоторое время с барахолки вышли две игривые девицы, и одна из них, кокетливо взглянув на Вольпина, спросила:

— Молодой человек, который час?

М. Д., который был уже отнюдь не молод, воспринял вопрос буквально и указал ей рукою на огромный циферблат:

— Вот часы.

В ответ на это девица обругала его по матери, и они с подругой стали удаляться.

Эту сцену наблюдали три одесситки, которые при входе на барахолку продавали вареные кукурузные початки. Одна из них сказала так:

— Удивительное дело. Ну, предположим, ночью ты проститутка. Но днем ты же можешь быть порядочным человеком... Нет, такое бывает только у нас в Одессе.

Другая торговка отвечала:

— Я думаю, в Николаеве то же самое... Я никогда не была в Москве, но уверена — и там такая же картина...

Третья торговка в это время сосредоточенно рылась в своей сумке. Наконец она достала оттуда самый большой початок, протянула его Вольпину и сказала:

— Молодой человек, возьмите бесплатно. Догоните ее и дайте по морде!..

Ардов иногда вспоминал такую реплику Вольпина. Они вместе были в гостях у Евгения Петрова, причем отец был в белых штанах. И там он позволил себе весьма крутую шутку. Тогда Вольпин сказал:

— Ну, Ардова пора выводить под б е л ы б р у к и.

Вообще же чувство языка и способность к каламбурам у Вольпина были изумительные. Лучше всего это проявлялось в его юмористических стихах и частушках. Кое-что из этого хранит моя память.

В свое время нарком Луначарский публично заявил, что в Советском Союзе «решен половой вопрос». Вольпин тогда сочинил такие строчки:

Луначарский сказал,
Так что ахнул весь зал:
«Нет у нас полового вопроса!»
А вопрос половой
Покачал головой,
Не поверил словам наркомпроса.

О реперткоме, тогдашней цензуре:

Когда вхожу я в репертком,
Беру от страха «ре» пердком.

Нужна большая доза мужества,
Чтоб удержаться до замужества.

Встречаюсь я с баптисткою,
Девкой-недотрогою.

А потому баб тискаю,
Религию — не трогаю.

Среди неисчислимых Дусь
Вы есть единственная Дуся.
Себя я больше не стыжусь
И буйной страсти предадуся.

У Льва Никулина было стихотворение, которое начиналось так:

У палача была любовница,
Она любила пенный грог...

А Вольпин закончил:

Простая рыжая коровница,
На паре здоровенных ног.

В свое время Михаил Давыдович подарил Ильфу и Петрову частушку, которую они вставили в «Золотого теленка»:

У Петра Великого
Ближих нету никого,
Только лошадь да змея —
Вот и вся его семья.

Еще вольпинская частушка:

Ты не ухни, кума,
Да ты не эхни, кума,
А я не с кухни, кума,
А я из техникума.

Со слов Вольпина я запомнил такие афоризмы:

«У нас в Советском Союзе печать только свободная, всякая другая у нас запрещена», «Советская колыбельная песня должна будить ребенка».

Я говорю Вольпину:

— У Саши Черного есть описание праздничного стола, и там такие строки:

Дремлет поросенок,
Словно труп ребенка...

— У меня это лучше, — отвечает мне Михаил Давыдович и читает:

А поросенок возлежал
С бумажной хризантемой в пасти
И грустным взглядом провожал
Свои съдаемые части.

Еще я запомнил басню Вольпина «Гордиев узел», но, к сожалению, с небольшим пропуском.

Однажды Гордий взял веревку
И, проявив сноровку,
Он завязал веревку в узел
И до того сей узел сузил,
Что разрубить его неможно нипочем —
Ни топором, ни тяпкой, ни мечом,
Вокруг узла волнения и крики.
И прибежал на шум сам Александр Великий.
.....
На узел даже не взглянул,
А громко крикнул: «Кто здесь Гордий?!»
И бац ему по морде!

XIII

Николай Робертович Эрдман бывал на Ордынке гораздо реже Вольпина. Мои родители и все гости относились к нему по-особенному, его

пьеса «Самоубийца» всегда считалась бесспорным шедевром, а он сам мастером некоей литературной филигрании. Свидетельством тому были и басни, которые в свое время Эрдман сочинял в соавторстве с Владимиром Массом. Например, такое:

Должны быть вежливы всегда мы,
 Всегда, товарищ дорогой.
 В один трамвай вошли три дамы —
 Одна беременней другой.
 В трамвае том сидел пижон,
 Он был их видом поражен.
 Беременность — не звук пустой,
 И, не теряя времени,
 Он уступает место той,
 Которая беременней.

Соски на вымени коровьем
 Кичились раз своим здоровьем
 И с простотою деревенской
 Глумились так над грудью женской:
 — Ты и мала, ты и мягка —
 И кот заплакал молока. —
 Но всем наветам вопреки
 Молчали женские соски.
 Грудь разговаривать не может.
 А вымя? — спросит кто-нибудь.
 Нас занимает только грудь.

Поэт, свою судьбу постигнуть силясь,
 Хоть не был Пушкину сродни,
 Вскричал: — Куда вы удалились,
 Моей весны златые дни? —
 Златые дни ответствовали так:
 — Мы не могли не удалиться,
 Когда у вас такой бардак
 И вообще бог знает что творится! —
 Златые дни в отсталости своей
 Не понимают наших дней!

В конце концов обоих баснописцев арестовали. Рассказывают, что актер В. И. Качалов выступал на кремлевском приеме и там прочел несколько басен Эрдмана и Массы. Кто-то из присутствовавших осведомился, как фамилии авторов. И через несколько дней они оба были схвачены в Сочи, там шли съемки фильма по их сценарию. Это были знаменитые «Веселые ребята».

Мне говорили, что это событие стало темой последней басни, которую сочинил Эрдман:

Явилось ГПУ к Эзопу
 И хватя его за ж....
 Смысл этой басни ясен:
 Не надо больше басен.

Ардов рассказывал, что свои письма, присылаемые матери из Енисейска, ссыльный Эрдман подписывал таким образом: «Твой мамин-сибиряк Коля».

Во время войны Эрдман и Вольпин служили в ансамбле НКВД, были там, так сказать, штатными сочинителями. Когда Эрдман впервые надел дома форму чекиста и посмотрелся в зеркало, то сказал:

— Мама, кажется, за мной опять пришли.

С этой энкаведешной формой связана и другая забавная история. В Ташкенте Эрдман и Вольпин пришли навестить Ахматову. И вот живущие по соседству люди видят, что среди бела дня к ней идут два человека во всем известной форме. Стало ясно, что сейчас Ахматову арестуют. Но вот,

против чаяния, люди в форме довольно быстро вышли от поэтессы по-прежнему вдвоем, а потом опять вернулись, неся в руках бутылки с вином... И тут все поняли, что арест не состоялся.

XIV

— Ви-тинь-ка, — медленно и раздельно произносит худой невысокий человек, сидящий на стуле у стола, — мне понравился ваш последний рассказ в «Крокодиле»... Вы неплохо пишете... К сожалению, я не могу этого сказать о нашем общем друге Лене Ленче...

Это Зошенко. Я впервые вижу его на Ордынке и пожираю его глазами. Он мой кумир, мой самый любимый писатель.

Сейчас он похож на человека, который недавно очнулся от летаргического сна и заново осваивается с реальностью, щурится на солнечный свет, растерянно улыбается людям. На дворе 1954 год.

Зошенко усмехается и продолжает свою речь:

— Я был у них в гостях... У Ленча... Лиля мне говорит: «Да, Миша, стареем, стареем... Вот Лене (!) пятьдесят, мне уже сорок...» А я так прикинул: если она правду говорит, значит, я в свое время был растлителем малолетней...

(Надо сказать, что у Зошенко с этой дамой был довольно длительный роман. Тогда она была женою некоего О. Злые языки про него рассказывали, что он частенько демонстрировал фото супруги и объяснял:

— Это моя жена. С ней живет Зошенко.)

На Ордынке был некий культ Зошенко. Он вспоминался и цитировался постоянно. Моя память и сейчас хранит многое из того, что употреблялось в нашем семейном обиходе:

«Желающие не хотят»,

«Маловысокохудожественные стихи»,

«Пьеса не хуже, чем у Бориса Шекспира»,

«Не то чтобы мы пишем из-за денег, но гонорар вносит известное оживление в наше дело».

Культ Зошенко в нашей семье, так сказать, косвенно поддерживала Ахматова. Анна Андреевна относилась к нему по-особенному, как к товарищу по несчастью. За глаза она всегда называла его Мишенькой.

Я много раз слышал и в свое время записал нижеследующий рассказ Анны Андреевны. В августе сорок шестого года она шла по ленинградской улице и вдруг увидела, что по другой стороне идет Зошенко. Заметив Ахматову, он перебежал через мостовую, буквально бросился к ней. Надо сказать, что прежние их — весьма далекие — отношения ничего подобного не предполагали. Он схватил Анну Андреевну за руку и стал сбивчиво говорить:

— Что же теперь делать? Как же теперь быть? Неужели терпеть? Неужели это — терпеть?

— Конечно, терпеть, — произнесла Ахматова, улыбаясь от своего неведения.

Тогда Зошенко стал горячо ее благодарить, говорил:

— Вы даже не представляете себе, как вы меня поддержали...

Он попрощался, и они расстались.

Лишь несколько часов спустя Ахматова узнала о постановлении ЦК и тогда поняла причину странного поведения Зошенко.

В начале шестидесятых годов, уже после смерти Михаила Михайловича, мне удалось прочесть «Четвертую прозу» Мандельштама, и я с великой радостью отметил те высокие похвалы, которыми он устаивает Зошенко. Когда же я заговорил об этом с Ахматовой, она мне сказала:

— Как хорошо, что Мишенька знал об этом.

У Анны Андреевны были свои любимые цитаты из Зошенко. Точно помню две из них.

Моего младшего брата, в те годы актера, она частенько называла, как одного из героев рассказа «Забавное приключение»:

— Артист драмы.

Другая излюбленная цитата из раннего рассказа «Лялька Пятьдесят». Там повествуется о воре, который влюблен в проститутку с таким именем. В финале он является к ней, говорит, что принес кучу денег, и приказывает выгнать клиента — богатого китайца. А когда тот уходит, вор признается, что денег у него вовсе нет, и тогда Лялька Пятьдесят в отчаянии повторяет:

— Кто мне возместит китайские убытки?

В пятидесятые годы Ахматовой приходилось зарабатывать на жизнь тяжким трудом — переводами из китайской классики, и тогда эта реплика была для нее весьма актуальна.

А когда испортились отношения между Москвою и Пекином, Анна Андреевна ввела в обиход новую редакцию:

— Кто нам возместит китайские убытки?

В один из ранних своих, довоенных, визитов на Ордынку Зощенко почему-то рассматривал альбом с фотографиями. Там между прочими был такой снимок — два атлета в трусиках. Взглянув на фотографию, Михаил Михайлович сказал:

— Этот думает: дай, думает, сниму штаны... И этот: дай, думает, и я сниму...

А вот еще одна замечательная реплика Зощенко. Перед самой войной умер их с Ардовым общий знакомый (фамилию я забыл). Так вот, когда война разразилась, Михаил Михайлович сказал отцу:

— А Н. Н. умер — и не прогадал.

Отец рассказывал о невероятной, неправдоподобной славе, которая пришла к Зощенко в тридцатые годы. В этой связи вспоминался такой случай — со слов самого Михаила Михайловича.

Как известно, он был сыном художника. И вот как-то в комиссионном магазине писатель увидел картину отца. Ему захотелось купить холст, но цена была непомерно высокая. Когда же он осведомился у продавца, отчего просят так дорого, тот отвечал:

— Так ведь это — Михаил Зощенко.

В этом случае его собственная слава перешла на его давным-давно умершего родителя.

И Ахматова и Ардов всегда выражали восхищение тем, как Зощенко читал свои рассказы с эстрады. (Анна Андреевна назвала его гением этого дела.) Отец вспоминал, что Михаил Михайлович читал свои вещи мрачно, без тени улыбки, а зал в это время буквально корчился в конвульсиях от смеха.

Вот рассказ Ардова, записанный мною дословно:

— Как-то на совместном выступлении я спросил Михаила Михайловича, отчего он так мрачно читает. На это он мне сказал: «Когда я сочиняю свои рассказы, я смеюсь так, что валюсь от смеха на диван. Но раз отсмеявшись над чем-нибудь, я уже больше никогда не смеюсь». Однажды я заметил: во время чтения какого-то рассказа Зощенко против обыкновения улыбнулся. Когда он окончил, я спросил его: «Почему вы улыбнулись?» Он отвечал: «Просто я забыл это место».

У меня есть дневниковая запись о Зощенко, сделал я ее летом 1958 года. Там я писал:

«Второй раз в жизни я видел Михаила Михайловича за четыре месяца до его смерти. Я знал, что он придет на Ордынку, и ждал его. Еще раньше я попросил отца дать мне одну из его книг, чтобы он надписал ее лично мне

Прохладным апрельским вечером я стоял у ворот нашего дома и ждал приезда Зощенко. Он бывал у нас и прежде, но во дворе шел ремонт и было очень грязно. В это же время должна была возвратиться из гостей Анна Андреевна. Она приехала раньше, и я проводил ее до дверей, потом вернулся к воротам и стал ждать дальше.

Ждал я до тех пор, пока отец не вышел ко мне и не сказал, что Михаил Михайлович уже пришел. Как я его тогда не заметил, до сих пор понять не могу.

Меня тогда поразило, как плохо стал Михаил Михайлович разговаривать. Слова у него выходили с трудом, как будто ему было больно и из себя выталкивать. Общий разговор из-за этого очень затруднялся. Я весь превратился в слух. Помнится, он говорил о поэзии, точнее даже, о сборнике «День поэзии». Он говорил, что почти все, что ему понравилось, принадлежало старым поэтам — Ахматовой, Пастернаку, Асееву...

Когда стали ужинать, я, до того сидевший в углу комнаты, придвинулся к столу и сел около него. Моя мать сказала ему, что я его большой поклонник и, как она выразилась, знаток. Он впервые взглянул на меня с интересом и сказал, что, если бы знал об этом, сделал бы мне на книге более теплую надпись. За ужином он ничего не пил и не ел».

Тут я прерываю свою старую запись, чтобы сделать некоторое дополнение. Мать впоследствии вспоминала, что между нею и Зощенко состоялся такой краткий диалог.

— Миша, почему вы ничего не едите?

— Видите ли, Ниночка, какая странная история: мне все время кажется, что я отравлюсь.

Вообще же атмосфера вечера была самая непринужденная. Я помню и такую деталь. Михаил Михайлович в Москве остановился у своего старого друга литератора В. А. Лифшица, который жил неподалеку от Ленинградского шоссе. На Ордынку Зощенко поехал на такси. В те годы машины еще свободно ездили через Красную площадь, и шофер, который его вез, ухитрился врезаться в фонарный столб неподалеку от Кремля. Эта история всех позабавила, в ней нашли и некий политический оттенок. Зощенко едет в гости к Ахматовой и сбивает столб на Красной площади. Не провокация ли это?

Возвращаюсь к своей записи:

«Когда Михаил Михайлович стал прощаться, я вызвался проводить его до метро. Он сначала отказывался, но когда мать поддержала просьбу, согласился.

Мы вышли в мокрую и холодную весеннюю ночь. Он спросил меня, правда ли, что я так им интересуюсь. Я ответил, что он мой любимый писатель и, если время позволит, я буду писать о его творчестве. Он спросил меня, знаю ли я его повести, на что я ответил, что знаю и люблю.

Те двести пятьдесят метров, которые мы с ним прошли (дальше он себя провожать не позволил), промелькнули мгновенно, а я все еще говорил ему, что думаю об отдельных его вещах, задавал ему вопросы...

На прощание он обещал написать мне книжку, которую вот-вот должны были выпустить, и сказал, что если я ее не достану, то он сам пришлет мне.

И теперь, через несколько дней после того как я достал эту книжку, его не стало...»

Ардов сидит в своем кресле в столовой, прихлебывая чай, и просматривает газеты.

— Послушай, — говорю я ему, — сегодня двадцать второе июля, ровно год со дня смерти Зощенко. В приличной стране уже начало бы выходить полное собрание сочинений.

— В приличной стране, — отзывается отец, — он был бы еще жив.

XV

— Анна Андреевна, вы помните?! На Гороховой, у мадам Жерар... Всего пять рублей, а какие барышни! Вы помните?

— Лев Вениаминович, ну откуда я могу это помнить? — отвечает Ахматова, едва сдерживая смех.

Разговор этот происходит у нас в столовой, присутствует старый друг моего отца Л. В. Никулин, его жена, все мы и Ахматова. Лев Вениаминович явился навеселе и вдруг пустился в воспоминания о значных местах старого Петербурга. А так как под рукою никого из петербуржцев не оказалось, Никулин свои речи адресовал Ахматовой.

Советский писатель, один из самых маститых, «проваренный в чистках, как соль», Лев Никулин был одним из завсегдатаев Ордынки. Человек притом он был довольно нелюдимый, при посторонних вообще молчал. Наш отец, пожалуй, был единственным человеком, с которым Никулин позволял себе откровенничать.

Ардов говорил о нем:

— Это — ужаснувшийся.

Так отец называл тех людей, которые сами чудом уцелели в тридцатых и сороковых годах, чьи близкие и родные погибли при терроре и кто стал от этого сверхосторожным — даже при менее свирепых, чем Сталин, его преемниках.

Никулин был сыном театрального антрепренера, в свое время довольно известного. Детство его прошло в Одессе. И он, например, вспоминал, как в пятнадцатилетнем возрасте желал по вечерам гулять на Дерибасовской улице и как родные этому препятствовали. Старая еврейская бабушка говорила ему:

— Левочка, ну почему мне не хочется на Дерибасовскую?!

Никулину был свойствен довольно желчный юмор. Я помню, как он пародировал советскую пьесу из жизни Пушкина. Арина Родионовна говорит своему питомцу:

— Эх, Сашенька, дожить бы тебе до того времечка, когда Владимир Ильич будет громить народников!..

Никулин был другом Валентина Стенича. На Ордынке иногда вспоминалась такая история. Мои родители после женитьбы поселились в коммунальной квартире на улице под названием Садовники. (Потом ей присвоили имя Осипенко.) Их комната была на первом этаже.

Однажды в отсутствие отца туда зашли Никулин и Стенич. Они уселись на диван и пустились в разговор с моей матерью, которая в те годы была весьма привлекательна.

В это время распахнулась форточка и в комнату всунулась чья-то голова.

— Простите, — послышалось от окна, — вы не знаете, где здесь помойка?

— Вот! — одновременно произнесли Никулин и Стенич и указали друг на друга.

Вообще же погибший в тридцатые годы писатель Валентин Осипович Стенич в моем восприятии был личностью легендарной. На Ордынке о нем рассказывалось множество новелл.

Настоящая его фамилия была Сметанич. В юности он писал стихи, его отчасти прославил Блок в своем опусе «Русский денди». Во время гражданской войны Стенича едва не расстреляли, и после этого он перестал писать стихи.

С ним была связана и такая легенда. Стенич утверждал, что когда-то в молодости из подражания Раскольникову он будто бы убил старуху, но не топором, а тяпкой. В это не все верили, но Стенич иногда прибегал к та-

кой шутке. Если он видел какую-нибудь немолодую даму, которая вызывала в нем раздражение, то произносил с кровожадной интонацией:

— Где моя тятка?!

И еще одна жутковатая, но также не вполне достоверная история. Когда эксгумировали прах Гоголя и перевозили его из Даниловского монастыря в Новодевичий, Стенич якобы украл ребро великого писателя и с тех пор держал эту кость на своем письменном столе.

Кто-то из знакомых карикатуристов изобразил такую картину. К спящему Стеничу является гигантская фигура Гоголя и вопрошает:

— Ну шо, сынку, помогло тоби мое ребро?..

«Русскому денди» Стеничу большевизм был отвратителен, и он этого почти не скрывал. Видный рапповец Юрий Либединский жаловался Ардову на Стенича. Он, Либединский, прибыл в Ленинград, чтобы агитировать попутчиков, писателей нейтральных, примкнуть к РАППу. После его выступления слово взял Стенич и сказал буквально следующее:

— Я согласен на такую игру: вы, рапповцы, — правящая партия, мы — оппозиция. Но вы хоть бы подмигнули нам, дали понять, что сами-то во всю эту чепуху не верите...

Стенич говорил:

— Знаю я ваших «пролетарских писателей». Они по воскресеньям жрут сырое мясо из эмалированных мисок, придерживая куски босой ногой.

За бесшабашную болтовню Стенича вызвали в «большой дом» на Литейном. Там строгий чекист стал делать ему внушение.

— Валентин Осипович, у нас есть сведения, что вы придумываете и распространяете антисоветские анекдоты.

— Ну какой, например, анекдот я, по вашим сведениям, сочинил? — осведомился Стенич.

— Например, такой, — сказал чекист. — Советская власть в Ленинграде пала, город в руках белых. По этому случаю на Дворцовой площади происходит парад. Впереди на белом коне едет белый генерал. И вдруг, нарушая всю торжественность момента, наперерез процессии бросается писатель Алексей Толстой. Он обнимает морду коня и, рыдая, говорит: «Ваше превосходительство, что тут без вас было...»

Стенич посмеялся и сказал:

— Это придумал не я. Но это так хорошо, что можете записать на меня...

Стенич где-то кутил всю ночь и залил рубашку красным вином. Рубашку он тут же выбросил и продолжал пьянствовать. Утром ему понадобились деньги, чтобы продолжать кутеж. Он повязал галстук на голую шею, надел пиджак, кашне, пальто и отправился в Управление охраны авторских прав просить аванс. Не снимая пальто, Стенич появился в комнате, где сидели бухгалтеры. Увидев его, один из них радостно воскликнул:

— Валентин Осипович! А мы собирались вам звонить... Тут надо подписаться на государственный заем.

Стенич одним движением сбросил с себя пальто, кашне, пиджак и оказался по пояс голым.

— Вот, — закричал он, — что со мной ваши займы наделали!

Стенич был изумительным переводчиком с английского. М. Д. Вольпин рассказывал мне, что был свидетелем такой сцены.

Находясь в гостях у Ильфа, Стенич взял с полки английское издание «12 стульев» и стал с листа переводить это на русский язык теми самыми словами, какие были в подлиннике. Простодушный Евгений Петров воскликнул:

— Вы это наизусть знаете!

— Ну вот еще, — отозвался переводчик, — буду я учить наизусть всякое г...

Стенич был членом писательского домостроительного кооператива. И вот стройка замерла из-за отсутствия гвоздей. Тогда Стеничу поручили раздобыть гвозди. Он пошел в соответствующий наркомат, отыскал нужную комнату и обнаружил там щедушного еврея, который распределял этот дефицитный товар. На всех заявках, которые поступали к нему, этот человек писал одну и ту же резолюцию: «Гвоздей нет. Отказать».

Тогда Стенич решил употребить красноречие. Он говорил о том, что писателям необходимо жилье, ибо они работают в своих квартирах, и что, если гвоздей не дадут, может не состояться расцвет советской литературы.

Еврей все это выслушал весьма меланхолически и наложил свою обычную резолюцию: «Гвоздей нет. Отказать».

Тогда Стенич посмотрел ему прямо в глаза и с расстановкой произнес: — А Христа распинать у вас были гвозди?..

Рассказывал Семен Израилевич Липкин:

— Однажды мы со Стеничем шли к кому-то в писательский дом в Лаврушинском. Лифт не работал, и мы поднимались по лестнице пешком. Я говорил: «Вот здесь живет такой-то писатель... А вот здесь — такой-то...» Стенич некоторое время меня слушал, а потом воскликнул: «Да это какой-то шашлык из мерзавцев!»

Кто-то из знакомых упрекнул Стенича:

— Нельзя называть большевиков «они». Надо говорить «мы»!

— Ну ничего, — ответил Стенич, — придет время, «мы» «нам» покажем...

XVI

На столике возле зеркала зазвонил телефон. Один из гостей берет трубку.

— Я слушаю... — Тут он смотрит на нас и произносит с недоумением: — Тут спрашивают какого-то Павла Геннадиевича...

— Павла Геннадиевича? — кричит Ардов из своего кабинета. — Скажите, что он был и только что ушел...

Павел Геннадиевич Козлов, приятель мамы еще по Владимиру, как я уже упоминал, был преподавателем теории музыки в заведении Гнесиных. Однако там у него все шло вовсе не гладко. Причиной тому было его не в меру нежное сердце. Он развелся с Еленой Ивановной и женился на одной из своих учениц, а это, как известно, в советских вузах не поощрялось.

Но мало того, через некоторое время он развелся и с этой женою, чтобы сочетаться браком с еще более молодой ученицей. Но и этот союз оказался не последним — за ним был четвертый в том же роде. Последняя жена была моложе Павла Геннадиевича уже лет на пятьдесят, и в конце концов она с ним развелась, а затем привела в их общую квартиру мужа-сверстника.

Все это разворачивалось на протяжении десятилетий, но всегда по одному и тому же сценарию. В каждый промежуточный период, когда действующая жена его еще контролировала, а он уже встречался с новой возлюбленной, Павел Геннадиевич просил Ардова отвечать на телефонные звонки именно таким образом:

«Был и только что ушел».

Вообще же Козлов был человеком воспитанным, милым, с тонким чувством юмора. На Ордынке бытовали некоторые его новеллы.

Один студент Института Гнесиных на экзамене назвал сочинение Дебюсси «Полуденный отдых фавна» — «Обеденный перерыв фавна».

Другого студента экзаменаторы спросили:

— Что такое баркарола?

Он ответил так:

— Это песня венецианских гольденвейзеров.

И наконец моя самая любимая из историй П. Г. Козлова.

Даже не в институте, а в училище шел экзамен по диалектическому материализму. (Надо сказать, что все преподаватели подобных «наук», как правило, страдали некоторым комплексом неполноценности.) И вот один из мальчиков проявил такое невежество, что экзаменатор спросил его с некоторым вызовом:

— Позвольте, сами-то вы кто — материалист или идеалист?

— Я баянист, — смиренно отвечал юный музыкант. — Поставьте мне троечку...

Один из самых близких друзей нашего дома — Семен Вениаминович Кантор — был в определенном смысле существом парадоксальнейшим. Он был унылый юморист. Его интеллигентско-еврейская унылость никак не вязалась с профессией автора эстрадных и цирковых шуток. Впрочем, юмор его был несколько механический. Вот тому наглядный пример. Кантора пригласили посетить выставку собак. Он ответил:

— Мне недосуг.

При всем том Семен Вениаминович человек был удивительно воспитанный, приличный и приятный в обращении. Он очень хорошо играл в карты, а смолоду и в теннис. В свое время он был одним из карточных партнеров Маяковского, и у него хранилась открытка, в которой поэт приглашал его на игру в покер. А подпись была такая: «Ваш покернейший слуга Владимир Маяковский».

Кантор был коренным москвичом, жил в Лабковском переулке на Чистых прудах, в одной из комнат коммунальной квартиры, которая когда-то вся принадлежала их семейству. (Дом этот и по сию пору стоит, в свое время он принадлежал отцу поэта-имажиниста С. Рубановича.)

Отец Кантора был вполне преуспевающим присяжным поверенным. Кстати сказать, именно его помощником числился Осип Максимович Брик. И наш Семен Вениаминович прекрасно помнил тот день, когда Брик после свадьбы нанес визит своему патрону и представил ему молодую жену, в девичестве Лилию Уриевну Коган.

Семен Вениаминович был меломан, смолоду учился музыке, был завсегдаем Большого и Консерватории. Со слов Кантора я запомнил два старых театральных анекдота.

По ходу оперного спектакля некоему тенору следовало взять свою «возлюбленную» на руки. Тенор был subtilный, а партнерша дородная, а потому поднять ее было весьма затруднительно. В этот момент из зала раздался чей-то голос:

— Раздели на две охапки!

В опере «Фауст» есть такое место. После дуэли сбегаются горожане и видят лежащего на земле Валентина. Тут они хором несколько раз повторяют такую фразу:

Кажется, он жив — поможемте ему...

Так вот когда-то в Большом партию Валентина исполнял артист, который был крещеным евреем. Хористам это обстоятельство было известно, а потому они текст слегка переделывали и пели так:

Кажется, он жид — поможемте ему...

Из завсегдаев Ордынки самым комическим персонажем, пожалуй, был полковник Ч., приятель Ардова еще с военных времен. Примечательно было даже само их знакомство, каковое произошло при следующих обстоятельствах. Отец получил путевку в военный санаторий в Архангельское. Там он жил в трехместной палате с другим своим будущим приятелем — военным врачом-рентгенологом Львом Фрейдиным. Однажды туда

приехала мама. И вот отворилась дверь, в палату вошел человек в офицерском кителе. Увидев маму, он растерянно произнес:

— Простите, это женская палата?

— Входи, входи, чудак, — отозвался Ардов со своей койки.

(Слово «чудак» он произнес на букву «м».)

Отец рассказывал, что в самом начале знакомства Ч. принес ему в подарок картину. Это была скверная копия известного сюжета «Утро в соновом бору».

— Виктор, — сказал Ч., — я купил две такие картины. Одну я повесил у себя над кроватью, а эту ты повесь у себя. Это будет знаком того, что мы с тобою друзья...

Ардов с возможной деликатностью повесить картину отказался.

К нам опять пришел Ч. Вот он сидит за столом и морщит брови. Он и всегда-то мрачноват и серьезен, а сегодня даже сверх всякой меры. Он говорит:

— Слушай, Виктор... Я сейчас проходил по Пятницкой, там у метро продают ананасы...

Тут отец решается пошутить со своим гостем и говорит:

— Так что же ты нам не купил ананас?.. Анна Андреевна, — обращается он к сидящей на диване Ахматовой, — вы когда-нибудь слышали, чтобы в приличный дом приходили без ананасов?

— Никогда в жизни, — отзывается Ахматова.

Эффект этого диалога превзошел все ожидания. Ч. поспешно вышел из-за стола и через двадцать минут вернулся с ананасом.

Своим знакомством с Ахматовой Ч. весьма гордился и даже его афишировал. На Ордынке стал известен такой эпизод. В одном московском доме кто-то спросил Ч.:

— Как поживает Ахматова? Как у нее дела?

— У нее все в порядке, — отвечал полковник со своей обычной серьезностью. — Я даю ей рекомендацию в партию.

Мы стоим посреди ковра как некая скульптурная группа — все без движения: профессор Борис Евгеньевич Вотчал со своим стетоскопом, Ардов, оголивший грудь и живот (он пациент), и при сем два свидетеля — я и профессорский пес-боксер...

— Ну что же, — произносит наконец Вотчал, отнимая стетоскоп от груди отца, — по-моему, ухудшений нет... Продолжайте принимать те же лекарства...

Пес подошел к хозяину и прижался к его ноге.

— Между прочим, — говорит Вотчал, — недавно один из моих пациентов спросил: «А как вы сами лечитесь?» А я ему говорю: «К моему псу регулярно приходит ветеринар и выписывает ему какие-то шарики. Я их даю псу и сам их принимаю...»

Все это происходит в профессорской квартире, в высотном здании на Кудринской площади.

Поскольку у Ардова был врожденный порок сердца, а Вотчал был выдающимся кардиологом, то они познакомились как пациент и медик. В дальнейшем они подружились, Борис Евгеньевич стал бывать на Ордынке и какое-то время пользовал Ахматову.

Я помню, как Вотчал рассказывал:

— Мой учитель ... (тут называлась какая-то неизвестная мне профессорская фамилия) говорил нам, молодым врачам: «Запомните: если вас когда-нибудь позовут на консилиум и там коллеги разделятся на две группы — первая за один какой-нибудь диагноз, другая за второй, — никогда не присоединяйтесь ни к одной из этих партий. Всегда выдвигайте какую-нибудь свою, третью версию. И если когда-нибудь вы окажетесь правы, это запомнят навсегда». — И Борис Евгеньевич добавляет: — В моей практике это уже несколько раз было.

Вотчал уходит после визита. Он целует Ахматовой руку, прощается с нами.

Мы смотрим ему вслед. Он высокий, стройный, подтянутый. Полковничья форма ему удивительно к лицу, особенно фуражка с высокой тульей и узким козырьком.

Я говорю:

— Анна Андреевна, по-моему, он похож на офицера старой гвардии...

— Я их очень много видела в Царском, — отвечает мне Ахматова. — Именно такие они и были...

Совершенно в другом роде был еще один медицинский профессор, близкий приятель Ардова, — Александр Наумович Рыжих, огромный еврей с очень тонким голосом.

Отец и с ним познакомился по необходимости, в свое время угодил в его проктологическое отделение, которое тогда помещалось против синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке. Ардов сразу с Рыжихом подружился, сочинял в его честь шуточные стихи. Одно я помню почти целиком:

Он пациента не водит за нос,
Не произносит он лишних слов,
А залезает он прямо в анус,
И вот диагноз уже готов.

.....
К нему попал ты, так не взъщи,
Его девиз — «ищи свищи!».

Через день после операции профессор Рыжих зашел в палату к Ардову и осведомился о состоянии здоровья. Отец отвечал ему так:

— Чувствую себя превосходно, с волнением жду премьеры...

— Какой премьеры? — спросил профессор.

— Что в наши дни называется премьерой? — отвечал Ардов. — Это когда г... идет в первый раз.

На Ордынке идет разговор о национальности Ленина. Ардов говорит:

— А мы сейчас позвоним Рыжиху, он родом из Самары, а там жил дед Ленина по матери — Бланк.

Он набирает номер и говорит в трубку:

— Саша?.. Это я, Ардов... Послушай, кто был по национальности доктор Бланк?.. Ну там у вас, в Самаре...

— Еврей, конечно, — слышится тонкий голос из трубки. — Но теперь почему-то это скрывают...

И еще одна замечательная реплика Рыжиха. Он кричит начальству в полемическом задоре:

— Что мне ваш ЦК? Что мне ваше Политбюро?! Я всем им вот этим пальцем в задницу лазил!..

О Рыжихе еще рассказывалось такое. В 1953 году во время «дела врачей-убийц» он был в Сандуновских банях со своим приятелем, знаменитым военным хирургом Александром Вишневским. Когда они сидели в парной, Рыжих довольно громко сказал:

— Саша, говорят, что Сталин хочет выселить из Москвы всех евреев.

Он, наверное, с ума сошел?

— Тише! Тише! — Вишневский замахал на него руками. — Что ты говоришь?!!

— А что такого? — отвечал Рыжих. — Здесь же баня, здесь никто не видит, что ты генерал...

(Окончание следует)

СЕМЕН ЛИПКИН



ПРИ ШУМЕ ЛИСТЬЕВ И ДОЖДЯ

Военные дороги

Мне в безумье военных дорог
Попадались советские мальчики,
Прозывались они «самоварчики»:
То солдаты без рук и без ног.

И случилось, что в саночках женщина
Привозила обрубок в мужья,
И душа трепетала моя,
Будто слышала глас благовещенья.

Сосны зимой

Денек в окне то серенький, то сизый,
Но утренняя хороша пора.
И сосны хороши, одеты в ризы
Из слитков серебра.

Пойти бы этой русскою тропею,
Запомятая каждую версту,
И чистых сосен унести с собою
Седую красоту.

Забуть грехи, ничтожные поступки,
В другом лесу другие видеть сны,
Одеться в снег серебряный и хрупкий,
Стать родичем сосны.

Огонь

В солнце я искал огонь, я искал огонь в кремне,
В древних свитках так искал, что глаза почти ослепли.
На исходе жизнь моя, и теперь открылось мне:
Высшей мудрости огонь отыщу я только в пепле.

Все в мире музыка

Все в мире музыка: лазоревая даль,
Трава под окнами, ближайшая береза,
И черно-белый кот, как маленький рояль,
Ждет маленького виртуоза.

Но эта музыка сама сотворена —
 И больше никакой не надобно работы.
 Зачем исписывать бумагу дочерна?
 К чему кошунственные ноты?

А если кот уйдет, и высохнет трава,
 И дерево поймет, что даль тяжка и мглиста,
 Умрет ли музыка? Она всегда жива,
 Она слышна без пианиста.

Один и одна

Солнцеглаза была Зулейха
 И всей мощью беспомощной сердца,
 Как мечтание, как жениха,
 Полюбила раба-иноверца,
 А богата была и знатна
 И всевластного старца жена.

Был взаправду Иосиф красив,
 Нежен, строен, плечист и послушен,
 Он при робости был прозорлив
 И при мудрости был простодушен.
 Госпоже был он верным слугой,
 Но владел им Господь всеблагой.

Вряд ли видел сей раб Зулейху,
 Ибо видеть ее опасался.
 Может быть, он склонялся к греху,
 Но при этом греху ужасался.
 Грех в кумирнях смердел, он блестел
 Костью, бронзой изваянных тел.

Стал почти что владыкой земли
 Прежний раб. Вот, вельмож возглавляя,
 Он скакал. Там лежала в пыли
 И в отрешках старуха слепая.
 На нее посмотрел он с коня,
 Чернь курчавых волос наклоня.

Верховые глядят, трепеща:
 Это что — колдовство? или диво?
 Где старуха? Конечно, нища,
 Но зато молода и красива,
 А глаза как два солнца горят
 И лохмотья — как царский наряд.

То была Зулейха: в нищете,
 В слепоте столько лет бытовала!
 Он узнал ее: в каждой черте
 Был огонь и любовь ликовала!
 Всадник спешился, к сердцу прижал
 Ту, которую сердцем желал.

Это стала планета иной,
 Это капища власть прекратилась,
 Это свет обновился земной,
 Это в небо земля превратилась,
 Ибо счастье с одной одного —
 Торжество мирозданья всего.

Королева

Сосна стремительно убита
Разбушевавшейся грозой,
Но с рощей, как и прежде, слита
Своей безжизненной красой.

Смиреннейшая королева
Конвентом молний казнена.
Свалилась голова налево,
Направо — шеи белизна.

Затихнул ливень смертоносный,
Но капли падают порой,
То боязливо плачут сосны
Над юной мертвою сестрой.

* *
*

Многое можно понять, проникая в науки, —
Дальние звезды и давние знаки и звуки,
То, что возникнет в грядущем, и то, что мертво.
Непостижимо лишь то, что нам ближе всего.

Идет война

Как нужно небо голубое
Земле, которая больна,
Мне нужен мир с самим собою,
А между тем идет война.

Она мне душу измотала,
Развалин множатся места,
То высшее сильнее начало,
То низменная суета.

Покуда бой не умолкает,
Как новобранец, не пойму:
Противник, что ли, наступает
Иль гибель я несу ему.

Дождь

Мир, как младенец, в тучки запеленат,
Деревья хлещет дождь во весь размах,
Они рвут листья на себе и стонут,
Как плакальщицы на похоронах.

Но лето опрометчиво хороним,
Мы молоды еще, как предок наш,
Когда не чужаком, не посторонним
Взошел он в первый раз на горный кряж.

Увидел: все, что прежде пребывало,
Преобразилось, краткий путь пройдя,
И время начинается сначала,
Сейчас, при шуме листьев и дождя.

Тюльпан

Молящиеся руки
Тюльпана в дни войны
Явили облик муки,
Когда металась кони
На выщербленном лоне
Калмыцкой целины.

К земле склонился чуткий
Предутренний туман.
Прошли в тревоге сутки.
Как Будда шестирукий,
Вобрал в себя все звуки
Молящийся тюльпан.

* *
*

Мне кажется, что я еще живу,
Что у меня есть дети и жена,
Которая не мать моих детей,
Что умереть еще мне предстоит,
Что я здоров, что я пишу стихи,
В которых мысли музыкой звучат
На старом, очень старом языке.

Здесь множества, но я всегда один,
Всегда один, молюсь я Одному,
Но тихо, тайно я молюсь Ему
И опасаясь, что меня сожгут.

Меня сожгли. Истлела плоть моя
Там, далеко, в Толедо. Почему ж
Я в нашей снежной северной земле
На Востряковском кладбище лежу
И я не прах, я вновь пишу стихи
На молодом, как солнце, языке?

1993.



ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ

*

ЖИЗНЬ ЗДЕШНЯЯ

Рассказы

Жених Лизуновой

Это сейчас Лизунова старая, по ней ничего не видно: старуха и старуха, как все в ее летах — рот провалился, лицо в морщинах. Ей уж, наверное, лет двести или больше. А когда молодая была, так просто передать невозможно. Будто печать на ней херувимская и чистый свет ангельский. Кто ни посмотрит, все в один голос — не может быть. Не может такая красота на земле родиться.

И откуда она взялась — неизвестно. У родителей-то ее детей не было, они уже и привыкли так. Разве Анна Лукинична когда вздохнет:

— Кто же на могилку... цветочки посадить?

А тут несла она бутыль со святой водой да на пороге и выронила, разбила. Она так и села.

— Что-то случится сегодня. Уж не знаю что, но случится...

Вот ночью лежат они, не спят отчего-то, слушают: все тихо.

— Воду эту еще отец Владимир святил, — шепчет Анна Лукинична.

А утром Платон Данилович выходит во двор, шум ему в сарае показался. Заходит в сарайчик, а там — девочка. Волосики светленькие, глаза, лоб — ну чистый ангел. На земле сидит, с козой Нюрой играет.

— Ты кто? — спрашивает Платон Данилович.

— Дочь ваша.

Привел Платон Данилович ее в дом.

— Вот, — говорит. — На могилку ходить будет...

Анна Лукинична только руками всплеснула.

— Господи, тощая-то... Шейка, ручки... Оголодала где-то.

А Лыков, сосед, когда девочку увидел, сказал:

— Что тут голову ломать? Все ясно. Лешаки выкрали, когда родилась, теперь подкинули. Наваждение это. А девочка — кикимора и есть.

Лыков тогда первый сказал — гибель для мужиков будет. И точно — растет Лизунова, а сама все краше и краше. Красавица такая вымахала — не описать. За такой королевой глаз да глаз, моргнуть не успеешь — уведут. Платон Данилович с ног сбился, каждый шаг караулит. А она моду взяла: чуть минута свободная — у церкви вертится.

— Что ты там потеряла? — Платон Данилович спрашивает.

А Лизунова отвечает — голос, мол.

— Слышу, ровно зовет кто. Глухо так: «Лизуно-о-ова...»

А кому же звать? — нет там никого, одна пустота и заброшенность. Окна выбиты, двери заколочены, ни креста, ни колокола — все скинули. Отца Владимира тоже нет — выслали, с год как на Соловках. А тут новое испытание. Кувшинников Прокоп, председатель, велел все иконы, какие у кого остались, к церкви сносить и в кучу сваливать. Два образа лично шашкой изрубил — Троеручицу и Всех скорбящих. Остальные приказал в алтаре сложить, царские врата опечатал, сказал — жечь будем.

И вот тогда именно Лизунова по ночам пропадать стала. Как полночь — за дверь, и нет ее. «Истинное наваждение», — ворчит Платон Данилович. Целую неделю он ее выслеживал, думал в паре с ухажером и накрыть. И наконец выследил. Поймал — она как раз из церкви вылезала, из

окна. Схватил за ухо, а у нее под платком доска какая-то. Пригляделся — батюшки, икона!

— Да ты знаешь, что тебе будет?

А Лизунова ему:

— Жалко ведь — сгорят. А я спрячу. Не найдет никто.

Платон Данилович раз ее предупредил, другой — все впустую. Тогда он, как положено, вожжами два или три раза по ней прошелся, так, для порядка, не больно, а потом в сарай запер. Вечером не выдержал, подкрался — и в щелочку. Видит — Лизунова на земле сидит, а перед ней коза Нюра. Коза как коза вроде, только на рогах у нее крест из света. И голос, тихий такой, еле слышный:

— Это ради тебя, Лизунова... в животном образе явился... Жених я твой...

Платон Данилович не знал что и думать. Коза Нюра сто лет у них, и никогда такого не было. Вот сидят старики дома, голову ломают. Анна Лукинична и говорит:

— Жениха ей правда надо...

Платон Данилович только рукой махнул.

— Добра-то этого... Не знаешь, куда девать...

Ну, что правда, то правда. Женихов-то у Лизуновой хоть отбавляй. Так и ходят по пятам. Кувшинников, например, Прокоп, председатель, аж зубами скрипит:

— Хороша-то как! Вот ведь кикимора! Не могу я без тебя, Лизунова!

Прокоп раньше последним мужиком в деревне был — пьяница. Не трудился никогда, не сеял, не пахал. Кормили его, конечно, кто чем мог. Кто хлеба подкинет, кто картошечки. Платон Данилович сам сколько раз молочка ему козьего посылал. А теперь Кувшинников — председатель, первый человек. Дом у него крепкий, какой у Телятникова отобрали, у зажиточного, жена молодая, из городских.

— Ты не смотри, что жена, — говорил он Лизуновой. — Она не помеха. Не будет ее скоро.

И вот в один прекрасный день подкатывают на телеге трое — из района. Салоги, оружие, фуражки. Весь день у Кувшинникова сидели, вино пили, вечером обратно собрались. И Настю, жену Прокопа, с собой сажают. Везут, сумерки уже, а Фрося, племянница Платона Даниловича, за телегой бежит, Настю за ногу держит.

— Настю увозят! Настю увозят! — кричит.

Народ, конечно, из домов повыходил, стоят, смотрят. Кувшинников тоже на крыльце стоит, безучастный. Спрашивают у него:

— Как же так? Ведь жена все же...

А он только плечами играет.

— Значит, так надо...

А как один остался, никакой управы совсем на него не стало, вконец дикий сделался. Выпьет вина — и на колокольню. «Вся власть Советам!» — кричит. И флагом сверху машет — красным. Потом этот флаг на дом Лизуновых прибил. Декрет объявил: все имущество на общий двор свозить — плуги, бороны, повозки. Сказано — коллективное хозяйство. Красную бригаду завел, три человека. Ходят по домам, все, что увидят, забирают: коров, лошадей. У Лизуновых козу Нюру увели. Бригадиром-то сначала никто не хотел идти. Потом взялся один — Евсей Волюнкин, конокрад. Все знали, что он раньше коней крал и цыгану Феде продавал.

И вот как эти дела пошли, собрались люди и к Лизуновым.

— Выходи, Лизунова, за Прокопа! Изведет он нас!

А Лизунова отвечает:

— Прямо не знаю, как быть. У меня вообще-то жених есть.

— Какой еще жених? — спрашивают.

— Небесный. Уж не знаю, чем вам помочь...

Лыков, сосед, так с хохоту и покатился.

— Ой не могу! Это кикимора-то! Вот уморила! Жених небесный!

Долго Лизунову уговаривали. Неизвестно, чем бы все кончилось, только прибегают Фрося, племянница, глаза круглые:

— Председателя везут!

Кинулись на улицу, а там точно — Кувшинникова на телеге везут. Голова в крови, мотается из стороны в сторону. Когда хоронили его через день, говорили — мол, бандиты и кулаки, враги трудового народа! Но все знали, что это дело Евсея Волынкина. Так все и сказали — Волынкин! Он еще когда Прокопу грозился: «Оставь мне Лизунову! Отступись!» А неделю назад привел красную бригаду к Лизуновым, спрашивает: «Пойдешь за меня?» И стали они все, что у Лизуновых осталось, забирать. Все остатки хлеба подмели подчистую, даже дерюги, куда хлеб ссыпают, тоже забрали. Отбросы и те унесли, прямо в горшках. А когда уходили, Волынкин говорит: «Не пойдешь за меня — всю семью выселим! И дом заберем!»

Тогда же цыган Федя снова объявился. А Федя этот был на самом деле не кто иной, как оборотень и бес. Ведь знали, что он лошадей уводит, а поймать не могли. Волынкин так прямо и сказал Феде — добудь мне Лизунову и все тут! Люди слышали. Вот после этого Кувшинникова и нашли с проломанной головой.

На поминках Волынкин так напился, что не мог домой идти, упал на дороге и лежит. Следом Чуркин Петруня и Балакшев Мишата шли. Увидели Волынкина, подняли и повели, но не домой, а в сторону, где колодец. Так в колодец и бросили. Лизунова от церкви идет, слышит: «Караул!» Понять только не может — откуда? Ну, потом, конечно, людей позвала, вытащили бригадира на цепи. Вот моет она его дома пьяного и бормочет:

— Зачем мне жених земной? Смрад один...

Волынкина скоро забрали на телеге вместе с цыганом Федей. Их как по улице везли, Чуркин Петруня на гармошке играл, рано еще было, чуть рассвело. Петруня потом рассказывал — как телега от дома отъехала, поднял он голову, а над трубой нечисть какая-то в воздухе висит вниз головой. И цыган Федя в тот момент с телеги пропал. Вот почему и говорят — не цыган он, а бес.

К этому времени уже голод повсюду большой стоял, есть совсем нечего стало. Хлеб из лебеды пекли или из коры дубовой. А Чуркин Петруня все с гармошкой, веселый такой, придет к Лизуновым, смеется:

— Это не беда, что в хлебе лебеда. Жди беды, когда нет лебеды.

Мать его Паша, она из соседней Лубни, ее так и звали — Паша Лубнинская, каждый день у Лизуновых. Однажды вот так приходит, платье на ней нарядное, платок с розочками, и спрашивает:

— Нет ли у вас товара для нас подходящего?

А Платон Данилович отвечает:

— Как вы купцы, то товар у нас найдется.

Короче сказать, сосватали Лизунову, ударили по рукам и стоворились после Рождества свадьбу играть. Лизунова, как узнала, спрашивает:

— А как же тот — небесный? Как же с ним?

Но Платон Данилович так говорит, что все равно лучше Петруни не будет — веселый и на гармошке играет.

Только как холода завернули — совсем беда. Не житье стало, а Божье наказание. Мор такой взялся, что не приведи Господи. Идешь по улице, а по дороге умершие, так и лежат. Их и подбирать некому — обессилели все. Ходят, от слабости шатаются.

Лизунова однажды вышла из дому, а напротив, возле забора Лыкова, двое лежат в снегу. Постояла она над ними, потом снег смела, смотрит — а это Чуркины, Петруня с матерью. Видно, к Лизуновым шли, не дошли. Паша-то еще живая, дышит, а Петруня — тот уже окоченел. Лизунова туда-сюда, вокруг никого. Сходила она за Лыковым, тот сам еле ноги передвигает. Ну, вдвоем они подобрали Чуркиных. Петруню-то в подвал убрали, а Пашу в дом к Лыкову снесли. Неделю она в беспмятстве лежала, есть просила. Лизунова как-то заходит, а в комнате дух мясной. У нее аж голова закружилась. Смотрит, у Паши в тарелке мясо, целый кусок. Вышла Лизунова на улицу и говорит:

— Знаю, откуда мясо...

Ну, весной-то, конечно, легче — весной травы, зелень. Щавель конский варили в больших чугунах, ели. Паша уже на ногах, по двору ходит. Вот гуляют они, тепло, а Лизунова рядом, в подвал не пускает.

— Не ходи туда, тетя Паша.

Но однажды не углядела, опоздала. Прибегает, а Паша в подвале. Стоит, на останки смотрит, какие от сына ее остались. А там, считай, и нет уже ничего, одни куски разрубленные. Паша и говорит:

— Что ж ты стоишь, Лизунова? Иди готовься, свадьбу играть...

Потом Паша все ходила босая, в рубашке, пела, а вечером пропала. Искали ее, искали — не нашли. А через неделю Балакшев Мишата прибегает:

— Собирайтесь скорее! Конец света идет!

Платон Данилович ему подзатыльник, а он свое:

— Паша Лубнинская пророчит! Говорит — светопреставление!

Вышли из дому, а там правда Паша Лубнинская. Грязная вся, оборванная. Люди вокруг, кто зиму пережил. Паша палец в небо уставила:

— Бог не Яшка, знает, отчего тяжко!

Вокруг себя обернулась раз, другой и говорит:

— Все беды от коммунистов! Не простит им Господь голода и разрухи!

Лизунова спрашивает:

— А как это — светопреставление?

Паша глаза закатила, бормочет что-то, слюна на губах. Потом по кругу пошла, пританцовывает. Фрося, племянница, хлопает ей ладошками.

— Ой, чисто святая! Все правда! Дед мой тоже говорит — жди конца. Третья рыбина скоро сдохнет.

— Какая еще рыбина?

— На которой земля стоит. Первая-то давно сдохла, потоп тогда всемирный был. Потом другая — это революция когда была... Теперь вот третья... Это и будет светопреставление...

Паша и срок назначила — суббота перед Троицей. Говорит — готовиться надо. Чтобы через молитву и очищение легкость в себе получить и готовность лететь к Богу. Машет Паша руками, завывает:

— Прыгнуть — и туда! К Богу! Душа возносится!

Две недели в деревне готовились. Рубах смертных понашивали. У кого гробы были, во двор повытаскивали, приготовили. Лизунова с Мишатой по домам ходили, прощенье у людей просили. К соседу Лыкову тоже зашли. Лизунова ему вещи, какие у нее остались, отдала — валенки, платок. Ей теперь не нужно. И с Мишатой они как жених с невестой. Он ей — «радость моя», она ему — «дорогой мой». Мишата потом вспоминал — лучшие дни в его жизни.

— Ты, Лизунова, точно с неба нам послана.

В самую субботу перед Троицей старик объявился в лохмотьях. Откуда он — никто не знал. Поднял всех — и на кладбище. Между могил ходит, клюкой по крестам стучит.

— Вставайте, мертвые! Вставайте!

И тут как по заказу — гром, молния, сполохи во все небо и ливень. И все заторопились, забежали, прыгать принялись. Кто посмелее, на колокольню полез или на забор. Мишата — тот на крышу сарая забрался. Лизунова кричит ему:

— Не надо, Мишата, слазь!

А он не слушает, стоит на крыше в белой рубахе, губы шевелятся:

— Вот оно, счастье... Вот оно... вместе с тобой...

Лизунова, конечно, слов его не слышит, она внизу на коленях у могойльной плиты. Под этой плитой вся родня лизуновская.

— Господи! Перед входом стою! Отвори двери! Допусти к жениху!

И тут перед ней Балакшев Мишата. Сначала свет белый, а потом вместе с грохотом и Мишата сверху. Дождь ему прямо на лицо, кровь смывает. Он как раз на камень угодил, лежит, встать не может. А вокруг вместо песнопений — крики и стоны. Покалечились многие — кто ребро сломал, кто руку. Мишата сам несильно разбился, нога у него только вывернулась в сторону. Его так на руках домой и доставили.

Он до осени уже не вставал, лежит, нога к доске привязана. Лизунова каждый день у него. Придет, а кормить нечем.

— Я так умереть могу очень даже легко, — говорит Мишата.

Чуть крошка какая у Лизуновой выйдет, она ему сразу. Сама высохла вся. Старики видят — дочь на глазах тает. Вся красота ее ангельская уходит. Они и говорят:

— Езжай-ка ты, дочка, в Москву, устройся там. Хоть на кусок хлеба заработаешь да обуешься.

Мишата тоже говорит:

— Езжай, а то помрешь вместе со мной...

А в Москве — известно: карточки, жить негде. Ходила Лизунова сначала на поденную работу — гнилую картошку перебирать. Вот ей и питание. А в общежитии, как она там поселилась, тоже наваждение. Комендант говорит — никогда такого не было. Женихи будто с ума посходили, не дают Лизуновой проходу. Как вечер, набьются в комнату, не продохнуть. Сама Лизунова в углу сидит, молчит. Потом выскользнет незаметно и на лестницу. Кинутся за ней, а ее и след простыл, как растаяла. Вот до ночи ходят, ищут ее. Серафима, подруга (кровати их рядом), смотрит на это и говорит:

— Ишь ломается, выбрать никак не может. И за что людям такое счастье?

Соседки по комнате (их там еще четверо) только вздыхают:

— Такой красоте тоже не резон за всякого идти.

А женихам, конечно, обидно: ходят — и все впустую. Вот трое заводских, Марченко, Солопий и Поздняков, сговорились однажды. Выпили вина — и к Лизуновой. Соседок ее перед этим вызвали, в подвале закрыли. Это вечером, поздно уже. Но только как к Лизуновой вошли, так будто слепые сделались. Не могут к ней приблизиться и все тут. Ощупью ходят, на стулья натываются. Потом уже Моргачев Шура с третьего этажа пришел, вывел всех. На лестницу проводил и сказал:

— Не делайте больше так.

А заводские как очухались, давай грозиться:

— Знаем, что тебе нужно! Сам туда ходишь! Мы еще до тебя доберемся, толстовец!

Моргачев точно — каждый вечер к Лизуновой чай пить приходит. Он сам месяц как из деревни. Вот выпьет кружок пять и говорит:

— Мне бы по правилам не надо к тебе ходить. Потому единомышленник Льва Толстого не должен думать о похоти. Отвергаем мы ее.

Соседки упрекают Лизунову:

— И чего ты тянешь? Только парня мучаешь! Жених-то какой! Не пьет, не курит, не ругается.

А Лизунова отвечает:

— Подождать надо...

— Да чего ждать-то?

— Не знаю уж чего, но надо.

А через день прибегает Серафима, лица на ней нет.

— Ты что как угорелая? — спрашивает Лизунова.

Серафима губы поджала, на стул садится.

— Ты тут прохлаждаешься, а Шуру твоего забирают.

Лизунова на третий этаж. Там в коридоре двое в шинелях, с винтовками. В комнате тоже чужие. Молодой, лохматый у стола боком сидит, ногу перед собой на стул положил. У стенки костыли стоят.

— Так отчего же ты в армии служить не хочешь? — спрашивает. — Почему не явился на призыв в солдаты?

Моргачев спокойно так отвечает:

— Не могу людей убивать. Мне жалко каждого человека.

— А ты знаешь, что тебе будет за это?

— Я отвечаю только перед своей совестью.

Тогда тот, с костылями, как рывкнет:

— Стоять! Смирно!

А Моргачев опять спокойно так:

— Почему же я должен тянуться перед вами? Разве мы не одинаковые люди? Разве мы не одинаково родились на свет?

Тут еще двое вошли, стали в вещах рыться. Лизунова знала, на шкафу у Шуры чемодан с письмами и бумагами. Передавали под большим секре-

том, что он в Кремль пишет, Калинин — о бесполезности насилия. Вот сняли со шкафа чемодан, раскрыли, а там пусто, нет ничего. Одна куколка какая-то на дне, маленькая такая, из тряпочек сшита. Моргачев сам уставился — глазам не верит. Потом на Лизунову подозрительно так смотрит. Так ничего у него не нашли, уехали ни с чем. Только Шуру Моргачева все равно с собой забрали. Его когда вели по лестнице, потом по коридору, заводские — Марченко, Солопий и Поздняков — все следом шли.

— Добегался, толстовец! Будешь знать, как к Лизуновой шастать!

Лизунова долго ждала известий от него, но ничего не было. Вместо этого летом уже письмо из деревни: «Приезжай, мать и отец от голода померли». Взяла Лизунова хлеба — и на поезд. На станции вылезла, а там такое — смотреть нельзя. Люди на земле как мертвые. Черные все, одни глазницы громадные. Дети с раздутыми животами. Женщина, с которой Лизунова ехала, хлеб в руке держала, накинулись на нее. Потом отошли, а она мертвая.

Лизунова сумку через плечо — и в дорогу, там километров пять еще. Как подходить стала, Балакшев Мишата навстречу идет, хромает. Нога у него зажала, но так короткой навсегда осталась.

— Ваша Фрося лизуновская тоже померла, — говорит. — Вся семья их. Никого в доме. Одна Дашка-малолетка.

Лизунова сразу туда, а там Даша на полу сидит, в миску вцепилась. В миске вода холодная и очистки от свеклы гнилые. Лизунова миску отнимает, пахнет она — «я тебе хлеба дам», — а Даша не отдает. Плачет, говорит — борщ.

В тот же день отправилась Лизунова на кладбище с Мишатою, а там запущено все, мусором завалено.

— Где же мои здесь? — спрашивает. — Цветочки посадить...

— А нету могилки, — отвечает Мишата. — Все в одной яме. Мои тоже там, все вместе...

Глядят на него Лизунова, а Мишату треплет как в лихорадке: натерпелся, видно.

— Ты не падай духом, Мишата. Ты надейся. После скорби всегда радость. Вечером плач, а наутро радость.

А Мишата остановиться не может, трясется весь, из глаз слезы.

— Все равно все помрем от голода. Как я еще живой, не знаю...

Вот сидят они так, Лизунова гладит Мишату, а он руки ее целует.

— Руки твои больше всего люблю, — говорит.

Наутро Лизунова выходит из дому, а у нее руки тряпкой обмотаны, на тряпках кровь. Берет она лопату — и за дом, где раньше огород был. Мишата за ней.

— Ты не смотри... Ты не смотри... — бормочет.

Лизунова оборачивается.

— Что ты хочешь сказать, Мишата?

— Ты не смотри, что я хромой. Выходи за меня. Раз уж я с голода не помер, живой остался... Выходи...

Не отвечает ему Лизунова, возле изгороди ходит. Потом копать принялась. Выбрала земли немного, а там в яме иконы, какие она из церкви тогда вынесла. Мишата снова:

— Так что ж, пойдешь, а?

Тут откуда ни возьмись — вихрь на дороге. Вроде бы тихо было, и вдруг сразу — пыль столбом.

— Вот она, наша свадьба, — показывает Лизунова.

А как улеглась пыль, говорит:

— Не могу я, Мишата.

— Да что ж такое?

— Этой ночью приходил ко мне юноша светлый. Взял меня за руку, поднял на воздух и на облако поставил.

— А с руками у тебя что? — спрашивает Мишата.

Лизунова отвернулась и говорит:

— Не надо тебе их любить... Нечего...

Мишата так и ахнул.

— Неужели сама? Порезала? Так я и думал.

А Лизунова опять:

— Не надо тебе их любить.

В тот же день Лизунова все иконы людям раздала (многие не брали — боялись), одну себе оставила — святого мученика Вонифатия — и в Москву собралась. Дашу на руки, одежонку с иконкой в узел — и на станцию. Жара стояла тогда сильная. Как дошла — не помнит. Помнит только — в речке они с Дашей мылись. Мишата сначала за ними шел, ковыляя, все хлеба просил. Дала ему Лизунова немного, а он говорит:

— Дура ты, дура! Все жениха ждешь? С неба? Кругом-то что творится! Ну где он, твой жених? Помер небось с голодухи! Околел!

В Москве Лизунова с Дашей сначала в общежитии жила, потом ей комнату дали, это уже после войны. В переулке возле Арбата, дом старый. Там неожиданно жилец из квартиры исчез, пропал неизвестно куда. Он с войны без ног вернулся, на тележке, потом исчез. Управдом Сердюк говорил — наверное, на Севере он. Будто указ такой есть — выселять всех калек из Москвы, таких, как он. А у инвалида не было никого, его и не искал никто. Освободилась комната — и хорошо. Управдом Сердюк так и сказал:

— Повезло тебе, Лизунова.

А Лизунова ему:

— Это святой Вонифатий, спасибо ему...

Вот явилась она по адресу, святой Вонифатий в руках, соседи, конечно, тут же. Сначала стриженный какой-то, в майке, не старый еще. Увидел Лизунову, рот раскрыл.

— Новенькая? — спрашивает. И ключами на поясе гремит.

За ним старушка убогая, увидела икону, перекрестилась и в конец коридора шаркает. Кричит оттуда:

— Хорек! Паршивец! Опять уборную запер? Отопри сейчас же!

Стриженный от Лизуновой глаз оторвать не может.

— Молчать! — кричит. — В карцер захотела? Получишь у меня трое суток!

Потом идет, ключами гремит, открывает. Лизунова первое время боялась его. Выйдешь в коридор ночью, а он на табуретке сидит под лампочкой, ключами играет.

— Статья? Срок? Выходи на opravку!

Утром Лизунова ведет Дашу мыться, он следом.

— Живей, живей! Конвой ждет!

Однажды останавливает ее в коридоре:

— Я тебе доверяю, Лизунова...

Говорит, а сам на стенку смотрит за ее спиной, пристально так. Обернулась Лизунова, а на стене таракан.

— Каждый раз на этом месте, — шепчет Хорек. — Я уже заметил. Один и тот же. Подслушивает. Не таракан это...

Отвел Лизунову подальше и снова:

— Я тебе доверяю, Лизунова. И ты мне верь! Служба у меня такая — тюремная. Теперь я на пенсии. Но ты не думай... Я тебе доверяю...

И вот как-то вечером вызывает ее из комнаты и тетрадку какую-то сует, а сам все оглядывается.

— Спрячь, Лизунова... Сохрани, если что...

Тетрадь грязная, мятая, табаком пропахла. Раскрыла ее Лизунова, читает: «Ванин и Шинкаренко за заключенными на прогулках не смотрят, играют в домино и даже в карты». Почерк корявый, чернила выцвели. «Трофимов и Беликов едят эковскую пищу. Им банщик в чайнике носит для конспирации».

Листает Лизунова — ерунда какая-то! «Андреев пришел в расположение пьяный и в столовой голову в миску уронил... Шукин, находясь на посту, целовался с заключенной». Лизунова не стала дальше читать, убрала тетрадь в шкаф и, наверное, не вспомнила бы про нее больше, если б не случай. Даша уже тогда школу окончила, взрослая совсем. Приводит она как-то гостя. Посадила на диван, чем занят — не знает. А потом возьми и дай ему тетрадь, вспомнила. Гость полистал и спрашивает:

— Что это за любовная переписка?

Смотрит Лизунова — на последней странице через весь лист: «Выходи за меня, Лизунова. Я тебе доверяю». Чернила свежие, а почерк все тот же — корявый. Даша тогда забрала тетрадь и показывает на гостя:

— Это мой жених, Арнольд Капитонович. Его жену на Трубной раздавило, когда Сталина хоронили.

А Арнольд Капитонович к Лизуновой привязался.

— Отчего же вы замуж не пошли?

Даша у виска крутит: мол, помешанный, как же — выйти?

— Ну и что? — удивляется Арнольд Капитонович. — Ведь так-то хуже. Одиночество и изоляция. Вот вы живете и чувствуете себя покинутой, правда?

— Нет, — отвечает Лизунова. — Не чувствую.

— Ну, тогда вам, наверное, кажется, что вас никто не понимает. Ведь кажется?

Лизунова опять отвечает, что нет, не кажется.

— А подавленность? Подавленность-то уж точно есть! Вас никто не любит, вы хуже других — ну, угадал?

Лизунова только плечами пожимает — нет ничего такого.

— Да как же? — кипятится Арнольд Капитонович. — Должно же что-то быть, должно! Иногда вы говорите себе — все меня покинули. А окружение? Много у вас друзей?

Лизунова закатывает глаза и думает.

— Хорек вот да Марья Силуяновна, соседка. Кто же еще...

— Вот видите. Вот и надо вам замуж.

— Очень нужно! — говорит Даша. — Мужик-то! Носки его грязные стирать! Одной-то лучше!

Ну, Даша с Арнольдом Капитоновичем потом, конечно, расписались, все как положено. Даша тогда же к мужу переехала. У него квартира большая на Садовой, от жены осталась. Первое время Даша часто в гости приезжала, машина у них своя. Пройдет по коридору, духами от нее на всю квартиру. Всегда привезет с собой что-нибудь — колбасу там или сыр. Сидит, смотрит, как Лизунова хлеб ест с колбасой, смеется:

— А ты все ждешь? Жизнь прошла — и нет ничего...

А Лизуновой — что? Ей хоть сейчас замуж, если нужно. Она в летах уже, а к ней на улице до сих пор пристают. Знакомятся, адресок спрашивают. Управдом Сердюк тоже проходу не дает. Встретит во дворе, всегда остановит:

— Плохо твое дело, Лизунова. Что как жилец пропащий вернетсѧ? Отберут у тебя комнату...

— А как же я? — пугается всякий раз Лизунова.

— Нет у тебя другого выхода. Расписывайся со мной. У меня комната хорошая, теплая.

Каждый выходной Сердюк лично заходит, насчет насекомых интересуется — не беспокоят ли?

— На днях порошок со станции получили — английский. Тараканов враз душил.

Однажды приходит, пакет прозрачный показывает, в пакете порошок белый, как мука.

— Не пойдешь за меня, Лизунова, — отравлюсь!

Это и был тот самый английский порошок от тараканов. Ну, Лизунова, конечно, испугалась. А тут еще Марья Силуяновна: венчайся да венчайся! Батюшка у нее знакомый, отец Сергей. Вот Марья Силуяновна и говорит Сердюку вроде бы как от имени Лизуновой, условие ему ставит — чтобы непременно в церкви венчаться.

— Как же в церкви? — говорит Сердюк. — Нельзя мне. Партийный я.

Лизунова и рада: нет так нет, значит, ОН не хочет. Только через неделю Сердюк вновь является.

— Ладно, будь по-вашему! В церковь так в церковь...

А Марья Силуяновна — новое дело.

— Только тебе прежде креститься надо, — говорит.

Сердюк аж пятнами красными пошел.

— Ну, бабка, смотри! Чтоб ни одна живая душа!

Марья Силуяновна не стала тянуть, тут же к отцу Сергию, тот сказал — крестить так крестить, пусть приезжает. А служил отец Сергей за городом, в Пушине. Вот собрались, повезли Сердюка в Пушкино, в субботу. Только в поезд сели, отъехали немного — калека какой-то:

— Помогите кто чем может...

Голос вроде знакомый. Лизунова кинула мелочь, потом голову подняла.

— Марченко, ты?

А это точно — из заводских; были такие — Марченко, Солопий, Поздняков. В комнату к ней тогда ломились. Ну, Марченко-то Лизунову сразу признал.

— Прости, королева! Прости нас!

Голос гнусавый, сам весь в шрамах, костыль под мышкой.

— За что же прощать? Я на тебя не в обиде, — отвечает Лизунова.

А Марченко руку ее ловит, губами тянется.

— Нет, ты прости! За Моргачева Шуру прости. Понесли за него наказание сверх всякой меры. Дружки мои на фронте остались, Солопий и Поздняков. Я вот живой. Из войны вышел, да все в люди выйти не могу. Сними грех, царица!

Лизунова с собой его тогда приглашает, а Марченко говорит:

— Я крестным свидетелем могу. Мне все равно делать нечего.

Вот едут они вместе. Сердюк, конечно, против, кипит, ничего слушать не хочет. А как в церковь вошли, так все и началось. Отец Сергей только к Сердюку подходит, у того корчи начались, выворачивает его наизнанку. Упал на пол и животом вверх выгибается. Потом и вовсе на воздух поднялся, изо рта дым. Ногти у него черные выросли сразу, язык вывалился.

Отец Сергей за крест на груди хватается.

— Бес это в нем...

А Марченко костылем стучит, смеется:

— Партийный он, вот его и выворачивает...

Ползет Сердюк к выходу, голова на шее по полу волочится. И тут в дверях мальчик какой-то светлый, никто не знает — чей. Лизунова мальчика этого именно очень хорошо запомнила.

Уж сколько времени с тех пор, а она его сразу признала. Выходит как-то на кухню и говорит:

— Сон мне сегодня был. Мальчик беленький, который в церкви тогда... Пришел и всех тараканов из квартиры вывел.

Марья Силуяновна сказала:

— Прибавления в семье жди... Мальчика...

Даша как узнала про сон, обрадовалась: мальчик. Они с Арнольдом Капитоновичем сколько живут, а детей нет. А тут Даша полгода уже в положении. Ну а как пришел срок — точно, мальчик у нее родился, светленький. Марья Силуяновна крестить его возила к отцу Сергию. Вот возвращается из Пушина, рассказывает:

— Что за дитя! Батюшка выходит, а он ручонки вверх тянет. Будто благословляет. Отец Сергей так и сказал — избранный отрок. Счастливый будет.

Даша потом часто Тишу привозила. Марья Силуяновна не нарадуется на них:

— Гляди, как Даша хорошо живет. Все у нее есть. А ты все одна, именно что одна.

И вот, значит, вечером она так сказала, а утром все и стряслось.

Выходит Марья Силуяновна на кухню и смотрит на Лизунову.

— Что-то ты рано сегодня, ни свет ни заря. Проснулась я, голоса в коридоре — твой и Дашин. Что ж, думаю, так рано?

— Бог с тобой, Марья Силуяновна! Нет у меня никого. Спала я, только встала.

Марья Силуяновна так руками и замахала.

— Ой, что ты! Давно у тебя Даша-то была? Это от нее знак. Худое что-то, несчастье...

Ну так оно и вышло. Именно в этот час, под утро, потом рассказывали. Арнольд Капитонович задремал, видно, за рулем. А тут грузовик военный, колонна шла. Весь верх у машины так и срезало. Хоронили их в закрытых гробах, никто не видел. Народу на кладбище много, все родственники Арнольда Капитоновича. Один из них, низенький, похожий на Арнольда Капитоновича, сын его от первой жены, все приставал к Лизуновой:

— Как же теперь с Тишей? Может, в детский дом?

— Не надо в детский дом, — говорит Лизунова.

Вечером в квартире поминки, Хорек, Марья Силуяновна, а она Тишу с собой привозит. Мальчик тихий, ласковый, не беспокоит никого. Одна беда — губа у него заячья, говорит плохо, заикается. Один Хорек и понимает его. Всё подарки ему делает. То ножичек перочинный, то еще что-нибудь. Подросток Тиша, костюм ему Хорек подарил.

— Гляди, как влитой. Ровно на тебя шили. Я тебе еще пальто подарю. У меня этого барахла много. Ты так и скажи Лизуновой — мол, целый шкаф.

Тиша так и сделал, как просили, — промычал что-то, но Лизунова, видно, не поняла, отмахнулась: зачем ей шкаф? Она к этому времени еще уборщицей устроилась. Потом посуду пустую собирала. Наберет полную сумку, отнесет на приемный пункт — и хорошо, жили кое-как. Вроде бы все уладилось, чего же еще?

Только хорошо до конца никогда не бывает. Вот однажды стирает Лизунова на кухне, а тут — звонок. Открывает она, а на лестнице никого. Потом опустила глаза — внизу инвалид на тележке. Увидела его Лизунова, ахнула: вылитый мученик Вонифатий с иконы — плешивый, обросший. Лизунова так сразу и решила, что это хозяин комнаты.

Поездил инвалид по коридору на своей тележке, поездил, потом остановился, оглядел Лизунову снизу.

— Ладно, — говорит. — Живите пока... Не жалко...

Весь день Лизунова места себе не находила:

— Выходит, не врал Сердюк, отнимут у меня комнату. Куда же нам теперь с Тишей?

На другой день прибегает Тиша к Марье Силуяновне, а она понять ничего не может.

— Что ты говоришь? — спрашивает.

Наконец поняла — Лизунова встать не может, ноги у нее отнялись. Марья Силуяновна схватила Тишу за ухо, больно так, и на колени ставит перед иконой.

— Молись! Кайся в грехах!

— Бу-бу-бу, — бубнит Тиша. Это значит — какие у меня грехи?

— Не свои, не свои — чужие! Кайся!

И костяшками по голове. Тиша пошептал что-то, потом вырвался в коридор и опять:

— Бу-бу-бу... (Какие у меня грехи?)

Врач сказал — Лизуновой питание хорошее нужно. А где деньги взять? А тут вдруг Тиша приносит — двадцать пять рублей, и все мелочью.

— Откуда у тебя деньги? — спрашивает Лизунова.

Тиша на потолок показывает — мол, Господь Бог.

А потом Марья Силуяновна как-то из церкви возвращается из Пушина, говорит:

— Тимофея твоего в поезде видела. Ходит по вагонам, милостыню просит. Бормочет что-то, будто сирота. Никто не понимает. Но деньги дают.

Лизунова потом спрашивает Тишу:

— Что ж ты?.. Будто сирота? Я у тебя, слава Богу, есть пока...

Тиша долго деньги носил. Сначала много, потом меньше. Известное дело: как деньги у человека заводятся — он пить начинает. Тиша теперь каждый почти день с бутылкой. Лизунова извелась вся, не знает, что и делать.

— Ты бы к родителям на могилку съездил, — просит она. — Цветочки посадить...

А Марья Силуяновна говорит:

— В костюме все дело. Костюм-то Хорек ему подарил. Известно, откуда у Хорька вещи. Напускные они. Сжечь костюм надо.

Лизунова и согласилась, отдала соседке костюм. Та ночью сожгла его в тазу у себя в комнате. Хорек все ходил под дверь, принюхивался.

— Режим нарушаешь? — кричит.

Как исполнилось Тише шестнадцать, в самый день рождения Лизунова поднялась. Платье надела чистое, думает — что же Тише подарить? Открыла на всякий случай шкаф, знает — нет там ничего. Смотрит — в углу коньяк, целая бутылка. Тиша, значит, оставил. Взяла она бутылку — и на улицу. Идет, голова кружится. Вышла на Арбат. Вокруг иностранцы, художники. Торгуют кто чем может: картины, игрушки. Тут же стол под навесом — благотворительная лотерея. Молодые ребята в куртках плакат держат: «Фонд милосердия».

— Будьте великодушны! — кричат. — Помните о своих братьях и сестрах!

Лизунова рядом встала, бутылку перед собой держит. Люди мимо идут, на нее не смотрят. Один черноусый остановился.

— Сколько хочешь за бутылку?

— Сколько дашь, — отвечает Лизунова. — Мне подарок купить надо.

Черноусый постоял, подумал.

— Воду, наверное, налила...

Потом из магазина уборщица вышла, прогнала Лизунову.

— Пользуются несчастьем, что вина в магазине нет...

Пошла Лизунова в другое место. Там столики на мостовой, люди сидят, у кого мороженое, у кого кофе. Поставила Лизунова бутылку на стол, сама с краю пристроилась. Женщина какая-то рядом толстую девочку мороженым кормит.

— Иди, бабка, отсюда со своим коньяком.

Пошла Лизунова обратно. Во дворе ребята окружили ее, толкают. «Невеста! — дразнят. — Невеста! Где твой жених?» Присела Лизунова на лавочку дух перевести, перед глазами круги черные. А как открыла глаза — нет бутылки. «Вот и хорошо, — думает. — Тиша сегодня пить не будет».

Стала она домой подниматься, а на лестнице сидит кто-то. Старик какой-то лохматый, грязный весь, оборванный. Халат на нем не халат, рубашка длинная, застиранная. Сначала-то Лизунова не заметила, а потом глядит — за спиной, где лопатки, крылья у старика. Не так чтобы большие, только замызганные очень, обтрепанные, перья все повывлазили.

— Ты кто? — спрашивает Лизунова.

— Жених твой! Не узнаешь?

— Господи, какой еще жених?

— Какой-какой! Жених, приходящий в полночи! Вести в чертог брачный!

Лизунова так и села тут же на ступеньки.

— Что же ты! Все обещал, обещал! Я ждала... А теперь куда ж — старая я! Помирать уж скоро... Отлетит душа моя...

Старик закашлялся, головой трясет, глаза слезятся.

— Это ничего, — говорит. — Все наладится. Это ничего. Это сейчас душа и тело раздельны. Потом все по-другому пойдет. Тогда уж конца времен не будет. Тогда все по-другому. Ни возрастов, ни красоты, ни уродства — ничего не будет. Все в едином естестве станут, а различия исчезнут. И пребудет душа вечно бестелесная...

А потом снизу инвалид поднялся на своей тележке. Руками на ступеньки опирается и подтягивает сам себя. Вином от него пахнет, гимнастерка застиранная.

— Познакомьтесь, — говорит ему Лизунова. — Это жених мой.

— Поздравляю, — сказал инвалид. — Только по-настоящему, мать, тебе когда еще следовало за меня идти. Тогда бы комната точно была твоя.

Так они и сидели втроем на лестнице, пока не стемнело. Тиша все не шел.

Колобок

Последний раз, что Мухина на глаза попалась, — это уже в Тамбове, на вокзале. В сентябре, что ли, в самом начале. Мухиной тогда уже под семьдесят было, если на вид прикинуть, но, может, и больше, кто его знает: лет ее никто не считал. На вокзале она тогда у батареи грелась, платок после дождя сушила. А тут дежурный по фамилии Квасов, фамилия у него такая — Квасов, сам смешливый, рот до ушей. Все под руку Мухину норовил, как кавалер, и вежливо так в отделение доставил. Ну а там уж, как заведено, дело известное — рапорт, протоколы, все по инструкции. Мухина эту механику хорошо знает.

Раньше всего — личный обыск. Только при Мухиной нет ничего, описывать нечего. Сумка хозяйственная в пять рублей сорок копеек, кружка алюминиевая, вилка с гнутыми почерневшими зубьями, зеркальце, жетон вокзальный. По жетону получено — мешок матерчатый, черный, с вещами, сильно изношенными: чулки там простые, грубые, юбка сатиновая в заплатках, босоножки.

Дальше карусель, как и везде, как и в других городах. Все одно и то же: «местожительство — без определенного, паспорт — не имеет, род занятий — без определенного». Пишет Квасов в протоколе «невоеннообязанная» и даже сам смеется. А Мухина ему:

— Вот и хорошо, вот и весело.

И на месте подпрыгивает, в ладоши прихлопывает. Квасов ее спрашивает:

— Репрессиям подвергалась?

И пишет: «Не судима». Потом подумал и добавил «со слов» и скобками отчеркнул. А уж словесный портрет — это каким писателем надо быть, чтобы Мухину описать. В ней же ничего нет, ни одной видной черточки. Мухина нарочно просит Квасова прочитать еще раз: «Роста — низкого, цвет волос — с проседью, уши — малые». Что касается роста, здесь правда — рост у Мухиной на самом деле короткий, ее в толпе не увидишь. Как вообще ее среди людей замечают — для Мухиной загадка. Кому она, интересно, нужна?

В особую графу Квасов заносит: «Физических недостатков — нет, татуировок — нет». И тут все верно, руки-ноги у Мухиной на месте, все, как у людей, ничем не выделяется. И рисунками Господь Бог, спасибо ему, не наградил. Оставался еще пункт «особые приметы». Долго Квасов думал, прикидывал так и эдак, шурил глаз на Мухину, наконец вывел: «Одежда черная, черный платок, черное пальто». Потом подошел к ней и громко так, как глухой:

— А теперь, бабка, на пианино поиграем.

А Мухина уже привыкла, знает, что делать. Сама руку тянет, пальцы растопырила. Квасов аккуратно каждый палец к грязной губке прикладывает и на бумагу. Отпечатки вышли слабые, бледные, как у ребенка. Узоров совсем не видно. Потом повели Мухину по коридору, а она только и ждет этого, сама рвется, спешит, потому как теперь — санитарная обработка. Так у них душ называется.

В душевой холодно, грязно, вода чуть теплая, из дверей дует, но Мухина счастлива. Когда еще мыться так доведется, а главное — мыла вдоволь. После обработки Мухину фотографировали, два раза. Сначала прямо в лицо, другой раз сбоку.

— Ты уж, бабка, сиди смирно, — говорит фотограф. — Набегалась.

Халат на нем длинный, а сам он маленький, лысый, лишь за ушами кусты жесткие торчат. И скучный такой, будто покойника снимает. Мухина нарочно на табуретке ерзает и язык высовывает. А дальше, после фотографа, — совсем неожиданное лицо: врачиха. В других городах такого не было. Мухина уже и забыла, какие врачи бывают. Правда, эта какая-то завалыщенькая попалась. Вроде бы молодая, а лицо старческое, памятью, глаза заплаканные.

— Что это вы, бабушка, все шляетесь? — спрашивает. — Дома вам не сидится? Все бегаєте, бегаєте. Дома-то лучше. Дом — это самое главное в жизни. Без дома человеку никак нельзя.

Говорит она про дом, а у самой глаза набухают, краснеют, вот-вот слезами прольются. Мухина ей тогда:

— Хорошо домком, а лучше колобком.

Отвернулась врачаха и пишет: «Дыхание ослабленное, хрипов нет». И выдали Мухиной справку, что может она содержаться в приемнике-распределителе.

Было это точно — в сентябре, как раз первого числа. Почему Мухина помнит, что первого, — дети в школу шли. Когда Квасов в отделение ее вел, она хорошо видела — школьники вокруг. Нарядные все, чистенькие. Кто с родителями, если первый раз, постарше — те больше компаниями, цветов много. Все смеются, разговаривают. Точно что первого числа. Лежит Мухина на нарах в спецприемнике и снова школьников перед собой видит.

— Учитесь, дети, хорошо, — шепчет. — Слушайтесь старших.

В спецприемнике Мухиной нравится: супчик хотя и жиденький, но горячий, хлеб есть, туалет теплый. Народу в камере много, все больше девчонки молодые, покрашенные, дерутся с утра до вечера. Особенно одна, по кличке Кустарка, так и лезет ко всем. Однажды подруги набросились на нее все вместе, избили в кровь, нос расквасили. Забралась Кустарка на нары рядом с Мухиной, толкнула ее локтем.

— Подвинься! Ишь, разлеглась! Тебе в интернат надо к престарелым, а ты здесь место занимаешь. Валяешься только.

Мухина потеснилась и сказала:

— Что я там не видела? Мне, мало-годно, идти надо. Скоро снова пойду.

Она и в самом деле собиралась идти. Надо только время выждать, пока все прояснится. Сейчас-то ее никто не отпустит. Теперь во все концы запросы на нее летят, карточки проверяются, людей опрашивают, не знает ли кто старушку на карточке, то есть Мухину, не совершала ли она преступлений и прочее. Так ей объясняли везде. Мухина верила и терпеливо ждала. Важничала, конечно, — подумать только, какое внимание ей: скольких людей подняли! А когда Мухиной весело, она и других веселила. Соберутся утром все в коридоре, весь персонал, а она уже тут как тут. И все уже знают — концерт будет. Выйдет тогда Мухина перед ними и начнет — кругами топчется, по бедрам хлопает, бормочет:

— Мажь, мажь, хлеб-то наш...

Или еще:

— Девочки-конфеточки в серебряной оберточке...

Неловко так кружится, неуклюже, ботиками шаркает. Но все смеются, даже в ладоши хлопают, говорят:

— Народная артистка...

А через месяц как-то вечером, уже спать укладывались, Мухина и говорит Кустарке:

— Ты мне, мармеладка моя, заявление напиши. Сама-то я малограмотная.

И бумагу с карандашом достает — выпросила у кого-то.

— Куда ты, дура? — отозвалась Кустарка. — Зима на носу!

— Нажировалась я, криво-неправо, будет.

Кустарка только пальцем у виска покрутила. Вдвоем они составили бумагу. Мухина диктует бойко, знает, что писать: «Прошу выдать мне справку об освобождении и направить на жительство...» Мухина морщит лоб и смотрит в потолок.

— Ну давай скорее, — Кустарка зевает. — Куда тебя направить?

Мухина пошевелила губами и сказала:

— Елец... Пиши — город Елец...

— Почему Елец? — спрашивает Кустарка равнодушно.

— Дочь как-то говорила: есть, мол, такой город Елец... Моя дочь... Давно еще...

Кустарка продолжает: «...в город Елец, где я смогу прописаться и где у меня хорошие знакомые. Адреса и фамилии знакомых назвать отказываюсь...»

— В интернат тебе лучше, — советует Кустарка, глаза у нее слипаются.

А Мухина свое: «От направления в дом-интернат отказываюсь...» Ну и дальше там что всегда: «Об ответственности за бродяжничество предупреждена. Жалоб и претензий к сотрудникам не имею...» — и прочее. Посмотрела потом Мухина на бумагу и языком прищелкнула.

— Ловко, черти тебя посоли...

Мухина знала, что делала. Все сошлось по ее словам. К зиме мест в приемнике не хватает, не могут всех разместить. Сами сотрудники смеются:

— У теплого места всегда тесно...

Ну, понятно, как увидели ее заявление, так сразу и решили — отпустить, пусть идет, раз расписка есть, обрадовались даже. Это уже в октябре было. Выдали ей сумку и мешок, все вещи в целости. Сидит Мухина в приемной, дежурный Сысоев документы оформляет. Один глаз у Сысоева неживой, стеклянный.

— Не набегалась еще? — спрашивает он, глядя боком в бумагу. — Не надоело? Ты на себя-то погляди. Одной ведь ногой уж в могиле.

А Мухина пятак медный достала, в глаз вставила и сидит, головой крутит, Сысоева дразнит. Но Сысоев не видит, пишет. Кончил писать и повез Мухину на вокзал. Кустарка в одном платье увязалась было с ними — провожать, Сысоев отгоняет ее:

— Ступай, ступай отсюда!

А Кустарка все тянет, не уходит.

— Сейчас, сейчас, еще минуточку.

У ворот остановились, а во всех окнах лица — люди на них смотрят. Мухина тогда спиной повернулась, нагнулась и юбку задирает — всему приемнику зад показывает. Кустарка хохочет, а Сысоев побагровел весь, глазом стеклянным мертво блестит.

— Как тебе не стыдно, бабка!

На вокзале Сысоев купил ей билет на ближайший поезд, а сам ждать не стал, пошел пиво на углу пить. Конечно, не просто так ушел, взял с Мухиной слово, что она с вокзала ни шагу. А ей и не нужно никуда. Дождалась поезда, забралась в свой вагон, сидит, в окно смотрит. А как поезд тронулся, ботики скинула, прикорнула на лавке. Только глаза прикрыла — тени перед ней пошли как бы во сне. Девочка маленькая бежит куда-то. За ней инвалид небритый с костылем гонится. Хочет Мухина крикнуть, а тут толкает ее кто-то:

— Ступай, забери свою внучку!

Инвалид тот самый небритый над ней склонился, костыль под мышкой. А в проходе рядом голоса громкие, ругаются вроде. Тут и проводник протиснулся.

— Твоя внучка? — спрашивает.

Смотрит Мухина, а за проводником Кустарка стоит, пальто на ней новенькое, лицо размалеванное, грязное.

— Ее, ее! — подталкивает Кустарка. — Я же твоя внучка, бабушка!

— Ты что ж, старая, внучек разбрасываешь? — Проводник прямо надрыгается, руками размахивает. — По лавкам она шастает! Где билет на нее?

Мухина ноги на пол опустила, никак ботики нашарить не может, платок на голове сбился. Инвалид костылем ей в лицо тычет.

— Билет тебя спрашивают!

— Она русского языка не понимает! — надсаживается проводник, толстый, раскормленный, пуговицы на груди не сходятся.

Кустарка тогда провела рукой по лицу, еще больше краску размазала и черными пальцами проводнику кукиш показывает.

— Нету билета, купить не успела!

И проводник сразу как-то успокоился.

— Вот и хорошо. На первой же станции чтобы сошла. Купи билет, тогда и езд!

А Кустарка ему вслед:

— Ишь, пузо отъел. За трешку небось расстилался бы передо мной!

Она заняла место Мухиной, разлеглась на лавке. Мухина в ногах пристроилась. А ночью, как стал поезд к станции подходить, проводник является за Кустаркой, довольный такой, жует что-то. На груди крошки, пятна масляные. Мухина поглядела в окно на редкие фонари станционные и тоже стала собираться.

— Ты-то куда? — спрашивает Кустарка. — Тебе же в Елец...

А Мухина мешок свой достает, бормочет что-то.

— Яблочко свое не бросит, — говорит проводник и в зубах ногтем ковыряет. — Иди, иди. Только яблочко твое червивое.

Когда выходили из вагона, Мухина посмотрела на куртку проводника (она же низкая, только до груди ему и доставала) и говорит:

— Ишь, куртку-то завозил... Выстирать не может...

Оказались они на станции под названием Сергеево. До утра просидели на лавке. А как рассвело, рынок на площади открылся. Кустарка сходила, принесла в кармане огурцов соленых, хлеб из-под пальто достает. Мухина не стала ничего спрашивать — ну, огурцы и огурцы, и хлеб тоже нужен. Поели они, опять сидят. Мухина птичек увидела, воробьев. Встрепенулась вся, стала остатки хлеба крошить.

— Так-то вот, птички мои, так-то вот, сироты мои...

Смотрела Кустарка на нее, смотрела, а потом спрашивает:

— Ты что ж, для этого и ходишь? Так вот сидеть? Господи, я-то думала...

Она поднялась и пошла на площадь гулять. Долго ее не было. Потом возвращается веселая, возбужденная, в руках узел какой-то. Развернула его, а там платок новый, кофта теплая, толстая.

— Одевайся, — говорит Мухиной. — Сейчас в гости пойдём. А то как нищенка. Ты же теперь моя бабушка.

И опять Мухина ничего не спросила: откуда вещи? Уж очень кофта ей понравилась, вся цветами расшита. Примерила ее — великовата, да не выбирать же. Пальто свое поскорее в мешок убрала, мешок на хранение оставили. Только от вокзала отошли, магазин по дороге. Кустарка говорит:

— Как же в гости с пустыми руками? Нехорошо. Надо бутылку взять.

Зашла и вскоре возвращается с бутылкой. Идут они дальше, а Кустарка все дорогу у встречных спрашивает. Минут через двадцать оказались они возле какого-то дома с палисадником. Дом как дом, ничего особенного — красный кирпич, веранда, заборчик. Позвонили у калитки, долго звонили, никто не выходит. Хотели уже восвояси идти, а потом видят — человек во дворе стоит. Пальто теплое поверх пижамы, туфли домашние. А лицо рыхлое, сытое, мешки под глазами дряблые.

— Мы по объявлению, — говорит Кустарка. — Это у вас дом продается? Там возле станции объявление. Это вот моя бабушка.

Толстяк сразу засуетился, бежит к калитке, пальто распахивается, впускает гостей в дом. Кустарка деловито принялась ходить по комнатам, во все углы заглядывает.

— Ну что, бабушка, нравится? — спрашивает.

Мухина кивает.

— Хороший дом, хороший. Теплый.

В комнатах просторно, обстановка дорогая: кресла старинные, камин, в буфете сервиз за стеклом. Только запущено очень, грязь кругом, вещи повсюду валяются. Осмотрели все, Кустарка и говорит:

— Теперь сделку обмыть надо.

И бутылку достает. Хозяин вроде бы мнетя.

— Да какая же сделка? И задатка еще нет.

А потом подумал и добавляет, что, вообще-то говоря, у него зубы болят, второй день мучается, ничто не помогает. И опять суетится, закуску ташит. Весь стол тарелками заставил — посуда дорогая, из сервиза, а закусьвать нечем — одни консервы да хлеб. Ну ладно, уселись они. Мухина вино белое пить не стала, Кустарка тоже чуть-чуть пригубила. Серафим Власевич (так хозяина звали) один всю бутылку и усидел, вот ему плохо и сделалось. Не сразу, конечно. Сначала-то он просто сидел, голову рукой подпирал.

— Нет у меня никого, — пожаловался. — Один я как перст. Жена вот ушла, бросила! Зачем мне дом? Для нее все старался! Должность какую занимал — сказать страшно! Никто меня достать не мог! Сколько комиссий, ревизий, а я чист! И опять ташу, ташу, несу — все для нее. Теперь, выходит, напрасно! Машину вот продал, сейчас — дом! Ничего мне не нужно!

После этого слезы у него по щекам пошли, он их по лицу размазывает. И вот когда он плакать начал, тогда ему плохо и сделалось. Тошило его на веранде, весь пол изгадил. На двор выскочить не успел. Кустарка увела его в другую комнату, на кровать уложила. А Мухина здесь же, где сидели, прикорнула на диванчике. Опять тени перед ней легкие (снов она никогда не видела), да все какие-то бессвязные, смутные. Вот ребеночка в ванночке цинковой купают, девочка это. Вот девочку эту крошечную к тетке кривой

принесли — пупок заговаривать. Мухиной показалось, будто минута всего прошла, как уже толкают ее, будят. И голос Кустарки:

— Идем отсюда! Скорее!

Мухина легко поднялась, собралась и пошла за Кустаркой. Спустились с веранды, запах там тяжелый, калитку раскрыли — и на улицу. Темно еще, фонарей нет, ветер утренний, холодный, а Мухина без пальто, в одной кофте. Когда до вокзала добрались, рассвело самую малость. Смотрит Мухина, а у Кустарки на плече сумка какая-то большая. Раскрыла ее Кустарка, чтобы деньги достать, а там чего только нет: ложки серебряные, флакон красивый с духами, белье шелковое. И деньги, смятые, в трубочку свернутые. Мухина спрашивает:

— Откуда это?

А Кустарка смеется:

— Хозяин подарил!

Мухина тоже засмеялась:

— Вот тебе и колотушка! Вот и сухари с примочкой!

Смеется и по бедрам себя хлопает. Принесла Кустарка билеты, тут и поезд подходит.

— Ты вот что, мызя-мизюля, — говорит ей внезапно Мухина, — ты одна езжай.

У Кустарки лицо сразу старое сделалось, злое.

— Продать меня хочешь?

— Не судья я тебе, не судья, — бормочет Мухина скороговоркой. — Без меня страдаешься, без меня.

И неожиданно на колени перед ней бухается. Кустарка даже не заметила, как она повалилась. Смотрит, Мухина уже лбом в землю — кланяется. Люди какие-то из поезда вышли, уставились на них, проводники из вагонов глазют. У Кустарки аж слезы на глазах.

— Дура ты старая! Юродивая! Блаженная!

Кинулась в вагон, тут и поезд медленно тронулся, покатил. Мухина бежит за вагоном, руками над головой крутит, так до конца платформы и добежала. Постояла там на ветру, продрогла совсем и поплелась обратно к Серафиму Власьевичу. Еле дом его отыскала, сколько ходила. Калитка как была, так и осталась распахнутой. Сам хозяин еще не просыпался. Мухина сняла кофту новую, бережно сложила ее и принялась за уборку. Вымыла полы на веранде, кресла плетеные протерла. Слышит — Серафим Власьевич в комнате стонет. Принесла ему воды, полотенце мокрое на голову положила. Серафим Власьевич руку ее ловит.

— Вот спасибо, мать! Спасает ты меня! А ты кто?

И снова беспамятный.

В полдень Мухина завозилась на дворе, потом заглянула в комнату, а Серафим Власьевич уже за столом сидит, чай пьет. Пижама на нем мятая, перепачканная.

— Где же твоя внучка? — спрашивает.

— Не внучка она — пчелка, — отвечает Мухина. — Улетела пчелка-заноза.

— Не внучка, значит? — важно говорит Серафим Власьевич. — Я так и думал. А ты кто же будешь?

Мухина руками всплеснула и закружилась на месте, как в спецприемнике, когда выступала.

— Все хожу да кручусь. Сорок лет уже катаюсь.

— Что ж, специальности у тебя нет? Это вот плохо.

— Прислужой была, бело-набело. До войны еще. Житье маленькое.

Серафим Власьевич сахаром хрустит, чай шумно потягивает.

— Да разве прислуга — занятие? Баловство одно. Пенсии, стало быть, тебе не положено? Как же ты существуешь? Питаешься чем?

Мухина остановилась, перевела дыхание.

— А как птички небесные? Не пашут, не жнут, а сыты живут. Да я и не бедная: семь сот в сундуке и все медные. Часом с квасом, а порой — с водой. Много ли мне надо?

Серафим Власьевич пил уже пятую чашку. Наконец оставил блюдце и поднялся.

— Нехорошо это, непорядок. Ни дома, ни занятий. Попрошайничаешь небось? Как жить так можно?

Весь день Серафим Власьевич места себе не находил, все по дому мотался, бормотал:

— Как жить так можно?

Под вечер не выдержал:

— Сходила бы ты в магазин, мать. Расстроила ты меня. Только зубы от тебя разболелись. Денег я тебе дам.

Бежит он в комнату, а спустя минуту — обратно, лица на нем нет.

— Где деньги, старуха? — кричит.

Мухина на диванчике сидит, в угол забила, знобит ее сильно с ночи. Рукой она слабо махнула.

— И, улетели лебеди, поплыли. Не видно уже.

Серафим Власьевич прямо взорвался:

— Украли! Так я и знал!

— Не горюй, хозяин! Ягоды-цветочки. Я у тебя прислугой останусь. Отработаю все до копейки.

— Вы мне за это ответите! Вы поплатитесь!

Выскочил Серафим Власьевич из дому, калиткой хлопнул, про зубы свои забыл. Смотрит в окно Мухина, а он замок на калитку снаружи вешает, чтобы, значит, не ушла она. А Мухина никуда и не собирается. До самого вечера с уборкой возилась, грязи-то сколько в доме — за неделю не вывезешь. К ночи явился хозяин. В темноте долго возился с замком на калитке, никак открыть не мог, ругался от всех печенок. Наконец справился, поднялся в дом. Вином от него еще со двора тянуло. На пороге споткнулся, чуть не упал. У стола повалился в кресло, кричит:

— Подавай чай, старуха! Да живей!

Мухина собрала на стол на скорую руку, даже бутылку выставила, на кухне за шкафом нашла. Там на дне плескалось чуть-чуть. Серафим Власьевич увидел, обрадовался. Сидит он за столом в кресле, развалился. Мухина рядом стоит.

— Ты недостойна со мной сидеть, — говорит Серафим Власьевич. — Поэтому — ты воровка! Ведь это если подумать — ну, каждый воровать станет? Страну разорить можно!

Он поболтал остатки в бутылке, вылил их в чай. Отхлебнул — понравилось. И Мухина довольна.

— Вот и хорошо, — говорит. — Выпил — и легче, лис-перелыс.

— Ведь я, старуха, знаешь куда отсюда пошел? В милицию! Заявление на тебя сделать! Только вот иду — и мысли у меня в голове. Ведь как я жил раньше? Думал, нет, мол, несчастнее меня человека! Жена вот бросила. А тут вижу — тебе-то еще хуже. У тебя же и вовсе ничего нет! Внуки и той нету! Как же мне на тебя заявление делать? Так и остановился среди дороги. Жалко мне своих денег до смерти! Прямо вот души! А тут принял решение — и легче стало. Отпустило, ей-богу! Оттого что себя пересилил. Духом вознесся! Понимаешь? Над собой поднялся через мысли о тебе! Черт с ними, с деньгами, — вот как поступил!

Серафим Власьевич долго еще говорил, а потом так и уснул в кресле, голову набок свесил, как мертвый. Тогда и Мухина прилегла на диванчик. Ноги у нее гудят после уборки, руки отнимаются, трясет ее всю. Ночью совсем худо — хрипы у нее пошли, грудь заложило.

А на другой день с утра заявили две какие-то личности, говорят — приятели Серафима Власьевича, деньги требуют. Хозяин в кресле очнулся, лицо мятое, заплывшее, приятелей вспомнить не может.

— Пощадите, — говорит, — братцы! Ни копейки! Ограбили меня! Все как есть ограбили!

И карманы выворачивает. А приятели ничего знать не хотят.

— Мы тебя вчера угощали! Отдать должен!

Серафим Власьевич привел с кухни Мухину.

— Скажи им, старуха, как вы меня ограбили. Нет у меня ничего!

А приятели Мухиной не интересуются, толкают ее обратно на кухню. Но Серафим Власьевич держит Мухину, не пускает.

— Не трожь старуху! — кричит. — Я через нее над собой поднялся! Она обворовала меня, а я ее простил! И легко мне стало! Сфера высоты! Вам, пропойцы, этого не понять!

Приятелям, наверное, такие слова за обиду показались.

— Ну и дурак! — рассудил один из них, по имени Федот. — Она же тебя за твою хлеб-соль... Хороша благодарность!

Однако другой приятель, по кличке Офеня, который торговал книгами, тощий такой, с длинными волосами, держался другого мнения.

— Это по Святому писанию, — сказал он. — В писании сказано: прими того, кто ниже тебя. А благодарность что ж... Благодарность здесь не нужна. Бог воздаст.

Поскольку Серафим Власьевич за разговорами денег отдавать не собирался, приятели полезли драться. Вернее, полез один Федот, а Офеня, тот больше удерживал Федота. Тем не менее Федоту удалось несколько раз ударить Серафима Власьевича по физиономии, затем разбить несколько тарелок дорогих, из сервиза, после чего приятели удалились. А на другой день явилась милиция — участковый и с ним еще кто-то.

— Кража была? — спрашивают. — Почему не заявили?

Серафим Власьевич совсем растерялся. Под глазом у него пятно лиловое с желтым, на губе ссадина, весь рот распух. Он все бежал за Мухиной, когда ее уводили, хватал за руку.

— Это они! Они донесли, пропойцы! Это не я! — И к участковому: — Она не виновата! Девчонка украла! Ее искать надо!

Участковый рукой его отводит.

— Нам выявляемость нужна, а вы нам ее портите.

И снова для Мухиной привычное дело: рапорты, протоколы, отпечатки. Разве что словесный портрет новый: «Плечи опущены, одно выше другого, рот — запавший, фигура — сгорбленная». И врача на этот раз не было. Когда нужно, их никогда не бывает. Да тут и без врача видно — ломает ее всю жаром. В милиции смотрят — такое дело, на ногах старуха не держится. Определили Мухину в больницу. А она всего день пластом полежала, потом поднялась, стала к врачу приставать.

— Отпусти ты меня, — просит. — Уйду я.

— Да как же я могу? — отвечает врач по фамилии Кошкин. — Ты же из милиции. С меня спросят. Никак не могу.

А потом про Мухину забыли, дня через два не до нее стало. С утра до вечера возят в больницу искалеченных, обожженных, беспамятных. Все палаты и коридоры забили. Со счета уж сбились, сколько. А вышло вот что — крушение на станции. Товарный поезд наскочил на пассажирский, ночью. Пассажирский перед светофором стоял, а электровоз сзади чуть ли не до середины состава врезался. Стрелку, что ли, не успели перевести или еще что, тормоза, может, отказали. В общем, столкновение крупное, жертв много. Пожар было взялся, но потушили. Двое суток с путей искореженное железо убирали.

Везут раненых в больницу, а Мухина под ногами путается, всем мешает. Гонят ее, а она все равно лезет. Особенно к одной привязалась, которую в самом конце положили, у лестницы. Лица ее, правда, не видно, вся голова забинтована, лишь глаза закрытые наружу. Что там, под бинтами, никто не знает, говорят — голову ей в обломках зажало. Пока автогеном вырезали, то да се, думали — неживая она, кончилась. А как освободили, смотрят — ничего, дышит еще. Мухина как увидела забинтованную, так сразу и решила — Кустарка. Некому это быть, кроме нее. А не подумала она — откуда Кустарке здесь взяться, в этом поезде? Не могла она там быть никак — ведь три дня уж как уехала в другом направлении. Но Мухина стоит на своем — Кустарка и все тут! И не отходит от нее. А забинтованная уже и не жилец, все это говорят. Она и в сознание не приходит.

— Ты выздоравливай, пчелка, — шепчет Мухина. — Тебе помирать не надо.

Сидит она так у кровати, а ей говорят — мужчина ее какой-то спрашивает. Мухина будто не слышит, с зеркальцем играет, зайчиков солнечных на людей наводит. А потом в лицо кому-то направила, смотрит, а перед ней — Серафим Власьевич. Костюм на нем дорогой, хотя и мятый, шляпа. Увидел Мухину, шляпу снял.

— Ты погоди, — говорит, — со мной еще тут.

Подошел к окну и пальцем в стекло стучит. А там, на улице, знакомые лица — Федот и Офеня длинноволосый. Серафим Власьевич рукой им — мол, сюда идите, здесь она. А приятели не спешат, важно так разговаривают,

будто о деле, потом снисходительно рукой — дескать, ладно уж, идем, идем. Только как в коридор попали, всю важность с них как ветром сдуло. Между кроватями бочком пробираются, растерянные, напуганные. А вокруг в самом деле такое творится — свежему человеку тяжело с непривычки. Бинты кровавые, трубки всякие резиновые, растяжки металлические. Мальчик, лет семь, седой весь, до сих пор слова произнести не может. Другой, постарше, смеется все время:

— А я мертвый, вы не знаете? На перрон выскочил. За сигаретами. А какие сигареты в час ночи? Так выскочил. А вернулся — нет вагона. Электровоз на крыше. Вытаскивал я людей, вытаскивал, а теперь — мертвый...

Федот как к забинтованной подошел, так и замер что вкопанный. Стоит — грудь колесом, кулачищи здоровые и губы трясутся.

— Мать честная! — шепчет. — За что же невинные страдают?

А Офеня длинноволосый, тот с книгами дело имеет и много знает, он и говорит:

— А за грехи и страдают. Грехи-то у всех общие. Один ворует, другой еще что, а грех на всех одинаково падает. Когда грехов и зла много скапливается, обязательно крушение. Так и жди.

Мухина сидит, головой кивает.

— Так, так, за грехи! А ты не воруй, кушки-пашки!

И пальцем забинтованной грозит и не знает — живая она или мертвая.

У приятелей было с собой пиво. Устроились они на подоконнике, бутылки открыли. А тут Кошкин идет, небритый, измученный. Посмотрел на Мухину и говорит:

— Все сидишь? Ну сиди, сиди. Ты бы лучше к другим пошла. Вон больных сколько. А эта уже не жилец.

Серафим Власьевич услышал это, губы ладонью вытер и к Кошкину.

— Как это не жилец, доктор? Всякий человек жить должен. Ты сиди, мать, сиди, если надо.

— Я сижу, сижу, — кивает Мухина.

Кошкин посмотрел на Серафима Власьевича, поморщился.

— Кто вы такой? Что вы здесь делаете?

— Я через эту бабусю Божию над собой поднялся, — отвечает Серафим Власьевич. — До духовной сферы дошел. Вознесся — и легко мне стало. Простил я, понимаешь, доктор? И эта, которая не жилец, пускай тоже живет.

И странное дело! Конца забинтованной со дня на день ждали, а она все жила. Каждый раз начальник отделения Прохоров отходил от нее и плечами пожимал.

— Чудо какое-то!

С его легкой руки так и пошло — чудо да чудо. А потом еще другое сошлось — пропал у Кошкина голос. То ли переутомился очень, нервы, напряжение, то ли еще что — только говорить он совсем перестал. А тут как-то посмотрел он на Мухину, халат на ней грязный, драный. Вот и велел он халат ей заменить, знаками так показал — мол, переменить и все тут. И вдруг чудо — голос к нему вернулся, даже громче прежнего. И вот он уже кричит в коридоре Мухиной:

— Такая у нас жизнь, Мухина! Ты не горюй! Ты живи, Мухина!

И стали уже все определенно говорить — чудеса от Мухиной происходят. Марья Ивановна, нянечка, угостила ее вареньем к чаю, пожаловалась, что муж ее бросает — бесплодная она. Мухина побормотала что-то, попила чайку из нянечкиной чашки — и будьте любезны! Через какое-то время смотрят — Марья Ивановна пухнуть начала, а там уже вскорости и о декретном отпуске поговаривать стала.

Другой случай. Прохоров, начальник отделения, поговорил с Мухиной, обещал насчет пенсии похлопотать, глядь, через день телеграмма ему из Москвы от жены (она в Москве в это время гостила) — мол, поздравляю, наш лотерейный билет взял крупный выигрыш, ковер, что ли, или ваза хрустальная.

Так теперь навсегда осталось — сидит Мухина на своей кровати, а от нее чудеса вокруг делаются.

Костлявая с косой

Про смерть Паня только и знал, что вид ее ужасен и противен всякому человеку. Бабушка покойная рассказывала. Дескать, ходит по земле старуха безобразная, орудия всякие при ней — ножи, топоры, пилы, все, что делу ее требуется.

— Облик у нее-то человеческий, — говорила бабушка. — А дела звериные.

Было это в тот самый день, как у них во дворе старик в подвале умер, Ковалевич. Ковалевич все дни по помойкам таскался и свалкам. Утро, рано еще, все спят, а он уже во дворе возле мусорных бачков, крышками гремит. К вечеру в подвал к себе возвращается, мешок за спиной, а на другой день — на рынок. И подвал у него — как свалка, ребята в окно видели. По всем углам тряпье, рухлядь всякая. Чего только нет — шапки драные, пиджаки, кофты, калоши, краны ржавые, бутылки, бумага. Ничем Ковалевич не брезговал, все на рынок тащил.

И одежда на нем тоже со свалки — круглый год в одной телогрейке. Ну а кормился — это уж вовсе смотреть противно, собакам лучше дают. В столовой соседней наберет остатков, в одну кастрюлю свалит и к себе — это ему на неделю.

Ребята всегда бегали за Ковалевичем, дразнили его, грязью кидали. Старик только кулак издала покажет и язык высунет.

А в тот день ребята его не дождалось, сидели возле подвала с самого утра, сидели, не выходит старик. Заглянули в окно, а он на полу лежит. Врачи на машине приехали, говорят — умер, ночью скончался. Подвал его сначала опечатали, потом бумажку с печатью сорвали. Вещи описывать пришли, вот и пришлось дверь открывать. Петр Макарович, плотник, который дверь открывал, нагнулся сверток с тряпьем поднять, так, для интереса, развернул, а там — деньги. Кинулись тогда по всем углам шарить, а там везде в тряпках — деньги. Тысяч двести, говорят, нашли. Подвал снова опечатали, инспектора участкового вызвали, Синюхина. Синюхин поглядел и сказал — деньги в банк сдать надо.

Бабушка тогда рассказывала Пане, как старик Ковалевич помирал, будто сама при этом присутствовала.

— Вот приходит к нему смерть, — говорит бабушка, — а старик просит: «Отпусти меня на время, покаяться надо...» А смерть ему: «Не могу. Нельзя никак. Я отсрочек никому не делаю. Моя благосклонность ко всем одинакова — к бедному и богатому, к грешнику и святому. Никому различия не даю. И прихожу без предупреждения. Никто моего часа не знает. Если б знали, может, готовились бы, стереглись. Человек каждую минуту ждать меня должен. В чем застаю его, с тем и беру. А то ведь не думают обо мне — дескать, обойдет, может, стороной. А я тут как тут! Не за горами, а за плечами!»

Дома у Пани потом только и разговоров что о Ковалевиче. Уж сколько времени прошло, бабушка давно умерла, а отец нет-нет да все вспомнит старика.

— Вот ведь дурак был! Хоть бы машину купил! Или икру каждый день! А то ведь как крыса в подвале. Разве это жизнь? Жить надо в полную силу! Чтобы все у тебя было! Вон у меня: дом — полная чаша! Ни в чем себе не отказываю!

Здесь он смотрел на Паню и хмурился.

— Мне бы вот только последнее дело решить, с наследником... И тогда все у меня в порядке...

Роза Лаврентьевна, мать Пани, вся вспыхивает при этих словах:

— Опять ты за свое! Как не надоест? Ровно спятил!

А отец свое:

— Мне бы только найти...

Пане тогда одиннадцать лет было, вот-вот двенадцать стукнет. И вот (это уже сразу после Паниного дня рождения) приходит отец и кричит еще из дверей:

— Наконец-то! Нашел!

— Что нашел? — спрашивает Роза Лаврентьевна.

Она так сбоку у окна стояла, рядом с Паней, отец в дверях, а на стуле возле стола Гедеон Петрович сидел, сосед, за спичками зашел. Отец подходит к столу и говорит Гедеону Петровичу:

— Я давно подозревал. С самого начала. Паня-то, гляжу, на меня не похож. Никакого сходства. Я еще тогда подумал — подменили его в роддоме. Выдали вместо моего. А моего еще кому-то отдали...

Роза Лаврентьевна тоже к столу подходит.

— Сколько лет меня изводит! Измучил совсем! Хоть бы людей постыдился!

— А сегодня я наконец нашел своего! — продолжает отец как ни в чем не бывало. — Возле школы. Иду, а он стоит. Я как глянул, меня будто толкнул кто — вот твой сын! Голос крови! Я уж и документ в школе проверил — все сходится. Оба родились в один день, в одном роддоме. Тарасик — вот кто мой сын!

Гедеон Петрович вынул из ушей вату и спрашивает:

— Что он говорит?

— Говорит, что Паня не его сын! — кричит ему Роза Лаврентьевна.

— Это только предположение, — трясет головой Гедеон Петрович. — Это еще доказать надо.

— Что тут доказывать? — машет рукой отец. — И так все ясно! Не нашей Паня породы! Я же чувствую! Чужой он мне и повадки у него чужие! Все у меня в доме есть, а ему ничего не надо. Не мой сын!

Паня стоит у окна и думает: «Что ж это за Тарасик такой? Откуда он взялся?»

А через два дня Тарасик этот самый в доме и объявился, отец привел. Паня с матерью как раз чай на кухне пили, как они пришли. Роза Лаврентьевна на Тарасика взглянула, руками только развела. И правда, на него посмотреть — чистый скелет, одни мощи остались.

— Где ж ты так истощал? — спрашивает.

А отец по квартире Тарасика водит, обстановку показывает.

— Это все твое... Все для тебя...

Увидел Тарасик буфет со стеклянными дверцами, так и застыл перед ним. Там за дверцами фотографии отца выставлены — он с разными людьми снимался. А наверху копилки глиняные стоят, большие, три штуки — собака, слон и бегемот с открытой пастью. Отец кошелек достает, вынимает полсотни и в пасть бегемоту засовывает.

— Это тоже для тебя! Твой это бегемот!

Он как деньги доставал, другая бумажка из кошелька выпала, тоже полсотни. Тарасик поднимает и отцу протягивает, а тот и ее бегемоту сует.

— Все теперь твое...

Потом к пианино Тарасика тащит. Крышку открывает и его пальцами клавиши давит.

— Выучишься, играть нам будешь...

Роза Лаврентьевна на Тарасика смотрит, только вздыхает.

— Покормить бы его... Смотреть страшно...

Накрыли стол на скорую руку, усадили Тарасика. Он как на еду накинется, Паня испугался даже — не подавился бы. Ест Тарасик, торопится, за обе щеки запихивает да еще и в карман куски хлеба прячет. Отец на него не нарадуется.

— Нет, но похож-то как! Похож! Главное — порода! Я же чувствую — наша порода! Я уж и заявление в суд подал. Дескать, подменили ребенка в роддоме.

Роза Лаврентьевна в дверях стоит, за стол не садится.

— Ты бы перед людьми не срамился! Стыд-то какой!

После обеда отец повел Тарасика в гараж. У них там во дворе, если со стороны магазина зайти, гараж, сразу за сараями. В гараже машина, совсем новенькая. Прав-то водительских у отца нет, все никак получить не собрался, а машина есть. Отец часто, как с работы возвращается, завернет в гараж,

посидит в машине — и домой. Вот теперь сажает он Тарасика за руль, сам рядом садится.

— Вырастешь, возить нас будешь...

Тарасик после этого стал у них бывать каждый почти день. Придет и сразу в кресло садится.

— Мягкое какое...

Однажды приходит и напрямик к буфету, на котором бегемот стоит.

— Это мой бегемот? — спрашивает.

— Твой, твой, — отвечает отец.

Тогда Тарасик разжимает кулак и мятые деньги показывает.

— Вот, — говорит. — Посуду сдал.

— Молодец! — говорит отец. — Наша порода!

Засунул он деньги в бегемота и от себя еще сотню добавил.

— С деньгами и помирать не страшно...

Тарасик посмотрел на него и сказал:

— Помирать всегда страшно...

В тот день Тарасик до ночи засиделся, темно уже. Вот отец и говорит Пане:

— Ступай проводи Тарасика... Время позднее..

А там идти-то оказалось всего ничего. Магазин обогнуть, школу, потом столовую, в которой покойный Ковалевич кормился, и через двор на соседнюю улицу. Паня как увидел дом Тарасика, не поверил сразу. В нем и жильцов-то, наверное, никого нет. Окна пустые, лестница темная, одна стена и вовсе разрушена. Только на первом этаже в крайнем окне свет.

— Неужели вы здесь живете?

Зашли они в квартиру, Паня опять удивляется. Комната пустая, мебели почти нет, один стол да кровать. За столом человек в майке сидит, вино в стакан наливает. Тарасик говорит:

— Это вот Медякин...

Потом подумал и добавил:

— Отец мой...

И сразу за веник берется и давай мести.

— Вот так и живем. Дом-то на снос, а мы живем. Отопления нет. Зимой холод такой, что дыхание видно.

— Все вещи — стакан да клещи, — смеется Медякин.

— Как же вы зимой? — спрашивает Паня.

— Кирпичи греем, в тряпки заворачиваем и в постель...

Медякин тем временем вино выпил и говорит:

— А что? Все равно подыхать скоро...

— Это уж точно, — отвечает Тарасик. — Пьянство-то годов не прибавит.

Медякин рукой на него машет.

— При чем здесь пьянство? Будто не знаешь!

Он поманил пальцем Паню.

— Предсказание мне было... Старуха одна... Как, говорит, тараканы в доме заведутся, так и знай — конец это твой... — Он огляделся и шепотом: — А я уже одного видел... Значит, скоро...

Паня тоже по сторонам поглядел и тут увидел — в углу старик какой-то на табуретке сидит, его в темноте и не видно.

— Сосед наш, Силуян Матвеевич, — говорит Тарасик. — Если б не он, с голоду бы подошли...

— Не в пьянстве грех, — бормочет старик, — а в страсти. Не все сразу, милуша моя, не все сразу. Всему свое время. Придет час, и пьянству твоему конец будет. Ты не отчаивайся. Бог даст, справишься, бросишь. Ты надейся, милуша моя.

— Как же вы смерти не боитесь? — спрашивает Паня. — Разве вам умереть не страшно?

Медякин только смеется:

— А чего мне бояться? Каким в мир пришел, таким и уйду — голым. И жалеть мне не о чем.

Вернулся Паня домой и все время думает: «Как же так люди живут? Ничего у них нет, а им умереть не страшно. Не боятся смерти...»

Вскоре после этого Тарасик и вовсе к ним в дом перебрался. Отец кровати ему Панину отдал. Пани теперь в коридоре стелили, на раскладушке. За столом Тарасик сидел на Панином месте, пил чай из его чашки. Отец так Пани и сказал:

— А ты можешь выкатываться...

Однажды, дней десять, наверное, прошло, утром звонок в дверь. Открывают — Медякин на пороге. Костюм на нем вычищенный, рубаха у ворота заштопана, видно, что вырядился.

— Вот, — говорит, — сына проведать зашел.

Отец Паню вперед выталкивает.

— Вот твой сын. Можешь забирать. А Тарасика дома нет.

Медякин постоял, подумал, потом говорит:

— Помирать мне скоро... Вот хотел перед смертью... Погулять, может...

— Я могу с вами пойти, — говорит Паня. — Если хотите...

Вышли они на улицу, куда идти — не знают. Во дворе Гедеон Петрович, в сером жилете, с собакой гуляет. Собака на Паню с Медякинским кидается, еле прошли.

— Такая маленькая и такая злая, — говорит Медякин.

Возле магазина, как всегда, люди. Стоят с самого утра, будто делом заняты. Лица одни и те же — Паня их всех уже знает. В центре, конечно, коротышка с большим животом, на голове фуражка морская. Возле него хромой инвалид со стеклянным глазом. У него еще татуировка на пальцах — «Семен», на каждом пальце по букве. Тут же длинный такой, небритый, на рубашке медаль почерневшая — «Ветеран труда». Когда Паня с Медякинским мимо проходили, тот, что в морской фуражке, говорит:

— Здравствуй, Медякин!

— Коптук это, — говорит Медякин Пани. — Не помню, где уж и познакомились...

Потом им навстречу прошла почтальон Галя Аникина с сумкой на плече, поздоровались с ней. Погуляли еще немного, Медякин и говорит:

— Может, в музей зайдем? Я тебе места памятные покажу...

Перешли они на другую сторону, там особнячок старый с колоннами, сбоку табличка: «Краеведческий музей». Дернули дверь раз, другой — закрыто.

— Наверное, санитарный день, — говорит Медякин.

Пошли они дальше, Медякин рукой показывает:

— Вон в том доме, говорят, писатель какой-то жил, какой только — не помню...

Свернули они за угол, идут вдоль забора. За забором люди стоят, пьют пиво, кто из банки, кто из пакета молочного, кто прямо из бидона. Вдруг откуда кричат:

— Медякин! Иди сюда! У нас тут спор!

Ну, Медякин с Паней зашли. А там компания, человек шесть, и спор у них — может ли кто десять банок пива сразу выпить. Медякин говорит:

— Я могу!

— Да ты не выпьешь, — говорят ему.

Медякин даже обиделся:

— Как это не выпью?

А сам на Паню косится.

— Давайте я вам покажу.

И Паню локтем толкает — дескать, смотри, что сейчас будет. Принесли бидон с пивом, поставили на землю, стали банки Медякину наливать. Ну, первые три банки Медякину еще легко дались. Пьет, только отдувается. Дальше, понятно, уже с трудом. А последнюю банку Медякин и вовсе еле осилил. Отдышаться никак не мог. Нагнулся, чтобы банку пустую на землю поставить, а пиво из него так обратно и полилось. Тут у приятелей опять спор — засчитывать пиво, которое вылилось, или нет. Медякин окончательно на них обиделся и ушел, и Паня за ним. Смотрит — Медякин идет впе-

реди пьяный да пьяный, походка то туда, то сюда. Взял Паня его под руку, повел.

— Вот как надо, видел? Пропорили они...

Ведет Паня Медякина, а тот все оборачивается и пальцем грозит.

— Помру я скоро, вот тогда вспомните... — И на ухо Пане: — Вчера еще одного видел...

— Кого? — спрашивает Паня.

— Да таракана... Я же говорю — помирать скоро...

Дома Медякин принялся по углам шарить, тараканов искать, чтобы показать Пане.

— Теперь уж время близко... Пора мне... Скорей бы только... Я ведь однажды уже был на краю... Так сказать, одной ногой... Иону Лукича когда хоронили, который в Барыбине живет... Едем мы, значит, в Барыбино за покойником... Автобус, гроб посредине, по бокам родственники, все как положено... И как оно вышло... На повороте... Автобус вниз с откоса... Я уж думал — все, конец, ошиблась старуха... И что ты думаешь? Все в автобусе покалечились, кроме меня... Трое насмерть... Один я цел и невредим... Ни одной царапины... А почему? Я, когда падал, в гроб пустой угодил. Гроб меня и уберег. Видно, время еще не пришло... Тараканов не было... Но теперь уже скоро...

Вернулся Паня домой и опять удивляется: «Как это человек о смерти легко говорит? Даже сам ее зовет вроде... Будто смерть для него прогулка легкая... Веселый такой...»

На другой день отец из дому рано ушел. В дверях сказал:

— Сегодня все решится.

Как дома отца нет, Роза Лаврентьевна всегда Паню к себе зовет, обнимает.

— Ты не слушай отца, дурит он... Что ж я, не знаю, чей ты сын?

И в голову Паню целует.

А дня через три, наверное, вторник был, выходит Паня из дома, во дворе Гедeon Петрович без собаки. Увидел Паню, рукой машет.

— Слышал я, правда или нет, будто суд был. По иску твоего отца. Так или нет? Будто в интернат тебя хотят...

Паня говорит:

— Я ничего не знаю...

Повернулся он и пошел обратно, потом возвращается.

— Для чего же в интернат? У меня и дом есть...

Гедeon Петрович головой трясет.

— Дома-то, конечно, лучше...

Дома Паня к матери кинулся:

— Правда, что меня в интернат?

Роза Лаврентьевна по комнатам ходит, будто потеряла что.

— Не знаю я, ничего не знаю... Оборвалось сердце мое... Совсем как дурная сделалась. Я уж имя свое забывать стала... Вчера сижу и думаю — а как же меня зовут?.. За стол села, ложку найти не могу, а она рядом лежит...

Паня за ней ходит.

— Ты скажи только — правда или нет, что меня в интернат?

А Роза Лаврентьевна будто не слышит.

— Грубый, недостойный человек. Загубил он мою жизнь, — сказала она и заплакала.

«Вот новость, — думает Паня. — Как же в интернат? Здесь и вещи мои». Стал он по комнатам ходить, вещи свои смотреть: полочка с книгами, альбомы, портфель новенький — все на месте. Остановился потом перед зеркалом, смотрит на свое отражение и думает: «Может, и правда это не я? Назвали меня Паней, а я совсем не тот?»

Вышел он тогда из дому и пошел куда глаза глядят. Идет по улице и думает: «Надо бы, как Медякин, смерть свою позвать, чтобы приходила скорее. Да только она не придет. Вон Медякин как зовет, а она все не приходит». Вспомнил он тут, как хоронили год назад во дворе Юдифь Захаровну, па-

рикмахершу. Народу собралось много, музыка играла. У покойницы на груди цветы, сама она нарумяненная, будто на именинах. При жизни-то парикмахерша скандальная была, что ни день — крики на весь дом. А тут лицо спокойное, тихое, будто дождалась она радости. Паня представил себя тоже в цветах, народ вокруг, музыка, хорошо ему стало.

Тут он и вправду музыку услышал, спокойную такую, торжественную. Оглянулся, а он в новом городском парке. Слева за деревьями оркестр военный на эстраде, люди на лавочках. Блестят медные трубы. Подошел Паня ближе, а там за эстрадой кусты и сразу обрыв к реке. Смотрит Паня сверху — внизу на берегу, у самой воды, народ толпится. Солдаты тут же из стройотряда, они здесь всегда работают. Вода холодная, никто не купается, только стоят и на реку смотрят. А на реке недалеко от берега тело плавает, большое такое, вздувшееся. Паня даже удивился, какое оно большое. Спустился он вниз, тоже стал смотреть. Кто-то сказал:

— Надо бы вытащить утопленника...

Солдаты в лодке привезли тело, отнесли в тень, простыней накрыли. Паня опять удивляется, какое оно большое, точно ненастоящее. Потом врач военный из казармы пришел.

— Нет, — говорит, — это не утопленник. Это смерть на воде. Вода холодная, градусов пятнадцать. Спазм коронарных сосудов, тело потонуло и не погрузилось в воду.

— Охотничья смерть, — сказал какой-то парень с папиросой.

— Почему охотничья? — спрашивают у него.

— Охотник утку подобьет, бросается за ней в воду, а вода холодная. Вот и наступает смерть мгновенно.

И тут показалось Пани, будто в толпе старуха с косой мелькнула. Лица ее он, правда, не разглядел, видел только космы седые и коса на плече блестит. Мелькнула она и пропала. «И вовсе она не страшная, — думает Паня. — Обычная старуха, только костлявая сильно. И что бабушка говорила? Ничего ужасного...»

Там, в стороне, где старуха мелькала, одежда умершего была на земле сложена. Возле нее дурачок Миша крутился, его весь город знает. Никто и не заметил, как Миша одежду схватил, хотел, видно, ближе принести. А как он ее схватил, из карманов деньги выпали, целая пачка. Миша тогда одежду бросил, подобрал пачку и давай бумажки одну за другой по ветру разбрасывать. Бросает и бормочет:

— Птица Юстрица, птица Юстрица...

Тут его, конечно, все заметили, кинулись бумажки подбирать, толкаются, парень с папиросой упал. А Миша разбрасывает и приговаривает:

— Всех она видала, всех она едала. Царя в Москве, короля в Литве, старца в келье, дитя в колыбели...

Врач военный кинулся за ним, а Миша убегает, не дается.

— Это смерти! — кричит. — И того она едала, кого в воде застала...

Паня нарочно к умершему ближе подошел, на лицо посмотреть. Кто-то простыню откинул, Паня смотрит — лицо у покойника синее, страшное, будто набок свернутое, не то что у Юдифь Захаровны, парикмахерши. «Нет, что там ни говори, — думает он, — а помирать все-таки страшно. Не может того быть, чтобы Медякин не боялся.»

Поднялся он наверх, наверху тоже люди стоят, вниз смотрят. Кто-то спросил:

— Что там случилось?

— Человек умер, — отвечает Паня. — Денег у него видимо-невидимо, полные карманы, а он все равно мертвый.

Прямо из парка Паня направился к Медякину. Приходит, а тот на постели лежит, не встает. Возле кровати стул с грязной посудой.

— Третий день лежу, а смерть не идет, — говорит Медякин.

Паня сел возле него на табуретку.

— Хорошо, что ты пришел, — бормочет Медякин. — А то старик какой-то со шпагатом ко мне все время лезет. Обмеривает меня. «У тебя, говорит, нога одна короче». А я ему: «Не может быть! Не хромой же я!»

Сказал он это и сразу затих, будто уснул. Лежит, глаза закрыты, только губы шевелятся. Видно, говорит что-то, а что — не разобрать. Потом через какое-то время поднимается вдруг и садится, рукой на окно показывает. И ясно так произносит:

— Кто там? Это за мной, я же вижу!

Паня повернул голову, там за окном дерево большое, старое, почти без листьев. На ветках вороны сидят, много, наверное, целая стая. Тут Медякин как крикнет:

— Вот она!

И вдруг за окном все птицы срываются внезапно с дерева, будто спугнул их кто разом. Шум от них большой. А Медякин на подушку повалился.

— Руку пусти! Руку!

Дыхания у него совсем не стало, потом вроде отрыжки, и он затих. Паня сидит рядом и не знает — помер Медякин уже или еще нет. Долго он так сидел, потом поднял голову, а в изголовье опять старуха с косой. И так ее хорошо видно, кажется, протяни руку — вот она. Вблизи она и правда страшная — права была бабушка. Безносая, зубы ощерены и глазницы пустые. Плесенью от нее могильной тянет. Постояла она так и пропала. Паня тогда поднялся и вышел во двор. Там на лавочке старик сидел, Силуян Матвеевич, который тогда в гостях у Медякина был. Паня ему и говорит:

— Там человек мертвый...

Старик кивает:

— Знаю, знаю...

Сел Паня возле него, удивляется, откуда старик знает. А Силуян Матвеевич говорит:

— Легко умер Медякин, не страдал. Да и не умер он вовсе, милуша моя. Перешел из брэнного тела в мир невидимый...

Эту ночь Паня ночевал у Силуяна Матвеевича. Утром напились они чаю, и Паня пошел к себе. Поднимается в свою квартиру, звонит, звонит, никто не открывает. Сосед из квартиры рядом вышел, Фиников, скрюченный весь, будто ищет все время что на земле.

— Наверное, никого нет, — говорит.

Потом другой сосед вышел, Семен Калинович, который с правой стороны живет. Этот даже в замочную скважину заглянул.

— Они, наверное, к брату уехали, — сказал.

Наконец из-за двери голос Тарасика:

— Никого нет дома, а мне открывать не велено...

— Твой отец помер, Тарасик! — кричит через дверь Паня.

А Тарасик из квартиры отвечает:

— Мой отец на работе. Он здесь живет.

Паня опять стал звонить, потом ногами стучал, чуть не плачет.

— Точно что к брату уехали, — говорит Семен Калинович.

— Не могли они к брату уехать, — отвечает Фиников. — Я только что Розу Лаврентьевну в окно видел.

— Как же ты мог ее видеть? — спрашивает Семен Калинович. — Ты же выше своих ботинок не смотришь.

Фиников тогда толкнул Семена Калиновича головой в живот, и они стали ругаться. А когда кончили, говорят Пане:

— Ты, Паня, лучше иди отсюда, а то весь дом переполошишь.

Вернулся Паня к Силуяну Матвеевичу, а того дома нет, у Медякина он. Паня как к Медякину вошел, сразу на крышку гроба налетел, возле стены стояла, у входа. В коридоре люди какие-то курят, человек шесть. Паня их сразу признал — которые возле магазина толкуются. Коптюк в морской фуражке, другой еще — инвалид хромой со стеклянным глазом, и тот, что с медалью, тоже тут.

— Что ж, — говорит Коптюк Силуяну Матвеевичу, — это можно, конечно...

— Можно, можно, — соглашаются остальные.

— Бутылка будет — все сделаем, — продолжает Коптюк. — Вынесем и на кладбище доставим.

Вином от них всех сильно тянуло, Паня сразу почувствовал. Стали гроб выносить, а в дверях Коптюк не удержался, низенький он, чуть не упал. Гроб так на один бок и накренился, и покойник из него вываливается. Уложили его обратно, понесли. Во дворе уже машина грузовая стояла, лавочки вдоль бортов. Поставили гроб посередине, поехали. В дороге, понятно, разговоры только что о покойном Медякине.

— Хороший был человек, — рассказывает инвалид со стеклянным глазом. — Бывало, придет и говорит — помру я скоро, нет ли в долг, мол, на похороны. Ну, накормить его, конечно, накормишь, а денег — откуда же... Ладно, говорит, похороны можно и отложить... Вот и отложил...

— Хорошего человека на тот свет провожаем, — отзывается Коптюк. — Только, скажу вам, на том свете тоже ничего хорошего. Грабят, как и здесь...

— Откуда ты знаешь? — спрашивают у него.

— Был я там, знаю...

Паня так и уставился на Коптюка, а тот продолжает.

— Как раз год назад было, в это же время... Иду я с поминок. Друг мой помер, Брусницын Иван Никанорович. Идти далеко, а время позднее. Дай, думаю, путь срежу, через кладбище пройду, там короче. Вот иду между могил, тихо все, спокойно, как и положено. Луна светит. Вижу — могила впереди свежая, только что, видно, вырытая. Для кого же это, думаю, приготовили? И вот что интересно. Ведь знаю, что обойти ее нужно, а не могу. Знаю, что нужно, а не могу. Так прямо в нее и угодил. Лежу и думаю: все, думаю, теперь ангелов небесных ждать надо. И точно — чувствую, в могиле появился кто-то. Руками меня щупает. А вокруг тьма — хоть глаз выколи. Я руки к ангелам протянул — дескать, вот он я, забирайте. А они мне по рукам, по рукам. Потом по морде несколько раз. Короче сказать, очнулся я, когда уже рассвело. Выбрался из могилы, вижу — живой, только губа разбита и глаз заплыл. Пиджака на мне нет, часов тоже. А в пиджаке у меня, между прочим, бумажник с деньгами был. Вот тебе и ангелы.

Только рассказу Коптюка никто не поверил.

— Откуда у тебя бумажник с деньгами? — спрашивают.

Пока ехали, дождик несколько раз принимался. На кладбище приехали, вымокли все. Понесли гроб к могиле, земля сырая, измучились, пока добрались. Подходят, а могила занята. Копальщики тут же, уже засыпают ее.

— Как же так? — кричит Коптюк на копальщиков. — Что же это такое?

Никто даже и не заметил, как между ними драка началась. Фуражку с Коптюка сбили, его самого лопатой по спине огрели. Силуян Матвеевич тогда говорит:

— Уходите все!

Но никто не уходит.

— Ты нам бутылку давай, как обещал!

Дал им Силуян Матвеевич бутылку, и они ушли.

— Ладно, — говорят, — вторую мы сами купим. Помянем хорошего человека. Пусть земля ему будет пухом.

Остались Паня с Силуяном Матвеевичем одни. Копальщики принялись рыть новую могилу тут же неподалеку.

— А что? — спрашивает Паня. — На том свете и правда грабят, как и здесь?

— Видишь ли, милуша моя. Там веселие должно быть и радость. Человек, как умрет, душа его нетленная отводится в неведомое место. Тело же тленное в земле остается, в небытии пребывает. В конце же времен оно от земли вновь восстанет и с душой соединится. И вот когда узнают они друг друга — тогда праздник и наступает. Веселие и радость...

Как Медякина похоронили, Силуян Матвеевич говорит Пане:

— Ты живи у меня, милуша моя...

У Силуяна Матвеевича хорошо — комнатка маленькая, уютная, в углу иконы. Силуян Матвеевич стелил Пане на своей кровати, сам на сундуке

спал. Утром напьются они чаю с булками и идут на улицу, на осеннем солнышке посидеть. Пани и не скучно со стариком, сидят они, разговаривают.

— Ты не смотри, милуша моя, что Медякин пьяница был. Не презирай павшего. Это для нас он последний человек. А для Господа, может, избранный. По-божески, он, может, первое зерно в его житнице.

Вот сидят они так однажды возле дома, смотрят — по другой стороне отец Пани с Тарасиком идут. На Тарасике куртка новая, ботинки, часы на руке. Да и отец одет как с иголки, редко так раньше наряжался, разве что по праздникам. «Куда это они?» — думает Паня. Не удержался он, крикнул:

— Отец!

Отец повернул голову, но не остановился, дальше идет. Паня снова:

— Отец! Куда это вы?

Тарасик с той стороны кричит:

— Мы гулять в парк идем!

— Ишь вырядились, — говорит Силуян Матвеевич. — Щеголи хоть куда!

— Что ж им? — отвечает Паня. — У них копилки, деньги уже не лезут!

Им и помирать не страшно.

Силуян Матвеевич только вздыхает.

— Запасы чинить — большой грех душе. Кто до копейки жаден, тому на том свете мука. Кладут ему на лоб эту самую копейку и ждут. Как она от адского огня растает, так этому человеку и прощение.

— Это на том свете, — говорит Паня. — А на этом им хорошо. Никаких бед и никакого горя.

— Вот и несчастные люди, выходит. Жалеть их надо, милуша моя.

— Как же несчастные?

— Не посещены наказанием Божьим, вот что. Мы-то все грешники. Кто же может быть счастлив, когда пьет беззаконие, как воду. Ищи счастья в скорбях... А так, если сказать, нам и скорбей-то давать никто не собирався. Да беда наша — без скорбей спастись не умеем...

Больше своего отца Паня так и не видел. В конце зимы уже как-то шел он из школы и сам не заметил, как возле дома своего бывшего оказался. Там все было по-старому. Во дворе Гедеон Петрович с собакой гуляет. Увидел Паню, рукой подзывает.

— Что я тебе скажу, Паня. Извел он твою мамашу вконец. Прямо измучил.

— Кто? — кричит Паня ему в ухо.

— Да отец твой, кто же еще? Умирал-то как тяжело. Все требовал, чтоб сидели возле него. На базар гонял сто раз на день. Чтобы фрукты свежие. Уж в могиле одной ногой, а все чтобы самое лучшее. Все «подай» да «поднеси» Капризничал, не приведи Господь...

Паня слушал и все никак не мог понять.

— Да кто умирал-то?

А Гедеон Петрович не слышит.

— А уж умирать как боялся! В голос кричал! «Не хочу! — кричит. — Не хочу уходить!» Под конец совсем плох — не видит ничего, не слышит. За чем такому жить, а все за жизнь цепляется. «Не хочу!» — кричит. Вот ведь как она нас держит...

— Да разве отец умер? — кричит Паня.

— А как же! — удивляется Гедеон Петрович. — Я как раз у себя был. Сижу, вдруг будто треснуло что-то. Я ведь вообще-то не очень хорошо слышу, а тут явственно так — треснуло. Оказалось — стакан в шкафу лопнул. И как это я услышал? Меня так сразу и кольнуло — сосед, думаю, помер. И точно, прихожу — мертвый уже.

— А как же я? — шепчет Паня. — Как же мне не сказали?

— Похороны хорошие были, — продолжает Гедеон Петрович. — Пышные. Народу — почитай, вся улица! Музыка! И все чинно так, благородно. Венки, речи. Поминки потом. Мамаша твоя голубцов наворотела, наверное,

тысячу. По пять штук на каждого вышло. Хорошо проводили. Теперь вот памятник ставить будут.

Паня уже не слушал соседа, поднимался к себе. Дверь ему открыл Тарасик. Паня сразу к матери, а мать ему:

— Подожди, Паня, сейчас не до тебя...

Смотрит Паня, в квартире люди какие-то, мужчина и женщина. Потом он признал их — брат это отца, дядя Леонтий, и жена его, Раиса Павловна. Роза Лаврентьевна за ними следом ходит, ни на шаг от себя не отпускает.

— Ладно уж, — говорит, — возьмите что-нибудь... На память о покойном.

Дядя Леонтий тогда подходит к шкафу и открывает его.

— А где же костюмы брата? У него штук десять, наверное, было, не меньше. Я же помню... А тут ни одного...

Потом они с Раисой Павловной за диван взялись. Тужились, тужились, подняли наконец, а там отрезы совсем новенькие, один на другом. Стали они отрезы вытаскивать и на полу складывать.

— Это ты себе бери, — говорит дядя Леонтий жене.

— Куда же мне их? — отвечает та. — На них узоры не женские

После этого дядя Леонтий в гараж пошел. Роза Лаврентьевна, конечно, за ним, Паня тоже следом увязался. Дядя Леонтий походил по гаражу, потоптался, потом за лопату берется. Поплевал на ладони и давай копать возле заднего колеса машины.

— Брат ценности здесь зарыл в банке... Сам мне говорил...

Рыл он, рыл, ничего не нашел, перепачкался только весь. Вернулись в квартиру, а там Раиса Павловна в цветочных горшках вилок ковыряет. Роза Лаврентьевна говорит ей:

— Да нет там ничего...

Тогда Раиса Павловна спрашивает:

— А что это у вас в ванной комнате лампочка синей краской вымазана? Чтобы не видно было? А я все равно заметила, что цемент на полу разрушен. Золото прятали?

Так до самого вечера дядя с женой в квартире торчали. Поздно уже, уходить пора, а они все разобраться не могут. Дядя Леонтий кричит:

— Я за венок платил!

И бумажку мятую вытаскивает, где у него расходы записаны.

Роза Лаврентьевна ему не уступает:

— Мне могила знаете сколько стоила? И все услуги?

Тут и Раиса Павловна вмешивается:

— У вас еще вина сколько с поминок осталось! Бутылок десять! Вино-то мы привозили!

— Пожалуйста, — говорит Роза Лаврентьевна. — Вино можете забирать.

Ждал Паня, ждал, когда все это кончится, так и не дождался, ушел.

— Я в другой раз приду, — сказал.

Идет он по улице, темно уже, и все ему кажется — старуха с косой перед ним мелькает. Забежит вперед и оглянется, будто за собой манит. А как стал он к дому подходить, смотрит — на лавочке Силуян Матвеевич сидит. Пальто на нем какое-то новое, какого Паня у него никогда не видел.

— У меня отец умер, — говорит Паня и садится возле него.

Силуян Матвеевич куда-то в сторону смотрит.

— Смерти не надо бояться, милуша моя. Смерть только начало... А если там ничего нет, то зачем все здесь?

Он помолчал, посидел, потом продолжал:

— Живем-то мы грешно. В грехи все время впадаем. Только на всякий грех есть покаяние. В этом вся тайна. Первое дело — покаяться, это самое главное. И так до конца. Никогда не отчаивайся — и придешь в мирное устройство. Не будешь ничего хотеть — вот и успокоение. Со временем все приходит. Что от Бога, то само приходит. Дай себе зарок, милуша моя, — никогда ничего не просить. Бог жив не теми, кто просит, а кто благодарит.

Сказал это Силуян Матвеевич, поднялся и пошел куда-то.

— Вы куда? — кричит Паня. — Разве не домой?

А старик не отвечает, идет себе, скоро и совсем скрылся. Только в той стороне, куда он ушел, собака на балконе залаяла. «Это у Смирновых, — подумал Паня. — Она всегда лает, когда под балконом проходишь».

Посидел он еще немного и в дом пошел. Заходит в комнату, зажигает свет и глазам своим не верит. На кровати поверх одеяла Силуян Матвеевич лежит, одетый, глаза закрыты. «С кем же это я только что разговаривал?» — думает Паня.

Тронул он старика, осторожно так, а тот как колода. Одна рука на груди лежит, другая в сторону откинута, ладонь открыта, будто милостыню просит.

И опять в изголовье старуха с косой мелькнула. И вроде даже голос ее: «Я, смерть, всех забираю... Никому различия не делаю...» «Вот оно как, — думает Паня. — Старик-то все о Боге, а выходит, смерть сильнее Бога. Бог-то несправедлив. Один у него богатый, другой нищий. Не может он разделение победить. А смерть справедлива. Для нее все равны — что Медякин, что отец. Теперь вот Силуян Матвеевич...»

Через три дня, как Силуяна Матвеевича схоронили, Паню в интернат забрали. Паня как там огляделся, ему даже понравилось, только разорения много. Окна многие без стекол, дверь одна и вовсе выбита. В спальне мусор, никто не убирает, в столовой всегда посуда грязная. В классе такой шум, что учителя не слышно. И ребята Пани понравились, разве что курят много. Соберутся в коридоре в углу и давай дымить.

В столовой Паню посадили рядом с Колей Филипповым, который каждую неделю попадал в карцер. Он по выходным убегал домой, его ловили и в карцер сажали. За партой соседом Пани оказался Петя, по прозвищу Кукша. У Пети по всему телу рубцы, еще от дома остались. В спальне Панина кровать стояла у стены, а напротив кровать Вани Семечкина. Старшая воспитательница Зоя Адамовна, не старая еще, с булавкой в виде скорпиона у ворота, как утром входит, сразу на Семечкина:

— Смотри, Семечкин, опять в психушку угодишь!

Ваня Семечкин уже три раза в психушке был. Первый раз сразу после Нового года. Тогда перед праздником воспитатели заперлись в директорском кабинете и подарки детские между собой делили. Ну, Ваня Семечкин про это везде говорил. Другой раз — когда он заявил директору, будто воспитатели нарочно выписывают одежду большого размера, чтобы себе ее забирать. Ну и в третий раз опять из-за подарков. Шефы с завода привезли в интернат куртки спортивные. Только ребятам опять ничего не досталось, вот Ваня и пожаловался.

Девочек в интернате немного. Пани особенно нравилась девочка с задней парты, звали ее Амелия. Чистенькая такая, опрятная, никогда одежду интернатскую не носила. Как ни посмотришь — всегда в дорогих нарядах. Родители ей привозили, они у нее богатые. А в интернат отдали, чтобы она им жить не мешала.

А однажды приходит Паня в спальню, а там человек новый — Тарасик. Паня увидел его, обрадовался. Они сразу кровати свои рядом поставили, в столовой тоже стали вместе садиться и в классе. Тарасик всем рассказывал, какая сытая жизнь была у него дома.

— Копилки здоровые, три штуки. Величиной со шкаф. И все деньгами набиты...

— Что же ты ушел оттуда? — спрашивали у него.

Тарасик хитро подмигивал.

— План у меня есть...

Он обещал Пани рассказать свой план вечером, когда спать лягут. Ждал он Паню в спальне, ждал, а Паня не идет. Пошел его искать, а ему говорят — в карцере он. стакан с чаем из столовой вынес, его и в карцер.

— Зачем ему стакан, интересно? — спрашивают.

В карцере, понятно, ничего хорошего. Крошечный чулан без окон. Под потолком лампочка еле светит. Дверь железом обита, как в камере. В углу стул и матрас драный. Паня вошел, а на матрасе крыса сидит, на него смотрит. Ночью, когда свет погас, мать к Пани пришла, Роза Лаврентьевна.

— Сыночка, ты тут? — спрашивает.

Паня кинулся к ней, а она спрашивает:

— Поесть хочешь? Я тебе пироги со шкварками принесла.

Потом она стихи стала ему читать: «Роняет лес багряный свой убор...»
Читает, а у самой слезы по щекам текут.

— Что же ты плачешь? — спрашивает Паня. — Ведь стихи совсем не плачевные.

— А я всегда плачу, когда стихи, — отвечает мама. — Какие бы ни были, все равно. Читаю и плачу...

А как вышел Паня из карцера, Тарасик в коридор его увел, в самый дальний угол.

— Вот какой у меня план. Слышал небось: богатые иностранцы теперь по интернатам и детским домам ходят, сирот покупают. Большие деньги платят. Вот я и думаю: может, и меня кто-нибудь купит. Американец какой-нибудь. В Америку меня заберет. Буду в Америке жить. А здесь что? Нищета одна. Грабят только. Я и тебя потом к себе выпишу...

Все свободное время Тарасик теперь во дворе проводил у ворот, иностранцев ждал.

И вот однажды ночью, все спят, лежит Паня и слышит — в коридоре шаги, ходит кто-то. Потом дверь в спальню приоткрывается и входят тени какие-то, три человека. Лиц их не разглядеть, но Паня сразу решил — наверное, иностранцы. «Надо бы Тарасика разбудить», — думает он.

А гости вошли в спальню и стоят в дверях. Потом Паня голос слышит:

— Ну и слава Богу. Им здесь хорошо. Все пристроены, в тепле, сытые...

Притом странное дело: голос будто Пане знаком, так ему показалось.

— Вот и слава Богу, — продолжал голос. — И нам теперь спокойнее. Всем, значит, устроение вышло...

Голос еще что-то говорил, а Паня уже точно знал — Медякин это, его голос.

Медякину вторая тень отвечает:

— Им дальше еще лучше будет. Коля Филиппов домой бегать перестанет. У Пети Кукши рубцы на теле заживут. Ваня Семечкин со старшей воспитательницей поладит. А Амелию еще краше наряжать станут.

Паня так и подскочил: «Это же мой отец!»

Тем временем третья тень к Пане подходит, нагибается над ним.

— Силуян Матвеевич? — шепчет Паня.

Старик кивает.

— Выходит, смерть тоже не сильнее Бога. Вот оно как... Побеждает Господь смерть вечной жизнью. В силах, значит, он...

— Где же она, эта вечная жизнь? — спрашивает Паня.

— Да уж здесь, на земле, можно стать причастником ее, — отвечает Силуян Матвеевич. — Через любовь свою. Ибо любящий подобен Богу. Ну а в будущем царстве жизнь вечная предстанет во всей своей полноте...

Гости постояли еще в спальне, а потом ушли. Паня лежит себе и думает: «Жизнь вечная... Люди другими будут — не станут за копейкой гнаться. И разделения не будет — ни богачей, ни нищих. И мой отец сравняется с Медякиным. И не надо Тарасику ни в какую Америку ехать. Надо только вечной жизни дожидаться. Тогда и справедливость будет. Всем хорошо...»

Так Паня и уснул.



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ



НЕ ПРОЩЕНЬЕ, А ПРОЩАНЬЕ

Флейта в метро

Полонез Огинского в метро
Тянет флейта горестно и чисто,
Но червонец не кладет никто
В кепку дерзновенного флейтиста.

Душит горло, пробирает дрожь...
В суете и спешке перехода
Чувствуешь: безумна до чего ж
Наша неумная свобода.

Взапуски и наперегонки
Обличали все и разрушали,
И назад не соберешь куски,
И флейтисту не избыть печали.

Наш — в тысячелетие длиной! —
Марш был сплошь из крови и железа,
И уже гремела над страной
Вместо полонеза марсельеза.

Видно, что-то сделали не то,
Облегчая, впали в обнищанье,
Вот и обещает нам в метро
Флейта не прощенье, а прощанье.

Несгибаемый

Устали, устарели,
Утратили престиж...
Лишь ты один, Сальери,
И в старости горишь.

Не уставай, Сальери,
И страсти не глуши,
Пока не отсырели
Углы твоей души.

Все так же прячешь зависть
За пазуху, как нож,
Страдая и терзаясь,
Себя не бережешь.

Сейчас, когда искусство
И жизнь идут к нулю,
За постоянство чувства,
Как за талант, хвалю.

Взаперти

Должно быть, такое лечение
 Намного гуманней, чем нож:
 Пьешь йод, а потом в заточенье,
 Как приговоренный, идешь,

Поскольку застиранной робой
 И собственной плотью своей
 Ты вроде как микро-Чернобыль,
 Угроза здоровью людей.

Сидишь, отключенный от ящика,
 От радио и от газет,

И нет для тебя настоящего
 И завтрашнего тоже нет.

Но время отнюдь не напрасно
 Застыло в больничной тюрьме.
 Отсюда иное пространство
 Отчетливей видится мне.

Как будто, явив милосердые
 За боль и обиду годов,
 Идет репетиция смерти,
 И к этому действу готов.

Державинское

В провинциальном граде Ужице
 Я увидал, как слава рушится.

Хоть в сорок первом против вермахта
 Держался город этим именем,
 Сегодня прошлое отвергнуто,
 А имя проклято и сгнуло,

И даже памятника нет,
 И не осталось пьедестала,
 И государственный секрет,
 Где прежде статуя стояла.

Истории перелицовка,
 Как всюду, начата с вождя,
 Тем более он — полукровка,
 Не главной нации дитя...

А сорок лет страной владел!
 Запуганные им до робости,
 Не замышляли передел
 Республики, края и области.

Отвергнутый московской школой,
 От гибели на волоске,
 Крутой апостол власти голой,
 Он тоже строил на песке.

...В гостинице промерзшей в Ужице
 Я нынче думаю всю ночь
 О низости его и мужестве,
 И ужаса не превозмочь.

Ни перед кем не унижался,
 Чуть что — вздымался на дыбы!
 ...Но вечности жерлом пожрался
 И общей не ушел судьбы.



АНДРЕЙ БИТОВ

*

ИЗ КНИГИ «АЙНЕ КЛЯЙНЕ АРИФМЕТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ТРИ ПЛЮС ОДИН

К столетию «Трех мушкетеров»

*Заметки о духовности и современности героев русской литературы,
им отчасти навязанных, и об интеллектуализме и модернизме Дюма,
в которых ему, соответственно, отказано*

С тех пор, как перестали перед каждой трапезой читать «Отче наш», изменился ли вкус хлеба?

Хлеб нельзя было резать ножом от себя, нельзя было выбрасывать, когда его случайно роняли, то это был грех и его тут же замаливали — целовали хлеб, приговаривая: «Прости, хлебушек!»

Мы перестали просить у хлеба прощения.

Сто пятьдесят лет мир читает «Трех мушкетеров» с тою же охотой, с какой отказывает его создателю в уме, глубине, точности, приравнивая его к массовой литературе.

Сто пятьдесят лет не черствеет и не плесневеет хлеб Дюма.

(Несколько лет назад переводчик отказался переводить на французский единственную строчку из всего комментария к «Пушкинскому дому»: «Дюма — национальный гений Франции». «Это звучит очень глупо», — оправдывался он. «Пусть это звучит как моя глупость», — настаивал я. «Но на книге все равно будет обозначено, что переводил я...» В результате он перевел: «По мнению автора, Дюма...» и т. д. Это была уже цензура.)

Пора попросить у Дюма прощения... Это будет не так глупо, хотя и по-русски.

Все не так далеко, как кажется.

В 1844 году, когда во Франции вышли «Три мушкетера», русские «тоже писали романы»: Гоголь уже издал «Мертвые души», Достоевский писал «Бедные люди». Разница.

Если русские это писали, то что они читали?

Про себя, про нас или про них?..

Про нас — знаем, про них — неинтересно. *Про себя.*

Но какие же мушкетеры — мы, а д'Артаньян — я?

Понятно, интерес французской публики подогревался интересом к собственной истории: мы и я в одном лице. Трудно ожидать такого же интереса к предмету французской истории XVII века у русских.

Русские *других* «Трех мушкетеров» читали.

Про себя как *не про нас.*

Представляя себе несмертельный исход дуэли с д'Антесом, какого бы мы имели Пушкина?.. Хорошо бы, но многое не ясно. Одна картинка отчетлива: Пушкин в поезде, наскучив смотреть в окно, читает «Трех мушкетеров». Тогда знали французский как русский, тогда получали французские книги тут же, как они выходили. Пушкин упоминает Дюма-дра-

матурга в своих статьях, предпочитает его Гюго. Он охотно взял бы эту книгу в дорогу вместо «Путешествия из Петербурга в Москву». Был бы это тот же 1844 год...

Удовольствие представлять себе *его* удовольствие.

В Париже бы они встретились. Черные дедушки их бы подружили. Пушкин рассказал бы Дюма скорее о Потоцком, чем о Лермонтове, и пригласил бы Дюма на Кавказ...

Пушкин дописал бы «Альфонс садится на коня...».

Дюма переписал бы «Капитанскую дочку» в «Дочь капитана».

Из дневника...

24 декабря 1991 (немецкий сочельник), Фельдафинг.

...Фауст и Мефистофель, Моцарт и Сальери, Обломов и Штольц... Печорин и Грушницкий, Мышкин и Рогожин... Да это же сплошь отношения человека с автором (больше чем автора и героя). Взаимоотношения с самим собой. Все романы Тургенева — попытка занять чужую позицию. Раскольников и Порфирий Петрович — может, единственная попытка не разделить, а обратнo слить «двойника». Достоевский про все это очень знал. Поэтому так восхищался «Дон Кихотом», где Рыцарь печального образа и Санчо Панса так противоположны, что едины. Аристократ и крестьянин составляют народную пару в одной душе. Ведь все эти двойники в одном лице — Сервантес, Гёте, Пушкин, Лермонтов, Гончаров, Достоевский — еще и *третьи* лица.

Может, несравненность «Гамлета» в том и состоит, что он воистину *один*; ему противостоит разве Офелия, но другой пол не в счет (тогда). У Фауста это уже Маргарита — действительно жертва, которую никому не жаль. Фауст живет с Мефистофелем, а с ними обоими — Гёте. И они — однополы.

Для феминисток все это, должно быть, сборище педрил.

30 ноября 1991 (в поезде Мюнхен — Цюрих).

Недописанность русского героя выражена в отношении к писательскому имени... Писательское имя дописывает персонажей и героев, возвышаясь над убогими. Дон Кихот, Гамлет, Фауст, Гулливер, Робинзон существуют уже без автора. Онегин без Пушкина не существует, а Печорин без Лермонтова. Имена великих русских писателей возвышаются над их созданиями и биографиями, как снежные пики из облачной мути. С ними легче оперировать, они поддаются оценке, а не постижению. Имена в России открывают, закрывают, насаждают... *Примнут* имя: Гончаров, Лесков, Клюев — а оно пробивается, как РОЗАНОВ. Имена Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов почтительно проносят над головой, почтительно обходят. На Есенина — *посягают* (оттуда и отсюда...). Имя и то не собственное, а товар. Само живет лишь имя Грибоедова да Вени Ерофеева.

24 ноября 1992 (в поезде Берлин — Гамбург).

Позавчера, в роскошной парной, спросил у Н., чья баня: «Что сделать, чтобы начать уважать себя?» Н. давно здесь и не понял русского вопроса. «Надо поискать ответа в „Фаусте“», — смеясь и не задумываясь, ответил за него его шестнадцатилетний, выросший уже здесь балбес. Устами...

У кого это: «Кто, наконец, напишет русского «Фауста»? Томас Манн решил написать немецкого... Достоевский писал русского «Дон Кихота»... Что за распутье для русского богатыря: Гамлет, Дон Кихот или Фауст? Пушкин выбирал Дон Гуана. Где у него Гамлет? Пушкин сам — «Тот, Кто Пролил Кровь»... У нас писатель — сразу Христос, а не Гамлет, не Фауст.

У нас и д'Артаньяна нет.

Систему антигероя у нас начали раньше всех, потому что опоздали к герою. Столько всяческого героизма — и нет героя! Вопли соцреализма по этому поводу, оказывается, имеют куда более глубокую, если не философическую, основу. «Разве у нас нет?..» — спрашивает Пушкин Чаадаева, утверждая, что есть. Сам Пушкин в этом смысле несет те же сто пятьдесят лет на себе нагрузку русского героя. Он сам себя написал. Экзист-арт, так сказать.

Он и в Годунова, и в фольклор залезал — за героем... Нашел Петра, разбойника Пугачева...

Нету! Папье-маше Васнецова... Тираны, да разбойники, да поэты — всё во плоти. Соцреализм воплотится в герое-инвалиде: Корчагин, Мересьев, Николай Островский — в одном лице и поэт и инвалид...

(Отвлекаясь в окошко: заснеженная, такая русская, земля...

Поля-я германския-я-я
Да пораскину-у-лись...

Трудно так запеть. Говорят, природа не изобрела колеса... Она изобрела русского человека — перекаати-поле (единственное, кстати, подобие колеса, отмеченное в живой природе)...

Все, что не написано, — произойдет с автором. Подмена арбайтен (работы) судьбой, хоть и с большой буквы. Герои — князья, цари, святые... Потом попытки цивилизации: Петр, Ломоносов, Пушкин, Менделеев, Чехов... Потом уж — антихрист Ленин. Поиски пути вместо воплощения. Герой — ведь это уже цивилизация: революция в сознании, эволюция сознания. Конфликт ликвидирован. Как в секс-шопе... Онегин, Печорин, Чацкий, Хлестаков, Базаров, Обломов, Раскольников, Мышкин — вот наше политбюро.

Передонов, Аблоухов, Самгин, Живаго...

Смешивать автора с героем нельзя, а характеризовать самую способностью (или потребностью) создать героя — можно. Так Лермонтов хотел создать в Печорине героя авантюрного романа, что характеризует Лермонтова, не имея отношения к Печорину...

Пушкин уже писал Онегина, когда выпорхнул Чацкий. Грибоедов его опередил, и Пушкин, справедливо, переживал это. Чацкий — первый антигерой. Не Онегин. Пусть. Пушкин зато написал «Медного всадника», упразднив саму категорию. Кто герой поэмы: Евгений? Петр? Петербург?.. Россия? История? Природа?.. Стихия? Судьба? Рок?.. «Рок-батюшка, Судьба-матушка» (Алешковский).

Нет у нас д'Артаньяна.

У Обломова были хорошие данные... так его сломала наша прогрессивная общественность.

Паноптикумы Гоголя, Достоевского: у одного — мертвые души, у другого — уже Бобки.

У Толстого — всё образы, образы... Героя, кроме Анны Карениной, нет. Антигерой не удастся (Левин не вышел).

Правда, женщины у нас — герои. Все, включая сюда Веру Павловну. Тут Пушкин успел опередить Грибоедова, Татьяна — Софью.

Мужчины, играя женщин, их переигрывают (театральный факт).

Во Франции эту версию преодолели в Жанне д'Арк. Мы пробовали на этом попроще мученицу Зою.

И животные у нас — герои. Собаки и лошади. Холстомер, Каштанка, Изумруд, Верный Руслан, Джамия какая-нибудь. «Какая Джамия? Про нас, про нас надо писать!» — как сказала однажды Л. Я. Гинзбург Б. Я. Бухштабу, тайно «про нас» пописывая.

Крест проповиают, но никак уж не проедают. Сытый голодного не разумеет.

Вот и нет у нас д'Артаньяна...

(В этот момент я опять взглянул на сибирские просторы Германии, одновременно почему-то проверяя, на месте ли крест... он был не на месте. Но я нашел его, порывшись и не успев потерять...

Порвалась цепка на кресте:
Грех тянет вниз, а вяя — крепче.
Живу, наглея в простоте,
Все воровство до дна исчерпав.

Пропитаться можно до креста,
Продаться можно за поллитра.
Где темнота, где простота,
Вопрос не выучки, а ритма.

*Итого нет — таков итог.
Не подбирай креста другого:
Без Бога — Бог, и с Богом — Бог,
И ты — за пазухой у Бога.)*

24 ноября, уже в Гамбурге.

По той же причине нет русского детектива.

Литература, осуществленная в жизни, вытесняет воображение и игру как неправду жизни. Герой и сюжет — акт обуздания жизни, после которого и следует понятие цивилизации. (Запись во время обсуждения кандидатов на Пушкинскую премию, присуждаемую русским писателям почему-то в Германии, а не в России. Победителями вышли два героя советской литературы, создавших-таки героя, отличного от традиции отечественной литературы, — Фазиль Искандер и Олег Волков. Один гибридизировал Дон Кихота и Швейка, другой — лагерного Робинзона.)

Мы не замечаем, как это сделано, а это еще и сделано. Нам не демонстрируются приемы, и мы не говорим «ах!», ибо не можем шегольнуть своей причастностью: как мы это все, такое сложное, догадались и поняли. Может ли кто-либо похвастаться, что он *понял* Дюма? Что там понимать, в «Трех мушкетерах»...

Поэзия — это тайна, а занимательность — лишь секрет. Эта дискриминация объяснима лишь тем, что критик пропагандирует лишь то, о чем легче рассуждать. Что пропагандировать то, что и так всем годится? На Дюма не поступает *заказ*.

В популярности Дюма настолько участвует читатель, что не оставляет места критике. Критику не во что вложиться самому: его взнос не будет отмечен. Критика — это тоже форма оплаты. И расплаты. Когда успех приходит без ее участия.

Не критика, а реклама «Ля Пресс» ставит Александра Дюма в один ряд с Вальтером Скоттом и Рафаэлем; критика же пишет: «Поскребите труды господина Дюма, и вы обнаружите дикаря. На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку — пожирает ее прямо с кожурой». Вопиющая неточность сравнения выдает искренность памфлетиста: можно вычислить аудиторию, состоящую из знатоков французской кухни, но нельзя обнаружить адресата, прославленного гурмана, как и Россини, закончившего свою астрономическую эпопею гастрономически: написанием кулинарной книги. Одно из заблуждений среди людей несведущих (как я) и поэтому столь распространенных: что гурманство связано более с изысканностью и смакованием, нежели с обилием и пожиранием. Единственный гурман, с которым мне довелось (в советской жизни), поразил именно тем, как быстро и жадно поглощал он то, что столь долго и нежно готовил. Природа кухни оказалась романтической: ухаживание и домогание были важнее утоления страсти.

Промазав, критик попадает в цель: Дюма не пренебрегал печеной картошкой. «Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздражать своим краснбайством, бахвальством, орденами и неуважением к законам республики изящной словесности... По своей морали и философии Дюма был близок не мыслящей верхушке Франции, а массе своих читателей» (А. Моруа).

«Тонкая кость и могучая мускулатура...» Эта характеристика личности Дюма восходит к его происхождению: соединению почти пушкинскому — арапской крови с аристократической. Темперамент становится характером. «Руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, — это руки рабочего!» — ответ Дюма на упрек в аристократизме.

«Сегодня, — пишет он своему соавтору, — надо сделать еще одно большое усилие и как следует поработать над Бражелоном, чтобы в понедельник или вторник мы могли возвратиться к нему и закончить второй том... А сегодня, завтра, послезавтра и в понедельник, засучив рукава, займемся Бальзамо, — черт его подери!»

Секрет успеха Дюма — что он писал с тою же скоростью, с какой люди читают. Он сам себе был читатель в процессе письма. Он прочитывал каждый свой роман первым, не отрываясь, и отдавал следующему: почитай, мне понравилось.

Смех охватывает меня, когда я который день не в силах взойти на эти несколько страничек о нем самом... Если учесть, что впервые мысль написать некое сочинение «Об интеллектуализме Дюма» вошла мне в голову те же двадцать лет назад, за которые он... О Дюма! я не хочу видеть, как вылетают страницы из-под твоего пера и листовку усыпают пол... Не унижай!

Вот как я тогда думал, став, единственно по хитроумию, аспирантом Института мировой литературы имени Горького в 1972 году и предлагая отделу теории вышеозначенную тему для курсовой работы, что было достаточно благоприятно воспринято в виде моей шутки, — вот что я думал, уже закончив свой первый постмодернистский, по определению современных исследователей, роман и застав себя отнюдь не за чтением Джойса... читая роман «Сорок пять», а именно находясь в том его месте, где не помню какой уже Людовик выстригает в карете специальными серебряными ножничками специальные картинки для вырезания, для него, Людовика, специально изготовленные... Именно как модернистом восхищаюсь я вдруг Дюма, посвятившим всю главу одному лишь этому выстриганию внутри напряженного своего действия, которого он признанный мастер, кулинарно отделявая живописные картонные сценки, досадуя вместе с монархом на тряску экипажа и в последний момент неудачно срезанный вензелек, в то время как по напряженному действию, которого я, естественно, не помню, Людовик не просто себе катается, а его от кого-то прячут и спасают или, наоборот, предают, так что вся его несимпатичная демократу жизнь висит на волоске, как неловко обрезанный лоскуток почти завершенной картинки...

Кто это написал? Толстой? Пруст? Казалось, психологизм подобной сценки мог быть достигнут лишь после их открытий.

Много мы найдем подобного рода достижений и в «Бражелоне». Там как раз много такого — того, что в детстве было *скучно* читать. Там одно из лучших и самых объемных описаний свежего барокко, где интриги имеют очертания парков и кринолинов — модных *живых картин*. В юности мы это пропустили, а в зрелости не перечитали. Не в этом, как мы уверены, сила и заслуга Дюма. Надо полагать, он и сам так думал, полагая подобные застревания текста едва ли не излишними, но очень уж хотелось, очень уж получалось, слишком большое удовольствие от вкушения... Вот и остался Дюма сюжетчиком, без заслуг Ватго. Возможно, сам Дюма был мастером именно *живых картин*, а не сюжета, который трудно уже установить, у кого он, мягко говоря, брал. Вот уж что не грех уворовать, так это сюжет! Потому что его еще написать надо. И Пушкин не столько *дарил*, сколько *прощал* Гоголю свои сюжеты — за неплохое исполнение. Правда, это Дюма первый украл из библиотеки «Мемуары господина д'Артаньяна», переписанные впоследствии Маке, в свою очередь снова перебеленные Дюма... Трудно установить, кто у кого, тем более, что сами мемуары были подделаны неким де Куртилем.

Короче, Дюма слишком *хорошо* пишет, в самом изысканном, самом современном и снобистском смысле слова, чтобы заподозрить его в случайности, в одном лишь избытке таланта, а не в мастерстве.

Но — д'Артаньян!

Уже через пять лет после выхода романа говорили, что если есть еще на некоем необитаемом острове Робинзон Крузо, то он читает «Трех мушкетеров». Через сто пятьдесят лет на нашей слишком обитаемой планете мы — как тот Робинзон...

Незадолго до смерти сам Дюма наконец нашел время почитать, что написал, и начал с «Мушкетеров», и на вопрос сына сказал, как Бог: «Хорошо!» Перечитав следом «Монте-Кристо», заявил: «Не идет ни в какое сравнение с „Мушкетерами“». Трудно, наконец, не восхититься мастером, потому что, в этом случае, мы сами так считаем...

«Одно поколение может ошибиться в оценке произведения. Четыре или пять поколений никогда не ошибаются»... Моруа осмелился и написал порядочную книгу в защиту репутации Дюма, а все не избежал снисходительности, а все и восхищаясь извиняется за него, что он такой...

К пяти поколениям прибавим шестое...

Все-то мы ему отказываем... Считаем, что продолжение «Трех мушкетеров» — хуже. Мол, писано в погоне за их успехом, слишком по инерции. Я и сам утомлялся Карлом XII в «Двадцать лет спустя», а прелести «Десять лет спустя» оценил в сорокалетнем возрасте, и то по изысканной подсказке одной графини. Но...

Представьте себе эпопею, растянувшуюся на сорок лет, где молодой еще век созревает и начинает стареть вместе с героем, в которого мы влюбились, когда он был молод, а провожаем почти что, во всяком случае по тем временам, стариком, представителем ушедшей эпохи, которая уже смешна эпохе народившейся, качественно новой... Представьте себе свой собственный возраст, когда вы Дюма читали, и вспомните, как весь этот блеск юности, которой не без раздражения прислуживает старый герой, вся эта молодость мира раздражала и вас; представьте, что старость увлекла вас больше молодости как раз тогда, когда в собственной жизни больше всего раздражало именно поколение его возраста... поищите теперь во всем вашем опыте чтения мировой классики — как я не могу вспомнить в этот миг ни одного — духовно здоровое произведение, в котором симпатии распределялись именно таким образом: против молодости, против прогресса... и вы не найдете аналога. Герой молод вместе со своим веком, а молодость стара — вместе со своим... пусть кто-нибудь поставит перед собой задачу подобной эпопеи и попробует ее выполнить... Это будет невозможно, потому что подобная задача противоречит естественным законам повествования: слишком сложно, чересчур интеллектуально. У Дюма — получилось.

Перейдем к еще более сложной арифметической задаче, каждый себе ее задавал. Почему роман называется «Три мушкетера», а главный герой не из их числа? Почему тогда не «Четыре мушкетера»? Потому ли, что д'Артаньян не сразу получает это звание? Только ли из любви к сакральной цифре *три*? Эти причины всегда покажутся недостаточными.

Хорошо. Почему д'Артаньян — главный? Сначала ясно: потому что с него начинается, потому что он моложе и неопытней, потому что он приезжает туда, где остальные уже есть. Собственно, почти тут же их становится не один, и не три, и не один и три, и не три плюс один, и не один плюс три. Их становится четыре. «Один за всех, все за одного!» — вот формула героя Дюма, в которой он сразу же признается, выдавая технологию. Формула, которую мы принимаем за романтический лозунг. Но с этого момента в отдельности нет ни одного из четверых. Они расстаются лишь для движения сюжета, потому что сюжет движется тем, что они должны поскорее встретиться. Вчетвером они понятно что: они фехтуют, скачут и выпивают. Что они делают не вчетвером, не ясно. Слуги у них разные, это да. Слуги в этом смысле очень важны. По ходу, походя, характеры, конечно, проясняются, но по очереди — то Портос, то Арамис, то Атос — по мере читательской необходимости их различать. Герой у Дюма один — вся четверка. Просто про д'Артаньяна Дюма чаще не забывает, а так — то вспомнит одного, то другого, мазнет своей свежей кистью, — и поскакали дальше. Д'Артаньян, конечно, едва ли не первый в мировой практике супергерой в современном кинопонимании. Но он и куда более живой. Чем? Тем, чего ему лично не хватает. Чего же ему не хватает? При таком абсолютном наборе достоинств? А не хватает хитроумному гасконцу того, что миг лишило бы его индивидуальности: благородства и выдержанности Атоса, простодушия и доброты Портоса, хитрости и милости Арамиса. Чего не хватает каждому из трех, чтобы из достаточно условных характеров каждый из них стал живым и особенным? Каждому из них не хватает хитроумного провинциала. Трудно сказать, чтобы Арамису недоставало простодушия Портоса, Атосу хитрости Арамиса и т. п.

Кто же эта живая масса из четверых, что за характер?

Получится, что «Три мушкетера» — это еще и небывалая автобиографическая проза, потому что, вчетвером, они — Дюма.

К концу, однако, Дюма сам себе поднадоел как д'Артаньян. Правда, меньше, чем Атос, но больше, чем даже Арамис. Симпатии автора и читателя в одном лице оказались поглощены живой тушей Портоса. Молодой Дюма, фехтуя пером, покорял Париж, как д'Артаньян, прикидываясь то Атосом, то Арамисом, но был в душе Портосом и погиб под обрушившимся сводом собственных сочинений, как Портос.

Дюма настолько же щедро не признан, насколько щедро написаны его книги. Нельзя сказать, чтобы этого никто не понимал. Сент-Бёв, например, понял сразу:

«Настоящий французский дух — вот в чем заключается секрет обаяния четырех героев Дюма: д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Кипучая энергия, аристократическая меланхолия, сила, не лишенная тщеславия, галантная и изысканная элегантность делают их символами той прекрасной Франции, храброй и легкомысленной, какой мы и поныне любим ее представлять. Конечно, за пределами этого суетного мирка, занятого любовными и политическими интригами, существовали Декарты и Паскали, которые, впрочем, тоже были не чужды обычаям света и армии... Зато сколько великодушия, изящества, решительности, мужества и ума проявляют эти молодые люди, которых шпага объединяет раньше, чем мушкетерский плащ. В романе все, вплоть до мадам Бонасье, предпочитают храбрость добродетели.

Д'Артаньян, хитрый гасконец, лихо подкручивающий свой ус; тщеславный силач Портос, знатный вельможа Атос, настроенный романтически; Арамис, таинственный Арамис, который скрывает свою религиозность и свои любовные похождения, ревностный ученик святых отцов (non inutile est desiderium in oblatione) — эти четверо друзей, а не четверо братьев, как их изображал Куртиль, представляют собой четыре основных варианта нашего национального характера. А с каким невероятным упорством, с каким мужеством они добиваются своих целей, вы и сами знаете. Они совершают свои подвиги с удивительной легкостью. Они мчатся во весь опор, они преодолевают препятствия так весело, что вселяют мужество даже в нас. Путешествие в Кале, о котором в «Мемуарах» упоминалось лишь вскользь, по своей стремительности может сравниться лишь с итальянской кампанией. А когда Атос выступает в роли обвинителя своей чудовищной супруги, мы поневоле вспоминаем и военные трибуналы и трибуналы времен революции. Если Дантон и Наполеон были воплощением французской энергии, то Дюма в «Трех мушкетерах» был ее национальным поэтом...»

Национальный поэт и национальный гений — не синонимы ли? Была бы у меня тогда под рукой эта цитата...

Французам он дал историю, они уже ее имеют и забыли о нем. Нам он дал героя, и мы его помним.

При всем нашем традиционно-общинном сознании, при всем опыте социализма наша литература не создала *коллективного* героя. Как бы это теперь ни звучало, а четыре друга — это коллектив. Перечитал ли Достоевский «Трех мушкетеров», приступая к «Братьям Карамазовым»?..

Коллективный герой у нас никак не складывается. У нас герой не складывается, а выгнывается. Из семьи, из общества, из народа, из человечества.

Наличие героя подразумевает наличие общества. Русскому герою всегда противостоит *среда*. У Дюма никто не борется со средой или обществом: за короля — против короля, борьба партий. Наличие двухпартийной системы... Их герой если и противостоит обществу, то лишь потому, что хочет в него попасть (Жюльен Сорель, Растиньяк). Размышления о несправедливости есть область действия, размышления о несовершенстве — область развития ума. Впрочем, и русский герой не противостоит обществу (общество ему еще иногда противостоит, как очередному Чацкому), а просто его не хочет, он хочет *другого* общества. Которого нет.

Мы разъединены, как нас ни насилуй. В коллектив не хотим, в колхоз не хотим. Даже в хороший. Хотим куда-то *туда*. Это странно, но у французского героя оптимистическое положение солдата, а у русского — тоска свободного человека. И это опять потому, что их герой живет в *обществе*, а наш — в *среде*. Одинок, как жизнь во вселенной. Что маленький человек, что большой... один, один! Один, как Чацкий — Онегин — Печорин, как Мышкин и как идиот, как Акакий Акакиевич. Барахтаемся в шинели, все никак из нее не выйдем...

Никак нам не накопить общественного опыта. Только народный. И то во дни побед и бед. Нет общественного опыта — нет и общественной цели (жить лучше), а есть умозрительное общее дело (всех воскресить). Оттого каждый раз все сначала.

У нас кто не противостоит? Неожиданный выйдет ряд... Старосветские помещики. Хлестаков. Обломов! Обломов — вот нормальный человек, как ни допекает его Штольц: Обломов мается от общества, страдает, но, изо всех сил, не противостоит. Себя казнит.

Опять Пушкин не доделал... А мог бы! Мог бы он для нас еще и это.. Гринев с Пугачевым — вот герои! И в русском и в западном смысле. Это я все о том же: Пушкину еще много что предстояло сделать. В частности — русского героя.

Может, от советской власти выйдет исторический прок: вот уж накопили общественный опыт! Капитал, а не опыт. Пора и обществом стать. А там и героя напишем...

Посмотрим.

А то «один на всех, все на одного» — это мы знаем, а про «один за всех, все за одного» — почитываем.

С большим удовольствием.

РЕАЛИИ РАЯ

Берлинская инсталляция

Какими голиафами я зачат,
такой большой и такой ненужный?

В. В. Маяковский, 100 лет которому.

1

Не знаю, как там у Фрейда, но отец для сына есть секрет настолько раздражающий, что не хочется и разгадывать.

Мой отец был архитектор и строил мне Большой Секрет. Разрозненные довоенные и даже дореволюционные кубики, обрезки досочек и фанерок, коробки из-под довоенных же конфет... Неутоленные Корбюзье и Райт вполне воплощались в его постройке. Я не должен был подсматривать, я терпеливо ждал. Наконец...

Дворец был как вавилонский торт, выставленный в витрине Елисейского магазина в 1945 году в качестве победы над фашизмом. Я начинал с верхушки. Суть игры была в том, чтобы разобрать, а не разрушить. Я начинал. Мне открывалась первая, башенная, комнатка. Что там? Там мог быть и безногий оловянный солдатик в форме РККА, и сшитый мамой в войну тряпичный зайчик, и кое-что поволшебнее, вроде такой машинки, похожей на перочинный ножичек, но не ножичек, с раструбом, как у мясорубки, но, когда нажмешь на нижнее колечко, выскочит блестящее металлическое коленце и вся штука станет похожей на кузнечика... Щипчики для сигар! Осторожно, чтобы не посыпалось, я открывал следующую нишу... Отец мне рассказывал в это время что-то достаточно мало меня занимавшее — про то, как один человек зашел в древнеегипетскую пирамиду и лишь одну секунду все перед ним было таким же целым, как и

тыщи лет назад, а потом все рассыпалось, все мумии и фрески... Может, он мне рассказывал и про Шлимана и про Трою... Я до сих пор путаю Шлимана с Жиллетом, потому что в следующей секретной комнате, куда со свистом врвался воздух, как в гробницу фараона, не рассыпалась половинка бритвенного станка фирмы «Жиллет», который, как поведал мне тут же отец, стал сразу миллионером, как запатентовал дырки в бритве, и никто кроме не мог просверлить их так же... В парикмахерской я думаю о Древнем Египте. Мол, жили-были и тоже, поди, причесывались, оттого и осталось от них так много гребенок, пол-Эрмитажа...

Мой бедный папа строил мне дворец. Материал был подручный: то, что осталось. От революции, от блокады... В нашем доме ничего не покупалось и не выбрасывалось. Все было обменено на еду или сгорело в буржуйке. Замечательные находил я вещи за разборкой отцовского мавзолея! С тщанием доставал я из следующей ниши волшебные щипчики, колечки, палочки-печати, стеклянные радужные шарики, медную чернильницу с иероглифом, серебряную монетку в пять ёре 1864 года, пуговицу с двуглавым орлом, кораллового поросенка с серебряным ушком, японского божка... граненую пробочку неописуемой красоты... от исчезнувших сигар, салфеток, писем зарубежных родственников, мундиров, часов, духов и графинов...

Вот мне уже и трудно отделить то, что я помню, от того, что знаю... то, что забыл, от того, что узнал. Утоляю ностальгию на берлинском фломарте. Мой бедный отец всегда подскажет мне, что здесь есть хорошего... Мог ли я, мог ли он предположить, какой прочный он строил дворец! Что это он учил меня ходить по музеям и читать романы, как рисовать и писать?

Я гробница своего отца.

От моего отца ничего не осталось.

2

К концу XIX века индивидуализм развился до такой степени, что выразился в культе имени. Это в принципе провинциальное явление породило понятие звезды. Сейчас это уже промышленность, а на рубеже веков звезда еще рождалась сама собой, но настолько часто, что даже прозаики были знамениты, как тенора. Их портреты печатались на почтовых открытках, и гимназистки целовали эти открытки. Такой звездой, погасшей в Финляндии вскоре после революции, был, в частности, Леонид Андреев.

Другая слава досталась его великому сыну Даниилу. По малолетству он пережил революцию и оказался в сталинских лагерях на добрую четверть века, где и написал все свои книги. Книги эти у него в основном изымались и либо уничтожались, либо переваривались в непомерном архивном желудке ЧК — ГПУ — НКВД — КГБ, но он имел святое мужество верующего человека и продолжал их писать. Последняя его книга имеет замечательную дату в конце: 1943 — 1958. То есть пока страна и весь мир переживали войну, как горячую, так и холодную, пока был жив Сталин, и когда он умер, и когда его разоблачал Хрущев, зэк Даниил Леонидович Андреев писал свою «Розу мира». С убежденностью Данте, но с простодушием непосредственного участника описал он наш универсум, снимая с него онтологический слой за онтологическим слоем, как кожуру с апельсина. Личного опыта и прямого лицезрения ему хватило на половину этих слов, симметрично вверх и вниз отсчитываемых от нашего слоя реальности. Причем вниз он погружался глубже, чем мог воспарить вверх. О дальнейших слоях он свидетельствовал более косвенно — по догадке, понаслышке, но каждый раз стараясь придерживаться лишь неоспоримых данных. И лишь самые донные, так же как и самые верховные, слои остались покрыты для него мраком или ослеплены светом. Как свидетель он постарался не пропустить и частных подробностей параллельных нам, одновременно с нами существующих миров.

Так не пропустил он и описания слоя (или подслоя), населенного воплощениями героев и детских игрушек. Там, созданные силой воображения гениальных их авторов, Санчо Панса закусывает с Максим Максимычем, а Евгений Онегин объясняет Вертеру преимущества дуэли перед самоубийством... там, не мешая взрослым, резвятся на лугу симпатичные плюшевые зайчики и медведи, крокодильчики и обезьяны, одушевленные любовью и игрою их бывших маленьких хозяев. Вот уж где «никто не забыт и ничто не забыто», так это в «Розе мира»!

3

Однако как легко было утратить саму эту книгу...

Напуганные количеством книг на Франкфуртской ярмарке, или в Библиотеке конгресса, или на книжных развалах на набережной Сены, как легко мы не заметим подобной недостачи. Куда подевались собрания сочинений Ленина и Сталина, выпущенные самым большим в мире тиражом, сведшим на нет половину лесов Сибири?

Ввиду таких пропаж книга становится поступком. Диким, бессмысленным, благородным. Нерациональным. Она не конкурирует и не борется, как потный гамбургский борец. Она отстаивает лишь одно свое право родиться, хотя бы и на один день, хотя бы и в одном рукодельном экземпляре, как книга Резо Габриадзе. Она — как бабочка-однодневка... И так же красива.

Книга-репка, книга-фляжка, книга-манекен, каменная книжка, стальная книжка, стеклянная... Книга-зонтик! И это уже не метафора.

Книга-зонтик была... сделана? создана? написана? издана?... еще реже, чем в одном, в единственном, экземпляре — Ребеккой Хорн специально для выставки уникальной книги в галерее «Авангард» Натана Федоровского в Берлине, выставки, как бабочка, прожившей ничтожное количество дней с 16 по 26 октября 1992 года! Зонтик этот почетно лежал посреди зала. Это был старый, замшелый дамский зонтик, у ручки которого прицепилось чеховское пенсне об одном стеклышке, а по окончанию полз любопытствующий жучок, складки зонтика были слегка раздвинуты, застенчиво обнажая некую красную алеющую сокровенную сердцевину содержания, как вполне определенную щель... «А где тут страницы?» — спросил я. «Да вот же!» — гордясь, сказал хозяин галереи и перелистал складки зонтика. И действительно, на каждой было что-то написано. Некоторая неразборчивость текста вполне устраивала, поскольку содержанием книги оказывался все-таки сам зонтик, то есть форма и была содержанием. И вся выставка поворачивалась вокруг этого зонтика как оси.

Но и книга-манекен — из манекена, и каменная — из камня. Книга-фляжка, зато из книги Этель Лилиан Войнич «Овод», намек, особенно трогающий сердце бывшего советского читателя, — очень уж родная вещь! Это вам не эстетствующий зонтик, утративший свое назначение, столь характеризующий типичный для буржуазного искусства тлен и распад. В этом произведении как раз содержание становится оболочкой и формой: книга, пустая внутри, с завинчивающейся пробочкой. Ее романтически-гаррибальдийское содержание оказалось вытеснено реальным содержанием нашей жизни — водкой. Я потряс Войнич — она была еще раз пуста. И если она не была прочитана таким образом посетителями выставки, то это и есть единственное упущение устроителей выставки.

Стальная книга... Здесь как раз нет никакого разрыва формы и содержания — полное единство: книга периода полной и окончательной победы социализма в СССР. Книга из стали, посвящена Сталину, отчет о достижениях стальной промышленности, 1939 год... Молотов — Риббентроп, шестидесятилетие вождя.

Традиционную и объективную, так сказать, устойчивую искусствоведческую ценность представляет коллекция русского книжного авангарда 20-х — начала 30-х годов, тщательно собираемая Н. Федоровским. Тут работы Гончаровой, Лебедева, уникальные книжки Хлебникова, Крученых, Гуро, РАПП и ЛЕФ, Родченко и Маяковский.

Родченко ли фотографировал Маяковского? Маяковский ли фотографировался у Родченко? Субъект или объект? Маяковский гипнотизирует камеру, взгляд его проходит сквозь Родченко и пронизывает нас: кто такие, к кому пришли?

*Профессор, снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.*

Ан нет, не сам.

Сам он смотрит и молчит, допытываясь чего-то. Он недоумен: только и всего? Это и есть бессмертие?

Бессмертие это и есть. Вы выходите в иной мир сквозь форточку его портрета. Там все так же: тот же Берлин, те же залы той же галереи, та же осень за окном. Но это уже не карнавальное веселье разнородных блистательных уродцев, уникальностью своего существования иллюстрирующих неистребимость жизни, какой был паноптикум книги как объекта, — это уже трагедия существования отдельного ее экспоната, Маяковского.

4

Сразу вслед, там же, 31 октября, состоялось открытие следующей выставки — «Мир Лили Брик». Бабочка умерла — началась долгая жизнь гусеницы. Бессмертие достижимо лишь в метаморфозе. Гусеница экспонирует свое прошлое: осыпающиеся крылышки живописи, пылью фотографий и записок.

После того как Маяковский был назначен Сталиным «лучшим и талантливейшим», после того как несчастного самоубийцу расстреляли из пушки советской славы, после этого двойного убийства Маяковский обрел свое единственное личное бессмертие у Бриков, как при жизни обретал там единственное убежище. Под панцирем бронзовой громогласности — все то же несчастное, разорванное, одинокое сердце.

Любовь поэта... Отдав должное, воздвигнув памятники, переиздав и перепечатав, переворотив все, мы начинаем вглядываться в ее черты. Кто эта Лаура, Наталья Николаевна и Любовь Дмитриевна? на полстолетия пережившая своего возлюбленного... собравшая и сохранившая все это... прожившая, между прочим, и свою жизнь?

*Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт...*

И вот этот мягкий и нежный быт, о который она разбилась. Что бы мы знали о нем без Лили Брик? Казенную комнатку в коммуналке напротив ЧК с портретом Ленина, под которым поэт себя каким-то образом чистил, «чтобы плыть в революцию дальше»? Комнатку без быта, с арестованной посмертной запиской...

Выставка «Мир Лили Брик» имеет самостоятельную художественную и материальную, опять же с точки зрения искусствоведа-галерейщика-коллекционера, ценность. Но невозможно, разглядывая экспозицию, не ловить себя на постоянной мысли о той Лиле, о ней... Что же в ней такое было? Такое-такое? Разглядывая бесчисленные ее портреты оптики Родченко и кисти Тышлера и Бурлюка, разочаровываешься в возможностях искусства, а не модели. Каким-то образом, поддаваясь и подставляясь запечатлению, она никому не далась, оставив именно вам вашу личную догадку о том, какая она, индивидуально каждому эту личную догадку адресуя, посылая как обещание и привет. И прощение. И прощение за то, что вы, как бы ни сдерживались, но нарушили эту невидимую завесочку благопристойности. Не женский ли это секрет? Не ее ли тайна?

Что это была за порода такая, эти русские красавицы, рожденные на рубеже веков, Ахматовы и Цветаевы, не написавшие ни строки, но ставшие подругами будущих великих поэтов и художников, оказавших влияние и на Пикассо и на Дали? Мода ли такая была — поклоняться им, или все-таки достойны были поклонения, лишь слабо запечатленного в поэмах

и полотнах, им посвященных? Кто скажет? Насколько бездарны могли бы показаться нам «Дама с камелиями» и «Травиата», доведись нам одним глазком взглянуть на Мари Дюплесси?

Вы то подумаете, то посмотрите. Наряду с более престижными работами Пикассо, Шагала, Леже вы найдете в коллекции Лили и живые шедевры Пиросмани, Гончаровой, самого Маяковского. Увидите манекен с моделью Ив Сен Лорана, в чертах старухи прозревшего бессмертные красавицы — «стиль Лили Брик». Это странно и убедительно: платье красавицы удостоено той же чести, что мундир Петра Первого или простреленный сюртук Пушкина...

И опять — фотокарточки, автографы, любовные записки... Все это уже стоит музейных витрин и шкафчиков. На полочке — печатка, увядшая перчатка, телеграмма: «Володя застрелился». Смотреть становится невозможно... вы отводите взгляд, чтобы его никто не заметил... Большая, как нотная, тетрадь... «Сестра моя — жизнь» — журавлиный почерк Пастернака. Вы раскрываете рукопись...

Февраль. Достать чернил и плакать...

Вы проваливаетесь. Там, на этой полочке, за стеклом, между перчаткой и печаткой, между засушенными вуалетками и очками, открывается непомерный мир одного экспоната, и вы покидаете мир Лили Брик...

5

«Сестра моя — жизнь»... Есть тут нечто от инцеста.

Не знаю, похожа ли Лили на сестру, но слово «жизнь» похоже на эту смесь. То ли оргазм, то ли тошнота. Никакой морали. Никакого «после». Вам хорошо, что вы вышли наконец на воздух. Вы в восторге от осеннего солнышка на Кудаме, и немецкие лица кажутся приветливыми и открытыми. Можно махнуть глентвейна или купить шарик. Ноги сами вас приведут... Возвышаясь над ребятишками, со снисходительной улыбкой, демонстрирующей одиночество... Вы и не подозревали, что окажетесь снова на выставке...

Через десять минут после сладкого плена и тлена Лили Брик я рассматривал крокодила, навсегда открывшего свою пасть. Я не мог поверить, что он живой. Странно было заподозрить за немцами такую халтуру, чтобы выставять среди живых существ чучела или муляжи. Помесь мадам Тюссо с зоопарком... Халтуры, конечно, не было: он был живой. Это был его способ жить, навсегда открыв рот.

Восхищение Творцом перейдет в депрессию эволюции. Пока Творец задумывался на свою божественную минуту, эволюция с усердием копииста, допущенного к самостоятельной работе, отгискивала такое количество никуда не ведущих вариантов и форм, что поневоле приходилось прибегать к катаклизму, чтобы развернуть ее механизм в следующем направлении.

Притомившись рыбами и крокодилами, с одним желанием выйти снова и поскорее на воздух, я нехотя, чтобы отработать всю стоимость входного билета, поднялся на третий этаж, суливший мне лягушек и насекомых. Это был самый душный, непопулярный этаж. Лягушки попрятались. Насекомые, похоже, даже повымерли, оставив нетронутыми салаты из бананов и апельсинов. Грозные скорпионы и тарангулы питались ими, как зайчики.

Mantis спес... Я узнал богомола. Я не встречал его с детства. Таким образом он у меня ассоциируется с войной. Защитного цвета, вооруженный до зубов. Если его преувеличить до человеческих размеров, какая бы то была рукопашная! Тогда я думал: какой там штык!.. теперь подумал: куда там Шварценеггеру... Далеко я не ушел. Далеко ушел богомол. Он достиг границы своего апартамента и теперь пытался забраться на стенку. В природе нет такой поверхности, за которую не уцепился бы богомол, — эта была из пластика. Богомол пытался постичь феномен его незацепляемости: он пробовал переползти с веточки на стенку. Удерживаясь последней

лапкой за понятный листочек, он царапал стенку всеми остальными. Тщетно! Настойчивость эксперимента придавала его лицу недоуменное выражение. Как ему хотелось перенести и последнюю ножку! Ему казалось, что он уже зацепился, — но это опять только казалось. Видимо, он начал бороться с законами природы задолго до моего прихода, во всяком случае, я ушел, не дождавшись его отчаяния. Может ли долгое нахождение в неудобной позе считаться молитвой?

Наверное, это было время сестры — следующие вольерчики были опять пусты. Наличие жизни в них подтверждалось лишь наличием меню: те же салаты, игнорируемая морковка... Ни *Parasphendala agrinonina* из Восточной Африки, ни *Acrophilla vulfingi* из Австралии, ни *Hiterapteryx dilatata* из Малайзии не наблюдались. Для жизни им предоставлялись розовые кусты, как в раю. Я вглядывался, как в ребус, призывая Набокова: где матрос, где мальчик?... Шипы, надо полагать, были как ступеньки лестницы; листья были изгрызены и поржавели. Наличие термостата гарантировало неизбежность климата. Ни дуновения... И тут дрогнул розовый лист.

О, эта смесь восторга, омерзения и молитвы... о, эта дрожь зашиворотная... о, этот озноб, в просторечии именуемый «жизнь»! Как ползают, как липнут эти «ж» и «з»! Лист розы оказался громадной самкой, американкой *Arplorus ligia* с небольшого росточка сухеньким мужем, расположившимся на ней как на отдельной кровати. Она отвечала ему подрагиванием своей перинны и одновременно продолжала закусывать тем листом, за который я ее принял.

Стоит только раз отметить наличие жизни, как ей не будет конца. Никакой сестры! Для чего и мимикрия — чтобы не бояться жизни!.. Им не надо было ни прятаться, ни отдыхать. Потому ли, что отдыхаем мы лишь от страха? А может, кто не боится, передает его другим?... В страхе наблюдал я, как оживают сучки и листья, и будто в ушах стоял легкий треск... Сучочек на палочке оказывался живой, и другой, и третий... но и сама палочка! А когда живыми оказывались и ствол и листья! Когда живое подражало не только живому, но и мертвому... когда, различив в ворохе опавших листьев живое существо в виде опавшего листа, вы различите и второй и третий... а потом вдруг вся эта куча окажется живой?

Нет! Нет, нельзя было этому наваждению поддаваться. «Никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им». О, как это верно! И в то же время: «Взгляни на лилию: как она одета!» Но об *этих* и здесь ни слова. Ни слова о тех, кто избежал изображения, став им... Ни мысли о мысли, ставшей ею... О, *Extatosoma tiaratum!* о, *Extatosoma horridum!* Насколько я догадываюсь по-латыни...

Я назвал ее Клеопатрой. «Тайна ее покрывала черты...» Была она одета осенним листом. По блеску изумрудных глазок угадал я маленькую головку красавицы и впрямь в чем-то вроде кокошника; по маленькой головке красавицы исчислил я ее возможное продолжение в теле... Какое это было платье, пошитое из кружевных краешков опадающих листьев! Какие то были складки и рукава... Счастливый кавалер запутался где-то у ног, в подоле... Терпеливо переминался от нетерпения следующий. Не сразу отметил я маску смерти на них. Легко ли отличить живое от мертвого в жизни, прикинувшейся смертью? Они были разнаряжены на бал — одни наряды от них и остались. Они свисали гирляндами, уже как настоящие листья. Маскарад — это просто танцующая очередь за любовью и смертью. Она весела, потому забыла, кто за кем занял... Ибо смертью кончается желание быть не собой.

Как и иметь *не свое*. Вот свобода.

6

Эти выставки, в открывающейся за любым экспонатом перспективе следующей, — суть художественная мысль и творчество самого галерейщика, вытеснившего работу художника. Тленность и мимолетность экспози-

ции возвеличивает бессмертие экспоната, обретающего жизнь лишь в подобной случайности. Жизнь существовала, существует и будет существовать лишь по недоразумению искусства. Победа ненастоящего, непрочного, непрактичного над утвержденной иерархией социальных ценностей неизбежна. Вам показалось — блажь, а это — свобода.

Этот галерейный рай, этот оживший загробный мир никому не нужных вещей, та кажущаяся нам ненастоящая форма жизни, одновременной с нашей, настаивающей на своей настоятельности, наглядно вписывается в онтологические слои нашего бытия, столь любовно описанные страннейшим и нежнейшим философом Даниилом Андреевым.

Миры у Даниила Андреева не только параллельны, но и подобны. Так, под Петербургом — другой Петербург, с противоположным названием (вроде Ленинграда), где под Медным Всадником — бронзовый бронтозавр верхом на ихтиозавре.

Я вспомнил о нем, как об отце, глядя на необычайное существо, этакого стража выставок Федоровского — полифема, дракона и ангела одновременно, непрестанно бдешего и бурлившего у недействующего камина. Непонятное это создание не имело отношения ни к уникальной книге, ни к миру Лили Брик. Наверное, в каждой тематической экспозиции должна быть вот такая вещь, чтобы гадать, зачем она. Я бы хотел его встретить еще раз...

Он? она? оно? стояло скромно у камина на своих тонких ножках, органично совмещая в себе трудно совместимые проявления возмущения происходящим, чувства собственного достоинства и полной отрешенности. Он был занят. Она скрипела и кипела, время от времени взмахивая золотыми крыльями; в прозрачных жилах бурлила и плескалась зеленая чернильная кровь. Оно была кинетическая скульптура русского инженера Андрея Великанова, живущего в Берлине. Это была очень берлинская вещь, потому что крылья ее были в точности как у ангела с Триумфальной арки.

У этого произведения не было названия, но по юмористичности и серьезности, с какой оно трудилось, это была Муза Прозы, настолько точно она иллюстрировала творческий процесс.

Все ей не нравилось. Она работала в рабстве у работы и материлась.

У свободы есть специфически русское применение. Это мат. И хотя на улицах Берлина русских скоро станет больше, чем турок, вы имеете преимущество крепко выразиться, сойдя за сумасшедшего, а не за хулигана. Из всех гипотетических этимологий русского мата, включая сакральные и биологические, я предпочту философски-буддистское: обретение реальности. Как только вы с нею столкнетесь (я имею в виду буквальный смысл столкновения: о камень, об угол...), как только вы ожгетесь реальностью (опять же буквально: о кастрюлю, об угол), то вы и выразитесь этим специфическим образом. Обрести себя в реальности, хотя бы только в смысле времени и пространства, есть уже приближение к молитве. Поэтому, а не почему-либо, сразу за матюгом так легко произносится: Господи, помилуй!

«Остановись, мгновение!» Утрата реальности связана с желанием назвать. Желание назвать есть желание удержать. Проза есть повисший над рукописью мат по поводу исчезновения текста из-под пера. Выматериться — это и обозначить то, что исчезло. Невозможность назвать не следует путать с неспособностью сделать это. Терпеливый и последовательный немецкий язык запечатлел это раздраженное усилие называния в самой грамматике и тем отменил потребность в мате. *Gespenscheuschrecke! Reisingespenstschrecke!* Тут уже незачем ругаться. Как само слово, даже графически, похоже на то, что называет! Оно трещит и угрожает, оно членистого. Другое дело — по-русски... У нас лирика и пение на первом плане. «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен...» Не рассматривал кузнечика даже Михайла Васильевич, первейший русский ученый, прекрасно немецкой грамоте разумевающий. А рассматрел бы... то и сказал бы, в поисках подходящего русского заменителя... Слышим мы лучше, чем видим. Оттого, не обретая образа, усиливаем звучание. То есть выражаемся.

Мы этих слов не пишем. Поначалу мне достался компьютер без клавиатуры. Раздражение по поводу этого, а так же собственной неумелостью обращения с заморским аппаратом находило себе устное выражение. Я попробовал эти слова записать латиницей. Как тупо! Что можно начертать без «ж», без «з», без «х»? И я не заметил, как написал следующее...

THE FIRST PRAY ON IBM

Performed on the 5th of November 1992 in Wissenschaftskolleg zu Berlin

...We'll suggest you not to try to develop yourself but just to understand to what greater part of knowledge you are really belonging. That's it. The question how to start is not the same as to be or not to be. Your feeling of perfectness of everything you don't know is just a rudiment of your believing, that part of it, which everybody is still receiving from the very birth. Don't be afraid of the stop because here is the entrance. You don't need to search for the key — the door is never locked. The question whether it's just opened or partly opened or there is another... all these are not your questions, at least now. Just enter because you are the key. Just enter and then you'll see. And we can ensure that the landscape will be good. It will resemble you something you've already seen but forgotten. Let's say in your early childhood or night dream or previous birth. And please don't hesitate in any kind of reality. It's not yet your turn to know that there is no door and landscape is just the same you are standing now in. That's why it's looking so alike... as if you've already seen it already. Just look at your screen you are looking at. There is no mirror but there is a window. And that's the stop we started with, deceiving you that you have not to be afraid of it.

УГОЛЬНОЕ УШКО, ИЛИ СТРАСБУРГСКАЯ СОБАКА

*Речь на симпозиуме «Набоковский треугольник»
14 июля 1993 года в Берлине*

Переводчики — почтовые лошади просвещения.

Пушкин. Table-talk.

Посвящается R. Tietze,
S. Brownsberger.

Когда в семье ожидают ребенка, множество беременных выходит на улицы; когда он уже родился — то множество колясок.

То же самое после вчерашнего: чудовищное количество утренних подмигивающих не опохмелившихся морд.

То же самое, если, не приведи Господь, вы сломаете ногу, — демонстрация костылей. Вы не замечали, что ноги ломают чаще, чем руки? Если бы вы сломали руку, то было бы наоборот.

Это я к тому, что картина мира покажется вам исчерпывающей из любой точки, в которой вы окажетесь. Зависит от точки сборки.

Наверно, ни с политиком, ни с коммерсантом, ни с физиком, ни с фанатом футбола или рока не следует искать взаимопонимания в том, что не политика и не деньги, не наука и не спорт, даже не музыка есть ось мира и стержень всего сущего, — а перевод.

Ну, скажем, так... Не переводим ли мы нашу жизнь на часы, дни и года? Как изрек мэтр Франсуа: «Самая бессмысленная трата времени, изобретенная человеком, это измерение его». В русском языке слово «перевод» означает еще и неоправданную трату. Цепь жизнь — работа — деньги — товар — смерть может служить примером такого рода перевода. Другое значение слова «перевод» подразумевает «через» и носит более положительный смысл помощи кому-то: перевести слепого через улицу — и это уже ближе к нашей теме. Здесь переводчик смыкается с поводырем. Не ту же ли попытку предпринимает автор, пытаясь перевести читателя через опыт?

Он опыг из лепета ленит
И лепет из опыта пьет...

И если автор переводит жизнь на язык слов как таковых, в частности на тот язык, который достался ему от рождения, то что делает с его книгой переводчик?

Боюсь, что нас не поймут, или поймут не сразу, или поймут как шутку, если мы заявим, что ничем, кроме перевода, люди не заняты, — ничем, кроме поисков эквивалента. Что все без исключения люди — переводчики. Чего-то одного и/а что-то другое. О, это не просто обмен! Что есть менее реальное в нашей жизни, чем политика или деньги? Это эквиваленты как таковые, подчинившие себе жизнь как таковую.

«Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый войдет в Царствие Небесное».

У нас хотя бы слова есть, языковые эквиваленты того, что есть в реальности. И переводим мы не жизнь на язык небытия, а книгу с языка на язык, чего нельзя было бы делать, если не быть уверенным, что жизнь одна, природа человека едина и взаимопонимание — естественная функция человечества. То есть в основе перевода лежит, исходно, *вера*.

«Скорее верблюд...» Довольно-таки странное, однако, занятие пытаться продеть его в игольное ушко. На моих глазах смелость этой метафоры пережила Библию. Библию запретили и забыли, а не виданный никем верблюд продолжал не пролезать. Как раз была война, когда я впервые эту фразу услышал, уральская деревенька 1942 года... Я и сейчас сначала написал *угольное*, потом поправил. Почему *угольное*? — спросите вы. А почему *игольное*? — отвечу я. В игольное, в моем трезвом детском сознании, он явно не пролезал. В угольное — еще куда ни шло, потому что неизвестно, какое оно.

И то и другое — ошибка переводчика. Во втором случае ребенка, в первом — одного древнего дяди. Кирилла или Мефодия? Нет, еще от Матфея или Иоанна та же ошибка... Но эти же — сами свидетельствовали! Что такое — перевод есть, а оригинала нет?.. Оригинал? вы еще спросите, Кто автор... Скучно даже говорить, что в оригинале речь шла о некоем *check-point* в Иерусалиме, о таможене.

Итак, что такое оригинал, если речь идет о Библии?

В живописи XIV — XV веков евангелисты изображаются с ангелом на плече, размером с ручную птицу. Головка его легко прячется в непомерной ушной раковине апостола. Он не нашептывает откровение — он диктует. То есть диктует-то... не будем поминать Его все... ангел же *переводит*. То за правым, то за левым плечом — профессиональная позиция толмача.



Едва ли вы найдете другие сюжеты, где ангелы бы находились в столь подчиненной позиции, где бы значение их было столь умалено, — до социальных размеров современного переводчика при президенте или премьере.

И эта роль не может быть преуменьшена. Когда сильные мира сего садятся за стол переговоров или обсуждают детали за столом уже обеденным, имея за спиной, на приставном стульчике, профессиональную тень — до обеда покормленного на кухне прозрачного, нераскрашенного человека с условно обозначенными одеждою и очками, полом и чертами лица... вот Миттеран, разбираясь в меню как француз, делает вид, что не знает английского языка, вот наш Горбачев делает вид, что, может быть, знает, с чем это едят, вот Колль, над тем же меню, не делает ни того, ни другого вида... я думаю: кто же тут на самом деле?.. а вдруг тень хлопнет сейчас хозяина по плечу и попросит пересесть — ведь так станет удобнее беседовать? И станут они говорить беспрепятственно на общем языке, а хозяева будут только нашептывать сзади, что сказать... и поскольку уже давно известно, что они скажут, то и опустят переводчики своих бывших хозяев за ненадобностью, что тоже пока перекусили на кухне... Возможность такого переворота до странности не обыграна еще в детективном жанре. Как царь со скипетром и державой — так свyksя современный правитель со своими двумя ангелами-хранителями — тела и духа... Берегись! о чем там шепчутся interpreter с body-guard'ом?

Не Вавилонская ли башня была обрушена для того, чтобы создать профессию переводчика? Не Римская ли империя пала оттого, что на эту профессию вполне положились? И это ангелы перевели нам Библию. То есть первой нашей книгой оказался перевод. Не перевод ли и все последующие?

Во всяком случае, трудно поверить, что переводчик любой квалификации один или даже вдвоем способен выполнить такой объем работы на таком уровне и в такой срок, в какой умудрились это сделать первые переводчики. И почему-то переперевести потом не удастся... Месроп Маштоц, чтобы перевести Библию на армянский, преодолевает такие технические задачи, как создание алфавита. Кирилл и Мефодий удаляются в пещеру на девять месяцев, а в России этим переводом пользуются еще тысячу лет, не имея перевода на родной язык, и наш Пушкин предпочитал читать Библию по-французски.

Так что не одним евангелистам нашептывали свой перевод ангелы, но и первым переводчикам на язык любого народа. Иначе не пройти через утлое ушко.

Без переводчика — плохо. Без переводчика два бандита легко договорятся на родном своем и чужом вам языке, при вас же, как вас сподручнее убить. Помню этот детский вопрос: знает ли Сталин иностранные языки? Перепуганный учитель находчиво ответил, что да, конечно, знает, но говорить об этом не любит. Один иностранный язык, он, конечно, знал: русский. На родном он переговаривался с Берией. Прочие языки его раздражали, пусть лучше бы все говорили по-русски... думаю, по этой же причине надо было расстрелять эсперантистов. Хотя сама идея одного языка была ему не чужда.

Идея упрочения империи путем приведения народов в состояние одного языка, столь соблазнительная для тирана, по сути, проект восстановления Вавилонской башни, то есть гарантия столпотворения.

Это наша экология — языки. Говоря о значении перевода, мы не подменяем его разговором о значении языков. Потому что именно перевод их сохраняет. Переводчик — это такой лесник.

Если воспользоваться моделью от Сотворения Мира, то познание привело к изгнанию из Рая, изгнание из Рая — к первородному греху, а жизнь в одной речи — к греху свальному. Падение Вавилонской башни знаменовало начало нашего мира. Деление на языки было и остается единственным человеческим делением, основой административного. Границы уточнены географией и кровью. Века, реки, войны и горы провели на карте прихотливые границы речи. И право, лингвистические проблемы

легче решить, чем политические. Но человек не настроен столь здраво. В другом склонен видеть врага.

Пушкин, не только величайший наш писатель, но и величайший наш читатель, обмолвился однажды: «Признаться, я не люблю читать. Чужой ум меня смущает». Другой язык — это другой ум. В этом вся прелесть другой речи. Другой, а не чужой. Переводчик — это такой миротворец.

Именно богатство перевода — условие сохранения родной речи. Ибо она не может жить, не развиваясь. То есть изолированно, вне контакта. То есть опять — переводчик. Но уже не только как толмач.

Плохой перевод в поисках эквивалента утрачивает качество *другой* речи. Имея целью точность информации как таковой, такой перевод утрачивает и качество информации, творя произвол на границе главного и неглавного. То есть он не переводит, а обобщает языки, энергетически их выравнивая. Все та же мечта об экю.

Политиков это устраивает: они и стремятся ничего не сказать. Хуже, что это начинает устраивать и писателей, желающих быть переведенными... Что такое падение культуры, как не сокращение комментариев? В 1978 году никогда не выезжавший за границу автор писал комментарий к собственному неопубликованному роману, если и не для вечности, то для ближайших потомков, которые смогут роман прочесть: «Автора вдруг осенило, что в последующее небытие канут как раз общеизвестные вещи, о которых современный писатель не считает необходимым распространяться: цены, чемпионы, популярные песни... Между тем предметы эти могут уже сейчас показаться совершенно неведомыми иноязычному читателю. С национальной точки зрения восприятие в переводе есть уже восприятие в будущем времени». До сих пор удивляюсь, как он сумел догадаться не убирать все эти детали.

Не знаю даже, почему меня всегда раздражало эсперанто. Казалось бы, пусть будет. Никому не мешает и есть почти не просит. Оно меня не устраивало как идея. Как удобство. Как отсутствие пола. Зачем мудрить, однажды подумал я, когда можно обучиться азбуке глухонемых и таким образом овладеть общемировым наречием? Мне пришлось потом долго смеяться над собой, когда, вообразив уже мир, захваченный мафией глухонемых, я понял, что они друг друга не поймут, ибо и они говорят жестами **каждый** на своем языке.

В дом, где я это пишу на берегу Ostsee, приехали новые гости — чета пожилых французов из Страсбурга. Им пришлось за жизнь четыре раза менять национальность, и это было первое, что они рассказали всем за ланчем. Повидимому, это было главным. До 1914-го и после 1918-го и до 1939-го и после 1944-го... Француз-немец-француз-немец-француз. Они были очень маленького роста, и я не мог отделаться от представления, что каждая из перемен последовательно укорачивала их на четверть и вот почему они такие. Им это приходилось делать — санкции были велики. Языками они владели одинаково. В последний раз им трудно было уже доказать, что они все-таки и именно французы, им не хотели верить. «Да нас здесь каждая собака знает!» И что же? — допросили собаку. Она отзывалась по-французски и не отзывалась по-немецки. Правда восторжествовала.

Так что переводчик — это еще и собака. Та последняя собака, которая подтвердит нам наше identity.

Переводчик — перевозчик
(Через Лету, в том числе...)
Подвези меня, молодчик,
И не спрашивай вдвойне
За обратную дорогу
Возвращения в отчий дом.
За прощанье у порога.
На котором мы вдвоем.

Перевозчик, лошадь, поводырь, толмач, лесник, миротворец, эколог, собака... Но прежде всего — ангел! Взгляните на Tafelbild von Michael Pacher «Ein Engel inspiriert zwei Evangelisten» — какая картина мирного сотрудничества! какая работа над текстом! Вот покой...



В «Путешествии по Армении» Мандельштам предрек: «Я вижу весь мир покрытым институтами абхазоведения». Да... для этого, оказывается, мало одной Абхазии — нужен еще и мир. Нужно, чтобы он был. Я вижу спасенный мир покрытым переводческими академиями, приравненными в значении и правах к всемирному экологическому совету в качестве единственной формы тоталитаризма.



ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ОТ ГОСУДАРСТВА

I

ВЛАДИСЛАВ КУЛАКОВ

*Как это начиналось**

Стихи, как известно, в середине 50-х были в большой моде. Кто их только не писал! Поэтические студии плодились так же, как нынче плодятся торгово-закупочные фирмы. Была своя студия и в московском Институте иностранных языков — умеренно-либеральная, разумно-проработочная. Ее посещали Галина Андреева, Андрей Сергеев, Валентин Хромов, Станислав Красовицкий — студенты разных факультетов. Читали и обсуждали свои и чужие стихи. Но главное общение происходило в комнате Галины Андреевой на Большой Бронной (собственная комната по тем временам была большая редкость)¹. Там тоже читали и обсуждали стихи, и народ приходил не только инязовский.

Общепризнанным лидером был Леонид Чертков, тоже студент, но не инязовский, а Библиотечного института (впоследствии Институт культуры). Человек действительно библиотечный (позже Слуцкий назовет его архивным юношей), Чертков не вылезал из Ленинки, открывая для себя и друзей все новые имена и новые тексты (стихи переписывались и звучали потом у Г. Андреевой). Прогулки по Москве неизменно сопровождались посещением букинистических магазинов. Вопрос о культурной информации тогда стоял более чем остро (ведь это было еще до всех оттепельных публикаций), и неутомимо любознательный Чертков стал настоящим энциклопедистом. Литературные интересы простирались глубоко в прошлое — в XIX, XVIII века, — но главным центром эстетического притяжения, разумеется, всегда оставалась поэзия XX века. Право на хоть какое-то наследование этой традиции за представителями официальной литературы («сисипятниками», от ССП, — так их величали в компании) категорически отрицалось².

Сам Чертков ориентировался на акмеистский стих гумилевско-тихоновского типа (ранний Тихонов в избранной библиотеке Черткова довольно долго занимал почетное место). Казенному оптимизму и лирической бесхребетности «сисипятников» противопоставлялась акмеистская фактурность и экспрессивная экзотичность, по агрессивности напоминающая порой раннефутуристический эпатаж:

Каждый только и ждал, кого бы убить,
И добыче каждый был рад,
И соседу очень хотелось всадить
В партизана первый заряд.

Ведь совсем не трудно было гвоздить
Салогом черепа детей
Или старому негру клокву пустить
На потеху наших людей.

(«Соль земли», 1953)

В цикле «Соль земли» повествование ведется вроде бы от лица довольно абстрактного, условно-романтического персонажа — солдата-наемника («винтовка, и пробковый шлем, и колода засаленных карт»). Дальние страны, «тропические лопухи», «большие дороги» — это, конечно, из гумилевско-тихоновского героического образца. Но вот расстрелы, конвой, «бесплатный тюремный кров» пугающе нелитературны, и мы понимаем, что все это далеко не условность.

* Работа выполнена при содействии фонда «Культурная инициатива»

Этапной для компании стала поэма Черткова «Итоги» (1954). Лирический герой появляется уже без романтической маски, действие переносится на московские ночные улицы и в пропахшие мочой подворотни, к «бетонной стойке последнего бара», к «обледеневшей блевоте» у вытрезвителя и даже в общественный туалет:

Дробно бьют о простывшие кафли
Струйки терпкой и дымной мочи,
И плафоны, что хлором пропахли,
В сумрак скупо цедают лучи.

Та же суровая фактурность стиха, тот же в принципе герой — неприкаянный и мужественный:

Ты сумел бы. В тебе бы достало сноровки,
Повернувшись, уйти через поле и в лес,
Ты сумел бы ножом перерезать веревки
И сумел бы патроны проверить на вес.

Но ты сам виноват, и не следует злиться
(Пусть просохнет от липкой настойки нутро),
Ты шагаешь пустыми ногами убийцы
В полутемные арки пустого метро.

Композиционный и эмоциональный центр поэмы — апокалиптические видения грядущей и «желанной» войны:

Будет просто, как все на свете,
Будет жаркий и нудный бой, —
На таком же, как этот, рассвете,
Ты сожжешь мосты за собой.

И навязчивый мотив расстрела:

По тропинке, мочою простроченной рыжей,
Проведут и поставят к холодной стене.

Война, расстрел — так воспринимается окружающая действительность. И Чертков провозглашает: идти до конца, потому что нечего терять. «Итоги» — одна из первых попыток духовного самоопределения нового поколения. «Последний бар — коктейль-холл на Горького, оазис Запада в серой пустыне Востока, — комментирует поэму А. Сергеев в своем «Альбоме для марок». — И Чертков на короткий срок стал знаменитым поэтом коктейль-холла — достаточно громко и широко и достаточно герметично: как мы имели возможность потом убедиться, текст поэмы не дошел до властей».

Главное для Черткова — это сама атмосфера духовного неблагополучия, ощущаемого как катастрофа, поиски онтологической опоры для художественной позиции. Советская коллективистская онтология, сводящая на нет духовное пространство, отвергалась напрочь. Художник выходил в метафизические сферы и пытался действительно творить свой космос. Именно так — максималистски — понимали художественную задачу Чертков и его друзья, и это, после двух десятилетий социалистического реализма, было очень важно.

А судьба литературного романтического героя в конечном счете слилась с судьбой самого Черткова, провидевшего свое скорое будущее в стихах:

Вот и все. Последняя ночь уходит.
Я еще на свободе, хоть пуст кошелек.
Я могу говорить о кино, о погоде, —
А бумаги свои я вчера еще сжег.

Я уверен в себе. У меня хватит наглости
Прокурору смеяться в глаза.
Я не стану просить заседательской жалости
И найду, что в последнем слове сказать.

(1955)

Так все оно и было — через два года. Но за эти два года многое успело произойти — в поэзии.

Хозяйка салона Галина Андреева («изысканный французский, гимнастика, разбитые сердца» — так охарактеризовал ее В. Хромов в одном из своих мемуарных эссе) слыла «проклятой поэтессой» Иняза. На фоне «сросшихся с многоти-

ражкой и самодеятельностью» (А. Сергеев) совершенно нормальная психологическая лирика воспринималась как «декадентство». Интонационно у Г. Андреевой много от ранней Ахматовой (что в этом жанре, видимо, просто неизбежно):

Вот и прожили мы свои вечера,
К песням старым возврата нет.
На свиданье в девятом часу утра
Так невесело ехать мне.

Лирика очень женственная, письмо — сдержанное, графически точное. В лучших стихах Г. Андреевой изобразительная строгость органично сочетается с большим внутренним напряжением:

Только пространство пустое,
нет ни мельничья, ни звука,
холод, желание покоя,
вздых облегченья, разлука.
Так ли ты жаждешь прощаний,
чтоб отказать от чистых
ласточек, их щебетаний
на небесах золотистых?
Здесь опустевшие крыши,
помня нежитрое пенье,
превозмогая затишье,
ждут возвращенья.

Молодые поэты, собиравшиеся у Г. Андреевой, очень скоро ощутили себя единой группой, новым цехом поэтов (Красовицкий одно из лучших своих стихотворений потом так и назовет — «Цех»). Это действительно была первая московская неофициальная литературная группа в послесталинской эпохе. Но никакой особенной эстетической программы не выдвигалось. Программа была одна: заниматься только искусством, не участвуя в эстетических играх с государством, на которые неизбежно приходилось идти решившим добиваться официального признания. Ни о каких публикациях в советских изданиях не могло быть и речи. Это была принципиальная позиция. В советском культурном пространстве, считали чертковцы, подлинно высокое искусство невозможно. Максимализм, конечно, но максимализм вполне понятный. Ведь действительно в советском культурном пространстве хорошее искусство могло появиться только как исключение. Тоталитаризму искусство нужно не хорошее, а полезное, чего, впрочем, социалистический реализм никогда и не скрывал.

Начинать приходилось с нуля, в послесталинской пустыне. За душой еще ничего не было: ни эстетических идей, ни опыта предшественников, ни собственной традиции. Была только огромная любовь к настоящему, досоветскому искусству. Было только острое ощущение огромной силы суверенного, самодостаточного поэтического слова и страстное желание приблизиться к этой самодостаточности в собственном творчестве.

Для Валентина Хромова этот пафос — пафос самого слова — становится основой всей лирики. Слово звучащее, слово произнесенное (не важно, кем и когда: футуристом Хлебниковым или классицистом Дельвигом) едино, в нем суть поэзии:

Слова поэта из «романса» —
«Нам сладко пел Мелецкий про любовь...» —
Развись свитком в глубь пространства,
Где Хлебников среди хлебов.

Он — Лель поэзии. Он песенный божок.
Он может речь свернуть в рожок
И заиграть, журча, что ключ...

Хромов как рыба в воде ощущает себя в плотно заселенном пространстве русской поэзии — от XVIII до XX века, — которое для него отнюдь не исчерпывается хрестоматийными фигурами. Он любит старое, изысканное слово, интонацию оды, высокую лексику. Слова должны звенеть, сталкиваться друг с другом, выявляя свою фактуру:

Земля окрест волною трав лучится.
Восходит нимб волшебного литья.
Обитель пеня звонкие частицы
Вместила в каждый атом бытия.

И, раздвигая взорокруг познанья.
В моей земле я грезил и любил
На миг души развернутое знамя —
Орлицу Русь сияния глубин.

Отсюда же и любовь к перевертням, палиндромам, которыми Хромов начал заниматься систематически вообще одним из первых в русской поэзии. Классической в этом смысле стала его пьеса «Потоп, или Ада илиада», которая в будущей антологии палиндромической поэзии займет место, видимо, сразу за «Разиным» Хлебникова.

Досоветская культура, поэзия, воспринималась как целое. Никаких подсказок, кроме собственного эстетического вкуса, не было, но вкус не подводил. Футуризм, акмеизм, Обэриу — эта триада определила развитие всей неофициальной поэзии. В группе Черткова обэриутов еще почти не знали (узнавали в процессе собственного стихописания, хотя до Введенского, например, в те годы так и не дошли), воздействие же футуризма и акмеизма совершенно очевидно. Разумеется, и в голову никому не приходило, что первое можно противопоставлять второму, чем до сей поры всерьез занимаются иные теоретики.

Андрей Сергеев страстно увлекался футуристами, а вот в собственных стихах был скорее акмеистичен. Поначалу сказывалось, видимо, влияние Черткова, но гумилевские баллады быстро вытесняются пейзажно-философской лирикой:

Ну а в полдень приляг на траву,
На минуту масштабы смажь —
И тебя и слева, и справа
Вдруг обступит малый пейзаж.

Где среди травяных развалин
Чернокожие дикари
Обитают. Их мир нейтрален:
Спи спокойно да сны смотри.

.....
И подспудно гудит в личинках
Фаршированная толпа.
И кишат на больных песчинках
Многоногие черепа.

(«Строфы»)

Здесь Сергеев вступает как бы в полемику с натурфилософией Заболоцкого, используя те же образы с противоположным эмоциональным зарядом:

Нам смотреть бы себе под ноги
И ступать от межи к меже,
Укрепляя свои дороги
На достигнутом мятеже.

Слушай, Вечность! Полны тобой,
Неужель мы уходим вспять,
С запрокинутой головою
Продолжая у звезд стоять?

Полемику он как художник пока явно проигрывает, но сама попытка создания философской, метафизической лирики с учетом реалий современного поэтического языка интересна и показательна. Тягу Сергеева к «поэзии мысли» оценил, кстати, сам Заболоцкий, в последние годы своего творчества озабоченный примерно теми же проблемами. Из всех поэтов группы, приславших свои стихи на суд почитаемому мастеру (а ответил он всем), Заболоцкий выделил именно Сергеева, что положило начало их встречам (рассказ А. Сергеева об этих встречах вошел позднее в сборник воспоминаний о Заболоцком).

Примерно тогда же А. Сергеев начинает пописывать странные и очень смешные короткие рассказы в духе Хармса (хотя Хармса тогда еще не знал). Потом из них возникнет интересная проза концептуалистского типа — проза абсурдно-метафизическая и лирическая. Сборник текстов такого рода составил книгу «Изгнание бесов», отрывки из которой публиковались в журналах «Родник» (1990, № 3) и «Юность» (1991, № 3).

Видимо, не без влияния своей же прозы А. Сергеев почувствовал вкус к иронической стилизации и постепенно стал отходить от чересчур прямолинейной лирической метафизики, сочинив, например, шутливо-серьезную оду графу Хвостову:

Пусть написал он что не так
И — будь по-вашему — бездарен, —
Он был врагам незлобный враг,
Он был друзьям широкий барин.

Ему не застил света хмель,
И музы не несли копейку.
Он чтит жуковскую свирель
И пушкинскую канарейку,

Он в Бога веровал! А Бог,
Видать, решил: не быть поэту.
Да так ли плох убогий слог?
Пахом, гони скорее в Лету!

Здесь уже чувствуется интонация зрелых стихов А. Сергеева — поэзии культурно-герметичной, стилистически тонкой и глубокой (свои ранние произведения поэт ныне не причисляет к основному корпусу текстов и соглашается публиковать их лишь в качестве историко-литературного материала). Но это отдельная тема; добавлю лишь, что молодой поэт из группы Черткова и один из самых известных современных поэтов-переводчиков англо-американской поэзии — одно и то же лицо.

Из не инязовцев, кроме Черткова, в группу входил Олег Гриценко, школьный товарищ Красовицкого. Гриценко учился в Мосрыбвтузе и стал впоследствии обладателем редкой профессии ихтиолога. Как поэт он в ту пору искал собственный голос, писал очень по-разному. Наибольшим успехом среди друзей пользовались лубочные, протескные вещи:

— Мой папа — механик,
И пуше позора
Бойтся инспектора
Котлонадзора.
— Мой папа — бухгалтер,
Бойтся ревизии.
— Мой папа-полярник —
Нехватки провизии.
.....
— У папы здоровья
Сейчас на двоих,
По службе парторг
И бойтся своих.

Позднее Гриценко станет чистым лириком с «экологическим» пафосом, посвятив себя живой природе и как ученый и как поэт.

Один из самых первых навсегда заняв комнаты на Большой Бронной — Николай Шатров, восходящая звезда новой московской поэзии. Он был постарше Черткова и инязовцев и поэтом к тому времени тоже был уже более зрелым. Ему покровительствовал Пастернак, его выступления имели большой успех. Шатров принадлежал компании, но все же занимал в ней особое положение. «Не собрат, скорее конкурирующая инстанция, — пишет о Шатрове А. Сергеев. — Наши стихи он неизменно ругал — искренне. Мы его — в отбред, по обязанности: не могли не признать одаренность... Сам Шатров обожал туманы, охи и ахи, Фофанова и Блока. Мы называли Колю Кикой, а проявления его — кичушеством».

Шатров фигура очень интересная. По типу художественного сознания — «почвенник» со всеми обычными атрибутами: с острой враждебностью к модернистской художественной рефлексии (например, поэзию Пастернака, несмотря на личные отношения, Шатров терпеть не мог), с абсолютизацией универсальных, надличных ценностей, с обостренным национальным чувством:

И счастье — путь. И горе — лишь дорога,
Которая познаем дорога.
Побудем на земле еще немного
И убежим на звездные луга.

Какие травы там, цветы какие...
А спросит Петр, клочарь небесных врат,
Откуда мы? Ответим:
Из России...
И прежде всех нас впустят в Божий Сад.

Сильные религиозные чувства — но далеко не идилические и не ортодоксальные.

Я одинок. До самого конца
Дано твердить мне в жизни это слово.
Не искажу страданием лица
И не пошло Творцу укора злого.

Я одинок — Он тоже одинок!
Тоскующий, Великий, Непонятный,
Не раз уж пожалевший, вероятно,
Что Он не человек — а только Бог..

Группа Черткова, конечно, чистое западничество. «На шестом мансарда окнами на запад» — была такая строчка у одного из гостей комнаты на Большой Бронной³. «Окна на запад», разумеется, далеко не случайность. Об этом уже писал А. Сергеев: «Именно там виделось н о р м а л ь н о е о б щ е с т в о, противоположность нашему. Наше мы даже не обсуждали: предполагалось, что все ясно само собой». Запад идеализировался политически, но и безотносительно к политике, с точки зрения историко-культурных традиций, все чертковцы — убежденные западники. Шатров же, конечно, шел совершенно другой дорогой. Тем не менее факт остается фактом: и почвенническая линия неофициальной поэзии начиналась тут же, в «мансарде окнами на запад». Шатров — один из самых ярких представителей этой линии, автор, что называется, узловой. Он сильно повлиял на смогистов, его хорошо знали и ценили многие авторитетные поэты. Взгляд прямой и твердый, ирония (иногда крайне резкая) — и очень открытая интонация:

Посмотри-ка: вот жучок!
Наклонись сюда ко мне.
Видишь серый пиджачок
С крапинками на спине.

Поднялась одна пола
И другая вслед за ней.
А оттуда — два крыша.
Если б так же у людей?

Как тут не вспомнить «пробочку» Ходасевича, которого Шатров очень любил, посвятил ему стихотворение («Памяти Владислава Ходасевича») и лирической силе которого эта миниатюра ничуть не уступает. (Она, кстати, была напечатана в 60-х годах софроновским «Огоньком» — в разделе, как водится, «Юмор».) В лучших стихах Шатров по-ходасевически зорок и по-есенински раскован:

Березка, русская березка,
Ты, если выразить цветистой,
Не девушка, а папироска,
Окутанная дымом листьев.

Постоянное движение, постоянная онтологическая неуспокоенность:

Я невесты не видел лица,
Видел только личины подруг;
Твердь свинцовую вместо венца,
Божий страх, что для смертных недуг.

И твердая вера в то, что «стих густой, словно вязкая кровь, отольется молитвой простой». Стих у Шатрова действительно «густой», но не стихийный — точный, выверенный. Прозы Шатров не боится, и она только добавляет убедительности самой высокой поэзии:

Дай Бог, Природа или кто
В любую ликовать погоду;
Гулять в пальто и без пальто;
Пить молоко, вино и воду

Дай Бог, Природа или кто
Живую женщину в постели:
Чтоб нас любили ни за что,
Чтоб мы любили, как хотели.

Дай Бог, Природа или кто
Во сне не снявшиеся книги;
Прожить хоть двадцать лет, хоть сто
И отразиться в каждом миге..

Умер Николай Шатров в 1977 году, прожив всего только пятьдесят лет. Шатрова до сих пор поразительно мало печатали: кроме «Огонька», была еще прижизненная публикация в «Литературной России», посмертная — в эмигрантском «Континенте». Перестройка тоже прошла как-то мимо него, в 1992 году несколько стихотворений напечатала газета «Литературные новости» (№ 5, апрель), но всерьез издавать Шатрова, похоже, пока никто не собирается.

Лидером на «мансарде» был Чертков, но за ее пределами самым известным постепенно стал Станислав Красовицкий. Неудивительно. Поэзия Красовицкого — явление очень значительное, правда известность Красовицкого сейчас скорее носит характер предания.

Многие знают, что был в 50-х годах такой уникальный поэт, которого даже называли гениальным. Но стихов его широкая публика никогда не видела. Было несколько публикаций в эмигрантских изданиях: в антологии К. Кузьминского «У голубой Лагуны», в парижском журнале «Ковчег», в шемакинском «Аполлоне-77» (там опубликована — с некоторыми сокращениями — поэма «Выставка»). В 1991 году журнал «Октябрь» напечатал подборку Красовицкого с предисловием В. Кривулина⁴ — и разразился крупный скандал. Сам Красовицкий опротестовал публикацию через газету «Литературная Россия», грозя судом. Дело в том, что Станислав Красовицкий — ныне отец Стефан, священник Русской Православной Церкви (зарубежной) — еще в начале 60-х годов отказался от своих стихов, уничтожил написанное. Долгое время ничего не писал; в последние годы вернулся к поэтическому творчеству, но совсем другого рода — сейчас из-под его пера выходят стихи, что называется, духовные, религиозного содержания (их печатала газета «Русская мысль», готовится к изданию книга). Ранний Красовицкий остался в часто искаженных списках (много искажений попало в «Октябрь») и в автографах, сохранившихся у некоторых друзей его юности.

Случай в истории литературы редчайший, драматический: автор не просто отказался от части своего творчества — он настаивает на не существовании и написанного, как автор запрещая к нему доступ. Но стихи давно уже отделились от их создателя: они запоминаются, переписываются, они нужны читателям — значит, они живые, и заставить их не существовать просто невозможно. Пора, конечно, перевести их бытие из области предания и легенды в нормальное литературное пространство — издать книгу, тем более что такая возможность есть: автографов и достоверных списков сохранилось достаточно. Нет на то пока только авторской воли, но будем надеяться, что нынешний Станислав Красовицкий поймет бессмысленность борьбы с собою прежним⁵.

Начинал Красовицкий, как многие, с подражания Маяковскому. На «мансарде» он появился как раз в тот момент, когда, как выразился А. Сергеев, только-только «дописался до себя», хотя какое-то время заемные интонации чувствовались:

Ему бы прильнуть
к оконному тлоу
и в этот платок
все горести вылезать.
Потом уйти
по крышам сутулым
к холодной, снежной выси.

Постепенно проступает собственная интонация, не имеющая ничего общего с открытым звуком раннего Маяковского, центробежным экспансионизмом его лирического «я». Кубофугуристическая образная экспрессивность переходит в совершенно другую плоскость.

Лирическое «я» резко, предельно редуцируется. На какое-то время это «я» исчезает из стихов Красовицкого почти полностью. Он пишет исключительно «пейзажи». Конечно, это пейзажи не реалистические — экспрессионистские. Это пейзажи городские, урбанистичные — живая природа неотделима в них от неживой, рукотворной, собственно, ее-то, неживую, Красовицкий в основном и пишет, поскольку именно она его окружает. Но тем не менее для Красовицкого это именно «пейзажи», именно изображение природы, того, что вне человека. Не случайно он называет свой цикл, навеянный поездкой в Ригу, «Латвийские пейзажи», хотя собственно латвийской природы, вообще прибалтийской специфики там фактически нет. Это пейзажи в том смысле, что в них нет человека. Вернее, он играет не основную, подчиненную роль.

Красовицкий с ходу миновал уровень психологической лирики. Он увидел свой мир и спешно стал воссоздавать увиденное. Картина получалась величествен-

ная и пугающая. День «шлалал утопленником в кресле, приняв за шею полинявший плюш». Пруд глядит немигающим «рыбьим глазом». Само время качается «ржавым кругом на суку». Небо «покрыто льдами», «деревянное небо». Вечер «крадется». Лес угрожающе «шевелится во сне». Человека — лирического героя — нет, но есть «люди», «похожие на прихоти женшенья»: они «прячут взгляд сутулый в сутулые воротники». Характерно описание пианистки в одноименном стихотворении: она бросается «на бело-черный оскал» клавиш, и «страшны от угла до угла разбросанные кисти рук». Все — страшно, во всем — угроза.

В «Латвийских пейзажах» появляется более точное название тому, что выходит из-под пера поэта, — «натюрморт»:

По вечерам —
когда покрыто льдами шею —
по-килпинговски паржом бродит кот —
и кажется, что в темном кабинете
рисуют стройный натюрморт.

Четвертое (заключительное) стихотворение цикла называется «Гобелен» — это то же самое, но «натюрморт» для Красовицкого станет особенно значимым словом, ключевым (среди других, о которых еще пойдет речь). Да, он пишет именно натюрморты — умирающую, распадающуюся природу, — и поэтому, кстати, для него нет разницы между живым и неживым.

Здесь же, в «Латвийских пейзажах», возникает образ несущегося сквозь враждебную мглу поезда:

По остову листы
пройдет порою трелет.
В такое утро рельсам не согреться.
И паровозы выбросят деревьям
развешенное горе потогрелцев.

Поезд — это стремительное, но беспечное движение в бесконечном пространстве, безнадежная попытка бегства. Поезд, как и многие другие неживые объекты, очеловечен: «И от страха теряет обличье скорый, испугавшись в потемках ночных сторожей». Ему так же страшно, как и людям, прячущим «взгляд сутулый». Здесь, в поезде, все становится особенно ясно:

Самый страшный секрет
так бывает разжевак,
что почти понимаешь —
все про нас, про одних
рельсы били в пустыне бублики баранки
и проталкивал в тамбур
темноту проводник.
А потом показалось,
с отчаянья, что ли,
то ли просто от страха,
что дни без лица:
дни мертвей, чем сутробы,
чем ломберный столтик.
И мертвей,
чем в постели лицо у отца.

В урбанистические натюрморты входят как отдельные персонажи сами города, похожие на руины: «Ветер мел листья по улицам двух городов...» Упадок, замусоренные. Лиричнейший музыкальный образ возникает из уличного сора:

Полупустым оркестром
шла тропинка скрипки,
и на нее сорил иеряха-штрабас
окурки, вечера, прогулки, вечерляки —
и все, что говоришь,
норой не разобрав.

(«Натюрморт»⁶)

Мир только внешне жив, внутри он — давно руины. К городам, между которыми мечутся поезда, угрожающе подступают «шевелиющиеся леса», деревья («стучала деревьями осень в окно»). Деревья, леса — живые, одушевленные, но само дерево мертво. «Деревянный» — очень важный для Красовицкого эпитет. Помимо уже упомянутого «деревянного неба» есть «деревянная осень», «деревянные крики». Дерево — тоже руины: «полуразвалившийся собор сырых деревьев», «развалины скворещен»... Все формы, очертания зыбки, неопределенны, лишены пластической стройности и самоценной красоты:

Внутри ладони, словно в конуре, горит окурок —
 зачаток света...
 силуэт дороги...
 И звезд осенних скудны чудеса.

Даже звезды у Красовицкого несут на себе печать общего распада, обреченности: «белый пепел истлевших звезд», «и звезды над нами терпеливо построены в вечный салют». Мир Красовицкого — это руины третьей мировой войны, грядущая пустыня.

Апокалиптические настроения возникали и у Черткова; вообще жизнь «под бомбой» как раз тогда, в 50-е годы, сильно сказывалась на искусстве — в основном, правда, не нашем, а как раз нашего вероятного противника. У нас же самым ярким выразителем этих настроений стал именно Красовицкий. Его действительно можно назвать поэтом «холодной войны», поэтом «бомбы»:

Надо ехать скорее в Ялту.
 Если будут бомбить,
 то Одессу.
 А в Крыму, на этюдной даче
 как-нибудь отсижусь.

Поразительно, как пейзажи Красовицкого схожи с картинами «ядерной зимы», популяризированными гораздо позднее:

А волны стоят в допотопном ряду.
 И сеется пыль мукомола.
 Старуха копается в желтом саду,
 отвернутая от пола.

«Коричневый ручей», «чуть солнце желтовато» — в этом контексте «пыль мукомола» воспринимается как радиоактивные осадки (что верно подмечено А. Сергеевым). Радиация, распад — повторяющийся образ:

И мы в тиши полураспада
 на стульях маленьких сидим.

Это все еще до «физиков» и «лириков» и «физико-лириков» — певцов НТР и «мирного атома», обернувшегося Чернобылем. Удивительно, насколько современные оказались поэтические образы, созданные им чуть не сорок лет назад, как страшно они реализовались.

Много мрачных военных видений:

Зонтик раскрывается гранатой.
 Вырастает водородный гриб.
 В пар душа —
 (как тяжела утрата).
 В грязь кольцо —
 должно быть, я погиб.

Снегопад — «рота солдат на парашютах спускается в ад», протянутая «простреленная рука» поэта, «простреленное девочкино сердце»... Для себя делается вывод: «...солдат поумнее сдается в плен и больше не пишет открыток». Красовицкий не изображает войну специально, не пророчествует (хотя и напророчил) — он так воспринимает действительность, он так ее ощущает.

«Волны стоят в допотопном ряду» — это и морские волны, которые вот-вот обрушатся на твердь великим Потопом (та же атомная война), и радиоволны, «по которым слушали сквозь глушилку» (А. Сергеев). Радиоприемник — «ящик над креслом» — описан Красовицким в стихотворении «Сегодня шведская чистая музыка...», и это описание стоит процитировать:

Когда я уж думал, что мы погибаем,
 ворвался кабан оглашенный
 с клыками из желтых, зеленых и розовых шкал —
 кабан не кабан, шакал не шакал —
 король ионосфер, предводитель ли орд —
 кровавоголовый «Рекорд».

К чему бы такая экспрессия — ведь предмет самый обычный (даже в те годы), бытовой. Но для Красовицкого не существует «обычных» предметов. В его мире все наполнено особым эмоциональным значением. Тем более радиоволны — непостижимые, все пронизывающие на своем пути, невидимая рукотворная крыша планеты: «...в магнитофоне чей-то голос опутывает шар земной...» (Так остро ощу-

шал невидимую материю только Ходасевич: «Но тайно сквозь меня летели / Колочих радио лучи».) Радиоантенны — постоянный элемент «натюрмортов» Красовицкого: «вклинен в развилку настольной антенны, замер мир», «над деревянной крышею — антенны, прищипленные ловко», «в ризе морозного пара лесные голые антенны».

Постепенно в «натюрморты» вписывается и новое лирическое «я» — но, конечно, так, чтобы не нарушить общую картину. Красовицкий чувствует себя частью окружающего распадающегося мира — столь же обреченным, живым-неживым, как и все остальное:

Вот так идут на казнь.
И на разлуку.
На ожидание,
что если не любовь, то мошкара
слетит в мою простреленную руку.

Главный мотив — уйти, раствориться, как дым, сдаться в плен.

Но я стараюсь шагать
такой теневой стороной,
чтоб в сумерках богом стать
с длинной, как дым, рукой.

Не бороться: борьба нецеломудренна, она подразумевает претензию на обладание истиной, — но и не отворачиваться, встречать кошмар лицом к лицу:

И я один.
Рука пуста, как солнце.
Что я сжимал —
какой-то мандарин?
Простреленное девочкино сердце?
.....

И понял я,
что жизнь моя мала.
Что главное для жизни —

ЗЕРКАЛА,

чтоб видеть самого себя дотла.
Чтобы ничто вам руку не держало.
Чтоб ваш же воротник
принадлежал вам.
Чтоб были вы друзьям своим видны.
Чтоб ваш двойник
не вышел из стены.

Одна из вершин творчества Красовицкого — поэма «Выставка». Здесь Красовицкий, как и Чертков, подводит некоторые итоги, собирая воедино многие мотивы своей поэзии. «Выставка» — тоже ключевой образ. Прежде всего это «натюрморт», собрание предметов. Поэтому неудивительно глобальное расширение образа выставки — до размеров всего поэтического космоса: «Так в ритме песенно-блестящем все дальше выставка идет. Над городом, над домом спящим ты продолжаешь свой полет». Здесь же впервые возникает мотив России: «...и все красиво, не спесиво картин развешаны края, но все же то моя Россия. И выставка на ней моя». Выставка — это и обобщенный образ искусства, на «дыбе величайшей», которого поэт «сам себя представить рад». Выставка — распродажа, все раскупают и уносят, все проходит, жизнь распадается, кончается «выставки уют». «Расходится толпа гуляк» — зрителей, — кончается искусство, кончается жизнь, но остается то, что невыразимо и нетленно, а потому не продается:

Вот только душу свою вам
я почему-то не продам.

Выставка — образ самой жизни, неизбежной и гибельной:

А впрочем — так не так: под нож
и ты на выставку пойдешь.

В поэме сильнее, чем в предыдущих текстах, звучат личные мотивы и вообще интонация немного другая — более спокойная, ироничная, повествовательная. Палитра становится сдержаннее, и отчетливее видна примитивистская основа поэтики Красовицкого, протескная, инфантильная природа тропа:

Что толку?
Не подымет ручек.
У ней не сердце, подергунчик.
Ее душа летит в окно.
И ей, быть может, все равно.

Исходил Красовицкий из Маяковского и проделал путь, в чем-то похожий на эволюцию, совершенную в свое время обэриутами. Те, правда, основывались на Хлебникове и развивали в первую очередь игровые начала своей эстетики. Красовицкий же занимается не игровыми, а экспрессивными возможностями речевого гротеска. Из обэриутов тогда знали только Заболоцкого, ранние стихи которого, безусловно, были очень важны для формирования поэтики Красовицкого. Читали Мандельштама, чьи захватывающие дух словесные стяжки, разумеется, тоже повлияли на молодого поэта.

Но в результате все же поэзия Красовицкого оказалась ближе всего поэзии Введенского. Особенно это заметно на примере поэмы «Выставка», которая по языку, интонации, чистоте и трагической ясности звука очень напоминает «Элегию» Введенского. Но сходство их художественных систем шире чисто языковой близости двух вариантов примитивистской поэтики. Дело в том, что поэзия и Введенского и Красовицкого — поэзия эсхатологическая; обе художественные системы по характеру экспрессии, по своему эмоциональному спектру родственны, хотя и совершенно друг от друга независимы. Как пространственные оси координат: Введенский — одна ось, Красовицкий — другая, но пространство одно.

Введенский преимущественно гносеологичен, Красовицкий — онтологичен. Он не занимается поэтической критикой разума, понятий, языка, открывающей гносеологическое одиночество человека. Красовицкий обнажает страшную сущность мира и страдающие души вещей. Поэтому и Бог Красовицкого не похож на Бога Введенского. Введенский: «...здесь окончательно / Бог наступил / хмуро и тщательно / всех потопил». У Красовицкого Бог страдает наравне со всеми, это Бог сострадающий, но невластный над собственным миром: «сам бог протянул мне яблоко, теплое от дождя», «калитку тяжестью откроют облака, и бог войдет с болтушкой молока». Или даже так: «...домашний, пуганный корягой бог». Бытие сильнее Бога. Не Бог учиняет конец света, а само бытие.

Онтологическая ориентированность Красовицкого исключает потребность в обэриутской «звезде бессмыслицы». Значение категории случайного для примитивистско-гротескной поэтики Красовицкого огромно, но, в отличие от Хармса и Введенского, случайное у Красовицкого не переходит в семантический и ситуационный абсурд. Тропы остаются тропами, и теоретически их всегда можно трансформировать, объяснить, хотя порой это достаточно сложно.

«Случайное» в образах Красовицкого не всегда удачно — иногда действительно случайно, художественно недостаточно обосновано. Красовицкий и в пору расцвета своей поэтической силы писал неровно. Часто это заметно в пределах даже одного отдельного стихотворения. У него есть явные строкозаполнители, просто неудачные, слабые (на фоне всего остального) тексты. Красовицкий как будто предчувствовал скоротечность своего взлета и торопился запечатлеть открывшиеся ему образы. На тщательную отделку текстов не хватало времени. Красовицкий взял страшно высокую ноту, и остальное уже не имело значения. Долго удержать такую высокую ноту, видимо, просто невозможно. Это была духовная работа на износ, самосожжение, которое потом трагически обернулось сожжением рукописей.

После «Выставки» поэзия Красовицкого немного меняется — в сторону усиления языковой гротескности, стилистического и грамматического алогизма — тех самых примитивистских элементов. Меняется жанр: Красовицкий пишет серию портретов: «Начиная с учительницы», «Любовница палача», «Машинистка», «Лукреция — Ландскнехт». Портреты эти от «натюрмортов» принципиально ничем не отличаются — человек у Красовицкого, пожалуй, даже менее жив, чем окружающие его предметы:

Я лежу в постели одна.
Ветер студит мои колеса.
Тяжек запах, ни мужа, ни пёса.
Я одна в темноте, одна⁷.

Здесь возникают эротические мотивы, о которых писал В. Кривулин, чрезмерно, впрочем, их абсолютизируя и совершенно напрасно приписывая Красовицкому фрейдизм. Красовицкого интересует не психоанализ, а сама плоть — страдающая материя, часть пронизанного смертью, распадающегося бытия.

Тогда же пишется удивительно светлый по краскам и настроению «Белоснежный сад», тоже жанровая картина с указанным источником жанра: «Я сижу порой на выставке один, с древнерусския пишу стихи картин». Но это не икона, скорее палехская миниатюра:

А в окошке от Москвы до Костромы
 все меняется, меняемся и мы.
 Все краснеет, кровавеет все подряд.
 Но в душе еще белеет белоснежный сад.

В душе — «белоснежный сад», расцветают ликующие цветы весны: «О, Весна! Это верно ты. Это ты, моя дорогая». Новые, светлые интонации. Но нежно-розовый цвет плоти («Трещины розовые, красные до пят») все же отсвечивает кровавым, почти блоковским закатом, а среди прочих цветов — «вырос черный цветок пистолета»:

И когда подойдет мой срок,
 как любимой не всякий любовник,
 замечательный красный пиповник
 приколол я себе на висок.

Торжественное самоубийство соседствует с самоубийством заурядным, естественным для мира, в котором живое ничем не отличается от неживого:

Лишь крюк,
 да веревка свисает с крюка —
 ее продолжением чья-то рука.
 Да что там.
 Дорога ее недолга:
 повесился, зная, постоялец.

Рядом с цветами и белоснежными гусынями — кубистические «уравновешенный прут», «квадрат какой-то черной дачи», все та же радиоактивная «мука плохого помола». Но в целом эмоциональная палитра становится сложнее, богаче, драматичнее, стих — еще более концентрированным. Красовицкий достигает вершины своей поэтической эволюции. Затем начинается спад.

Теперь под напором страшного духовного напряжения распадается сама художественная система. Это хорошо видно, например, в стихотворении «Астры» («Калитку тяжестью откроют облака...»), еще очень сильным, но уже отягощенном неоправданными темнотами, непрописанностью. Появляется заумь — весьма сомнительная. Красовицкий с самого начала любил экзотические, иностранные слова (чем навлекал на себя критику соцреалистов в литстудии). Но заумь совершенно неорганична его поэтике, и, когда она спорадически появлялась, стихотворение только портилось. Теперь же заумь возникает регулярно, латая все разрастающиеся бреши в художественной ткани. После «Астр» Красовицкий создает еще несколько сильных стихотворений — и всё. «Форточка в мир, где пространства, быть может, немного побольше, чем в вашей душе», «форточка» в удивительный мир Красовицкого — закрылась. На протяжении нескольких лет делаются новые попытки стихописания, но все это уже не то. Что происходило тогда в надломленной душе поэта — не нам судить. Поэт совершил свой подвиг и выбрал другую дорогу. Он чувствовал свою судьбу и предсказал ее в одном из самых ранних стихотворений:

А ветер мел листья
 по улицам двух городов.
 Деревянными криками
 в окнах темень прогоркла.
 И было все, что написано на роду,
 в разбитой улыбке
 безумного Гоголя.

А. Сергеев так вспоминает о Красовицком тех лет:

«Как поэт он встречал вызов лицом к лицу. Как человек старался уйти, уклониться. Казалось, он даже не человек, а дух в мучительной человеческой оболочке. Лето пятьдесят пятого — время чертковских и т о г о в. Зима пятьдесят пятого — пятьдесят шестого — осознание, что Стась — самый талантливейший не только из нас, но и из всех, выдвинувшихся в пятидесятые... Из лучших воспоминаний: в институте на перемене, не касаясь паркета, подойдет ясный, подтянутый, улыбающийся Красовицкий и смущенно протянет листок с неровными крупными буквами: «Самый страшный секрет так бывает разжеван...» Я испытывал к Стасю сердечную привязанность, как ни к кому из мансардских. Он отвечал как умел, ибо мимо даже ближайших друзей проходил по касательной. Казалось, он с радостью прошел бы мимо себя самого: он видел себя невесело, улавливал внешнее, внутреннее и роковое сходство с Гоголем».

В великой литературе трагические сюжеты повторяются.

Без Красовицкого нельзя говорить не только о группе Черткова, но и вообще о всей неофициальной поэзии. Собственно, с Красовицкого-то она и началась по-настоящему. Он первым заговорил в полный голос на языке свободного искусства, восстанавливая прерванную традицию. Общеэстетически его поэзия повлияла на всех поэтов, искавших выхода из советского культурного пространства, стремившихся к освобождению от государственного искусства.

Поэзия Красовицкого — главный художественный итог группы Черткова. Но историко-литературное значение группы этим не исчерпывается. Сегодня важнейший, мучительный для многих вопрос: каким будет новое, постсоветское культурное пространство и вообще возможно ли оно? Ответ на этот вопрос для тех, кто знаком с реалиями литературного развития не только в старой, официальной интерпретации, крайне прост. Другое, нормальное, негосударственное культурное пространство уже есть. Это не пространство андерграунда и сплошного авангарда-постмодернизма. Андерграунд — состояние вынужденное. Это нормальное художественное пространство с самым широким эстетическим спектром. И именно группа Черткова стала основой, прообразом этого пространства, очень быстро расширившегося за пределы комнаты Галины Андреевой. Настолько быстро, что властям пришлось прибегнуть к самым радикальным мерам.

В январе 1957 года Леонида Черткова арестовали.

Я на вокзале был задержан за рукав,
И, видимо, тогда, — не глаз хороших ради, —
Маховики властей в движении узнав,
В локомотиве снов я сплыл по эстакаде.

И вот я чувствую себя на корабле,
Где в сферах — шумы птиц, матросский холод платья,
И шествуют в стене глухонемые братья, —
Летит, летит в простор громада на руле.

Был суд и приговор — пять лет лагерей за антисоветскую пропаганду. Первый литературный арест посреди оттепели. Мировая общественность тогда еще молчала, к западным корреспондентам никто не обращался. В перестройку припомнили все литературные аресты — кроме этого. Чертков отсидел весь срок. КГБ рассчитал удар точно: с исчезновением Черткова «мансарда» быстро стала затихать. В литературно-художественной жизни Москвы начиналась уже другая эпоха⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Биографические, бытовые подробности см. в материале «Мансарда окнами на запад» (беседа автора данной статьи с А. Сергеевым) («Новое литературное обозрение», 1993, № 2). Андрей Сергеев сам подробно описал этот период своей жизни в автобиографической книге «Альбом для марок», в ее последней главе, которая называется «Лучшее время». Книга публикуется рижским журналом «Родник».

² Об общении чертковцев со старшими поэтами и представителями официальной литературы см. там же — «НЛО», «Родник».

³ В публикации «НЛО» строчка «Мансарда окнами на запад» ошибочно приписана Г. Андреевой. Кому принадлежит эта строчка на самом деле, пока установить не удалось; ясно, что одному из завсегдатаев «мансарды», но не из узкого круга.

⁴ «Вольное русское слово» («Октябрь», 1991, № 4).

⁵ Я понимаю, что, заводя обо всем этом разговор, поступаю, может быть, бестактно. У меня и в мыслях нет покушаться на духовный суверенитет личности, навязывать автору свое мнение. Меня интересуют только стихи. И вообще: как можно вести речь о группе Черткова, не говоря о Красовицком? Поэтому я заранее приношу свои извинения Станиславу Красовицкому за то, что буду цитировать его произведения, и продолжаю статью.

⁶ Любопытна переключка этого стихотворения с лирическим шедевром раннего Маяковского «Скрипка и немножко нервно». И там и там в центре — скрипка со своим антиподом: у Красовицкого — «неряха-контрабас», у Маяковского — «меднорожий, потный» геликон. Но контраст разителен. Стихотворение Красовицкого действительно «натюрморт» — застывшая, неизбежно трагичная, «мертвая натура». Уже решен разлад. У Маяковского как раз ничего не решено, там — смятение, действие, надежда.

⁷ Заключительное четверостишие «Любовницы палача», отсутствующее в опубликованном в «Октябре» искаженном списке этого стихотворения.

⁸ О лианозовской группе, принадлежащей к этой новой эпохе, см. работу автора «Лианозово. История одной поэтической группы» («Вопросы литературы», 1991, № 3).

II

ГАЛИНА АНДРЕЕВА

* *
*

Стоит в тени платанов дом
и светится во тьме.
Его забуду я, а в нем
все помнят обо мне.

Воспоминаний не храню,
не надо писем ждать,
не надо ничего огню
в смятенье предавать.

Струится невесомый дождь,
не приминая трав.
Туман сгустившийся похож
на завитки агав.

Лишь благодарности моей
едва заметный дым
встает над крышею твоей
невнятен, недвижим.

* *
*

За поворотом был старинный дом
с облезлым, покосившимся фасадом,
колонны уронивший в водоем,
он умирал за каменной оградой.

Былым великолепием дыша,
казался он подобен древним склепам.
Там голуби ходили не спеша
по завиткам изящных барельефов.

В гостиной жили только зеркала
и думали о прошлых отраженьях,
и в полубликах тусклого стекла
свет создавал иллюзию движенья.

Кругом ютились кровли деревень
у мелких заболоченных каналов.
Мы забрели сюда в хороший день,
когда весна едва лишь намечалась.

С трудом открыли треснувшую дверь
и в коридоре постояли рядом
в старинном доме, где была теперь
гостиница последнего разряда.

* *
*

Ты смотришь, как мелькает
дождь,
но легкий шум его не слышен.
В окне — окраинный чертеж
и мокрые косые крыши.

Какую новую звезду
увидел на небе мудрец мой,
пока я медленно иду
от Пятницкой к Новокузнецкой?

От распутившихся ветвей
зеленый отблеск на асфальте.
Ручьи несутся все быстрее
по смятой тополиной вате.

Остановившись на углу,
смотрю, как вечер наступает,
как в набегающую мглу
летят звенящие трамваи.

Но в час, когда огни зажгли,
не вспоминаются невзгоды
ненужной юности. Вдали
летит бездомная свобода.

Ее сигнальные огни
еще сверкают временами,
меж тем как исчезают дни,
не остановленные нами.

* *
*

Раздумий этих ночью белой
не одолеет забытьё.
Ночная бабочка влетела
в окно открытое мое.

Откуда ж это наважденье,
как голос демона в ночи,
бессонница и вдохновенье,
невыносимое почти?

Напоминая стих старинный,
за нею вслед влетают в дом
волокна ваты тополиной
и запах липы под дождем.

Загадки ночи удалились,
приблизилась загадка дня
и те, что в мире появились
как будто только для меня.

Казалось бы, приметы счастья,
как эти бабочки в окне,
привлечены огнем в ненастье,
опять слетаются ко мне.

Зачем же на краю рассвета
близки к отчаянью порой
и вдохновение поэта,
и радости любви самой?

* *
*

Здесь возникает наяву
совсем недавнее былое,
и вижу старую Москву
в том переулочном покое,

Деревья возле самых рам
и свежий ветер на рассвете,
трамвайный грохот, птичий гам,
распахнутые окна эти...

где луч, по куполам скользя,
теряется в разливах света,
вдруг вспомнишь: старые друзья
здесь по соседству жили где-то.

Чуть-чуть захватывает дух,
когда сбегашь по ступеням,
летает тополиный пух,
а впереди еще цветенье

Не в тех ли маленьких домах
по шатким лестницам спускались
и собирались во дворах,
когда экзамены кончались?

тяжелых лип на мостовой,
особенно в дождливый вечер,
приметы легкости такой,
что, кажется, продлится вечность.

* *
*

Есть истины для двух
и есть — для одного.
Сквозь тополиный пух
не видно ничего.

В нем нету ничего
от хитрости земной,
посмотришь на него —
и на душе покой.

Все, кажется, метель,
на лужах легкий лед,
вдруг скрип дверных петель
в действительность вернет.

В нем нет и тех прикрас
и мелочных затей,
что отвращают нас
от близких и друзей.

Придет давнишний друг
и скажет: не беда,
вон тополиный пух
такой же, как всегда;

Есть радость, так чиста,
что хочется вздохнуть,
как пенье птиц, проста,
не связана ничуть,

летит он в сквозняках,
в изгибах городских,
в распахнутых домах,
летит в стихах моих.

спасительным огням
подобна мысль о ней,
навевная нам
цветеньем тополей.

* *
*

Глухим сверканьем улиц мокрых
октябрьский город озарен,
чуть тронутый осенней охрой
истаявших древесных крон.

Как ни печалит увяданье,
с восторгом перед ним склоняясь,
ты видишь на угрюмых зданьях
заката золотого вязь.

И здесь, и в дальнем отраженье
нас восхищает, не страшит

неповторимое стечение
невидимых путей души.

Минуя зыбкие границы,
исчезновенья хочешь ты,
готовый тихо раствориться
в осеннем царстве красоты,

где гаснут золотые листья
в такой безвестной глубине,
что это выше бескорыстья
и доброты, доступных мне.

* *
*

Так глубоко, как будто подо льдом
лежит на дне, его едва ли вспомнят,
тот деревянный на Арбате дом,
где листья падают на подоконник.

Здесь во дворе знакомые шаги
уж больше не заставят оглянуться,
по глади вод не побегут круги
и птицам улетевшим не вернуться.

Весной на те же самые места
мелькает дождь, но шум его не слышен,
открыта дверь, а комната пуста,
и легкий ветер шторы не колышет.

Вот здесь когда-то был полуподвал
забытого художника жилища,
кому-то он убежищем бывал,
кому-то стал роднее пепелища.

На том же месте, в тот же час закат
там светлые печатает квадраты,
и если так же там на них глядят,
то никакой, наверно, нет утраты.

Давно исчезли прошлые места,
затянуты водой позеленевшей,
а память неуместная чиста
и укоризненна, как друг ушедший.

ОЛЕГ ГРИЦЕНКО

* *
*

Я был матросом только две недели,
А наша часть была на рай похожа.
Меня в одежды белые одели
И позабыли службою стреножить.

И я ходил по Пруссии такой,
Какой она осталась после боя —
Оскаленную мертвой головой
С глазницами, проросшими травой.

Там был сентябрь боярышником щедр.
Звенела осень, шли дожди все реже,
А ветер выносил янтарь из недр
И прибывал волнами к побережью.

И мокрые созвездия цвели
В сыром песке, вбирая солнца ярость,
И уводили кромкою земли,
И полоса песка вдали терялась.

Но вечер шел с дежурною трубой.
Нам было тесно в душных казематах.
Матросский сон тяжелою стопой...
Тяжелый сон в бараках и палатах...

Я вызвался дежурить, спать не лег.
Я жил теплом, что дали янтари нам.
И чтобы сон меня не подстерег,
Шел к тумбочке своей за кофеином.

* *
*

Все замерло, оцепенев,
Укрывшись в полосы косые,
То боги плачут нарапев,
Поджав ступни свои босые.

Из глаз, открытых на века,
Траве забвения в угоду
По их обветренным щекам
Идет на землю непогода.

В поля с прибитою пылью,
Ручьями вырытые камни...
И человек свое лицо
Несет под бьющиеся капли.

Там, где просвета не найдешь,
Всем телом ошущая сырость,
Трясется мешковатый дождь
Одеждой, купленной на вырост.

* *
*

Я достиг своего предела,
По дорогам себя казня.
Вот стоит на горе поределый,
Мною вырубленный березняк.
Здесь трава была по колени,
А цветы цвели велики.
Догорали в кострах поленья,
И остались одни пеньки.

Молодые да тонкие, здесь они —
Позабывтый минутный спор...
Ни присесть на них,
Ни поесть на них,
Ни склонить головы под топор.

1962

* *
*

Покровы праведности ткитесь,
А сила тайная копись.
Россия, сокровенный Китеж,
Не открывайся,
Затаись.

Уйди в глубины Светлояра,
Замкнись Китайскою стеной,
Стань среди всемирного пожара
Неопалимой Купиной.

* *
*

На медленный волны смычок
И на людей, волною шедших,
Здесь осень бросила значок —
Клочок бумаги пожелтевшей.

К родному берегу гребет
Любой моряк в тоске по дому,
Земли приметам ведомый,
По тучной осени скорбя.

И никаких других примет,
Лишь на душе следы утраты.
Казак вертается до хаты,

И я, завидя лист летящий,
Пойду по осени звенящей
Через себя в себя.

* *
*

Весна, весна, душа томится.
 Мгновений сладостных не счесть.
 Влекомые любовью птицы
 Меня разбудят завтра в шесть.

Душа гуляет замирая,
 За тело лишь слегка держась.

А утром радостная мова
 Летящих к северу семей:
 — Вставай, уж пять минут

До той поры, до светлой рани,
 Земная стерлася межа.

седьмого,
 А может быть, еще седьмой!

СТАНИСЛАВ КРАСОВИЦКИЙ

Латвийские пейзажи

I

По вечерам —
 когда покрыто льдами небо —
 по-киплинговски парком бродит кот —
 и кажется, что в темном кабинете
 рисуют стройный натюрморт.

По вечерам —
 когда покрыто льдами небо --
 и дождь идет.
 И нарушает тишь.

Подушки спят.
 И в душном кабинете
 под пару тени не найти.

По-киплинговски парком бродит кот.
 Весенний снег уже земля не держит.
 И кажется, что в конуре коттеджа
 рисует утро натюрморт.

И барельефом тень
 у леса залегла.
 И в ветках — облака, оборванные штормом.

Но по утрам с окна одергивают штору.
 И пелену одергивают с глаз.

II

По остову листвы
 пройдет порою трепет.
 В такое утро рельсам не согреться.
 И паровозы выбросят деревьям
 развеянное горе погорельцев.

Кусты на поворотах стерегут.
 Торопят птицы странным выраженьем.
 Они — как люди — ей казались на снегу
 похожими на прихоти женьшеня.

А рядом игроки выкрикивали прибыль.
 И верили —
 что это на земле —
 как плавником правдоподобной рыбы —
 всплывает из тумана лес.

III. Экспресс Рига — Москва

В деревянное небо
 стужу выстукал дятел
 там, где черные сосны.
 Мы боялись, что с ним
 нам и летних пророчеств кукушки не хватит
 одиночество грусти
 растянуть до весны.

И тогда —
 сквозь сугробовый сумрак
 и горы
 развороченных дней,
 через дни,
 через Ржев...
 И от страха теряет обличье скорый,
 испугавшись в потемках
 ночных сторожей.

Самый страшный секрет
 так бывает разжеван,
 что почти понимаешь —
 все про нас про одних
 рельсы били в пустые бутылки боржомом
 и проталкивал в тамбур
 темноту проводник.

А потом показало,
 с отчаянья, что ли,
 то ли просто от страха,
 что дни без лица:
 дни мертвей, чем сугробы,
 чем ломберный столик.
 И мертвей,
 чем в постели лицо у отца.

Снова чучелом времени
 над картинами дятел.
 И когда остаешься
 без него или с ним,
 все боишься —
 и летних пророчеств не хватит
 эти белые дни
 дотянуть до весны.

IV. Гобелен

Тогда волна
 оговорила пресным.
 И сонный лес заплакал словом «сплюуу...».
 И плывал день
 утопленником в кресле,
 приняв за небо
 полинявший плюш.

А за порогом вдаль
 проходит древний гребень.
 И говор листьев

по-спартански скуп.
И рыбьим глазом пруд.
И на рассвете ВРЕМЯ
качалось ржавым кругом на суку.

НО ВДРУГ ПРОШЛИ ВЕКА.

А сцена та.
И те же.
Все тот же гобелен, немного полиняв.
Услышим стук колес.
За окнами коттеджей
богов Эллиады вылепит луна.
И, как ребенку, мне
захочется воскреснуть.
И уши пеленать, чтобы не слышать «сплюууу».

Но плавал день
утопленником в кресле
и неба гладил полинявший плюш.

* *
*

В его руке сухое дерево — ветер играет в кости, —
в лесу на счастье брошен дом.
На холм деревьев тих подъем.
И просека теней приподнята на воздух.

И вы
все те же,
верные кусты.
В коричневый ручей набросана солома.
Дорога вновь выводит на пустырь
сырой огарок нежилого дома.

А по утрам
в крутом простенке неба
кресты далеких птиц.
И терпкий привкус прелых красок
уже на дне пруда.
Ты не приходишь.
И напрасно
у той же рощи, как всегда,
я ожидаю непогоду.
И масленистые челны,
как горе, топят весла в воду.

Январь 1956.

* *
*

Сухие мыши
съели амбара белые стены.
В ризе морозного пара
лесные голые антенны.
А выше их
и бога выше —
на мелкосемянущей крыше —
на тридевятом этаже
скребутся камерные мыши,
пугая сонных сторожей.
В их мире нет такой разлуки —
когда выходишь из ворот

и тихо отстраняешь руки,
которых бог не разберет.

Зато на дальнюю дорогу —
домашний,
пуганный корягой бог
следы вороны запечет в порог.

А эти заколоченные окна
уже давно занесены
в белую книгу зимы.

Январь 1956.

* *
*

На корню дотлевет
свечевая подкладка листа.
И становятся окна
похожими на перепонку.
Кто-то выпалит в воздух.
Пустыми уйдут поезда.
Черно-белый петух
полетит, спотыкаясь, вдогонку.

А в аллее стучит перепрыга
веснушчатый черт.

И в оранжевой роще
осеннее древо течет.

И тыходишь и видишь
на зеленом сукне одеяла —
пару выцветших глаз.
Или герб
от свечного накала.

* *
*

Сегодня шведская чистая музыка
опять возвратила нас к жизни.
Когда я уж думал, что мы погибаем,
ворвался кабан оглашенный
с клыками из желтых, зеленых и розовых шкал —
кабан не кабан, шакал не шакал —
король ионосфер, предводитель ли орд —
кровооголовый «Рекорд».

И мы с потрясенных матрацев востали,
как будто не пили мы и не устали,
как будто мы сделаны были из стали,
как будто с улыбкой мы шли под ружье.
О, шведская музыка! —
Жизнь за нее!

* *
*

О, Весна!
Это верно ты.
Это ты, моя дорогая.
Будем жить, себе песни слагая,
и друг другу дарить цветы.

Вот цветок магазинной обновки,
вот цветок золотистой головки,
хризантемы неяркий росток
и зеленый военный цветок.

Говорите, хотите, про это,
про несчастья военного лета,
про цветы обожженных рук,
но я слышу железный звук:
вырос черный цветок пистолета.

И когда подойдет мой срок,
как любимой не всякий
любовник
замечательный красный шиповник
Приколю я себе на висок.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Летние строфы

Под луной столбенели до неба голые сосны,
 Птицы не уставали монетки в воде толочь.
 Отшатываясь от заборов, пьяные пели косно.
 Спешили со станции люди и пропадали в ночь.

До ближней звезды тянулась белого лая тропинка,
 Свет на соседних дачах падал, желтел и чах.
 А я играл втихомолку кукольным словом Нинка,
 И руки спокойно спали на ее умытых плечах.

Учила верить в удачу замкнутая дорога,
 Учила верить в мечту непроходимая темь —
 В добрых горбатых деревьях скрыта фигура Бога,
 Который пасет ночами своих влюбленных детей.

Гонит на запад тучи непостоянное лето,
 Последние тучные нивы, плывущие через тьму.
 Милые, дорогие, не вечно же лезть в поэты,
 Когда ты с хорошей девчонкой — поэзия ни к чему.

Я снял очки и тут же споткнулся о чью-то руку.
 В небе Большой Медведицей лег пешеходный мост.
 И мимо деревьев, слившихся в одну сплошную разруху,
 Невыразимо расейская фигура брела на пост

Взывающий к вечной дружбе звал друга Борей и Витей,
 Кто-то от нас в полметре калитку не мог никак
 Осилить, и в этом мире, предельно лишенном событий,
 Терпкая тривиальность перерастала в факт.

Дальние звуки радио из лагерей доносило,
 Парочки шли навстречу и падали под обрыв.
 — Не видели тут гусенка? — неожиданно спросила
 Дымчатая старуха, выскочив, как нарыв.

В каждый атом поэзии лезла житейская проза.
 С засученными рукавами по пыльным путям земли
 Луна не спеша месила зеленые сдобы навоза,
 И в них ступали влюбленные, воры и патрули.

Где-то там, за горами, день еще теплит хвою,
 И холод чуть подымается из грустной сырой травы.
 Речная зеркальная нечисть овладевает ольхою,
 И тянется над водою воинство без головы.

Теперь мы были у речки. Плыла по воде копейка,
 Луна своим круглым глазом мешала из-за угла.
 А мы сидели на нашей, на чьей-то старой скамейке
 И грелись остатками за день растрченного тепла.

Мы узнавали ночь, где тени шагают по две...

.....

Строфы

Небо ночи проходит мимо.
В равнодушных лучах звезды
Грандиозны, непостижимы
Наши горы, дома, сады.

Рассветает. Поют беспечно
Птицы. В воздухе тишь
да ширь.

Наша жизнь ясна, как извечный
И незыблемый монастырь.

Ну а в полдень приляг
на траву,

На минуту масштабы смажь —
И тебя и слева и справа
Вдруг обступит малый пейзаж.

Где среди травяных развалин
Чернокожие дикари
Обитают. Их мир нейтрален:
Спи спокойно да сны смотри.

Как среди деревень и речек,
Зыбких гор и подземных сот
Юркий крохотный человечек
Закорючку домой несет.

Но лишь дождь прошумит
над тыном

И уляжется у реки,
По подзолам, пескам и глинам
Разрастаются гнойники.

И подспудно гудит в личинках
Фаршированная толпа.

И кишат на больных песчинках
Многоногие черепа.

И стада молодых и старых
Выбегают на злобный труд —
Прогрызают муку в амбарах
И на веточках груши жрут.

Подрывают собой пригорки,
Галереи ведут под дом.
Их разбросанные восьмерки
Угрожают вечным судом.

А на вид — тишина обманет,
Только ветер едва-едва
Пробежит по листве да прынет
Полосой по земле трава.

Человеки, мы ждем под небом
И не знаем, что некто злой
Занят нашим засушным хлебом
И носящею нас землей.

Нам смотреть бы себе под ноги
И ступать от межи к меже,
Укрепляя свои дороги
На постигнутом мятеже.

Слушай, Вечность! Полны тобою,
Неужель мы уходим вспять,
С запрокинутой головою
Продолжая у звезд стоять?

Граф Хвостов

*(Разглагольствует вышедший к саням
льяненький господин)*

Согнувшись, как француз
несчастный,

Ты снегом до полу оброс.

Проснись, возница мой
безгласный,

Проснись, мой добрый дед-мороз.

Ты помнишь старину, Пахом,
Когда от щедрости московской
Тебя в сердцах ругнул стихом
Добрейший господин Жуковский?

И мы езжали на балы,
И чем моложе, тем охотней.
Там Пушкин потешал углы
И женщин добирал до сотни,

Там Грибоедов отравлял
Гостей своим змеиным взглядом...
А рядом веселился зал,
Плясали и шумели рядом.

Но диво! Каждый умолкел
И шею дыбил, как жирафа,
И в воздух проникал скандал
При первом появлении графа.

И прыснул в руку друг и враг,
Когда по-старчески, вприсядку,
Он проходил, держа в руках
Едва просохшую тетрадку.

И возойдя на пьедестал,
Во устрашение народу
Он важным голосом читал
Громоклокочущую оду.

И шепоток по залу шел:
— Свистов на леченом Пегасе!
Екатерининский осел,
Орлом сидящий на Парнасе!

А что им дела? Божий дар
Они сочли, видать, за право
Бранить того, кто сед и стар
И не умеет врать лукаво.

Пусть написал он что не так
И — будь по-вашему — бездарен, —
Он был врагам незлобный враг,
Он был друзьям широкий барин.

Ему не застил света хмель,
И музы не несли копейку.
Он чтит жуковскую свирель
И пушкинскую канарейку,

Он в Бога веровал! А Бог,
Видать, решил: не быть поэту.
Да так ли плох убогий слог?
Пахом, гони скорее в Лету!

Робинсон Джефферс

Робинсон Джефферс однажды, смертельно
унав от людей,
Взял и ушел навсегда к молчаливому океану.
Сам сложил себе хижину из голых прибрежных
камней
И выстелил пол травой, сухой, шершавой и
пряной.

И хотя на его рубашке всегда был свеж
воротник,
И хотя к нему зачастую приходили с нарочным
грузы,
И хотя он писал поэмы, а не педантичный
дневник,
Робинсон Джефферс, в общем, жил, как Робинзон
Крузо.

И его не гоняла полиция, и к нему не ломались
воры,
И прохожие мексиканцы уважали чужой покой.
Так он жил по неизреченному общественному
договору,
Жил, становясь все больше и больше самим
собой.

Песня на улице

Переулками, переходами
Мы бродили с друзьями по двое.

Говорили о всякой всячине,
Все на свете переиначивали.

Тосковали о жизни праведной,
Толковали о Блоке, Нарбуте.

Рассуждали вокруг да около,
Темнота размышленьям способствовала.

А потом дорогами разными
Разошлись, разбрелись, растолкались мы,

Разошлись, расщепились на атомы,
А тогда-то, тогда-то, тогда-то мы —

Мы счастливыми были, умными,
Наша жизнь прошла переулками.

ВАЛЕНТИН ХРОМОВ

* *
*

Сперва всего пою отчизну:
 О, слава, слава, слава, Петя...
 Как много слав в моей стране!
 А наши радостные дети —
 За них мы гибли на войне.
 Эх-эх! Махорка, табачок, —
 Станцуем — и в окопчики!
 Война, ребята, пустячок —
 И танцевали хлопчики.
 Пускай пижоны ходят в брючках —
 А мы по-русски, как-нибудь...
 О, родина, возьми на ючки,
 Чтоб под лицом к тебе прильнуть
 И обнимать поля и рощи,
 Твои дубовые леса,
 Где вышел из народной толщи
 Изобретатель колеса.

1956.

Лель

Однажды, Дельвига читая,
 Я вдруг оставил Петербург,
 Края родной Москвы растаяли.
 Открылась райская округа.

Слова поэта из «Романса» —
 «Нам сладко пел Мелецкий про любовь...» —
 Развились свитком в глубь пространства,
 Где Хлебников среди хлебов.

Он — Лель поэзии. Он песенный божок.
 Он может речь свернуть в рожок
 И заиграть, журча, что ключ...

Чу, хуч!
 И люли-люли...
 Ильмень внемли!
 О, дидо, о, Лельо...
 И даль ладьи!
 О даль — дид-ладо...
 И о миг, о боги мои!
 Дид!
 Догод!
 Лель — въявь Лель!
 Летел
 Лепо пел,
 Лепетал, звенел — въявь явленье — в злате пел.
 И ныло-пело поле польни
 О лепете лоз, о лете пело,
 О лесе, воле пело весело.

«Романс» травинкой
 Заложив,
 Пойду тропинкой
 В поле ржи.

Лес встретит сыростью грибов.
 В лугах стрижи закружат гулко.
 «Нам сладко пел Мелецкий про любовь...»
 В туманных стритах Петербурга.

Сонный сонет

Нет жизни нам в житейской кутерьме,
 Здесь, не родившись, можно умереть.
 Здесь, не проснувшись, засыпают вновь.
 От тягот пьянства снова пьют вино.

Пиит спешит на ветлы вешать скуку,
 Пищать мышом в расставленных когтях
 У хищных птиц, у ласковых котят.
 Как ловко постигает он науку!

Вслед за Пегасом окрылен осел.
 Специт весна апрельскую гадюку
 Тележным переехать колесом.

Песок в источнике клубится невесом.
 И сердце под сурдинку будет тюкать,
 Пока свой крест с усердием несем.

* *
 *

Любить — люблю погожую погоду.
 Приятно выпить в солнечный мороз.
 Гудок, бывало, позовет к заводу
 Холодным умиранием желез.

Лететь — лечу, лететь — лечу, лечуни...
 Эх, сапоги заманчивых причуд!
 Подбитые пластинками латуни.
 А на портянки резали парчу.

Любая вещь была по пяталтыну.
 И кренделя висели на избе.
 А я, приклеив крылушки на спину,
 Тогда не доверял своей судьбе.

Эх, сапоги тринадцатого года!
 Отцовские железные часы...
 В воде водили трубы хороводы
 Кружочками копченой колбасы.

1955.

* *
 *

По тропам жизни Тихоном Калужским,
 Одетый дровом, — вырос на юру.
 Не сыростью корней провел окружность —
 В шатрах ветвей витаю и горю.

Земля окрест волною трав лучится.
 Восходит нимб волшебного литья.
 Обитель пеня звонкие частицы
 Вместила в каждый атом бытия.

И, раздвигая взорокруг познания,
 В моей земле я грезил и любил —
 На миг души развернутое знамя —
 Орлицу Русь сияния глубин.

1956.

* *
 *

И я, избавлен зла, и горя,
 И непроглядной южной тьмы,
 Взойду, взойду на Взорогоры,
 На беломорские холмы.

Среди морен, увалов карстовых,
 На синих стрелах камышей
 Церквей серебряное царство
 Откроется душе моей.

Отсель Зосима и Савватий
 В ладье пустились меж зыбей.
 Таков и ныне основатель —
 Восторженный гиперборей!

1958.

* *
 *

Под Вязьмой пал солдат из Вязников.
 Как мало было в жизни праздников!
 Любимых с клюквой пирожков
 В раскрашенном ларьке у школы,
 Кругов от кружек на крахмале
 Расшитых скатертей — так было мало!
 Как редко, музыкой гремя,
 Дымя,
 Катились через броды
 Торжественные пароходы...

На милой Клязьме
 Клены, вязы, ясени
 Давно простились с той листвою,
 Чье трепетное естество
 Благословляло соловьями.
 Солдат лежал в снегу, в окопе — яме...

Пустой патронник.
 Чертовы вороны!

1970-е.

ЛЕОНИД ЧЕРТКОВ

* *
 *

Солнце — как сохнет калинный цвет,
 Да лебеда дорога, —
 А пойду, пойду по молочной росе
 По кисельным ровным берега.

За морями же земли великие есть,
А путь туда — по версте до версты,
Через поле вдоль, а там и не сесть —
Наждаком по душе заскребут кусты.

И солдаткой рябина прядает пыль,
Тараканы спят, и плетни молчат,
И не пискнет дверь, не дохнет пустырь —
Ты сюда забрел не в свой листопад.

Там не за горою страна Свят-свят,
Там раздолье — грех, и тишь по утрам,
И куда ни плюнь — все ведет назад,
И малинник туго кивнет полям.

Пусть пропашет стон полосу беды,
Ночь — она уйдет, и луна соврет,
Поперек тебе — струна борозды,
Лучше бы тебе не заходить вперед.

Лучше по утрам не раздернуть штор,
А заснуть еще да и встать иным.
Лучше — синева в облаков раствор,
И над крышей снега — розовый дым.

1954.

Круговая порука

Река вела тропу по кочкам и камням, —
Сквозь пораженный лес, воронки огибая,
Мы шли к востоку, путь условно пролагая
По гари на коре и вывернутым пням.
Мы думали, что разыскать нетрудно
Останки поселений в здешних пущах,
Их нанести на карту и попутно
Собрать гербарий трав дикорастущих...
Новехонький забор делил поляну,
У проходной, пристроенной снаружи,
Ночной туман на глаз рассеял лужи, —
К нам выступил хозяин из тумана.
Он был не прочь отвлечься на досуге —
Всего три дня как выслали соседа, —
И выбивая трубку для беседы,
Он излагал историю округи.
«За месяц устарели ваши карты —
Дол перекрыт правительственной трассой,
Проектировщики невиданного класса
По всей стране планируют стандарты». —
И нас напутствовал на лучшую погоду, —
А мы уже брели по даровому следу
И сделав крюк в четыре мили ходу,
Мы подошли к имению соседа.
Тот говорил, окидывая весь,
Слова, как колышки палатки размещая:
«Последние лет тридцать семь мы здесь,
И дети наши никуда не выезжают,
Мы с Божьей помощью живем». —
Старик, он был приветливее всех,
И, обернувшись, он указал туда, где жил его сосед —
За элеватором и спущенным ручьем.

Нас вывел через двор и здесь заметил:
 «А что нашли — то отдали мальчишке».
 И за стеной ему петух ответил.
 Мы знали все из популярной книжки.
 ...Ну и сосед! Я потянул звонок,
 И нам в ответ уже хрипела свора,
 Мы видели его за кольями забора —
 Он покривил приветливо лицо
 И выстрелил. И тем зарядом соли
 Прикончил молодое деревцо.
 ...Что ж, мы уносим образцы сухих растений,
 Материалы для занятий по ночам...
 Им для чего истлевшие останки татарами поставленных
 строений, —
 Их скорчевали с пнями и малиной и выжгли по печам.
 Дрезина шла. Из леса доносилось дыханье коллективной
 лесопилки,
 И топоры свербили на юру,
 Целебную кору слагали на носилки.
 Кто говорит, что мы пришли не подобру?
 А бот уже стучал у волнолома,
 И дед, запутав палец в бороде,
 Сказал: «Напрасно не попробовал залома,
 Здесь солят как нигде».

1956.

* *
*

Бесценный аромат прижизненных изданий,
 Трагический контраст одежды и лица.
 Хотя и невесом — я подожду отца
 В подъезде нарсуда, как у подножья зданий.

Я жизнь свою прервал, как долгий перекур,
 Когда пришел этап — весны ужасный вестник.
 А я лежал в грязи, свернувшись, как лемур,
 И мысли у людей сбегались на воскресник.

* *
*

Я знал падения, каких другой не знал, —
 Неслышный в тишине, незримый в свете дня,
 Мой бес из пустоты местами возникал
 И вечно был со мной, как тень внутри меня.

Меня от слов его охватывала слабость, —
 Нельзя было играть несвойственную роль, —
 Он говорил: — Мой друг, в обмен на вашу радость
 Я отниму у вас сомнения и боль.

Мы расходились с ним и обретали встречи,
 Где шли ко дну судьбы немые корабли,
 И мы вкушали тленные плоды земли,
 И годы, отойдя, ложились нам на плечи.

1958

Ночная красавица

Росинки в глазах, темнотой окаймленных.
Я вижу — из мрака она распускается —
Творенье мечты и сердец исцеленных —
Цветок новолуния — ночная красавица.

Над ней опрокинуты арки и статуи
В прудах Козерога, подернутых стужей,
Снопы фейерверка в сиянии матовом
Возносит окрест павильонное кружево, —

И колко мерцают шаги в удалениях,
Усыпанных звонкими звездами кленов,
И как светляки в травянистых сцеплениях —
Пятилепестковые души влюбленных.

1959.

* *
*

Коллодиум катка двоятся в амальгаме,
Над ветровым стеклом оцепенелый лист, —
Мир зрим во все концы, где кружится, как в раме,
В остатках воздуха последний фигурист.

Он обретет себя в тоске неистребимой
В часы, когда гудит от ветра голова, —
И невозможно жить, — и для своей любимой
Искать ненаходимые слова.

1959.

НИКОЛАЙ ШАТРОВ

* *
*

Рассветная роса у звездного обрыва...
Смешалось в поле все! Дороги не найти!
И я тебя люблю. И мы с тобою живы,
И дикие цветы горят в конце пути.

Вперед или назад, направо иль налево:
Везде пред нами цель — к какой-нибудь звезде.
Кто венчаны, навек Король и Королева,
Не руки, а крыла Архангел ввысь воздел.

Тому, кто пил огонь, людская кровь — водица.
За смертью встретят нас чьи Души, чьи Умы?
Мы никогда уже не сможем заблудиться,
И на пороге тьмы — на горизонте мы.

Кустодиев

Постели гагачьего пуха.
 Подушка под ушки твои.
 Перины из русского духа —
 Основы семейной любви.

Икона, пред нею — лампада
 И розовое яйцо
 От Пасхи, на ленточке надо
 Подвесить под Божье лицо...

Чтоб грешница с шелковой
 плотью,
 Метя половицы косой,
 Под утро в блаженной зевоте
 Ступала по дому босой —

До ветру... На двор и обратно,
 И, глазынек не разлепив...
 О, сколь эта нега приятна:
 В пуху утонувший порыв!

* *
 *

На арфе? Нет! Сыграй на лире
 Какой-нибудь не пустячок...
 Ну, например, полет валькирий...
 И краска схлынула со щек.

И вдруг услышал: трубы, трубы...
 Увидел в вихре над собой
 Твои запекшиеся губы
 В крови небесно-голубой.

И не в ладони, а в «ледыни»
 Тебя, летящую, приму:
 Орды раскосая гордыня
 Прошла по сердцу моему...

И Азия навек померкла —
 Угарно-дымная звезда...
 И ты как лиру держишь
 зеркало —
 Моя Изольда изо льда.

Влюбленный рыцарь

Памяти Н. С. Гумилева

Я лежал, сердце болью пронзя,
 Словно спал у возлюбленной двери.
 Разбудить меня было нельзя,
 Пораженного Ангелом зверя.

И невидящих глаз не сомкнем,
 На пороге любви изнывая:
 Там, за дверью, за узким окном, —
 Власть не мертвая и не живая.

Я не принц — издыхающий пес
 От поэзии, лживой отравы:
 В золотистой короне волос
 Ты — владычица лучшей
 державы.

Боже! Семирамиды сады,
 Небеса океанов бездонней —
 Все бы отдал за чашу воды
 Из ее равнодушных ладоней.

* *
 *

О, не бичуй мои влеченья!
 Корона просится к царю.
 Ты — правило, я — исключенье.
 Молчишь, я — в рифму говорю.

Но только вместе мы — созвучье
 На инструменте Божества,
 Роднящего Судьбу и Случай:
 Дела и властные слова.

Памяти Анны Ахматовой

Она завещала себя отпевать
 В соборе Николы Морского.
 Настала пора на земле открывать
 Нетленное русское слово.

Но может быть, это — иллюзия чувств
 И смерти как есть не бывает?
 И я за другими вослед научусь
 Спасаться, когда убивают?

На гроб не смотрите: земная ладья
 Отыщет маршрут возвращенья.
 Не я мое тело, тут нет бытия:
 К усопшему нет отвращенья.

Куритесь кадила, ведь служба идет
 Бессменно, века за веками,
 Сливая людей в человеческий род,
 Все свечи — в единое пламя!

Одно только важно увидевшим свет —
 Его не забыть до кончины:
 Стремиться не к звездам, не к солнцам планет,
 А к Бога воскресшему Сыну.

* *
 *

Воздвигнутый в честь сотворенья вселенной
 Аккумулятор воли растения
 Хранит в тайниках древесины
 Нуклеин дохристовых распятий.

Полон святости нерукотворной
 Биохрам от корней до купола.
 Тих и светел в белой колыбели,
 Внемли древу Бога, ребенок.

1962.

* *
 *

Сам я
 В петровском мундире
 Как в латах
 Страшно и грозно
 Сижу и тужу.
 Славься, Россией завоеванный якорь.
 Цель без сомненья
 И жизнь на скаку.

* *
 *

В память о 17 февраля.

Шипя летит змея вся в снеге
 И льется в комнатную сень.
 Летит над нею в полном беге
 Царя таинственная тень.

Твои старинные затеи...
 В них точит камень конь его,
 И слезы маленькой Психеи,
 И конь его близ ног ее.

* *
 *

Я одинок. До самого конца
 Дано твердить мне в жизни это слово.
 Не искажу страданием лица
 И не пошлю Творцу укора злого.

Я одинок — Он тоже одинок!
 Тоскующий, Великий, Непонятный,
 Не раз уж пожалевший, вероятно,
 Что Он не человек — а только Бог...

Атман

Все — от Меня: земля и воздух,
Крик ночи и сиянье дня.
Жизнь на планетах и на звездах —
Все это только от Меня...

Все — для Меня: дворцы и храмы,
Пустыня, океаны, сны,
Вздых девушки, дыханье Браммы,
Дыханье смерти и весны...

Я — Солнце творчества! Я —
Лира!

Прообраз звуков и картин.
Я — мир. И Я — Сознание
мира:

Я распылен. И Я един.

Памяти Владислава Ходасевича

«...Смотрю вокруг и презираю...»
И дальше продолженья нет.

Страница 72-я

Закрывает вырванный секрет.

Что Ходасевича презренью
Себя подвергло в той строфе,
Узнать поможет озаренье.

...За столиком в ночном кафе
Сидит он. Знаменитой тростью

Поигрывает. Сквозь пенсне

Поглядывает. Чьи-то кости

Перемывает. В полусне

Ведет как бы беседу с бесом

Полуночным. Назло луне,

На радость четверым повесам,

Сидящим наискось у не-

большого столика напротив

И ухмыляющимся, не

Мешающим тройной работе

Напитка с коньяком вдвойне.

«...Смотрю вокруг и презираю...» —

Он говорит. Ты слышишь, Рок?..

Вяз, прислонившийся к сараю,

Покрытый снегом бугорок...

Ах, это из другого цикла.

Что ж, провиденье, извини..

И долу голова поникла,

И мысль проникла в наши дни.

«...Смотрю вокруг и презираю...»

Забыл, действительно забыл, —

На полурифме умираю...

Л У Б Л И Ц И С Т И К А

В 1992 году в седьмой книжке «Нового мира» была опубликована статья Ренаты Гальцевой «Возрождение России и новый «орден» интеллигенции». В прошлом году на страницах журнала появились материалы Д. С. Лихачева «О русской интеллигенции» (№ 2) и Алексея Кивы «Intelligentsia в час испытаний» (№ 8). В предыдущем номере напечатана статья Андрея Быстрицкого «Приближение к миру». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей большую работу нашего постоянного автора Доры Штурман «В поисках универсального со-знания». Переосмысливая статьи знаменитого сборника «Вехи», Д. Штурман продолжает разговор о месте и роли российской интеллигенции в трагических событиях отечественной истории XX века.

Д. ШТУРМАН



В ПОИСКАХ УНИВЕРСАЛЬНОГО СО-ЗНАНИЯ

Перечитывая «Вехи»

Сборник статей «Вехи» (М. 1909) в досоветской леволиберальной и радикальной прессе, а также, разумеется, в советской официальной критической традиции оценивался как проповедь обскурантизма и знамя реакции. Может быть, отчасти и поэтому для опоминавшегося после долгого обморока российского исторического сознания «Вехи» априори виделись альтернативой всему тому, что советский официоз хвалил. Для эпох опамятования характерны подобные маятниковые оценки.

Какими же видятся тенденции сборника сегодня, когда прошлое постепенно перестает восприниматься думающими людьми только в двоичной системе (да — нет, хорошо — плохо, красные — белые)? Сегодня, через десятилетия после первой встречи, да еще на фоне событий конца 80-х — начала 90-х годов, «Вехи» воспринимаются как явление мировоззренчески не монолитное.

Авторы «Вех» люди разные: разных взглядов, с по-разному сложившимися в дальнейшем дорогами. Но все же их объединяет то, что, дистанцируясь от феномена российской интеллигенции как от некоей мировоззренческой и психологической общности, они именно к этой общности и принадлежат. Сегодня очень хотелось бы к ней, этой общности, присмотреться. Ибо как только советский образованный слой стал внешне свободным (навсегда ли, на время ли), как только перестали непрерывно постукивать в его подсознании колеса арестантских вагонов (так что и не разберешь: в дверь ли стучат, вагон ли уже отстукивает по рельсам или сердце колотится), так и начали оживать в «образованщине» рефлексy интеллигенции. Авторы «Вех» сложились внутри этого «ордена» в с е и к 1907 — 1909 годам преобразоваться в нечто духовно ему инородное не могли. Между собой они, как уже говорилось, во многом разнятся. Но ведь российская интеллигенция и не была мировоззренчески однородной. Напротив: она изобиловала непримиримыми фракциями. Авторы же «Вех» достаточно толерантны по отношению друг к другу, чтобы выступать под одной обложкой. Впрочем, В. И. Ульянов (он же — В. Ильин и Н. Ленин) и П. Б. Струве, один из виднейших веховцев, тоже когда-то выступали под одной обложкой и на общем газетном поле. Люди и их взгляды меняются.

* * *

Собственно говоря, свою принадлежность к интеллигенции декларируют и сами авторы «Вех». Н. Бердяев, к примеру, предвосхищая деление, введенное в обиход в начале 70-х годов Солженицыным, пишет¹:

¹ Все цитаты из «Вех» даны по переизданию 1967 года («Посев», Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия). В тексте указаны только страницы. Орфография приведена в соответствии с современными нормами.

«Говорю об интеллигенции в традиционно-русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней — реакционной власти, и казенщины внутренней — инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют „интеллигентщиной” в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды „интеллигентщины»» (стр. 1).

В обоих определениях («интеллигентщина» и «образованщина») общий суффикс перевешивает различие корней: в нем есть оттенок неуважения. Этот суффикс², сохраняя генетическую связь с исходными понятиями, противопоставляет обе «-щины» истинной интеллигенции и по-настоящему образованным слоям общества. Он близок по смыслу словообразующим элементам «псевдо» или «квази». «Интеллигентщина» — это воплощение недостатков интеллигенции, это, по сути дела, псевдоинтеллигенция, квазиинтеллигенция. «Образованщина» — тоже, потому что и Солженицын говорит ведь в конце статьи о наличии, о качественном и численном росте в России 60 — 70-х годов интеллигенции истинной.

В приведенных выше словах Бердяева интересны и следующие моменты: во-первых, «давление казенщины внешней — реакционной власти»; во-вторых, включение в число качеств «интеллигентщины» «инертности мысли и консервативности чувств».

Второе суждение выглядит неожиданным, но оно, как всякий истинный парадокс, верно. Речь идет о той «инертности мысли», которая не позволяет интеллигенции отказаться от ее традиционного радикализма, и о той «консервативности чувств», которая не дает ей сменить ниспровергательское мироощущение на созидательное, прогрессистское — на либеральное³. Такая инертность ума и такой эмоционально-оценочный консерватизм присущи обоим образованным слоям (российскому и советскому). Правда (и это отмечено Солженицыным в «Образованщине»), предшественница (российская интеллигенция) проявляла свои предпочтения открыто и пылко, порою жертвенно. Потомки же («образованцы») — преимущественно в латентных формах. Но ведь и гнет был несравним по силе и изощренности. Если судить по меркам 30 — 40-х годов, то в 900 — 10-х годах гнета и вовсе не было. Но по меркам еще не бывшего судить нельзя.

Именно эти отмеченные Бердяевым свойства мышления (радикалистская инерция и консерватизм «левого» прогрессистского перекоса) и заставили интеллигенцию обрушиться в одном случае на «реакционные» «Вехи», заговорившие о непривычных для нее ценностях, а в другом — на «рenegата», «обскуранта» и «ретрограда» Солженицына, обратившегося к ценностям и понятиям еще более непривычным, неизвестным, забытым, оклеветанным советской риторикой.

Но и сам Бердяев оказывается подверженным хорошо нам знакомой фразеологической инерции. Что есть «давление казенщины внешней — реакционной власти» как не клановый леволиберальный штамп? И что есть подобное словупотребление если не идеологическая консервативность? Ведь «Вехи» направлены вроде бы против радикалистской закомплексованности интеллигенции? А «давление казенщины внешней — реакционной — власти» в начале XX века распространялось только на революционную антиправительственную противозаконную деятельность, а не на духовную, частную и профессиональную жизнь интеллигенции как образованного слоя. Мысля не по инерции, чувствуя не консервативно (в смысле рефлекторной верности «левой» традиции), следовало бы понимать, что реакция власти была ее охранительным откликом на акцию подготовки, а затем и первой попытки революции. В 1917 — 1918 годах авторы «Вех» увидели, что происходит, когда охранительная реакция власти заторможена и за акцией разрушения не поспевает. Фразеологическая инерция Бердяева совершенно естественна, ибо он был недавним марксистом, а социалистом оставался до конца своих дней. Несмотря на барственность, индивидуализм, несчастую в первой эмиграции зажиточность (наследство во Франции, западные университетские степени и должности) и религиозные искания, он от «родимых пятен» «левизны» так

² О других его смыслах (в словообразованиях типа «семибоярщина», «казенщина», «ежовщина» и т. п.) я здесь не говорю.

³ Имеется в виду либерализм классического европейского типа, а не нынешний «леволиберализм», синонимичный умеренному социализму.

и не излечился. Впрочем, чуть ниже ту же «реакционность» (правда, не власти, а философов) Бердяев несколько раз берет в кавычки и рассуждает о ней с не утраченной ныне актуальностью:

«Во имя ложного человеколюбия и народолюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска. По существу, в область философии никто и не входил, народникам запрещала входить ложная любовь к крестьянству, марксистам — ложная любовь к пролетариату. Но подобное отношение к крестьянству и пролетариату было недостатком уважения к абсолютному значению человека, так как это абсолютное значение основано на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе. Авенариус оказался лучше Канта или Гегеля не потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а потому, что вообразили, будто Авенариус более благоприятствует социализму. Это и значит, что интерес поставлен выше истины, человеческое выше божеского. Провергать философские теории на том основании, что они не благоприятствуют народничеству или социал-демократии, значит презирать истину. Философа, заподозренного в «реакционности» (а что только у нас не называется «реакционным»!), никто не станет слушать, так как сама по себе философия и истина мало кого интересуют... В русской интеллигенции рационализм сознания сочетался с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной умственной жизни» (стр. 9).

В той же статье Бердяева сформулировано утверждение, против которого направлено острое л ю б о й идеологии. Эта направленность и отличает идеологию от явлений более высокого порядка: веры, философии, науки, искусства. Идеология ставит во главу угла не истинность, а полезность или вредность того или иного суждения для ее (идеологии) целей. Бердяев же постулирует безотносительную ценность истины как таковой (позднее мы встретимся с развернутым анализом этого феномена в статье С. Франка):

«Деление философии на «пролетарскую» и «буржуазную», на «левую» и «правую», утверждение двух истин, полезной и вредной, — все это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного у н и в е р с а л ь н о г о с о з н а н и я, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры (разрядка моя. — Д. Ш.)» (стр. 10).

Выше Бердяев говорит об уникальном стремлении к политической утилитаризации «истины» у большевиков и части иных тогдашних «левых». И мы, читая этот корректный упрек, немедленно начинаем ощущать зубодробильный смысл и кровавой вкус большевистских штампов «абстрактный гуманизм», «абстрактная истина», «буржуазная наука», «субъективная наука», «классовая наука». Но современники сигналу тревоги не вяли.

Та «интеллигентщина», или, если угодно, та «образованщина», которая досталась в юности — в качестве интеллектуальной и духовной наставницы — нам, родившимся в 1920-м (плюс-минус несколько лет), осуществляла шлифовку этих зловещих штампов и вколачивала их в неискушенные наши умы. Правда, она же им тайно (в какой-то своей части) и противостояла. Но как давно это началось!

Бердяев пишет:

«Нужно, наконец, признать, что «буржуазная» наука и есть именно настоящая, объективная наука, «субъективная» же наука наших народников и «классовая» наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой веры, чем с наукой» (стр. 12).

Вряд ли Бердяев тогда себе представлял, какие инструменты будут задействованы большевиками, когда потенциал веры, подменяющей истину, будет исчерпан. Но концептуальное прозрение — прозрение смысла роковых подмен — здесь несомненно наличествует.

Как это, однако, чаще всего бывает, российский интеллигент не может тут же не завершить историю болезни рецептом порою не менее опасным, чем сама болезнь. Заметим, что угопизм рекомендаций их опасности не уменьшает. Критикуя отношение российского идеологически ангажированного интеллигента к истине и философии, Бердяев не вспоминает о непредсказуемости результата познания. Он словно забывает, что дух истины дышит где хочет и что мы не знаем заранее ответа, таящегося в непознанном или непознаваемом. Бердяев же рассуждает пока что лишь о д о л ж н о м характере п р о ц е с с а п о с т и ж е н и я истины, но он уже «знает» многое из того, чего знать н е м о ж е т. Он говорит:

«Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру. Русская философия не давала до сих пор «мировоззрения» в том смысле, какой только и интересен для русской интеллигенции, в кружковом смысле. К социализму философия эта прямого отношения не имеет, хотя кн. С. Трубецкой и называет свое учение о соборности сознания метафизическим социализмом; политикой философия эта в прямом смысле слова не интересуется, хотя у лучших ее представителей и была скрыта религиозная жажда царства Божьего на земле. Но в русской философии есть черты, роднящие ее с русской интеллигенцией, — жажда целостного мирозерцания, органического слияния истины и добра, знания и веры. Вражду к отвлеченному рационализму можно найти даже у академически настроенных русских философов. И я думаю, что конкретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бытию, мог бы стать основой нашего национального философского творчества и мог бы создать национальную философскую традицию*, в которой мы так нуждаемся. Быдросменному увлечению модными европейскими учениями должна быть противопоставлена традиция, традиция же должна быть и универсальной, и национальной, — тогда лишь она плодотворна для культуры.

* Истина не может быть национальной, истина всегда универсальна, но разные национальности могут быть призваны к раскрытию отдельных сторон истины. Свойства русского национального духа указывают на то, что мы призваны творить в области религиозной философии» (стр. 18 — 19).

Но традиция не «должна быть» — традиция складывается и является, и она такова, какой она многопричинно сложилась. То, что начинают изобретать, конструировать или вычленять из традиции или «планово» культивировать как нечто должноствующее стать традицией, — это уже идеология (программа), а не традиция. Традиция — явление непрерывно становящееся. И если она долгое время остается неизменной, или, напротив, исчезает, или становится, то не по предписанному философом должноствованию, а как равнодействующая бесчисленных сил. «Привитое», приказное может стать и традицией, но — ох как нелегко и не скоро!

Однако российский интеллигент, да еще (все-таки) вчерашний марксист не может не строить единственно правильную «традицию».

Слишком часто в отношении к столь непредсказуемому и, по определению, свободному роду творчества, как философия, Бердяев употребляет понятия должноствования, правильности-неправильности и т. п.: «...нуждается в философской объективации и нормировке в интересах русской культуры...», «необходимо сочетать с аполлоническим началом...», «необходимо привести...», «интеллигентское сознание требует радикальной реформы...», «очистительный огонь философии...» (разрядка моя. — Д. Ш.). Перечитайте статью Бердяева — и вы почувствуете, что в этих отрывках живет дух целого.

Философ не садовник, прививающий к дичку им, садовником, выбранный культурный сорт. Он — познающий. Он может делиться постигаемым. Но в нем и в «правильного» способа миропостижения («правильной» философии) — не миссия философа. Это другая специальность.

Очень симптоматична концовка статьи Бердяева:

«...философия есть орган самосознания человеческого духа и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный. Но эта сверхиндивидуальность и соборность философского сознания осуществляется лишь на почве традиции универсальной и национальной. Укрепление такой традиции должно способствовать культурному возрождению России. Это давно желанное и радостное возрождение, пробуждение дремлющих духов требует не только политического освобождения, но и освобождения от гнетущей власти политики, той эмансипации мысли, которую до сих пор трудно было встретить у наших политических освободителей».

* Примеч. ко 2-му изд. Политическое освобождение возможно лишь в связи с духовным и культурным возрождением и на его основе» (стр. 21 — 22).

Я не знаю, индивидуально или соборно и сверхиндивидуально философское творчество (как не смогла бы наполнить надежным содержанием термины «универсальная традиция» и «национальная традиция»). По моему представлению, каждый решает задачи миропостижения во взаимодействии со всем тем, что (и кого) он впитывает или отклоняет, но в конечном счете индивидуально. Меня и в

этом отрывке поражает привычность для «советского» уха бердяевской лексики. Фраза: «Укрепление такой традиции должно способствовать...» — просто взята из памятки Дома культуры, разрабатывающего «новые традиции» взамен отмененных ритуалов («октябрины» вместо крестин, «комсомольская свадьба» вместо венчания, «возложение цветов к памятнику Ленину» вместо хождения к святым местам и пр.). «...требует не только политического освобождения, но и...» — значит, политического, само собой разумеется, «но и»?.. Это в 1909 году!

«...у наших политических освободителей» — кто же это? В каком кругу, слое, обществе, кабинете присутствовали в это время «политические освободители» российского интеллигента? Столыпин был символом гнета, реакции. Авторы «Вех» его не заметили. Бердяев бранит и народников, и эсдеков, и тем паче — большевиков. Он не кадет. Кто же они, его «политические освободители»? Штамп, фраза.

Поразительно в устах религиозно-философского мыслителя звучит отнесение значительной доли вины за духовную поврежденность российской интеллигенции на причины внешние и лишь во вторую очередь — на ее собственный счет:

«Русская интеллигенция была такой, какой ее создала русская история, в ее психическом укладе отразились грехи нашей болезненной истории, нашей исторической власти и вечной нашей реакции. Застаревшее самовластие исказило душу интеллигенции, поработило ее не только внешне, но и внутренне, так как отрицательно определило все оценки интеллигентской души. Но недостойно свободных существ во всем всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать. Виновата и сама интеллигенция: атеистичность ее сознания есть вина ее воли, она сама избрала путь человекопоклонства и этим исказила свою душу, умертвила в себе инстинкт истины» (стр. 22).

То же и у С. Булгакова (во второй статье сборника):

«Характер русской интеллигенции вообще складывался под влиянием двух основных факторов, внешнего и внутреннего. Первым было непрерывное и беспощадное давление полицейского прессы, способное расплющить, совершенно уничтожить более слабую духом группу, и то, что она сохранила жизнь и энергию и под этим прессом, свидетельствует во всяком случае о совершенно исключительном ее мужестве и жизнеспособности. Изолированность от жизни, в которую ставила интеллигенцию вся атмосфера старого режима, усиливала черты «подпольной» психологии, и без того свойственные ее духовному облику, замораживала ее духовно, поддерживая и до известной степени оправдывая ее политический моноидеизм («Ганнибалову клятву» борьбы с самодержавием) и затрудняя для нее возможность нормального духовного развития. Более благоприятная внешняя обстановка для этого развития создается только теперь, и в этом во всяком случае нельзя не видеть духовного приобретения освободительного движения. Вторым, внутренним, фактором, определяющим характер нашей интеллигенции, является ее особое мировоззрение и связанный с ним ее духовный склад. Характеристике и критике этого мировоззрения всецело и будет посвящен этот очерк» (стр. 27).

Это классическое «среда заела», это однозначное толкование охранительства только как реакции (а реакции — только как зла, а не как отклика), это привычное признание «политического освобождения» необходимым элементом жизни, которую в 900 — 10-х годах вполне можно было совершенствовать мирно, показывают, что тривиальное, косное в своем стандартном радикализме сознание только-только почувствовало неблагополучие, ненадежность своих стандартов и норм. Если не сменена фразеология, значит, не обновилось мышление. А если и обновилось, то лишь «местами», как говорят в Одессе, и «где-то», как выражается современная «околообразованщина».

Последняя фраза статьи Бердяева такова: «Тогда н а р о д и т с я н о в а я д у ш а интеллигенции» (разрядка моя. — Д. Ш.). А старая куда денется? На мгновение о бессмертии души забыто. Во-первых, религиозное неопитство веховцев из числа бывших марксистов еще очень поверхностно. Во-вторых, само собой разумеется, что бердяевская «новая традиция», внедренная и привитая волею посвященных, а не возникшая, не сложившаяся, требует и «нового чело-ека», ибо что есть душа если не человек?

* * *

Когда читаешь первые страницы статьи С. Булгакова «Героизм и подвижничество. О религиозной природе русской интеллигенции», потрясаешься (в очеред-

ной раз) непостижимой правоте Екклесиаста: «Нет ничего нового, чего не было бы раньше».

У нас, имеющих за спиной две революции 1917 года и три четверти века коммунистической эры, вызывает лишь горькую улыбку толкование легких толчков 1905 года как сокрушительного взрыва. Но вот как воспринимал их просвещенный русский тех лет:

«Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали. Положительные приобретения освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время, по меньшей мере, проблематичными. Русское общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком-то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так необходимы, и, как будто в сонном царстве, все опять в ней застыло, скованное неодолимой дремой. Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов, пошла положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии и сенсационных изданий. Есть отчето прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение относительно дальнейшего будущего России. И во всяком случае теперь, после всего пережитого, невозможны уже как наивная, несколько прекраснородушная славянофильская вера, так и розовые утопии старого западничества. Революция поставила под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности; не посчитавшись с этим историческим опытом, с историческими уроками революции, нельзя делать никакого утверждения о России, нельзя повторять задов ни славянофильских, ни западнических.

После кризиса политического наступил и кризис духовный, требующий глубокого, сосредоточенного раздумья, самоуглубления, самопроверки, самокритики» (стр. 23 — 24).

Времени для уроков, раздумий и спасительных действий оставалось мало — двенадцать лет. Тем они были необходимей. В 1905 году случился первый ощутимый толчок разрушительного землетрясения, длящегося поныне. Но ведь и ему предшествовали глубинные тектонические процессы, весьма длительные. В них и вдумывается будущий православный священник С. Булгаков.

Удивительна точность булгаковской характеристики главной особенности русской революции, которую нам, людям 90-х годов, приходится распространить на весь ее путь. Здесь я должна внести некоторую ясность в свою позицию, без чего могу быть неверно понятой. В моих глазах распад и развал конца 80-х — начала 90-х годов — это не следствие вмешательства в жизнь еще одного «освободительного движения», очередной революции. Как мне уже приходилось писать, нынешняя деструкция экономики и хозяйственных связей — это лишь нарастание эффекта той, первой и единственной пока, революции, этап, на котором разрушение стало зримым, вышло наконец полностью из тектонических недр на поверхность земли. Его пытаются остановить реформами, но пока что оно нарастает (август — сентябрь 1993 года).

С. Булгаков писал в 1909 году:

«Вдумываясь в пережитое нами за последние годы, нельзя видеть во всем этом историческую случайность или одну лишь игру стихийных сил. Здесь произнесен был исторический суд, была сделана оценка различным участникам исторической драмы, подведен итог целой исторической эпохи. «Освободительное движение» не привело к тем результатам, к которым должно было привести, не внесло примирения, обновления, не привело пока к укреплению государственности (хотя и оставило росток для будущего — Государственную Думу) и к пользе народного хозяйства не потому только, что оно оказалось слишком слабо для борьбы с темными силами истории, нет, оно и потому еще не могло победить, что и само оказалось не на высоте своей задачи, само оно страдало слабостью от внутренних противоречий. Русская революция развила огромную разрушительную энергию, уподобилась гигантскому землетрясению, но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных. У многих в душе отложилось это горькое сознание, как самый общий итог пережитого. Следует ли замалчивать это сознание и не лучше ли его высказать, чтобы задаться вопросом, отчего это так?..» (стр. 24).

Здесь отмечен (хотя и не объяснен) основополагающе важный момент. Действительно, русская революция, подземная деятельность коей началась много ранее 1905 года, была изначально разрушительной, а не раскрепостительной для каких-то созидательных сил, как порой (очень редко, но все же) с революциями

бывает. Потому, во-первых, что решать проблемы страны можно было мирным, реформаторским путем (простор для этого все расширялся, и реформы были уже начаты). Во-вторых, у «освободительного движения» не было (изначально) жизнеспособных программ для решения реальных и насущных проблем. Это было блестяще показано Столыпиным в его думских речах 10 мая 1907 и 5 декабря 1908 года. В них он анализировал аграрные программы всех партий либерального и радикального направлений. Справа от октябристов не имелось программ: там упиралась в своем охранительстве и как могли мешали реформам. Разрушительный характер партийных проектов нарастал от октябристов «влево». Столыпин не только исследовал все проекты, но и обосновал противопоставленную им реформу. Судилось так, что окончательную победу через двенадцать лет после первой существенной пробы своих сил одержали абсолютные утописты — большевики. Но ведь особенность социального утопизма состоит в том, что его разрушительные задачи вполне реальны и овладеть властью он может. Исключены законодательством самой природы лишь его созидательные намерения. В 1909 году С. Булгаков вряд ли мог предвидеть победу в России настолько уж роковой силы. Но он прозорливо уловил тенденцию российского «освободительного движения»: большой потенциал разрушения и отсутствие потенциала созидательного. Разумеется, в Столыпине он созидателя не увидел: для этого Булгаков 1909 года был слишком интеллигентом: «Что хорошего может исходить из Назарета?» Столыпин — государственный человек. Он усмирлял революцию (пусть и губительную для страны). Совместимо ли это с благом реформаторством? Даже для интеллигента, начинающего мыслить в категориях государственности, каков С. Булгаков, все-таки нет, несовместимо. Революция страшна, однако... «Так храм оставленный — все храм, кумир поверженный — все бог...»

Мне много приходилось заниматься социалистическими и коммунистическими учениями. Людей молодых они захватывают звучностью, уверенной интонацией и, казалось бы, содержательностью, емкостью формулировок. В силу своей, с одной стороны, безапелляционности, с другой — устремленности к благой, казалось бы, цели, к справедливости, они выглядят аксиомами. Все в них сказанное представляется само собой разумеющимся и в доказательствах, на поверхностный взгляд, не нуждается. Необходимы серьезное чтение, пристальное внимание и определенные знания, чтобы увидеть и доказательно обосновать их бессодержательность, пустоту. Если человек идет от впитанной в детстве и юности веры в радикалистские аксиомы, то на преодоление этой веры уходят годы. Как ни жаль, некоторые центральные формулировки авторов «Вех» тоже страдают той уверенной и выразительной необъятностью смыслов, которая весьма впечатляет благорасположенных слушателей, но легко переходит в бессодержательность. Может быть, это реликтовое излучение радикалистской юности? Я не берусь, к примеру, точно определить опорные понятия следующего ниже тезиса, а он в статье С. Булгакова один из важнейших:

«...для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волею, ибо, в противном случае, интеллигенция в союзе с татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и общечеловечности, погубит Россию» (стр. 26).

«Русская душа» и «татарщина» — такие же бессодержательные или подразумевающие все что угодно (говорящему и слушающему) понятия, как, например, «прыжок из царства необходимости в царство свободы» (Маркс). У них есть лишь образно-эмоциональная наполненность (весьма смутная и для каждого своя). Поэтому в обывательской *cause* и в художественном или идеологическом тексте они уместны. Но даже в серьезной публицистике, не говоря уж о сочинении философском или научном, они безответственны, ибо могут быть наполнены лишь произвольно. Предпочтение категорий национальных категориям личностно-общегражданским — такая же мина, подводимая под гражданский мир и государственные устои, как и предпочтения классово-идеологические. Это могут быть мины замедленного действия, но тем не менее — мины. В стране же изначально (от племенных истоков) и непоравимо многонациональной и многоверной они особо опасны. Припомните десяток-другой их трактовок, встречающихся вам сегодня, и вряд ли вы ощутите душевный комфорт. Как было вычленил из российских интеллигенции р у с-

с к у ю и наделить ее всю русской душой? Но «технология» возвращения душе интеллигента ее русскости не оговаривается: возможно, она представляется автору самоочевидной. С. Булгаков чувствует, что в его рассуждения должен быть введен универсальный критерий. И он пробует его ввести:

«Я не могу не видеть самой основной особенности интеллигенции в ее отношении к религии. Нельзя понять также и основных особенностей русской революции, если не держать в центре внимания этого отношения интеллигенции к религии. Но и историческое будущее России также стягивается в решении вопроса, как самоопределилась интеллигенция в отношении к религии, останется ли она в прежнем, мертвенном, состоянии, или же в этой области нас ждет еще перелом, подлинная революция в умах и сердцах» (стр. 27).

Итак, основной критерий русскости души интеллигента — отношение последнего к религии. Бердяев рекомендовал русской интеллигенции б е з о т л а г а т е л ь н о создать новую философскую традицию. Он видел ее построенной на двух (крайне трудно определяемых, заметим) началах: универсальная истина и русская национальная истина (в многонациональной, опять же, империи). Булгаков хочет сделать душу интеллигента русской, обратив ее к православию. И оба словоно бы и не представляют себе, что речь идет о процессах колоссальной — во времени — протяженности. Главное же — как может видеться не утопией целенаправленное, управляемое с о з д а н и е феноменов, с в о б о д н ы х п о о п р е д е л е н и ю? Свободных, глубочайше интимных, стихийных (теперь сказали бы стохастических), да к тому же еще и бесконечно многофакторных. А Булгаков не меньше говорит в дальнейшем о неотложности внутренней православной христианизации интеллигенции, чем Бердяев — о создании новой философской традиции. Таким образом, российская интеллигенция и в своей самокритике, в своей внутренней перестройке верна себе. Вопросом жизни и смерти становится для России спасение мирной поступательной эволюции как таковой, сохранение основ ее государственности; но интеллигенция занята если не сокрушением этих основ и не подведением мин под эволюционный процесс, то поисками альтернативных революционному радикализму утопий.

Почему российская интеллигенция так упорно тяготеет либо к утопии, либо к саперному делу — даже тогда, когда перед ней открыт немалый простор для полезной деятельности, общественной и профессиональной? Веховцы объясняют это в первую очередь «непрерывным и беспощадным давлением полицейского прессы» (С. Булгаков). Не пережито ли, однако, многообразнейшее жестокое давление в с в о е в р е м я и независимой мыслью Европы? Пережито, но в с в о е в р е м я. И для давления это время было — с в о е, и для свободомыслия — с в о е. А тут образованный слой имеет с XVIII столетия е в р о п е й с к и е потребности, е в р о п е й с к и е взгляды на права личности, свободу совести и разномыслие, н о п р е б ы в а е т при этом в иной обыденности. Ведь он не столько в о з н и к, сколько с о з д а н в границах куда более молодой, чем Западная Европа, государственной и этнической общности. И народ и о т ч а с т и (ибо власть более вестернизирована, чем народ) государственность принадлежат своему хронотопу, а образованный класс — другому, в который и рвется. А его — нет.

Весьма актуальным выглядит нижеследующее размышление С. Булгакова, особенно во второй своей части:

«Многократно указывалось (вслед за Достоевским), что в духовном облике русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближающиеся даже к христианской. Свойства эти воспитывались, прежде всего, ее внешними историческими судьбами: с одной стороны — правительственными преследованиями, создававшими в ней самочувствие мученичества и исповедничества, с другой — насильственной оторванностью от жизни, развивавшей мечтательность, иногда прекраснотушние, утопизм, вообще недостаточное чувство действительности. В связи с этим находится та ее черта, что ей остается психологически чуждым — хотя, впрочем, может быть, только пока — прочно сложившийся «мещанский» уклад жизни Зап. Европы с его повседневными добродетелями, с его трудовым интенсивным хозяйством, но и с его бескрылостью, ограниченностью. Классическое выражение духовного столкновения русского интеллигента с европейским мещанством мы имеем в сочинениях Герцена. Сродные настроения не раз выражались и в новейшей русской литературе. Законченность, прикреплённость к земле, духовная ползучесть этого быта претит русскому интеллигенту, хотя мы все знаем, насколько ему надо учиться, по крайней мере, технике жизни и труда у западного человека. В свою очередь, и западной буржуазии отвратительна и непонятна эта бродячая Русь, эмигрантская вольница, питающаяся

еще вдохновениями Стеньки Разина и Емельки Пугачева, хотя бы и переведенными на современный революционный жаргон, и в последние годы этот духовный антагонизм достиг, по-видимому, наибольшего напряжения» (стр. 27 — 28)

Душу европейца-интеллекта, «вышней волею небес» взращенного в России, все отечественные «естественности» жали, как «испанский сапог». Ропщущий (с великими к тому основаниями) два столетия, он и не заметил, как сапог «разносился». Лет через двадцать — сорок после второго издания «Вех» будет казаться, что к 1909 году этот сапог скорее походил на шлепанцы Обломова, чем на орудие пытки. Но тогда — жало. И даже веховцам казалось, что сильно, хотя по-настоящему власть ошетинивалась только против террористов и участников революционных насилий. Однако и С. Булгаков преисполнен против нее негодования. Видно, очень уж разные у него и у нас мерки.

Что же касается второй части этого отрывка, то и сегодня бесконечные разговоры о «ползучей бездуховности» и «мещанском укладе» Запада, его «бескрылости», «ограниченности», «прикрепленности к земле» служат дешевым способом свободно и раскованно, без усилий компенсировать недостаток в себе самой такой черты западного человека, как его повседневная «техника жизни и труда». Можно было бы успокоиться на том, что и это легкомысленный максимализм юной цивилизации по отношению к уравновешенности зрелой. Но не успокойсь, ибо, в отличие от С. Булгакова, мы уже знаем цену этого и н ф а н т и л ь н о г о в ы с о к о м е р и я. Может быть, правда, еще не всю.

Однако поверхностные рассуждения С. Булгакова о «ползучести», «бескрылости», «бездуховности» западного человека тают бесследно, когда он на очень глубоком уровне размышляет над взаимодействием разновозрастных и разнохарактерных культур в сфере, наиболее его волнующей, — в вопросе об отношении российского образованного слоя к религии. Он пишет:

«Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного индифферентизма и отрицания. Об этом нет споров среди разных фракций, партий, «направлений», это все их объединяет. Этим пропитана насквозь, до дна, скудная интеллигентская культура, с ее газетами, журналами, направлениями, программами, правами, предрассудками, подобно тому как дыханием окисляется кровь, распространяющаяся потом по всему организму. Нет более важного факта в истории русского просвещения, чем этот. И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы. Эта вера берет в основу ряд некритических, непроверенных и в своей догматической форме, конечно, неправильных утверждений, именно что наука компетентна окончательно разрешить и вопросы религии, и притом разрешает их в отрицательном смысле; к этому присоединяется еще подозрительное отношение к философии, особенно метафизике, тоже заранее отвергнутой и осужденной» (стр. 30 — 31).

И снова:

«Поразительно невежество нашей интеллигенции в вопросах религии. Я говорю это не для обвинения, ибо это имеет, может быть, и достаточное историческое оправдание, но для диагноза ее духовного состояния. Наша интеллигенция по отношению к религии просто еще не вышла из отроческого возраста, она еще не думала серьезно о религии и не дала себе сознательного религиозного самоопределения, она не жила еще религиозной мыслью и остается поэтому, строго говоря, не выше религии, как думает о себе сама, но вне религии. Лучшим доказательством всему этому служит историческое происхождение русского атеизма. Он усвоен нами с Запада (недаром он и стал первым членом символа веры нашего «западничества»). Его мы приняли как последнее слово западной цивилизации, сначала в форме вольтерьянства и материализма французских энциклопедистов, затем атеистического социализма (Белинский), позднее материализма 60-х годов, позитивизма, фейербаховского гуманизма, в новейшее время экономического материализма и — самые последние годы — критицизма. На многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями идущем глубоко в историю, мы облюбовали только одну ветвь, не зная, не желая знать всех остальных, в полной уверенности, что мы прививаем себе самую подлинную европейскую цивилизацию. Но европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и многочисленные ветви, но и корни, питающие дерево и, до извес-

тной степени, обезвреживающие своими здоровыми соками многие ядовитые плоды. Потому даже и отрицательные учения на своей родине, в ряду других могучих духовных течений, им противоборствующих, имеют совершенно другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают стать единственным фундаментом русского просвещения и цивилизации. *Si duo idem dicunt, non est idem*. На таком фундаменте не была построена еще ни одна культура.

В настоящее время нередко забывают, что западноевропейская культура имеет религиозные корни, по крайней мере наполовину построена на религиозном фундаменте, заложенном средневековым и реформацией. Каково бы ни было наше отношение к реформационной догматике и вообще к протестантизму, но нельзя отрицать, что реформация вызвала огромный религиозный подъем во всем западном мире, не исключая и той его части, которая осталась верна католицизму, но тоже была принуждена обновиться для борьбы с врагами. Новая личность европейского человека, в этом смысле, родилась в реформации (и это происхождение ее наложило на нее свой отпечаток), политическая свобода, свобода совести, права человека и гражданина были провозглашены также реформацией (в Англии); новейшими исследованиями выясняется также значение протестантизма, особенно в реформатстве, кальвинизме и пуританизме, и для хозяйственного развития, при выработке индивидуальностей, пригодных стать руководителями развивавшегося народного хозяйства. В протестантизме же преимущественно развивалась и новейшая наука, и особенно философия. И все это развитие шло со строгой исторической преемственностью и постепенностью, без трещин и обвалов. Культурная история западноевропейского мира представляет собою одно связанное целое, в котором еще живы и свое необходимое место занимают и средние века, и реформационная эпоха, наряду с веяниями нового времени» (стр. 32 — 33).

«Наша интеллигенция в своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших политических и социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее крайними и резкими формами философии просветительства. В этом отборе, который произвела сама интеллигенция, в сущности, даже и не повинна западная цивилизация в ее органическом целом. В перспективе ее истории для русского интеллигента исчезает совершенно роль «мрачной» эпохи средневековья, всей реформационной эпохи с ее огромными духовными приобретениями, все развитие научной и философской мысли; помимо крайнего просветительства. Вначале было варварство, а затем воссияла цивилизация, т. е. просветительство, материализм, атеизм, социализм, — вот несложная философия истории среднего русского интеллигентства. Поэтому в борьбе за русскую культуру надо бороться, между прочим, даже и за более углубленное, исторически сознательное западничество» (стр. 35).

Это все — об уродливости заимствований, predeterminedенной непроявленностью всего пути, освоенностью не всех ветвей великого древа соседней цивилизации. Но почему выбраны именно эти ветви — поверхностное просветительство и атеизм? С. Булгаков надолго уходит в этот поистине бездонный вопрос. Вслед за ним и мы, наблюдающие сегодня столь же поверхностное возвращение к религии, как он — уход от нее, задаемся еще одним вопросом: грядет ли с этим поворотом спасение? Поворот, уж никак не заимствованный ни у Запада, ни у Востока, но скорей реактивный (реакция отталкивания от атеизма), чем глубоко, внутренне predeterminedенный...

Итак, почему российская интеллигенция в XIX — XX веках выбрала именно атеистическую ветвь могучего европейского древа?

С. Булгаков пишет:

«Отчего же так случилось, что наша интеллигенция усвоила себе с такою легкостью именно догматы просветительства? Для этого может быть указано много исторических причин, но, в известной степени, отбор этот был и свободным делом самой интеллигенции, за которое она постольку и ответственна перед родиной и историей» (стр. 35).

С. Булгаков предполагает, что атеистическим миропониманием, обожением человека и верой в его всеислие подкреплялся бунтарский дух русской интеллигенции. Отрицая высший и непостижимый промысл н а д с о б о й, человек присваивает себе тем самым неограниченное право на преобразование общества и мира. Отвергая приоритет Заповедей, человек обретает право не просто на производную перестройку мира и общества, но и на перестройку их л ю б ы м и с р е д с т в а м и.

С. Булгаков сопрягает атеизм российской интеллигенции с еще одним ее свойством. Ее постоянная оппозиция деспотическому самовластию (или тому, что она принимает за неограниченную деспотию), оппозиция, окруженная восхищением всего образованного слоя, формирует в ней культ героизма и героическое мироощущение. А герой, во-первых, возвышается над негероями, во-вторых, не терпит над собой высшей воли. Атеизм освобождает его от неодолимой зависимости от наивысшей воли.

Иными словами, по убеждению С. Булгакова, героический радикализм естественно сопрягается с атеизмом, хотя можно было бы указать на примеры, ставящие под сомнение обязательность этой связи. Ему помогает сделать свое наблюдение универсальным разделение и противопоставление друг другу понятий «героизм» и «подвижничество». Первое отождествляется с мятежом, бунтом, второе — с послушанием, выполнением воли Пославшего. В просторечии же вовсе не режет слух героическое выполнение воли Пославшего. В том, что российский интеллигенту присущ героизм (произвольный риск), а русскому народу — подвижничество, послушание, С. Булгаков видит одну из причин их взаимной чуждости. Этот духовно-этический разрыв обостряет их пребывание в различных культурно-мировоззренческих хронотопах, о чем говорилось выше.

Симптоматично следующее замечание С. Булгакова:

«Вследствие своего максимализма интеллигенция остается малодоступна и доводам исторического реализма и научного знания. Самый социализм остается для нее не собирательным понятием, обозначающим постепенное социальное-экономическое преобразование, которое слагается из ряда частных и вполне конкретных реформ, не «историческим движением», но над-исторической «конечной целью» (по терминологии известного спора с Бернштейном), до которой надо совершить исторический прыжок актом интеллигентского героизма. Отсюда недостаток чувства исторической действительности и геометрическая прямолинейность суждений и оценок, пресловутая их „принципиальность”» (стр. 41).

Примечательно, что самый социализм при постепенном, последовательном и своевременном его введении возражений у Булгакова не вызывает. Его отвращает от себя тактика, но не цель. И в этом тоже зародыши тех шатаний, которые искренне приведут значительную часть этой еще до 1917 года сложившейся интеллигенции в ряды попугачиков (20-е годы).

Одновременно — ряды блестящих прозрений. Одно из них — констатация инфантилизма революционерской психологии (независимо от содержания революционной доктрины). Из этого инфантилизма — антипатия к спокойным периодам истории и педократия (общественное главенство и культ молодежи) в рядах радикалов, особенно крайних и действующих, а не разговаривающих и пишущих. «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Петр Нечаев и Велимир Хлебников полагали, что народонаселение старше двадцати пяти лет вообще должно быть убито (у Хлебникова — перманентно истребляться). С. Булгаков пишет:

«Психологии интеллигентского героизма больше всего импонируют такие общественные группы и внешние положения, при которых он наиболее естествен во всей последовательности прямолинейного максимализма. Самую благоприятную комбинацию этих условий представляет у нас учащаяся молодежь. Благодаря молодости с ее физиологией и психологией, недостатку жизненного опыта и научных знаний, заменяемому пылкостью и самоуверенностью, благодаря привилегированности социального положения, не доходящей, однако, до буржуазной замкнутости западного студенчества, наша молодежь выражает с наибольшей полнотой тип героического максимализма. И если в христианстве старчество является естественным воплощением духовного опыта и руководства, то относительно нашей интеллигенции такую роль естественно заняла учащаяся молодежь. Д у х о в н а я п э д о к р а т и я есть величайшее зло нашего общества, а вместе и симптоматическое проявление интеллигентского героизма, его основных черт, но в подчеркнутом и утрированном виде. Это уродливое соотношение, при котором оценки и мнения «учащейся» молодежи оказываются руководящими для старейших, перевертывает вверх ногами естественный порядок вещей и в одинаковой степени пагубно и для тех, и для других. Исторически эта духовная гегемония стоит в связи с той действительно передовой ролью, которую играла учащаяся молодежь с своими порывами в русской истории, психологически же это объясняется духовным складом интеллигенции, остающейся на всю жизнь — в наиболее живучих и ярких своих представителях — той же учащейся молодежью в своем мировоззрении. Отсюда то глубоко прискорбное и привычное равнодушие и, что гораздо хуже, молчаливое или даже открытое

одобрение, с которым у нас смотрят, как наша молодежь без знаний, без опыта, но с зарядом интеллигентского героизма берется за серьезные, опасные по своим последствиям социальные опыты и, конечно, этой своей деятельностью только усиливает реакцию. Едва ли в достаточной мере обратил на себя внимание и оценен факт весьма низкого возрастного состава групп с наиболее максималистскими действиями и программами. И, что гораздо хуже, это многие находят вполне в порядке вещей. «Студент» стало нарицательным именем интеллигента в дни революции.

Каждый возраст имеет свои преимущества, и их особенно много имеет молодость с таящимися в ней силами. Кто радеет о будущем, тот больше всего озабочен молодым поколением. Но находиться от него в духовной зависимости, заискивать перед ним, прислуживаться к его мнению, брать его за критерий — это свидетельствует о духовной слабости общества.

• П э д о к р а т и я — господство детей» (стр. 43 — 44).

Сегодня (и об этом не раз с тревогой писал Солженицын) уже не столько учащаяся, сколько асоциальная, люмпенизированная молодежь становится основной субстанцией всех разрушительных и террористических движений во всем мире. А ее вдохновителями остаются зрелые провокаторы извращенности, насилия и разрушения.

С. Булгаковым несколько раз замечено, что радикальной интеллигенции свойственно

«поставление себя вместо Бога, вместо Провидения, и это не только в целях и планах, но и путях и средствах осуществления» (стр. 45).

«Поставление себя вместо Бога, вместо Провидения» оказалось фактором не только психологическим, нравственным. Существо социалистической утопии как доктрины состоит в намерении препоручить организации посвященных, стоящих над обществом, решение сверхсложных задач, выполняемых в реальности не расчетно, а посредством особой самоорганизации всего сущего. Решить их расчетным путем нельзя. Учеными обнаружен запрет на это в законах природы. Но социализм, поставивший законы природы на место Бога, пытается игнорировать их, так же как он игнорирует Бога.

Качественно-этический запрет на узурпацию человеком прерогатив Творца просматривается и в размышлениях С. Булгакова. Но тут же возникают и некоторые затруднения:

«Герой, ставящий себя в роль Провидения, благодаря этой духовной узурпации приписывает себе и большую ответственность, нежели может понести, и большие задачи, нежели человеку доступны. Христианский подвижник верит в Бога-Промыслителя, без воли Которого волос не падает с головы. История и единичная человеческая жизнь представляются в его глазах осуществлением хотя и непонятного для него в индивидуальных подробностях строительства Божьего, пред которым он смиряется подвигом веры. Благодаря этому он сразу освобождается от героической позы и притязаний. Его внимание сосредоточивается на его прямом деле, его действительных обязанностях и их строгом, неукоснительном исполнении. Конечно, и определение, и исполнение этих обязанностей требует иногда не меньшей широты кругозора и знания, чем та, на какую притязает интеллигентский героизм. Однако внимание здесь сосредоточивается на сознании личного долга и его исполнения, на самоконтроле, и это перенесение центра внимания на себя и свои обязанности, освобождение от фальшивого самочувствия непризванного спасителя мира и неизбежно связанной с ним гордости оздоравливает душу, наполняя ее чувством здорового христианского смирения. К этому духовному самоотречению, к жертве своим гордым интеллигентским «я» во имя высшей святости призывал Достоевский русскую интеллигенцию в своей пушкинской речи: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость... Победишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя»...».

• Собр. соч. Ф. М. Достоевского, изд. 6-е, т. XII, стр. 425» (стр. 48 — 49).

Начнем с того, что мыслящий человек, которого не посетило откровение Веры, без чувства протеста принять непонятное не может. Само понятие откровения близко по смыслу к явлению перед человеком некоего Высшего Смысла, то есть — в конечном значении — понимания. Иначе человека не может не посещать сомнение. Смирение перед действительно непонятным (безоткровенным) — это насилие над собой, если не хуже того: лицемерие.

Бог-Промыслитель, без воли которого волос не падает с головы, — формула, приходящая в столкновение с тезисом о свободе воли и свободе выбора, которыми Творец наделил человека. Воля Творца оставляет простор для выбора и ответственности. Бог, по всей вероятности, не опускается до расчета судьбы каждого волоса: в той иерархии *самоорганизующихся* систем, которая создана (атеист скажет «возникла», агностик — «создана» или «возникла»), нет нужды в такой детализации патронажа. Во всяком случае, реактивное отталкивание от самообожения «интеллигентщины» не должно приводить к маятниковому влипанию в противоположную стену — к утрате свободы воли, свободы выбора и ответственности за свой выбор, за то, как использован дар свободы воли.

Столь же рискованно бездумное смешение смирения как осознания своей ответственности перед Высшим началом, как постоянной подотчетности таинственному дару Совести со смирением как раболепством и заведомой подчиненностью обстоятельствам. С. Булгаков пишет:

«Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем *смирение*, мало найдется понятий, которые подвергались бы большему непониманию и извращению, о которые так легко могла бы точить зубы интеллигентская демагогия, и это, пожалуй, лучше всего свидетельствует о духовной природе интеллигенции, избочивает ее горделивый, опирающийся на самообожение героизм. В то же время смирение есть, по единогласному свидетельству Церкви, первая и основная христианская добродетель, но даже и вне христианства оно есть качество весьма ценное, свидетельствующее во всяком случае о высоком уровне духовного развития. Легко понять и интеллигенту, что, например, настоящий ученый, по мере углубления и расширения своих знаний, лишь острее чувствует бездну своего незнания, так что успехи знания сопровождаются для него увеличивающимся пониманием своего незнания, ростом интеллектуального смирения, как это и подтверждают биографии великих ученых. И, наоборот, самоуверенное самодовольство или надежда достигнуть своими силами полного удовлетворяющего знания есть верный и непреходящий симптом научной незрелости или просто молодости» (стр. 49).

К сожалению, каково смирение Церкви, выступающей в роли земной иерархической организации, мир уже видел — и у католиков, и у православных, и у протестантов, и в исламе. Человек везде человек, в л ю б о й Церкви. И потому мир уже испытал на себе и непомерное самовозвеличение церковей на поприщах земной власти, и подобострастие их перед князьями мира сего.

Видимо, потому, что настроенность мысли С. Булгакова альтернативна богоборческой самонадеянности интеллигенции, он не заостряет внимания читателей на всегда актуальной проблеме свободы воли и выбора. Между тем и сегодня князья Церкви нередко используют догмат смирения в своих земных (если не хуже того) интересах. Мера активности человека — в том случае, если он не склонен возлагать решение своих проблем исключительно на Провидение, — всегда важна. Сегодня же, когда в мир вошел фактор мутагенного оружия и мутагенных источников энергии, важна как никогда. И это «как никогда» не преувеличение и не красное словцо. «Довлеет дневи злоба его». Опасность своеволия не стала сегодня меньшей, чем в 1909 году. Но и угроза необретения меры в смирении выросла. Фазиль Искандер в «Рукописи, найденной в пещере» («Московские новости», 15.8.93) пишет: «С о к р а т: ...я понял, что мудрость все может. Она не может только одного — защитить себя от хама. В этом смысле мудрость обречена на многие тысячелетия. Но собственная незащищенность и есть единственное условие, при котором истинно мудрый человек посвящает себя служению мудрости». Хорошо. Мудрость не может защитить с е б я от хама. А других, не себя? И окажутся ли в запасе у мудрости тысячелетия, если она не сможет себя и других защитить?

Идея смирения тоже может стать м а к с и м а л и с т с к о й и, значит, л о ж н о й.

С. Булгаков отчасти снимает мое недоумение, когда говорит:

«Многими пикантными кушаньями со стола западной цивилизации кормила и кормит себя наша интеллигенция, в конце расстраивая свой и без того испорченный желудок; не пора ли вспомнить о простой, грубой, но безусловно здоровой и питательной пище, о старом Моисеевом десятословии, а затем дойти и до Нового Завета!..» (стр. 51).

«Старое Моисеево десятословие» в р а з в е р н у т о м и к о м м е н т и р о в а н н о м в и д е предусматривает право на самозащиту. От слова — словом, от действия — действием. Оно однозначней в этом плане, чем Новый Завет.

В последнем этот вопрос рассмотрен и более тонко и более антиномично, то есть ближе к неустрашимой антиномичности жизни. Но практически жизнь всегда осуществляла абсолюты в лучшем случае асимптотически. Пытающиеся исповедовать максимы абсолютно из жизни сей вынуждены уйти в скит или в иной мир. В последнем счете: велят или не велят смирение и мудрость защищать посюстороннюю жизнь? С. Булгаков от этого вопроса уходит. Он делает ряд очень метких и важных замечаний относительно повседневного поведения и психологии интеллигенции. Но от последнего вопроса (только там или здесь?) уходит. Несколько вскользь брошенных слов — это даже не попытка ответа.

Итак, «героический» (а чуть ниже — «позитивно-атеистический») максимализм охарактеризован С. Булгаковым без всякой натяжки. Но можно ли забывать, что в свое время (в Европе) он, в существенной мере, явился реакцией на фаталистический религиозный максимализм «новой земли и нового неба», пренебрегавший смертной землей и солнечным небом над ней?

Как бы предупреждая эти вопросы (ибо не мог же он над ними не размышлять), С. Булгаков пишет:

«Но подвижничество, как внутреннее устройство личности, совместимо со всякой внешней деятельностью, поскольку она не противоречит его принципам» (стр. 53).

Дальнейшие рассуждения С. Булгакова показывают, что выйти из необходимости в ы б о р а, из неизбежности индивидуально отстроенного отклика и на высокий абсолюты, и на каждый земной феномен не может и религиозное миропонимание. Последнее, может быть, даже в большей степени вынуждено быть недогматичным, чем идеологическое сознание, ибо вторым руководят постулаты условные, а первым — абсолютные. Не будучи в силах найти или осуществить на земле абсолютное добро, не следует ли стремиться в каждом конкретном шаге хотя бы к наименьшему злу? Но в шаге, а не в уклонении от действия.

Все сказанное выше не сформулировано Булгаковым однозначно, но содержится в его примерах⁴:

«Особенно охотно противопоставляют христианское смирение «революционному» настроению. Не входя в этот вопрос подробно, укажу, что революция, т. е. известные политические действия, сама по себе еще не предвещает вопроса о том духе и идеалах, которые ее вдохновляют. Выступление Дмитрия Донского по благословению преподобного Сергия против татар есть действие революционное в политическом смысле, как восстание против законного правительства, но в то же время, думается мне, оно было в душах участников актом христианского подвижничества, неразрывно связанного с подвигом смирения. И, напротив, новейшая революция, как основанная на атеизме, по духу своему весьма далека не только от христианского смирения, но и христианства вообще. Подобным же образом существует огромная духовная разница между пуританской английской революцией и атеистической французской, как и между Кромвелем и Маратом или Робеспьером, между Рылеевым или вообще верующими из декабристов и позднейшими деятелями революции.

Фактически при наличии соответствующих исторических обстоятельств, конечно, отдельные деяния, именуемые героическими, вполне совместимы с психологией христианского подвижничества, — но они совершаются не во имя свое, а во имя Божие, не героически, но подвижнически, и даже при внешнем сходстве с героизмом их религиозная психология все же остается от него отлична. «Царство небесное берется силою, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 2), от каждого требуется «усилие», максимальное напряжение его сил для осуществления добра, но и такое усилие не дает еще права на самочувствие героизма, на духовную гордость, ибо оно есть лишь исполнение долга: «когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать» (Лк. 17, 10)» (стр. 53 — 54).

К сожалению, и м я в это «во имя» люди научились подставлять л ю б о е: «во имя трудящихся» (и вырастает Сталин), «во имя свободы, равенства, братства» (и грядет Робеспьер), «во имя нации» (и зажигает печи крематориев Гитлер), «во имя Спасителя» (и появляется Торквемада)...

Ни имя (самое высшее), ни лозунг не могут избавить от раздумья, оценки и выбора. И даже приведенная выше евангельская цитата может быть истолкована по-разному. Что есть «сила», «усилие»? Усилие духовное или и физическое?

⁴ Хотя сами эти примеры в своей конкретности спорны (например, идеализация Кромвеля).

Сила — это только стояние на своем до конца или, в определенных случаях и мере, также и силовое сопротивление?

По-видимому, в неисчерпаемости формулируемых постулатов и воплощена объективная свобода воли слушающего. Всякая попытка истолковать абсолюты Заповедей как неукоснительные универсальные законы земного поведения чревата той или иной долей софистики⁵. В мире сем ничто не может избавить человека от необходимости принимать каждый раз достойное решение, изо всех сил (е го сил и е го разумений) ориентируясь при этом на максимы Заповедей и Голгофы.

Казалось бы, С. Булгаков именно об этом и говорит:

«Христианское подвижничество есть непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, греховными сторонами своего я, аскеза духа» (стр. 54).

Я осмелюсь заметить, что «непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, греховными сторонами своего я, аскеза духа» — не прерогатива исключительно одного только христианства, но не буду входить в не имеющую конца ни для одной из сторон полемику.

Мы идем дальше по тексту и немедленно наталкиваемся на очередную опасность. Возникает угроза очередной абсолютизации того, чего на земле, в м и р у, нельзя лишать конкретности и доли некоторой относительности:

«Оборотной стороной интеллигентского максимализма является историческая нетерпеливость, недостаток исторической трезвости, стремление вызвать социальное чудо, практическое отрицание теоретически исповедуемого эволюционизма. Напротив, дисциплина «послушания» должна содействовать выработке исторической трезвости, самообладания, выдержки; она учит нести историческое тягло, ярем исторического послушания, она воспитывает чувство связи с прошлым и признательность этому прошлому, которое так легко теперь забывают ради будущего, восстанавливает нравственную связь детей с отцами.

Напротив, гуманистический прогресс есть презрение к отцам, отвращение к своему прошлому и его полное осуждение, историческая и нередко даже просто личная неблагодарность, узаконение духовной распри отцов и детей. Герой творит историю по своему плану, он как бы начинает из себя историю, рассматривая существующее как материал или пассивный объект для воздействия. Разрыв исторической связи в чувстве и воле становится при этом неизбежен» (стр. 55).

А оборотной стороной послушания неопитско-религиозного (не забывайте, что в «Вехах» с нами говорят в основном новообращенные, еще вчера бывшие позитивистами) является нынешняя (1993) опасность принять за подвижническое «историческое тягло», за религиозный «ярем исторического послушания» верность Злу или мертвому прошлому с его мертвецами. Такова, например, бездумная верность истекшему семидесятипятилетию советской жизни. Или жажда восстановления (во всей ее неизменности) имперской реальности трех истекших столетий. Но ведь даже то, что имело под собой серьезные основания в 1909 году, изрядно изменило свою преходящую, конкретную составляющую к 1993 году! «Историческое тягло», «историческое послушание» на протяжении последних семидесяти пяти лет было на деле отзывчивостью на духовную диктатуру «кесаря». А в е д ь д у х о в н о е — э т о н е к е с а р е в о. «Смирение», «послушание» нередко являлись спасательным кругом, и не духовным, а грубо плотским для, сдержанно говоря, сервильных слоев подсоветских церковных иерархий всех без исключения узаконенных вероисповеданий и конфессий. И в то же самое время начало внутреннее, совестное, вероисповедное заставляло священнослужителей и мирян (людей нравственно иного толка) отвергать политическую, идеологическую и уж тем более чекистскую сервильность. Значит, и тут существовала не абсолютизация послушания, а свобода воли и выбора.

Далее сказано:

«Проведенная параллель позволяет сделать общее заключение об отношении интеллигентского героизма и христианского подвижничества. При некотором внешнем сходстве между ними не существует никакого внутреннего сродства, никакого хотя бы подпочвенного соприкосновения. Задача героизма — внешнее спасение человечества (точнее, будущей части его) своими силами, по своему плану, «во имя свое», герой — тот, кто в наибольшей степени осуществляет свою

⁵ Замечу к слову, что абсолютизация демократии столь же двусмысленна и опасна, а порой и самоубийственна — для демократии.

идею хотя бы ломая ради нее жизнь, это — человекобог. Задача христианского подвижничества — превратить свою жизнь в незримое самоотречение, послушание, исполнять свой труд со всем напряжением, самодисциплиной, самообладанием, но видеть и в нем, и в себе самом лишь орудие Промысла. Христианский святой — тот, кто в наибольшей мере свою личную волю и всю свою эмпирическую личность непрерывным и неослабным подвигом преобразовал до возможно полного проникновения волею Божией. Образ полноты этого проникновения — Богочеловек, пришедший „творить не свою волю, но пославшего Его Отца” и „грядущий во имя Господне”» (стр. 55 — 56)

Субъективно атеист и агностик сплошь и рядом действовали и действуют (с полной искренностью и убежденностью) не «во имя свое», а во имя человечества, человека и обожествляемых ими принципов и свобод. Видя «в себе самом лишь орудие Промысла», каждый вынужден либо довериться толкователям, либо снова и снова в каждом конкретном случае искать и постигать волю Промысла собственным разумом и чувством. Кстати, атеисты и агностики видят в себе нередко не демиургов, а орудие «исторической закономерности».

Я как-то высказала своей горячо верующей приятельнице предположение, что у каждого искреннего человека своя модель Промысла в душе. Моя собеседница возмущенно ответила, что Бог не модель человеческого сознания, а высшая объективная реальность. Но ведь разговор шел не о существовании этой реальности, а о ее преломлении в душе верующего человека. Моя собеседница, человек незаурядный, к тому же еще и активный деятель (философ, политолог, публицист, редактор-издатель), заняла в свое время по отношению к подсоветским церковным иерархам — сексотам и политическим сервилитам — резко отрицательную и отнюдь не безмолвную позицию. Такую же позицию занимают многие священнослужители и верующие-миряне. И не только внутри христианского вероисповедания: те же коллизии возникают и внутри иудаизма и внутри ислама. Между тем значительная часть священнослужителей и активных мирян всех конфессий и вероисповеданий требует поставить свои церкви и клиры вне критики, особенно иноконфессиональной и иноверной. Это ли не разные «модели» Промысла в умах людей?

Между тем С. Булгаков пишет:

«Легче всего интеллигентскому героизму, переоблачившемуся в христианскую одежду и искренно принимающему свои интеллигентские переживания и привычный героический пафос за христианский праведный гнев, проявлять себя в церковном революционизме, в противопоставлении своей новой святости, нового религиозного сознания неправде «исторической» церкви. Подобный христианствующий интеллигент, иногда неспособный по-настоящему удовлетворить средним требованиям от члена «исторической церкви», всего легче чувствует себя Мартином Лютером или, еще более того, пророческим носителем нового религиозного сознания, призванным не только обновить церковную жизнь, но и создать новые ее формы, чуть ли не новую религию» (стр. 57).

А если «историческая церковь», состоящая все-таки из людей со всеми людскими слабостями, оказывается орудием и союзницей сил богопротивных? Ведь, как это ни горько, данный тезис С. Булгакова можно отнести во многие современные, отнюдь нравственно не безупречные речи и писания, и никто даже не заметит вставки. По-видимому, и здесь от личного выбора никто избавлен не будет. Булгаков замечает и сам, комментируя свою критику интеллигенции:

«*Post scriptum pro domo sua*. По поводу суровой характеристики интеллигентского уклада души (гл. III — V) мне может быть сделан упрек, что я произношу здесь суд над людьми самоотверженными, страдающими, гонимыми, по крайней мере я сам не раз задавался этим вопросом. Но независимо от того, сколь бы низко ни думал я о себе самом, я чувствую обязанность (хотя бы в качестве общественного «послушания») сказать все, что я вижу, что лежит у меня на сердце как итог всего пережитого, перечувствованного, передуманного относительно интеллигенции, это повелевает мне чувство ответственности и мучительная тревога и за интеллигенцию, и за Россию. Но при критике духовного облика и идеалов интеллигенции я отнюдь не имею в виду судить отдельных личностей, равно как, выставляя свой идеал, в истинности которого я убежден, я отнюдь не подразумеваю при этом, чтобы сам я к нему больше других приблизился. Да и можно ли чувствовать себя приближившимся к абсолютному идеалу?.. Но призывать к нему, указывать его невидящим не только можно, но и должно» (стр. 59)

Совершенно так же чувствуют те из им критикуемых, кто подвластен голосу с в о е г о идеала, а не каким бы то ни было привходящим обстоятельствам. Поэтому так трудны и рискованны и одновременно так (в качестве меры, идеала и ориентира) необходимы требования к себе и другим «на все времена».

Вот еще одно суждение С. Булгакова об отношении интеллигенции к Церкви, звучащее сегодня обостренно-наусушно:

«В поголовном почти уходе интеллигенции из церкви и в той культурной изолированности, в которой благодаря этому оказалась эта последняя, заключалось дальнейшее ухудшение исторического положения. Само собою разумеется, что для того, кто верит в мистическую жизнь Церкви, не имеет решающего значения та или иная ее эмпирическая оболочка в данный исторический момент; какова бы она ни была, она не может и не должна порождать сомнений в конечном торжестве и для всех явном просветлении церкви. Но, рассуждая в порядке эмпирическом и рассматривая русскую поместную церковь как фактор исторического развития, мы не можем считать маловажным тот факт, что русский образованный класс почти поголовно определился атеистически. Такое кровопускание, конечно, не могло не отразиться на культурном и умственном уровне оставшихся церковных деятелей. Среди интеллигенции обычно злорадство по поводу многочисленных язв церковной жизни, которых мы несколько не хотим ни уменьшать, ни отрицать (причем, однако, все положительные стороны церковной жизни остаются для интеллигенции непонятны или неизвестны). Но имеет ли интеллигенция настоящее право для такой критики церковной жизни, пока сама она остается при прежнем индифферентизме или принципиальном отрицании религии, пока видит в религии лишь темноту и идиотизм?» (стр. 66).

«...ее (Церкви. — Д. III.) эмпирическая оболочка в данный исторический момент» играет столь же судьбоносную для земного сохранения России роль, как и весь этот исторический момент в целом. Мы наблюдаем сейчас массовую рехристианизацию русской (отчасти и христианизацию нерусской) интеллигенции. Но вернувшимся и новообращенным, жаждущим уверовать (и даже уверовавшим) в мистическую жизнь Церкви, крайне трудно смириться с эмпирической ипостасью ее клира и мирского актива. И надо ли смиряться? — вот в чем вопрос. Ибо не о слабостях идет речь, а о вещах страшных. И не о вчерашнем грехе, а о нынешнем служении Злу.

Очень много сказано в этой статье о «злой татарщине» и ее не изгладившихся еще отпечатках на духе и теле христианского народа и его государственности. Но так и хочется каждый раз спросить: а татары земных ангелов завоевали?

Выводы С. Булгакова сопряжены в своей программной части с условным наклонением («если бы»). В констатирующей же — отражена угрожающая сложность реальных проблем предреволюционной поры.

Вот экстракт этих спасительных «если бы», против которых нечего возразить (разве только, что гонений и преследований, по-настоящему страшных, русская интеллигенция поколения С. Булгакова в 1909 году еще себе просто не представляла):

«Церковная интеллигенция, которая подлинное христианство соединяла бы с просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач (чего так часто недостает современным церковным деятелям), если бы таковая народилась, ответила бы насущной исторической и национальной необходимости. И даже если бы ей и на этой череде пришлось подвергнуться преследованиям и гонениям, которых интеллигенция столько претерпевает во имя своих атеистических идеалов, то это имело бы огромное историческое и религиозно-нравственное значение и совершенно особенным образом отозвалось бы в душе народной» (стр. 67).

А симптомы страшного катаклизма, который умами и душами чуткими воспринимался как приблизившийся почти вплотную:

«Но пока интеллигенция всю силу своей образованности употребляет па разложение народной веры, ее защита с печальной неизбежностью все больше принимает характер борьбы не только против интеллигенции, но и против просвещения, раз оно в действительности распространяется только через интеллигенцию, — обскурантизм становится средством защиты религии... Оба полюса все сильнее заряжаются разнородным электричеством. Устанавливаются по этому уродливому масштабу фактические группировки людей на лагеря, создается соответствующая психологическая среда, консервативная, деспотическая. Нация раскалывается надвое, и в бесплодной борьбе растрачиваются лучшие ее силы.

Такое положение создалось всем нашим духовным прошлым, и задача времени состоит в том, чтобы преодолеть это разделение, возвыситься над ним, поняв, что в основе его лежит не внутренняя, идеальная необходимость, но лишь сила исторического факта. Пора приступить к распутыванию этого гордиева узла нашей истории» (стр. 67 — 68).

Особенность гордиевых узлов в том и состоит, что они не распутываются и не развязываются, а лишь разрубаются. Но не всегда разрубить — это значит решить. Распадаются связи, рвутся нити, нервы, сосуды. Не исключены обстоятельства, когда, разрубив по живому узел, губят и жизнь. С. Булгаков о смысле этой идиомы не подумал. Но история придала его оговорке жуткий смысл.

* * *

Как это ни странно, но стилистика и эмоциональная настроенность статьи М. Гершензона «Творческое самосознание» (в сборнике — третья) живо напоминают о Шарле Фурье. Та же произвольность терминологии, особенно в начале статьи, когда читатель еще не понимает, что подразумевает автор под своими необъятного смысла определениями. Та же экзальтация. То же отсутствие и тени сомнений в своей правоте. И то же неподтверждение будущим самых безапелляционных пророчеств.

Фурье и Гершензон не одиноки в подобного рода стилистике: ее черты проглядывают и сквозь маниакальный рационализм Сен-Симона, и сквозь наукообразие Маркса, и сквозь одержимость Ленина, и сквозь безжизненную патетику Троцкого, и сквозь хлестаковщину Бухарина. Это стиль Утопии. Поскольку Утопия есть с о ч и н е н и е, детище Желаемого и Воображения, а не Желаемого и Сущего (или Возможного), то верность жизни, точность и строгость ей не угрожают. Она и сочинена, чтобы «неправильную» жизнь сделать «правильной».

Статья М. Гершензона — это не исследование и не труд взыскующего истины философа. Это эссе, в котором автор свободно следует полету своей прихотливой мысли, не затрудняясь такой банальностью, как забота о ясности изложения. Его понятия-образы вынужден расшифровывать читатель. Вероятно, рафинированный читатель-современник расшифровывал их неизмеримо легче, нежели я, продукт расширенного чтением советского образования. Именно по последней причине я буду говорить лишь о тех идеях М. Гершензона, которые мне доступны и представляются актуальными.

В конце своего эссе автор произносит короткую, но знаменательную фразу: «Цель этих страниц — не опровергнуть старую заповедь и не дать новую» (разрядка моя. — Д. Ш.). Далее говорится о надежде включиться в «Движение» к новому миропониманию, уже начавшееся. Читатель, маломальски знакомый с Новым Заветом, видит, сколь ответственная аналогия заключена в цитируемых выше словах («Я пришел не отвергнуть Закон, но укрепить его»). Избавиться от ощущения сознательного сопоставления здесь невозможно. Правда, слово «заповедь» написано у автора со строчной буквы, а «Движение» — с прописной. По-видимому, собственное предназначение осознается без особого смирения — интеллигентски-героическим. В этой связи интересно знать, как автор статьи относится к двум вещам, которые мы уже «проходили», а Гершензон в 1909 году еще нет (или по ч т и нет: что такое 1905 год по сравнению с 1917-м?). Речь идет о социализме и о революции.

Гершензон произнес в этом своем эссе фразу, которую не позабыл швырнуть ему в лицо ни один левоориентированный либерал, не говоря уж о радикалах. Вот это его знаменитое высказывание:

«К а к о в ы м ы е с т ь, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» (стр. 89).

Слова эти с момента первого издания «Вех» бессовестно вырывались всеми «читателями» из контекста. А перед этими словами М. Гершензоном сказано было следующее:

«Между нами и нашим народом — иная рознь. Мы для него — не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои» (стр. 88 — 89).

Я не стану спорить о том, насколько своими были для русского, на 80 процентов крестьянского тогда, народа ассимилированные в первом поколении евреи. М. Гершензон говорит не лично о себе, а обо всем том слое, причастным которому себя ощущает. И эта самоидентификация — его право⁶. Но в том, что к российской монархии 900-х годов М. Гершензон относится с глубочайшей антипатией, полный текст его реплики сомнений не оставляет. Ошеломленный лавиной обвинений в «реакционности», автор сделал ко второму изданию (1909) примечание:

«Примеч. ко 2-му изданию. Эта фраза была радостно подхвачена газетной критикой, как публичное признание в любви к штыкам и тюрьмам. — Я не люблю штыков и никого не призываю благословлять их; напротив, я вижу в них Немезиду. Смысл моей фразы тот, что всем своим прошлым интеллигенция поставлена в неслыханное, ужасное положение: народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, против которой она боролась, оказывается ее защитницей, хочет ли она того или не хочет. «Должны» в моей фразе значит «обречены»: мы собственными руками, сами не сознавая, соткали эту связь между собою и властью, — в этом и заключается ужас, и на это я указываю» (стр. 89).

Вот он — символ веры российского радикального интеллигента, пытающегося изю всех сил, со всей искренностью перестроиться на религиозный, духовный, мистический лад. Он воспринимает государство как начало гнетущее, репрессивное, как «не компанию» для людей порядочных. Вынужденное принятие его защиты — для интеллигента трагедия, заслуженная ирония злого рока. И это естественно, если учесть отношение автора эссе к социализму (тоже одна из характерных черт российского радикала и прогрессиста). Вот строки, предшествующие скорбному замечанию о тюрьмах и штыках власти:

«Западный буржуа несомненно беднее русского интеллигента нравственными идеями, но зато его идеи не многим превышают его эмоциональный строй, а главное, он живет сравнительно цельной душевной жизнью. Оттого на Западе мирный исход тяжбы между народом и господами психологически возможен: там борьба идет в области позитивных интересов и чувств, которые естественно выливаются в форму идей, а раз такая формулировка совершилась, главной ареной борьбы становится индивидуальное сознание. И действительно, на Западе и де и социализма играют сейчас решающую роль. Они постепенно превращают механическое столкновение в химический процесс, с одной стороны сплачивая рабочую массу, с другой — медленно разлагая идеологию буржуазии, т. е. одним внушая чувство правоты, у других отнимая это чувство» (стр. 88).

Здесь показательно (не изжитое по сей день ни Россией, ни Западом) аксиоматически положительное отношение к социализму — без всякой попытки определить, что же подразумевается под этим словом. То, что эта доктрина, это государственное и хозяйственное устройство разъедает и перестраивает Запад ползучим образом (то есть один из самых страшных процессов на современной земле), видится Гершензону благом. Российская интеллигенция (не весь образованный слой, а именно тенденциозная идеологизированная и политизированная профессиональная интеллигенция) пребывала и в 1909 и в 1917 году под рефлекторным обаянием «Четвертого сна Веры Павловны» и девушек из ее мастерской.

То же и по отношению к революции — еще одному рефлекторному фетишу «интеллигентщины». Прислушайтесь:

⁶ Пользуюсь случаем заметить: в нынешних российских шовинистических движениях появилась особая (исторически, впрочем, не новая) разновидность антисемитизма. Она гласит: с еврейством можно мириться и даже сотрудничать в определенных вопросах, когда оно, еврейство, пребывает в Израиле или в замкнутых общинах на территории российской диаспоры. В последнем случае оно имеет право на культурную и религиозную автономию, но ни в коем случае не должно претендовать на активную роль в русской культуре и российской политике. Утописты-антисемиты этого толка прокламируют свой гуманизм и терпимость. И, как все утописты, они не видят, что в случае попытки воплотить утопию в жизнь обречены на большое пролитие чужой крови. Гражданина многонациональной державы, тем более гражданина активного, каковы евреи по темпераменту и степени социальной эмансипации, трудно вогнать в гетто культурно-религиозной автономии без его воли на то. А среди евреев такую волю проявят немногие. Желавшие не быть россиянами евреи уезжают в Израиль, а не запираются в гетто. Россияне же любого этнического происхождения вправе и будут претендовать на те же гражданские права, что и русские. Немецкие нацисты, кстати, начинали со сходных идей.

«Интеллигент задыхался и думал, что задыхается т о л ь к о оттого, что связан. Это был жестокий самообман. Народу революция действительно могла дать все, что ему нужно для здоровой жизни: свободу самоопределения и правовую обеспеченность. Но что дала бы политическая свобода нам, интеллигенции? Освобождение есть только снятие оков, не больше; а снять цепи с того, кто снедаем внутренним недугом, еще не значит вернуть ему здоровье. Для нас свобода имела бы лишь тот смысл, что поставила бы нас в более благоприятные условия для выздоровления» (стр. 90).

Опустим в данном случае центральную мысль Гершензона (почему интеллигент плох и почему интеллигенту плохо), мы еще к ней вернемся. З д о р о в о г о д у х о в н о и н р а в с т в е н н о и н т е л л и г е н т н о г о ч е л о в е к а (профессионала в своей сфере деятельности, не идеолога, не демагога, не радикала, не очередного репетилова) автор, по-видимому, просто не видит, не хочет видеть, не встречает в своей среде. И ведь он уверен: революция, победы, сняла бы с народа оковы и цепи! Она дала бы интеллигенту политическую свободу! Но лишив интеллигента внешнего оправдания (отпала бы необходимость в политической борьбе), победа революции жесточайшим образом обнажила бы разъедающие его духовные антиномии. И потому эта победа страшна. Хотя и облегчила бы возможность «для выздоровления». Что это — тяга к неординарности, парадоксу или просто пуганица в голове?

«Потомки оценят...» — говорит далее Гершензон. Мы — потомки и мы действительно оценили: ни малейшего сомнения в том, что все «внешние» проблемы победная революция разрешила бы, у «реакционного» Гершензона нет. Не разрешила бы она лишь внутренней сумятицы, пуганицы, заблуждений, бушующих в большой интеллигентской душе. Ну так, может быть, и шут бы с ней, с интеллигентской душой, если «народу революция действительно могла дать все, что ему нужно для здоровой жизни...».

Итак, на свои вопросы мы вынуждены ответить: к социализму, эволюционно входящему в мир, Гершензон относится положительно. А к революции — отрицательно. И лишь потому, что, принеся народу все, в чем он нуждается, интеллигенцию революция освободила бы т о л ь к о в н е ш н е. А духовный, внутренний ее, интеллигенции, дискомфорт по обретении политической свободы лишь усилился бы.

Чем же все-таки болеет интеллигенция, по ощущению и убеждению М. Гершензона?

Во-первых, в своем наносном, заимствованном атеизме она отделена непреодолимой бездной от глубоко христианского своего народа.

Во-вторых, атеизм лишает ее душу и волю цельности, двоит ее, отделяя разум от действия. Она оказывается способной на разрушительные рывки, но не на повседневную созидательную работу.

Именно этот разрыв между интеллектом и волей не позволяет ей ввести в народный обиход даже те ее пусть и заимствованные, но обладающие общественной ценностью идеи, которые не лежат в русле атеизма и нигилизма.

Воля выступает в размышлениях Гершензона частицей универсального вселенского начала, синонимичного Богу, присутствующему в душе каждого человека. Ему представляется, что в своей совокупности все эти индивидуальные воли (воплощения Божественного начала) ошибаться не могут и творят волю Божью, осуществляют план Провидения. Интеллигенция в своем атеизме отрелась от Промысла Божия, подавила его в себе, загнала в душевное свое подполье и оставила свой разум в безвольной и бездуховной пустоте. Народ же в своем христианстве продолжает как целое свой промыслительный путь. Поэтому между интеллигенцией и народом пролегла пропасть.

Как уже было сказано, у Гершензона нет предположительных интонаций: ему все ясно не в меньшей степени, чем любому утописту всех времен и народов, хотя он и ощущает себя почвенником. Он глубочайше проникнут идеей религиозного народничества. Так, описав болезнь русской интеллигенции, он заключает:

«Могла ли эта кучка искалеченных душ остаться близкой народу? В нем мысль, поскольку она вообще работает, несомненно работает существенно — об этом свидетельствуют все, кто добросовестно изучал его, и больше всех — Глеб Успенский. Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не все сказать. Может быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее его? Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически и живем в роскоши? Нет, он, главное, не видит в нас людей: мы для него человекоподобные чудовища, люди без Бога в душе, — и он прав, потому что, как электричество обнаружива-

ется при соприкосновении двух противоположно наэлектризованных тел, так Божья искра появляется только в точке смыкания личной воли с сознанием, которые у нас совсем не смыкались. И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас» (стр. 85).

А признал-то народ в решающий свой час худших из худших радикал-атеистов (левых эсеров, анархистов и большевиков). И внял лишь одной истине: грабь награбленное! И ни роду-племени, ни вероисповедания у своих подстрекателей не спрашивал. И наоборот: разрывал в клочья наирусейших миротворцев. И даже простил заводилам бунта их принадлежность, в большинстве случаев, к «интеллигентщине» (помните, у Бухарина: «лучшие в мире вожди» — это «интеллигентские перебежчики»). И особой пропасти между собой и радикальными провокаторами грабежа и насилия под аккомпанемент большевистско-смердяковского «все дозволено!» не ощутил — пока не очнулся уже в ловушке.

Вот какая искра возникла «в точке смыкания личной воли с сознанием» и зажгла пожар. Может быть, так проявилось разогретое агитаторами народное чувство справедливости, оскорблявшееся веками. Но подбросил-то, повторю, роковую искру худший из атеистов. И рискнули качнуть всем весом за ним — пусть на миг, но достаточный для того, чтобы западня впустила народ и захлопнулась.

Прошел уже 1905 год с его пожарами и грабежом усадеб, с его погромами. Но народ фетишизируется Гершензоном не в меньшей степени, чем Марксом — пролетариат:

«Сами бездушные, мы не могли понять, что душа народа — вовсе не *tabula rasa*, на которой без труда можно чертить письмена высшей образованности. Напрасно твердили славянофилы о своеобразной насыщенности народного духа, препятствующей проникновению в народ нашей образованности; напрасно говорили они, что народ наш — не только ребенок, но и старик, ребенок по знаниям, но старик по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению, что у него есть, и по существу вещей не может не быть, известная совокупность незабываемых идей, верований, симпатий, и это в первой линии — идеи и верования религиозно-метафизические, т. е. те, которые, раз сложившись, определяют все мышление и всю деятельность человека. Интеллигенция даже не спорила, до того это ей казалось диким. Она выбивалась из сил, чтобы просветить народ, она засыпала его миллионами экземпляров популярно-научных книжек, учредила для него библиотеки и читальни, издавала для него дешевые журналы, — и все без толку, потому что она не заботилась о том, чтобы приоровить весь этот материал к его уже готовым понятиям, и объясняла ему частные вопросы знания без всякого отношения к его центральным убеждениям, которых она не только не знала, но даже не предполагала ни в нем, ни вообще в человеке. Все, кто внимательно и с любовью приглядывались к нашему народу, — и между ними столь разнородные люди, как С. Рачинский и Глеб Успенский, — согласно удостоверяют, что народ ищет знания исключительно практического, и именно двух родов: низшего, технического, включая грамоту, и высшего, метафизического, уясняющего смысл жизни и дающего силу жить. Этого последнего знания мы совсем не давали народу, — мы не культивировали его и для нас самих. Зато мы в огромных количествах старались перелить в народ нашу знание, отвлеченное, лишённое нравственных элементов, но вместе с тем пропитанное определенным рационалистическим духом. Этого знания народ не может принять, потому что общий характер этого знания встречает отпор в его собственном исконном миропонимании. Неудивительно, что все труды интеллигенции пропали даром. „Заменить литературными понятиями коренные убеждения народа, — сказал Киреевский, — так же легко, как отвлеченной мыслью переменить кости развившегося организма”» (стр. 85 — 86).

«Сонмище больных, изолированное в родной стране, — вот что такое русская интеллигенция. Ни по внутренним своим качествам, ни по внешнему положению она не могла победить деспотизм: ее поражение было предопределено. Что она не могла победить собственными силами, в этом виною не ее малочисленность, а самый характер ее психической силы, которая есть раздвоенность, то есть бессилие; а народ не мог ее поддержать несмотря на соблазн общего интереса, потому что в целом бессознательная ненависть к интеллигенции превозмогает в нем всякую корысть: это общий закон человеческой психики. И не будет нам свободы, пока мы не станем душевно здоровыми, потому что взять и упредить свободу можно лишь крепкими руками в дружном всенародном сотрудничестве, а личная крепость и общность с людьми — эти условия свободы — достигаются только в индивидуальном духе, правильном его устройством» (стр. 87).

Но если у народа есть некая соборная, целостная душа, то как она может отсутствовать («сами бездушные...») в его детях, членах, частях? Пусть спящая или

больная. Гершензон глубоко (за исключением антисемитизма) перекликается с И. Шафаревичем: живой и одухотворенный «большой» и бездушный, больной (у Шафаревича еще и злокозненный, и полуинородческий, а то и целиком инородческий) «малый» народ. Из них «малый» утерял то главное (религиозно-метафизическое, органичное для него), что, казалось бы (в силу одной своей органичности и метафизичности), не может уйти иначе как в глубь больной, раздвоенной души. И снова тот же вопрос: почему этот органично, метафизически прозорливый народ принял из интеллигентов-идеалистов (все же идеалистов; это признано и Гершензоном) самых крайних и худших: фанатиков и абсолютных утопистов одновременно? Да еще хорошо разбавленных люмпенами и бандитней...

Вчитайтесь — и вы увидите: трактовка «метафизического» — в этом контексте — есть лишь неофитско-(горячность и крайность)националистическая (как это ни парадоксально) его интерпретация. И при этом сугубо рационалистическая, ибо идет не от интуиции (интуиция не ошибается столь сокрушительно) и не из метафизических глубин, в которых места национализму нет.

М. Гершензон призывает интеллигенцию к самолечению. Но при этом, повторим, говоря об интеллигенции как о «сонмище больных, изолированных в родной стране», он сожалеет о том, что —

«Ни по внутренним своим качествам, ни по внешнему положению она не могла победить деспотизм: ее поражение было predetermined. Что она не могла победить собственными силами, в этом виною не ее малочисленность, а самый характер ее психической силы, которая есть раздвоенность, то есть бессилие; а народ не мог ее поддержать несмотря на соблазн общего интереса» (стр. 87).

Значит, задача победы над «деспотизмом» (1909) не снимается и «общий интерес» концентрируется в победе над ним? Ужас в том, что за «деспотизм» принимается ситуация, когда положительная работа вполне возможна, а «общий интерес» состоит отнюдь не в пресловутом «освобождении» и не в скоростной религиозно-метафизической «перестройке». Общий интерес состоял тогда в погашении разрушительных иллюзий в себе и в толщах народа. Он заключался во всеобщей блокаде разрушителей, в правовой и хозяйственной эмансипации большинства народа. Но интеллигенция (или «интеллигентщина»?), перемежая привычные прогрессистско-освободительные речевые штампы новообретенными религиозно-метафизическими штампами же, не видит ни того, что уже происходит, ни кто есть кто, ни куда надо двигаться. Тому, кто мне скажет, что сегодня легко судить, я снова напомню о думских речах Столыпина.

Гершензон наполняет неприязнь народа к барам и белоручкам мистическим и метафизическим содержанием. Между тем неприязнь эта носит характер вполне земной и утилитарный. Бунин писал, что революции происходят не от ненависти народа к барам и к у, а от желанья пожить по-барски. Толпами, а не идеалистами, фанатическими сектантами и одиночками движет в революциях материальная бытовая зависть. Чем достаточней (и устойчивей в этом достатке) жизнь большинства, чем этот достаток для него привычней, тем меньше шансов у революции. Ленин видел это не менее отчетливо, чем Столыпин. Оба говорили, что лет через двадцать (после 1905 — 1907 годов) революция в России станет невозможной. Жизнь отпустила десять.

Тупик состоял в том, что сотрудничество с властью российская «интеллигентщина», да и интеллигенция, в 1860 — 1910-х годах считала позором, предательством интересов народа, дурным тоном.

Нижеследующие отрывки свидетельствуют о трудности исторических и общественно-политических прогнозов. Но может быть, все-таки о степени прозорливости пишущего тоже? Ведь были и другие прогнозы и пророчества и принадлежали они россиянам, не только предсказавшим, что может случиться, но и увидевшим, и з ч е г о это может произойти. Достаточно точно (это утопизму не противопоставлено) даны очертания современной автору социально-психологической ситуации в близкой ему среде:

«Юношу на пороге жизни встречало строгое общественное мнение и сразу указывало ему высокую, простую и ясную цель. Смысл жизни был заранее установлен общий для всех, без всяких индивидуальных различий. Можно ли было сомневаться в его верности, когда он был признан всеми передовыми умами и освящен бесчисленными жертвами? Самый героизм мучеников, положивших жизнь за эту веру, делал сомнение психологически невозможным. Против гипноза общей веры и подвижничества могли устоять только люди исключительно сильного духа» (стр. 92 — 93).

«Таким образом, юноше не приходилось на собственный риск определять идеальную цель жизни: он находил ее готовою. Это было первое большое удобство для толпы. Другое заключалось в снятии всякой нравственной ответственности с отдельного человека. Политическая вера, как и всякая другая, по существу своему требовала подвига; но со всякой верой повторяется одна и та же история: так как на подвиг способны немногие, то толпа, неспособная на подвиг, но желающая приобщиться к вере, изготовляет для себя некоторое платоническое исповедание, которое собственно ни к чему практически не обязывает, — и сами священнослужители и подвижники молча узаконяют этот обман, чтобы хоть формально удерживать мирян в церкви. Такими мирянами в нашем политическом радикализме была вся интеллигентская масса: стоило признать себя верным сыном церкви да изредка участвовать в ее символике, чтобы и совесть была усыплена, и общество удовлетворялось. А вера была такова, что поощряла самый необузданный фатализм, — настоящее магометанство. За всю грязь и неурядицу личной и общественной жизни вину несло самодержавие, — личность признавалась безответственной. Это была очень удобная вера, вполне отвечавшая одной из неискоренимых черт человеческой природы — умственной и нравственной лени» (стр. 93).

Все, казалось бы, соответствует реальности.

Но вот констатация начинает перешетаться с прогнозом. И сарказм истории зло оскаливает свои клыки сквозь завесу иллюзий, сквозь непоследовательность посылок и выводов («Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя для себя никаких последствий»):

«Кризис интеллигенции еще только начинается. Заранее можно сказать, что это будет не кризис коллективного духа, а кризис индивидуального сознания; не общество всем фронтом повернется в другую сторону, как это не раз бывало в нашем прошлом, а личность начнет с о б о ю определять направление общества. Перелом, происшедший в душе интеллигента, состоит в том, что тирания политики кончилась» (стр. 92).

«Теперь наступает другое время, чреватое многими трудностями. Настает время, когда юношу на пороге жизни уже не встретит готовый идеал, а каждому придется самому определять для себя смысл и направление своей жизни, когда каждый будет чувствовать себя ответственным за все, что он делает, и за все, чего он не делает. Еще будут рецидивы общего увлечения политикой, не замрет политический интерес и в каждой отдельной душе. Там, где по политическим причинам искажена вся жизнь, подавлены мысль и слово и миллионы гибнут в нищете и невежестве, — там оставаться равнодушным к делам политики было бы противостоественно и бесчеловечно. Жизнь не идет по одной прямой линии. Минутами, когда боль, стыд, негодование снова достигнут в обществе великой остроты или когда удачно сложатся внешние обстоятельства, опять и опять будут взрывы освободительной борьбы, старая вера вспыхнет и наполнит энтузиазмом сердца. Но каждый раз после вспышки общество будет разоружаться, — только старые поколения нынешней интеллигенции до смерти останутся верными единоспасающей политике. Над молодежью тирания гражданственности сломлена надолго, до тех пор, пока личность, углубившись в себя, не вынесет наружу новой формы общественного идеализма» (стр. 93 — 94).

Итак, «реакционные» «Вехи» и здесь сохраняют неприкосновенным ореол священной «освободительной борьбы». И здесь «миллионы гибнут в нищете и невежестве», причем путь спасения для них — все та же священная «освободительная борьба», а не суровая, но для большинства уже вполне реальная и доступная дорога к достатку и просвещению. Напомним, что речь идет о миллионах метафизических богоносцев, аb ovo знающих больше, чем спасающий их интеллигент. Но, как мы увидим ниже, этот большой духовно, ограниченный в своем традиционном идеологизме российский интеллигент все-таки нравственно выше и западного буржуа и западного интеллектуала. Ему в его неуничтожимом идеализме не угрожают не то что метаморфозы «образованщины» и совковости (они, естественно, Гершензону не снились, хотя Леонтьевым и Достоевским с горечью предрекались). Ему не грозят даже нормальной степени карьеризм и прагматизм, естественные (в глазах радикального эпигона славянофильства) для западного человека:

«Я глубоко верю, что духовная энергия русской интеллигенции на время уходит внутрь, в личность, но столь же твердо знаю и то, что только обновленная личность может преобразовать нашу общественную действительность и что она

это непременно сделает (это будет тоже часть ее личного дела), и сделает легко, без тех мучительных усилий и жертв, которые так мало помогли обществу в прошлом» (стр. 94 — 95).

«Тирания общественности искалечила личность, но вместе с тем провела ее чрез суровую школу. Огромное значение имеет тот факт, что целый ряд поколений прожил под властью закона, признававшего единственным достойным объектом жизни — служение общему благу, т. е. некоторой сверхличной ценности. Пусть на деле большинство не удовлетворяло этому идеалу святости, но уже в самом исповедании заключалась большая воспитательная сила. Люди, как и везде, добивались личного успеха, старались изо дня в день устроиться выгоднее и при этом фактически попирали всякий идеализм; но это делалось как бы загнув глаза, с тайным сознанием своей бессовестности, так что, как ни велик был у нас, особенно в верхних слоях интеллигенции, разгул делячества и карьеризма, — он никогда не был освящен в теории. В этом коренное отличие нашей интеллигенции от западной, где забота о личном благополучии является общепризнанной нормой, чем-то таким, что разумеется само собою. У нас она — цинизм, который терпят по необходимости, но которого никто не вздумает оправдывать принципиально.

Этот укоренившийся идеализм сознания, этот навык нуждаться в сверхличном оправдании индивидуальной жизни представляет собою величайшую ценность, какую оставляет нам в наследство религия общественности. И здесь, как во всем, нужна мера» (стр. 95).

И тут же соображения совершенно иного толка (я имею в виду замечание об «орудии Божьего замысла», столь похожем на «невидимую руку» Адама Смита). Но и после этой промыслительной, казалось бы, догадки — возвращение на круги своя:

«То фанатическое пренебрежение ко всякому эгоизму, как личному, так и государственному, которое было одним из главных догматов интеллигентской веры, причинило нам неисчислимый вред. Эгоизм, самоутверждение — великая сила; именно она делает западную буржуазию могучим бессознательным орудием Божьего дела на земле. Нет никакого сомнения, что начинающийся теперь процесс сосредоточения личности в самой себе устранил эту пагубную односторонность. Можно было бы даже опасаться обратного, именно того, что на первых порах он поведет к разнузданию эгоизма, к поглощению личности заботою о ее плотском благополучии, которое так долго было в презрении. Но применительно к русской интеллигенции этот страх неуместен. Слишком глубоко укоренилась в ней привычка видеть смысл личной жизни в идеальных благах, слишком много накопила она и положительных нравственных идей, чтобы ей грозила опасность погрязнуть в мещанском довольстве. Человек сознает, что цель была ошибочна и неверен путь, но устремление к идеальным целям останется. В себе самом он найдет иные сверхличные ценности, иную мораль, в которой мораль альтруизма и общественности растет, не исчезнув, — и не будет в нем раздвоения между «я» и «мы», но всякое объективное благо станет для него личной потребностью» (стр. 95 — 96).

О, если бы русской интеллигенции грозила в начале XX века одна только опасность — «погрязнуть в мещанском довольстве»! Но как было знать, что (на поныне неисповедимые сроки) «мещанское» (сколько беспочвенного высокомерия в этом расхожем интеллигентщицко-образованщицком определении!) благополучие станет волшебной сказкой для российского человека, не допущенного до особой кормушки?

* * *

В интересной и со знанием вопроса написанной статье А. Изгоева «Об интеллигентной молодежи» много моментов, о которых мы уже говорили. Разница в том, что если предыдущие статьи «Вех» рисуют портрет российской интеллигенции преимущественно в ее зрелом возрасте, то Изгоев занят в основном процессом семейного и школьно-университетского формирования этого социального слоя. И мы с удивлением обнаруживаем: многое из того, что представляется нам падением детских и юношеских нравов эпохи «постперестроечного» распада, было угрожающей и нарастающей тенденцией уже в 900-х годах. Боюсь, что сегодня эта тенденция лишь перестала быть монополией апатриархальных («передовых») социальных слоев и, кроме того, носит характер всемирный. Идет моральная маргинализация колоссальных массовых контингентов, причем не прикровенная, как в картине, нарисованной Изгоевым, а демонстративная.

Меня в статье Изгоева помимо проблем воспитания привлекли два не характерных для предыдущих статей момента. Вот первый:

«Если вспомнить, какое жалкое образование получают наши интеллигенты в средних и высших школах, станет понятным и антикультурное влияние отсутствия любви к своей профессии, и революционного верхоглядства, при помощи которого решались все вопросы. История доставила нам даже слишком громкое доказательство справедливости сказанного. Надо иметь, наконец, смелость сознаться, что в наших государственных думах огромное большинство депутатов, за исключением трех-четырёх десятков кадетов и октябристов, не обнаружили знаний, с которыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России» (стр. 123).

Заметим, что кадеты и октябристы получали образование в тех же университетах, зараженных «революционным верхоглядством», что и остальные, за сравнительно немногими исключениями, думцы. Просто три-четыре десятка либеральных центристов этим верхоглядством не прельстились и не заразились. Может быть, повлияла атмосфера семей. Большинство же депутатов, сидевших слева от кадетов и справа от октябристов, было крикливым, безапелляционным, амбициозным, но «знаний, с которыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России», не обнаруживало. Ни в 1909, ни в 1917 году. Однако приступили «к управлению и переустройству» всего и вся именно самые амбициозные и самые невежественные из сидевших слева от выше упомянутых «трех-четырёх десятков».

В связи с этим мне вспоминается, как последний свободно избранный ректор Московского университета М. Новиков в своих богатеиших и еще не оцененных воспоминаниях «От Москвы до Нью-Йорка» (США. Издательство имени Чехова. 1952) писал, что его (тоже, кстати, члена думского «Прогрессивного блока») годами поражала более высокая профессиональная компетентность и основательность мышления ряда царских министров, выступавших в Думе, по сравнению с даже наиболее образованными и относительно умеренными депутатами. (Таких, например, как зверски убитый в 1918 году пьяными красногвардейцами в больничной палате самоотверженный идеалист Шингарев.) Но тем не менее министров с их компетентными доводами большинство Думы не принимало. Чем обернулось это самонадеянное верхоглядство, когда на плечи «Прогрессивного блока» свалилось послефевральское двоевластие, мы, в отличие от тогдашнего Изгоева, знаем. М. Новиков тоже уже знал, и это знание весьма существенно обогатило его книгу.

Следующий пассаж Изгоева чем-то напоминает загадочную картинку с вопросом «где заяц?» или что-то в этом роде⁷. Набросав картинку, в общем, верную, Изгоев не только не увидел в ней главного действующего лица, опорной фигуры, но и посетовал на ее отсутствие. Однако сам его подход к проблеме уже достаточно одиозен для леволлиберального интеллигента. Дополнить такую «ересь» еще и надеждой на «вешателя» и «душителя» — это было бы принято просто как ренегатство даже коллегами по «Вехам».

Итак:

«Когда на другой день после 17 октября в России не оказалось достаточно сильных и влиятельных в населении лиц, чтобы крепкой рукой сдержат революцию и немедленно приступить к реформам, для проницательных людей стало ясно, что дело свободы временно проиграно и пройдет много лет упорной борьбы, пока начала этого манифеста воплотятся в жизни...» (стр. 123).

Вы еще помните, читатель, назойливую частушку, которая цитировалась в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)» и в некоторых других подобных курсах? Напоминаю:

Царь испугался, издал манифест:
«Мертвым — свобода, живых — под арест»

Сколько лет учили нас с вами и наших детей считать Манифест 17 октября 1905 года коварной уловкой Николая Кровавого! Признать в 1909 году, что следовало «крепкой рукой сдержат революцию и немедленно приступить к реформам», да еще возмечтать, чтобы «начала этого манифеста воплотились в жизни», — это было для российского интеллигента той поры поистине мужественным поступком

⁷ Например, «где охотник?» Кирилл Хенкин использовал эту аналогию в своей мемуарной книге «Охотник вверх ногами»

Но у Николая II не было крепкой руки, кроме той, которой он и царица вознамерились (по своей высочайшей воле) лишиться как раз перед тем, как ее, эту руку, услужливо отрубили. А Изгоев «слона-то и не приметил». Хотя направление спасительное ощутил и оценил:

«И, быть может, самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок, которые смогли организовать национальную революцию и победить почти без пролития крови. Эта победа должна нас заставить серьезно задуматься над теми сторонами жизни и характера русской интеллигенции, о которых до сих пор у нас почти вовсе не думали».

** Примеч. ко 2-му изданию.* С тех пор как были написаны предыдущие строки, младотурки после восьми месяцев бескровной революции перешли во вторую стадию своей политической жизни. На них, как на творческую силу, напали и справа и слева. Так было всегда, во всех странах. Турецкие ахтары сыграли роль наших эс-эров и эс-деков. И если младотурки одержали победу и на этот раз, то только потому, что в их лице выступила национально-государственная творческая сила Турции. Конечно, и младотурки могут погибнуть под ударами обманутой темной реакционной массы и сепаратистов. Но их гибель — гибель Турции, и история младотурок была и вечно будет ярким примером той нравственной мощи, которую придает революции одушевляющая ее национально-государственная идея...» (стр. 124).

Не будем входить в историю реформ турецких. О «национально-государственной идее» речь у нас еще впереди. Но в России главные и опаснейшие враги реформаторства (враги самого принципа реформаторства как альтернативы революции) располагались не столько в охранительско-фундаменталистских кругах, сколько в радикалистской атеистической сфере — «слева» от октябристско-кадетского центра. Впрочем, вся Дума — каждая фракция из своих побуждений — противостояла усилиям великого государственного реформатора. Столыпин был «одиннок, как последний глаз у идущего к слепым человека» (Маяковский — конечно же, не о Столыпине, а о себе). Столыпин провел чрезвычайные законы, согласно которым предавали смерти убийц и прямых возглавителей насилия. Одновременно (и в основном) он реформировал хозяйственно-правовые и административные отношения. Но Изгоев то ли его не увидел, то ли ему не поверил, то ли не осмелился его назвать. Общественное мнение, конечно, не ВЧК, но тогдашние волюнтеристы зверя страшнее общественного мнения еще не видели.

* * *

Одна из наиболее современных, жгуче актуальных статей «Вех» — это наименее цитируемая и прочнее всего забытая «В защиту права» Б. Кистяковского (подзаголовок статьи — «Интеллигенция и правосознание»). Чтобы понять, какой из пластов образованного слоя чаще всего подразумевает Б. Кистяковский под словом «интеллигенция», уместно привести определение П. Струве, сформулированное им в тех же «Вехах» (статья «Интеллигенция и революция»). П. Струве пишет:

«Носителем... противогосударственного «воровства» было как в XVII, так и в XVIII в. «казачество». «Казачество» в то время было не тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, а социальным слоем, всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на уровне организованного коллективного разбоя.

Пугачевщина была последней попыткой казачества поднять и повести против государства народные низы. С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены, как элемент, вносящий в народные массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются о д н о к и, пока место казачества не занимает другая сила. После того как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который — как ни мало похож он на казачество в социальном и бытовом отношении — в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент — интеллигенция.

Слово «интеллигенция» может употребляться, конечно, в различных смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда.

Нам приходится на память, в каком смысле говорил в тургеневской «Странной истории» помещик-откупщик: «У нас смирно; губернатор меланхолик, губернский предводитель — холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу и н-

те л л и г е н ц и ю вы увидите». Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупам, вместе с солидностью, развивало в людях некоторое глубокомыслие».

Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании.

Мы разумеем под этим наименованием даже не «образованный класс». В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере «образованный класс» составляла в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство.

Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве; в государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она вполне естественно является громадной.

Не об этом классе и не об его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его реально воплощении.

С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революцию 1905 — 07 гг.

Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х гг.» (стр. 158 — 160).

К статье П. Струве нам еще предстоит вернуться. Оценивая очерченный выше пласт образованного слоя с иных, чем П. Струве, позиций, Б. Кистяковский имеет все же в виду прежде всего именно этот социальный тип с его оппозиционной и негативной по отношению к государству настроенностью. Ниже мы в этом убедимся. Он и сам принадлежит к оппозиционным кругам. Об этом свидетельствует не только его фразеология, но и детальное знакомство с внутренними конфликтами РСДРП, с перипетиями ее раскола. Человек, совершенно посторонний движению или полностью от него оторвавшийся, вряд ли уловил бы так много, вплоть до особенностей не так давно проявивших себя большевиков и их лидера. Тем интересней для нас его отношение к праву, столь нехарактерное для близкой ему еще недавно среды. И тем личностно значительней его решительный поворот от воззрений и критериев этой среды к ценностям, ей враждебным и чуждым.

Читая статью Б. Кистяковского после истекших с момента ее издания восьми десяти пяти лет с их страшным опытом, осознавая всю хрупкость правовых опор современного мира, трудно сохранить веру в разумное слово. Так давно сказано — и не понято? Потом опоминаешься: сказано ведь намного раньше, многократно и не им первым. Сплошь и рядом оказывается, что слово безумное удачливей слова мудрого. Готовность воспринимать его больше. Его лучше слышат (себе на беду). Но одновременно невозможно не удивиться интуиции разума, ведущей вопреки невменяемости человечества к центральному вопросам жизни. Кистяковский и занят одним из таких вопросов.

Большинство авторов «Вех» увлечены категориями субъективной духовной жизни, стремясь идти к проблемам общественного сосуществования от духовного мира личности. Упрощенно их позицию можно сформулировать так: хорошие люди будут сосуществовать хорошо. Кистяковский исходит из необходимости объективировать и формализовать правовой компромисс, который позволит личности достойно сосуществовать с другими личностями и отнимет у нее возможность пренебрегать чужими правами. Он упорно отстаивает насущную необходимость юридически объективировать и формализовать такие бесконечно богатые содержанием категории, как справедливость и совесть. Это воспринимается (не только его современниками, но и нашими) как обеднение, снижение и ограничение более высоких понятий. Максimalисты справедливости всегда упрекают правоведов в низведении абсолюта Добра до оппортунизма наименьшего Зла.

Но предоставим слово автору статьи:

«Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, религиозная святость. Значение его более относительно, его содержание создается отчасти изменчивыми экономическими и социальными условиями. Относительное значение права дает повод некоторым теоретикам определять очень низко его ценность. Одни видят в праве только этический минимум, другие считают неотъемлемым элементом его

принуждение, т. е. насилие. Если это так, то нет основания упрекать нашу интеллигенцию в игнорировании права. Она стремилась к более высоким и безотнositельным идеалам и могла пренебречь на своем пути этою второстепенною ценностью.

Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей право как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма играет самую важную роль. Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем, право — по преимуществу социальная система и притом единственная социально дисциплинирующая система. Социальная дисциплина создается только правом; дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком — тождественные понятия» (стр. 125).

Сегодня Россия, с одной стороны, силится (в относительно небольшой части своих активных групп) создать отвечающий времени правовой алгоритм. В другой своей политически активной части она этому процессу яростно противодействует. Одни стремятся вернуть бесправие и дезинформацию недавних лет (тоталитарную коммунистическую диктатуру), потому что имели тогда власть и привилегии. Другие грезят фантомом не сумевшей себя сохранить дофевральской (1917) империи. Третьи бредят национал-социалистическим рейхом. Огромные политически, в общем-то, безучастные (как и во всем мире) массы оказываются чаще орудием демагогов, чем опорой мыслящих и ответственных политиков. Углубленные размышления о правовых категориях не бываюи и не могут быть достоянием массовых слоев населения в гигантских странах. Но подсознательное ощущение необходимости «четкого, ясного и воспроизводимого права» (Н. Винер), интерпретируемое личностью как жажда порядка, жажда стабильности, сильно во всех слоях населения. Может быть, охватившее массы людей чувство отчаяния, неуверенности в завтрашнем дне растет не столько из разгорающихся приграничных России войн и не столько из материальных трудностей, сколько из правовой хаотичности бытия. Никто не знает, что сулит ему тот или иной шаг и завтрашний день. Отсутствие четких правовых норм на одной шестой земной суши становится таким же тотальным злом, каким были вчера ложь и насилие. Более того: большинством правовой хаос ощущается острее, чем несвобода. Жизнь как таковая (и тем более жизнь высокоорганизованная и, следовательно, маловероятная) возможна только в условиях достаточно четкого ритма, цикличности и повторяемости бесчисленных взаимосвязанных процессов и обстоятельств.

По утверждению П. К. Анохина⁸, живая материя на самых ранних ступенях своего развития обрела способность производить структурную информацию внутри своих частей быстрее, чем производит такую информации среда, окружающая живые объекты. По сигналу о некоем внешнем событии *A* органический объект оказался способным до наступления события *B* разворачивать цепь реакций *a*, *b*, *v*... *n*, позволяющую ему сохранить свою устойчивость при последующих изменениях среды его обитания. Оставаясь он неизменным, эти внешние изменения его разрушили бы. Но он успевает к ним своевременно приспособиться.

Я не стану вдаваться в биохимический механизм «опережающего отражения» различных уровней. Нас интересует только его приспособительный смысл. По мнению П. К. Анохина, возможность «опережающего отражения» обусловлена прежде всего фундаментальными свойствами пространственно-временной структуры мира, породившего жизнь как один из своих феноменов. Эти свойства, вне которых жизнь в земном ее понимании немислима, — цикличность, повторяемость явлений природы во времени и пространстве.

«Никогда не повторяющиеся воздействия не могли оказать какого-либо решающего влияния на эволюцию высших форм приспособления живой материи и, следовательно, не могли стать фактором организации самой протоплазматической структуры живых организмов... — пишет Анохин. — Основой развития жизни и ее отношения к внешнему, неорганическому миру явились повторяющиеся его воздействия на организм».

⁸ Анохин П. К., «Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса» (в сб. «Философские проблемы высшей нервной деятельности и психологии». Изд. АН СССР. М. 1963, стр. 167, 171 — 172).

По Анохину, к полностью хаотическим обстоятельствам не может приспособиться живая структура, ибо полностью ритмичная, хаотическая среда не может селекционировать помехоустойчивых живых (то есть сложных и хрупких) обитателей.

Без всякой натяжки можно говорить в приведенной выше связи о... невозможности приспособления человеческого (общественного) сознания к неправовой социальной среде — к среде, страдающей правовой аритмией. В этом смысле категория права за время, истекшее после 1909 года, не только не утратила своего значения, а, напротив, приобрела дополнительную остроту. К несчастью, это не мешает человечеству ею пренебрегать. Подчеркнем, что угрожающий смысл бездумного или, напротив, возвышенного равнодушия к праву усугубляется радионуклидной начинкой современной цивилизации.

Всех граней этого планетарного недомыслия не мог в 1909 году предугадать никто. Но Кистяковским отмечен один из важнейших моментов пренебрежения правом⁹:

«Главное и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда, это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой» (стр. 126).

Поэтому революция (даже в тех исторически редчайших случаях, когда она является наименьшим злом, устраняющим истинную и не способную к смягчению тиранию), неизбежно топчущая наличное право, всегда сразу же посягает и на свободу личности, д е с а к р а л и з у е т эту свободу.

Однако, переходя к обычному для «прогрессистов» сюжету о том, насколько отстаёт правосознание российской интеллигенции, российского общества и народа от западноевропейского, Кистяковский впадает в обычную и неистребимую ошибку таких рассуждений. Снова и снова приходится к этому возвращаться. Он весьма пространно (для такой короткой работы) излагает историю правоведения и философских концепций права в Западной Европе и отмечает, что в России фактически нет значительных и глубоких работ по этой тематике, нет, по сути, и соответствующей области философских и научных исследований.

После небольшого обзора философско-правоведческой литературы Европы XVIII — XIX столетий Кистяковский делает печальный вывод:

«Ничего аналогичного в развитии нашей интеллигенции нельзя указать. У нас при всех университетах созданы юридические факультеты; некоторые из них существуют более ста лет; есть у нас и полдесятка специальных юридических высших учебных заведений. Все это составит на всю Россию около полутора десятка юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только книги, но даже правового этюда, который имел бы широкое о б щ е с т в е н н о е значение и повлиял бы на правосознание нашей интеллигенции» (стр. 128 — 129).

Но первые университеты в Западной Европе возникли в XII веке! И первые юридические факультеты — в том же столетии. В России же — «более ста лет» назад (относительно 1909 года), то есть в начале XIX века (в 1804 — 1805 годах). Как бы предвосхищая это возражение, Кистяковский пишет:

«Нам могут сказать, что русский народ вступил чересчур поздно на исторический путь, что нам незачем самостоятельно выработать идеи свободы и личности, правового порядка, конституционного государства, что все эти идеи давно высказаны, развиты в деталях, воплощены, и потому нам остается только их заимствовать» (стр. 129).

И тут же, как ему представляется, подобные возражения парирует:

«Если бы это было даже так, то и тогда мы должны были бы все-таки пережить эти идеи; недостаточно заимствовать их, надо в известный момент жизни быть всецело охваченными ими; как бы ни была сама по себе стара та или другая идея, она для переживающего ее впервые всегда нова; она совершает творческую работу в его сознании, ассимилируясь и претворяясь с другими элемен-

⁹ Мне уже случалось писать о том, с какой неотклонимой наглядностью воспроизвел его Солженицын в картине Февральской революции («Остановимо ли Красное Колесо?». — «Новый мир», 1993, № 2).

тами его; она возбуждает его волю к активности, к действию; между тем правосознание русской интеллигенции никогда не было охвачено всецело идеями личности и правового государства, и они не пережиты вполне нашей интеллигенцией. Но это и по существу не так. Нет единых и одних <и> тех же идей свободы личности, правового строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов и времен, как нет капитализма или другой хозяйственной или общественной организации, одинаковой во всех странах. Все правовые идеи в сознании каждого отдельного народа получают своеобразную окраску и свой собственный оттенок» (стр. 129 — 130).

Однако его оговорки не исчерпывают научной некорректности подобных сопоставлений.

Если уж сравнивать в чем бы то ни было разновозрастные и разнохарактерные культуры и этносы (с весьма несходными к тому же геополитическими судьбами), то следует сопоставлять их по, так сказать, местному историческому времени каждого из объектов сравнения. Соответствующие исторические хронотопы Руси-России и народов Западной Европы расположены в разном календарном времени. Их цивилизации развивались на почве разных культур-предшественниц, питались из разных источников, имели разных соседей. И даже тогда, когда хронологическая разница как будто бы сглаживается неизбежными для современного мира взаимодействиями, коренные различия исходных позиций и судеб дают себя знать и должны приниматься историком во внимание.

Античные культуры, которые позднее открывались потомками варваров-завоевателей наново, все-таки не лежали для последних изначально под слоем земли, пепла или песка. Они, варвары, вторгались в живые города, с живыми людьми, оседали в них, и это не могло уже тогда на них не воздействовать. И уже в XIII веке (для Руси — разгар татаро-монгольского нашествия) новосложившиеся народы юга Европы пили из могучих античных источников.

Эта преемственность не миновала и областей права. Зарождение основ римского права состоялось, насколько известно, в IV веке до Р/Х (медные таблицы законов). Во Франции Меровингов в V—VI веках в основе права лежала уже «Салическая правда». Но и на Руси в XI веке, при князе Ярославле Мудром (1019 — 1054), была принята «Русская правда». Опустим века, именуемые С. Булгаковым «злой татарщиной». Даже во времена тиранического правления Ивана Грозного на Руси был создан так называемый «Судебник», то есть своеобразный правовой кодекс. В середине XVII века было введено в действие «Уложение» царя Алексея Михайловича. Можно себе представить, что не случись татаро-монгольского нашествия, или развития русского права более или менее плавно (хотя и Европа не избежала срывов, взрывов и правовых рецессий), то правосознание огромного, молодого, многоплеменного этноса было бы к XX веку иным. Естественно и то, что Западная и Центральная Европа ушла к XVII столетию в правовом отношении далеко вперед. Правление Генриха VIII в Англии (первая половина XVI века) юридически немногим отличалось от несколько более позднего (вторая половина XVI века) правления Ивана IV на Руси. Может быть, в нем было меньше исполнительского произвола. Но личная жестокость и беспощадность монархов были сопоставимы. Иван IV отменил Юрьев день. Но при Генрихе VIII «овцы съели людей»...

Петр I предстает в некоторых репликах авторов «Вех» пионером внедрения передовых идей в сознание отсталой России. Осмелюсь все же предположить, что продолжись постепенно-разрешительная деятельность консервативных, «тихих» Романовых (Михаила, Алексея¹⁰, Софьи с полным либеральным намерением Голицыным), то правоустроительная эволюция России была бы более плавной и картина XX века тоже иной. Но у народов, как и у людей, есть судьба.

Кроме того, Кистяковский и сам подчеркивает, что говорит преимущественно о правосознании и н т е л л и г е н ц и и (в достаточно ограниченном смысле слова), то есть об оппозиционной по отношению к государству части «образованного слоя», живущего в основном идеями более развитых стран. Но существует еще и стихийное, традиционное, оформленное обычаями правосознание народа (в России начала XX века — в основном крестьянства). Кистяковский пишет об этом правосознании:

«Правосознание всякого народа всегда отражается в его способности создавать организации и вырабатывать для них известные формы. Организации и их формы невозможны без правовых норм, регулирующих их, и потому возникновение

¹⁰ Взаимоотношения Церкви и государства оставляю вне обсуждения (никонианская реформа состоялась при Алексее).

организаций необходимо сопровождается разработкой этих норм. Русский народ в целом не лишен организаторских талантов; ему, несомненно, присуще тяготение даже к особенно интенсивным видам организации; об этом достаточно свидетельствует его стремление к общинному быту, его земельная община, его артели и т. под. Жизнь и строение этих организаций определяются внутренним сознанием о праве и не-праве, живущим в народной душе. Этот по преимуществу внутренний характер правосознания русского народа был причиной ошибочного взгляда на отношение нашего народа к праву. Он дал повод сперва славянофилам, а затем народникам предполагать, что русскому народу чужды «юридические начала», что, руководясь только своим внутренним сознанием, он действует исключительно по этическим побуждениям. Конечно, нормы права и нормы нравственности в сознании русского народа недостаточно дифференцированы и живут в слитном состоянии. Этим, вероятно, объясняются и дефекты русского народного обычного права; оно лишено единства, а еще больше ему чужд основной признак всякого обычного права — единообразное применение» (стр. 142 — 143).

Не «всякого», а более позднего, более отдаленного от общины и рода «обычного права», воспринимаемого как более развитое. Не следует забывать, что помимо — в сравнении с Европой — молодости в России общинная психология и общинное правосознание народа консервировались еще и искусственно затынутым верховной властью и поместным барством крепостным правом.

За культивирование и сохранение общинных правовых традиций воюют, с одной стороны, крайние ретрограды и обскуранты, с другой — идеалисты-славянофилы, с третьей — социалисты, каковым ощущает себя и Кистяковский:

«Но именно тут интеллигенция и должна была бы прийти на помощь народу и способствовать как окончательному дифференцированию норм обычного права, так и более устойчивому их применению, а также их дальнейшему систематическому развитию. Только тогда народническая интеллигенция смогла бы осуществить поставленную ею себе задачу способствовать укреплению и развитию общинных начал; вместе с тем сделалось бы возможным пересоздание их в более высокие формы общественного быта, приближающиеся к социалистическому строю. Ложная исходная точка зрения, предположение, что сознание нашего народа ориентировано исключительно этически, помешало осуществлению этой задачи и привело интеллигентские надежды к крушению. На одной этике нельзя построить конкретных общественных форм. Такое стремление противостоит естественно; оно ведет к уничтожению и дискредитированию этики и к окончательному притуплению правового сознания» (стр. 143 — 144).

О социализме и праве, в частности — о социализме Кистяковского, несколько ниже. Здесь же отметим снятие автором мнимого противоречия между внутренними, этическими, потребностями человека и формальным, внешним, характером права:

«Всякая общественная организация нуждается в п р а в о в ы х нормах, т. е. в правилах, регулирующих не внутреннее поведение людей, что составляет задачу этики, а их поведение внешнее. Определяя внешнее поведение, правовые нормы, однако, сами не являются чем-то внешним, так как они живут прежде всего в нашем сознании и являются такими же внутренними элементами нашего духа, как и этические нормы. Только будучи выраженными в статьях законов или примененными в жизни, они приобретают и внешнее существование» (стр. 144).

Не став для нормального, неуголовного большинства общества категорией этической, внутренней, право не может быть обеспечено никакой полицией. Не став категорией юридической, законодательной, этический принцип не способен стать универсальным правилом поведения (о психических патологиях и нравственных аномалиях мы в данном случае не говорим: для них имеются особые правовые нормы).

Итак, Кистяковский говорит об игнорировании народного правосознания радикалами-западниками и, таким образом, оказывается среди тех, кто ориентируется на общинный инстинкт народа¹¹. Столыпин же достаточно рано и, главное, без

¹¹ Поздний Маркс в письмах Вере Засулич высказал (вполне народническое, а не «марксистское») предположение, что русская крестьянская община может стать ячейкой социализма в деревне. В тех же письмах прозвучало (позднее оформленное Лениным как теоретический тезис) еще одно «немарксистское» предположение Маркса: что крестьянская Россия может стать первой в Европе страной, в которой победит социалистическая революция. Как видим, Маркс был менее последователен, чем «марксисты» (Ленин — тоже). Политическая целесообразность (цель — революция любой ценой) для того и другого неизменно оказывается выше всех убеждений и принципов.

предвзятости устремился к постижению сути происходящего. Он пристально со времен своего губернаторства изучает положение, психологию и правосознание крестьянства как самого массового сословия России. Одновременно он анализирует (весьма объективно) миропонимание и психологию оппозиционной интеллигенции как наиболее активной части общества. Результаты этого изучения содержатся, в частности, в его годовых губернаторских отчетах, послылавшихся из Саратова на высочайшее имя. Я помню, как потрясла меня в 60-е годы полная достоинства и одновременно безупречно корректная независимость этих отчетов, их пронизательность и конструктивность. Мне тогда удалось прочесть их дореволюционные публикации. В противоположность и «левым» и «правым» Столыпин отчетливо видел многосоставность крестьянского правосознания и стремился ориентировать царя на поддержку и развитие хозяйственных, ответственных, собственных, а не общинных (роевых и родовых) его элементов. Уже тогда Столыпин стремился убедить верховную власть, что государственное законодательство не должно ущемлять и подвергать правовой дискриминации общину, но вместе с тем обязано, и безотлагательно, поддержать, усилить в экономико-правовом и гражданском отношении класс крестьян-собственников. Он постоянно подчеркивал перед царем необходимость посредством такого законодательства опередить деструктивное и провокативное воздействие на народ со стороны безответственных радикалов¹². Но Кистяковский не видит в лице Столыпина необходимого России прозорливого и осторожного законодателя, как и другие авторы «Вех». И не только они.

Мне не кажется достаточно пронизательным и следующее наблюдение Кистяковского:

«Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом застарелого зла — отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа» (стр. 130).

Относительно правосознания народа мы уже говорили и цитировали прямо противоположное высказывание того же автора. Напомню:

«Русский народ в целом не лишен организаторских талантов; ему, несомненно, присуще тяготение даже к особенно интенсивным видам организации; об этом достаточно свидетельствует его стремление к общинному быту, его земельная община, его артели и т. под. Жизнь и строение этих организаций определяются внутренним сознанием о праве и не-праве, живущим в народной душе» (стр. 143).

Российское же государственное правотворчество знало различные периоды и разные меры западничества, охранительства, консерватизма, реформаторства и даже революционности. Это особая тема. Но в доказательство небезнадежности этого государственного правотворчества, по меньшей мере в XIX веке, как не привести мнение самого Кистяковского о судебной реформе Александра II:

«Отметим, что организация наших судов, созданная Судебными Уставами Александра II 20-го ноября 1864 г., по принципам, положенным в ее основание, вполне соответствует тем требованиям, которые предъявляются к суду в правовом государстве. Суд с такой организацией вполне пригоден для наказания истинного правопорядка. Деятели судебной реформы были воодушевлены стремлением путем новых судов подготовить Россию к правовому строю. Первые реорганизованные суды по своему личному составу вызывали самые радужные надежды. Сперва и наше общество отнеслось с живым интересом и любовью к нашим новым судам. Но теперь, спустя более сорока лет, мы должны с грустью признать, что все это была иллюзия и у нас нет хорошего суда» (стр. 150).

¹² В «Августе Четырнадцатого» А. Солженицына показана одна роковая для ситуации начала российского XX века особенность характера Николая II. Он был умен, доступен доводам оппонента и в диалоге выглядел толерантным. Но более твердый чужой характер, более последовательный разум рядом, ощущение в подчиненном некоей неустрашимой внутренней независимости вскоре начинали его (а еще более императрицу) тяготить (ее — раздражать). И потому происходила почти автоматическая селекция: прочно в окружении царской четы удерживались только конформизм и посредственность. Исключением оказалась мистическая вера царицы в неординарного и еще весьма плохо известного историкам Распутина (не случайно его Солженицын непосредственно вводит в картину не стал). Но «старец» был целителем обожаемого родителями наследника, и здесь отношения складывались нестандартно. Столыпин же (в силу своей негибкой внутренней верности самому себе) при всей преданности царю и России оказался заведомо не ко двору.

И это — «отсутствие какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни», которым Кистяковский если и не извиняет, то объясняет «притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям»?

Казалось бы, наоборот: несовершенство отечественного права должно стимулировать в передовом слое обостренный интерес к правотворчеству. Но нет: радикалы не размениваются на мелочи. Менять так менять. Стоит ли утруждаться исправлением обреченного на слом? И потому они даже не пробуют поработать в судах, которые поначалу обещали так много, но потом «испортились». Кистяковский считает, что из-за тяжелой инерции привычных неправовых отношений. Я же позволю себе заметить, что не в последнюю очередь из-за неучастия образованных, активных и бескорыстных людей в их работе. Появление же «особых форм следствия и суда» по делам политическим было в решающей степени спровоцировано самими радикалами. Государство с 1860-х годов лишь отбывало роль от нарастания насилия и террора. В том числе и «особыми формами следствия и суда».

Во взглядах радикалов самых различных направлений имеется очень важный общий момент. Их правосознание ориентировано на некий еще не существующий социум. По их представлению, это социум программный, будущий, а у некоторых — вчерашний, но тоже скорее литературно сконструированный, чем исторически реальный. Их занимают правовые отношения лишь внутри того пространства-времени, в котором они окончательно осуществляют свои программы. Сегодня они предпочитали бы видеть вокруг себя правовую *tabula rasa*, пустыню, расчищенную площадку, чтобы с нуля построить на ней то, что нужно (по их, естественно, разумению). И это отнюдь не только марксисты и тем более не только большевики. Так, Кистяковский рисует безотрадную картину российского бесправия 1840 — 1850-х годов и заключает:

«Дав такую безотрадную характеристику нашей правовой неорганизованности, сам Герцен, однако, как настоящий русский интеллигент, прибавляет: „Это тяжело и печально сейчас, но для будущего это — огромное преимущество. Ибо это показывает, что в России позади видимого государства не стоит его идеал, государство невидимое, апофеоз существующего порядка вещей”» (стр. 130).

Задолго до правового нигилизма большевиков российский радикал был глубочайше равнодушен к правовой ситуации текущего момента и особенно склонен пренебрегать правами конкретной личности, даже собственной. Права народа (класса), а еще более завтрашний идеал общественного устройства как целого — вот что занимает радикала.

Здесь я бы хотела подчеркнуть еще одну (не выделенную Кистяковским) особенность правотворчества россиян XIX — начала XX века. Она отчетливо проступает при чтении эпистолярного, мемуарного и публицистического наследия иных, чем оппозиционная интеллигенция, слоев образованной части общества. Законодательством и правотворчеством заняты в среде лиц, причастных к высшей государственной службе (просвещенное, служащее в ее ведомствах дворянство и высокообразованная разночинная бюрократия). Можно присоединить к ним часть депутатов дум, в том числе городских, и ряд земцев. М. Новиков в уже упомянутых мною мемуарах «От Москвы до Нью-Йорка» свидетельствует, что тип гоголевского и щедринского чиновника стал ископаемым в российских столицах и провинциальных центрах к началу XX века. А М. Новиков работал с чиновниками много — и как депутат Московской и Государственной дум, и как деятель народного просвещения. И эта категория правоведов (крупные чиновники-правопреобразователи) в различных областях правоприменения нередко боролись за каждое малое, но реальное улучшение. Среди них много громких имен, но еще больше неизвестных (для поколений советской поры). О судьбах большинства этих деятелей и их семей после революции 1917 года легче не вспоминать, так же как и о судьбе их дел и начинаний. Простор для их деятельности то сужался, то расширялся, но не исчезал бесповоротно вплоть до «великого (и окончательного) перелома» осени 1917 года. В целом (на государственной службе, в думах, земствах, на университетских кафедрах и т. п.) их было не так уж мало и становилось все больше.

Оппозиция же пренебрегала такой малостью, как отвоеванный у бесправия миллиметр прав сегодня живущего человека. Ею владела мания «окончательного решения». Принцип «чем хуже, тем лучше» формулировался то явно, то в подтексте, пока не вылился в «до основания, а затем...».

Б. Кистяковский пишет о системе политико-правовых воззрений оппозиционной интеллигенции 1870-х годов:

«Вот как оправдывал Михайловский эту систему: «Скептически настроенные по отношению к принципу свободы, мы готовы были не домогаться никаких прав для себя, не привилегий только, об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных параграфов того, что в старину называлось естественным правом. Мы были совершенно согласны довольствоваться в юридическом смысле акридами и диким медом и лично претерпевать всякие невзгоды. Конечно, это отращение было, так сказать, платоническое, потому что нам, кроме акрид и дикого меда, никто ничего и не предлагал, но я говорю о настроении, а оно именно таково было и доходило до пределов, даже мало вероятных, о чем в свое время скажет история „Пусть секут, мужика секут же“» — вот как примерно можно выразить это настроение в его крайнем проявлении. И все это ради одной возможности, в которую мы всю душу клали; именно возможности непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства. Мы верили, что Россия может проложить себе новый исторический путь, особый от европейского, причем опять-таки для нас важно не то было, чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, а хорошим мы признавали путь сознательной, практической пригонки национальной физиономии к интересам народа» (стр. 134).

Куда важнее было бы подчеркнуть, что путь должен быть «хорошим» с точки зрения говорящего и «интересы народа» определялись в каждой программе ее автором, а не народом (!). Так, словом «социализм» оперируют и Михайловский, и эсеры, и эсдеки, и большевики, и сам Кистяковский (не без пикетета), и каждый раз это иной социализм, у каждого свой.

Однако (и это вторая особенность максималистского право(бес)сознания оппозиционной интеллигенции) по дороге к своим «зияющим высотам»¹³ каждое из оппозиционных направлений заведомо, декларативно, наверняка готово было «в борьбе за это» пренебречь всеми уже существующими правами: личности, сообщества, класса, нации, того же обожествляемого народа. Особенно если такое пренебрежение приблизит его, этого направления, ближайшую политическую цель. Б. Кистяковский пишет:

«При общем убожестве правового сознания русской интеллигенции и такие вожди ее, как Кавелин и Михайловский, не могли пытаться дать правовое выражение — первый для своего демократизма, а второй для социализма. Они отказывались даже отстаивать хотя бы минимум правового порядка, и Кавелин высказывался против конституции, а Михайловский скептически относился к политической свободе» (стр. 137).

«Так, Г. В. Плеханов, который более кого бы то ни было способствовал разоблачению народнических иллюзий русской интеллигенции и за свою двадцатипятилетнюю разработку социал-демократических принципов справедливо признается наиболее видным теоретиком партии, выступил на съезде с проповедью относительности всех демократических принципов, равносильной отрицанию твердого и устойчивого правового порядка и самого конституционного государства. По его мнению, «каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что *salus populi suprema lex*. В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежавших к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила *salus revolutiae suprema lex*. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ избрал очень хороший парламент — своего рода *chambre introuvable*, — то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачны-

¹³ Этот образ — единственное, пожалуй, что останется в истории общественной мысли от творчества А. Зиновьева.

ми, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели»*.

Провозглашенная в этой речи идея господства силы и захватной власти вместо господства принципов права прямо чудовищна.

* См. «Полный текст протоколов Второго очередного съезда Р. С.-Д. Р. П.». Женева. 1903, стр. 169 — 170» (стр. 139 — 140).

Б. Кистяковского не может не потрясать позиция (умеренного) марксиста Плеханова, ибо первый в отличие от второго не знает Маркса, хотя и апеллирует к нему в защите права. То, что у Кистяковского (1909) нет четкого представления о социализме, неудивительно: имеются сотни пар его взаимоисключающих определений. В отличие от Герберга Спенсера (1891) или Бориса Бруцкуса (1920) он мог и не уловить во всех социализмах главного и общего. Но Маркса-то можно было бы прочитать, прежде чем противопоставлять его русским марксистам? Кистяковский же пишет:

«Только новая волна западничества, хлынувшая в начале девяностых годов вместе с марксизмом, начала немного прояснять правовое сознание русской интеллигенции. Постепенно русская интеллигенция стала усваивать азбучные для европейцев истины, которые в свое время действовали на нашу интеллигенцию как величайшие откровения. Наша интеллигенция наконец поняла, что всякая социальная борьба есть борьба политическая, свобода есть необходимая предпосылка социалистического строя, что конституционное государство, несмотря на господство в нем буржуазии, предоставляет рабочему классу больше простора для борьбы за свои интересы, что рабочий класс нуждается прежде всего в неприкосновенности личности и в свободе слова, стачек, собраний и союзов, что борьба за политическую свободу есть первая и насущнейшая задача всякой социалистической партии и т. д. и т. д. Можно было ожидать, что наша интеллигенция наконец признает и безотносительную ценность личности и потребует осуществления ее прав и неприкосновенности. Но дефекты правосознания нашей интеллигенции не так легко устранимы. Несмотря на школу марксизма, пройденную ею, отношение ее к праву осталось прежним. Об этом можно судить хотя бы по идеям, господствующим в нашей социал-демократической партии, к которой еще недавно примыкало большинство нашей интеллигенции» (стр. 138).

Здесь что ни слово — то вопиющее, хотя и благонамеренное, искажение самого существа проблем.

В правотворческом и раскрепостительном смысле России нужна была не «новая волна западничества» (под нею подразумевается марксистский социализм). России необходимо было *продолжение реформ*, вытекающее из ее специфики, с учетом мирового опыта. Россия нуждалась в последовательном, энергичном развитии правовой и хозяйственной эмансипации, развернутой Александром II. Ей и придал новый импульс и новое содержание Столыпин. Эта эмансипация, создавая полноценных субъектов права, позволила бы без потрясений расширить границы последнего на все сферы жизни, включая и права национальных и вероисповедных меньшинств. Такая тенденция была и крепла.

Марксизм же — учение, альтернативное правовой и хозяйственной эмансипирующей эволюции. Маркс и его последователи, включая Ленина, действительно не раз отмечали,

«что конституционное государство, несмотря на господство в нем буржуазии, предоставляет рабочему классу больше простора для борьбы за свои интересы, что рабочий класс нуждается прежде всего в неприкосновенности личности и в свободе слова, стачек, собраний и союзов, что борьба за политическую свободу есть первая и насущнейшая задача всякой социалистической партии и т. д. и т. д.» (стр. 138).

Но при этом они не стеснялись открыто говорить, что все свободы «буржуазной» демократии нужны «пролетариату» лишь для того, чтобы с большей легкостью ее, демократию, уничтожить и установить «свою» диктатуру. Кавычки при словах «пролетариату» и «своею» — знаки того, что на самом деле речь идет о марксистской коммунистической (социалистической) партии, а не о рабочем классе.

И уж к «безотносительной ценности личности» «школа марксизма» даже в своей доктринальной литературе имела лишь то отношение, что яростно отвергала и отрицала безотносительную ценность и морали и права.

Глубоко возмущившие Кистьяковского слова Ленина как нельзя лучше (и весьма сдержанно) передают суть взглядов его учителей (последние выражались и более откровенно). Вот что говорит Б. Кистьяковский о достопамятном II съезде РСДРП, на котором произошел первый формальный раскол на (фракции, позднее на партии) большевиков и меньшевиков:

«Наши партийные организации возникли еще в дореволюционную эпоху. К ним примыкали люди искренние в своих идеальных стремлениях, свободные от всяких предрассудков и жертвовавшие очень многим. Казалось бы, эти люди могли воплотить в своих свободных организациях хоть часть тех идеалов, к которым они стремились. Но вместо этого мы видим только рабское подражание уродливым порядкам, характеризующим государственную жизнь России.

Возьмем хотя бы ту же социал-демократическую партию. На втором очередном съезде ее, как было уже упомянуто, был выработан устав партии. Значение устава для частного союза соответствует значению конституции для государства. Тот или другой устав как бы определяет республиканский или монархический строй партии, он придает аристократический или демократический характер ее центральным учреждениям и устанавливает права отдельных членов по отношению ко всей партии. Можно было бы думать, что устав партии, состоящей из убежденных республиканцев, обеспечивает ее членам хоть минимальные гарантии свободы личности и правового строя. Но, по-видимому, свободное самоопределение личности и республиканский строй для представителей нашей интеллигенции есть мелочь, которая не заслуживает внимания; по крайней мере она не заслуживает внимания тогда, когда требуется не провозглашение этих принципов в программах, а осуществление в повседневной жизни. В принятом на съезде уставе социал-демократической партии менее всего осуществлялись какие бы то ни было свободные учреждения. Вот как охарактеризовал этот устав Мартов, лидер группы членов съезда, оставшихся в меньшинстве: «вместе с большинством старой редакции (газеты «Искра») я думал, что съезд положит конец «осадному положению» внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено^{*}. Но эта характеристика несколько не смущала руководителя большинства Ленина, настоявшего на принятии устава с осадным положением. «Меня несколько не пугают, — сказал он, — страшные слова об «осадном положении», об «исключительных законах» против отдельных лиц и групп и т. п. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать «осадное положение», и весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как «осадное положение» для столь многочисленных источников политической расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные законы, и сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис для таких законов и таких мер^{**}. Но если партия, состоящая из интеллигентных республиканцев, не может обходиться у нас без осадного положения и исключительных законов, то становится понятным, почему Россия до сих пор еще управляется при помощи чрезвычайной охраны и военного положения.

* «Полн. текст протоколов-Второго очередн. съезда Р. С.-Д. Р. П.». Женева, 1903, стр. 331.

** Там же, стр. 333 и сл. (стр. 145 — 146).

Прошу прощения за столь объемистую цитату, но очень уж она характерна для леволиберального правоведа. Нелицемерно, по искренней приверженности к общему прогрессистскому предрассудку он усматривает источник правового нигилизма радикалов, в данном случае большевиков, не в их собственном миропонимании, не в устоях и корнях и х политической и экономической программ, а (в который раз?) в пороках российской государственности. Приходится повторять снова и снова: чрезвычайные меры против революционеров, предпринятые государством в 1860 — 1900-е годы, были именно реакцией, прежде всего реакцией. На что, на какие акции — об этом мы тоже уже говорили.

Но при всех вышесказанных ограничениях понимание Кистьяковским государства как орудия — прежде всего — компромисса и примирения, а не как «орудия классового господства и угнетения» (Маркс и марксисты) трудно переоценить. Это понимание сближает его в одном из важнейших вопросов скорее с просвещенными государственниками, чем с радикальной оппозицией всех толков. Последняя же исповедует принцип «кто не с нами, тот против нас». И те, кого она полагает ренегатами «из своих», вызывают у нее много большее негодование, чем истинные «классовые враги». Это ее свойство обернется большой кровью, когда большевики придут к власти. Но психологически оно проявилось задолго до настоящей революции.

Кистяковский пишет:

«Само современное государство основано на компромиссе, и конституция каждого отдельного государства есть компромисс, примиряющий различные стремления наиболее влиятельных социальных групп в данном государстве. Поэтому современное государство с социально-экономической точки зрения только чаще всего бывает по преимуществу буржуазным, но оно может быть и по преимуществу дворянским; так, напри- м., Англия до избирательной реформы 1832 года была конституционным государством, в котором господствовало дворянство, а Пруссия, несмотря на шестидесятилетнее существование конституции, до сих пор больше является дворянским, чем буржуазным государством. Но конституционное государство может быть и по преимуществу рабочим и крестьянским, как это мы видим на примере Новой Зеландии и Норвегии. Наконец, оно может быть лишено определенной классовой окраски в тех случаях, когда между классами устанавливается равновесие и ни один из существующих классов не получает безусловного перевеса. Но если современное конституционное государство оказывается часто основанным на компромиссе даже по своей социальной организации, то тем более оно является таковым по своей политической и правовой организации. Это и позволяет социалистам, несмотря на принципиальное отрицание конституционного государства как буржуазного, сравнительно легко с ним ужиться и, участвуя в парламентской деятельности, пользоваться им как средством. Поэтому и Кавелин, и Михайловский были правы, когда предполагали, что конституционное государство в России будет или дворянским, или буржуазным; но они были не правы, когда выводили отсюда необходимость непримиримой вражды к нему и не допускали его даже как компромисс; на компромисс с конституционным государством идут социалисты всего мира» (стр. 136).

«Если же мы сосредоточим свое внимание на правовой организации конституционного государства, то для уяснения его природы мы должны обратиться к понятию права в его чистом виде, т. е. с его подлинным содержанием, не заимствованным из экономических и социальных отношений. Тогда достаточно указывать на то, что право разграничивает интересы или создает компромисс между ними, а надо прямо настаивать на том, что право только там, где есть свобода личности. В этом смысле правовой порядок есть система отношений, при которых все лица данного общества обладают наибольшей свободой деятельности и самоопределения. Но в этом смысле правовой строй нельзя противопоставлять социалистическому строю. Напротив, более углубленное понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом связаны и социалистический строй с юридической точки зрения есть только более последовательно проведенный правовой строй. С другой стороны, осуществление социалистического строя возможно только тогда, когда все его учреждения получают вполне точную правовую формулировку» (стр. 136 — 137).

О, конечно же, демократическое государство — государство правового компромисса и терпимого совмещения разнонаправленных интересов. Оно может мириться в своих границах и с социалистами, и с фашистами, и с нацистами (национал-социалистами), и с коммунистами (интернационал-социалистами), равно и с другими партиями и движениями, порой весьма экзотическими и потенциально опасными. Может — пока у демократического государства есть в руках **р е а л ь н а я в л а с т ь** (то есть и законодательство, и силовая возможность обеспечить его выполнение) держать все эти партии, течения и движения в границах юридического и фактического компромисса. Но компромисс возможен лишь до тех пор, пока одна из таких партий не обретет демократическим путем или не захватит силой исключительных полномочий. Вот о н а - т о ужиться с собой государству многопартийного компромисса уж никак не п о з в о л и т. Поэтому демократические свободы так же не могут быть абсолютизированы в реальной политике, как нравственные максимы — в земной жизни. Демократическое право должно предусматривать оперативные и дееспособные механизмы своей самозащиты. Нельзя давать ни малейшей лазейки (и тем более форы) игроку, играющему без всяких правил. Иначе получают российские Февраль и Октябрь, 1932 — 1933 годы веймарской Германии, нынешняя ЮАР и многие другие варианты гибели демократии или преддемократии. Сегодня перед старой, но прочно забытой ловушкой абсолютизации демократических принципов стоят новые реформаторы России, еще и не отстроившей своей демократии. Если в них не с р а б о т а е т вопреки предрасудкам демократического максимализма (снова — максимализма!) и н с т и н к т с а м о с о х р а н е н и я, т о в п е р е д л у ч ш е не заглядывать.

* * *

В статье П. Струве «Интеллигенция и революция» бьет через край стремление автора сбросить с себя опостылевший да и тесный уже «интеллигентский мундир». Но и здесь горячность и страстность этой жажды отмежевания выдают неопфита. Автору статьи присуще (так же, как и М. Гершензону) стремление к абсолютизации своих наблюдений, к построению универсальных формул и к отысканию категорических определений. Время помогло современному читателю проверить надежность некоторых из них. Да и сам П. Струве пережил в своем развитии немалые изменения.

Вчерашний убежденный марксист, а значит — «интернационалист» и материалист, Струве 1907 — 1909 годов — приверженец национально-государственной идеи и ревнитель веры. Резко отвернувшийся от социализма и позднее давший четкое и лаконичное обоснование его принципиальной системно-экономической несостоятельности, здесь Струве судит социализм только со стороны нравственно-религиозной и национально-государственной, но еще не с системной.

Парадоксы П. Струве, порой блестящие, интересны для чтения. Но они скорее могут послужить импульсами к размышлениям на затронутые автором важнейшие темы, чем заставить нас разделить позицию автора. Для этого, на мой читательский взгляд, им недостает обоснованности, а порой глубины. Так, вызывает сомнение центральный исторический парадокс статьи: установление тождественности социальных ролей казачества времен его антигосударственного «воровства» и радикальной интеллигенции 1860 — 1900-х годов. Этот ярко изложенный тезис эпатирует и привлекает внимание. В его защиту можно найти некоторые (поверхностные, впрочем) доводы: антигосударственный дух, инициация бунтарских движений, небрежение бытом и правом, самой жизнью, своей и чужой, присущи в какой-то мере обоим слоям. Но все-таки это сходство внешнее, каковым может быть близость формы мяча и ежа. Или чуть более органическое — в некоторых немногих отношениях в исторически ограниченные периоды.

Немало в статье и противоречий. Так, автор, государственный и категорический оппонент революционной смуты, бранит государственную самозащиту от революции («воцарилась реакция», «отвратительное торжество реакции») в лучших фразеологических традициях «интеллигентщины» и ее мундира (у него — недавно еще — с немалого чина эполетами и аксельбантами по оппозиционерской табели о рангах). Самое огорчительное в этой статье — незавершенность, какая-то словно бы даже оборванность концовки, несмотря на то, что мы имеем дело со вторым изданием. Финал скамкан именно там, где вместо литературно-философского высказывания хотелось бы получить хотя бы намек на ответ. Причем не на классический российский вопрос «что делать?» (что — нам вроде бы сказано), нет, — на более конкретный и менее характерный для большинства образованных россиян вопрос «как это сделать?». У Струве на месте финального «что и как делать?» возникает не слишком внятная скороговорка:

«Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических директив, ни успокоительным режимом безыдейной культурной работы. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей» (стр. 174).

На том и все.

Каких идей? Что означает «творческая борьба идей» (а не бесплодная устная и печатная говорильня)? Можно ли столь беспечно пренебрегать «ромашкой тактических директив», если речь идет не только о размышлениях, но и о воспитании в людях определенного личного и общественного поведения? Ведь в с я — особенно явно с 1903 года — деятельность самого опасного крыла радикалов является разработкой и осуществлением разрушительно-провокационной тактики. «Что делать?» Ленина — это не вопрос, а пропагандистская и военно-тактическая диспозиция.

Российские экс-радикалы, ставшие оппонентами своей исходной среды, ведут себя так, словно у них в запасе по меньшей мере столетия. Чего? Того сравнительного затишья, «застоя» (эпизоды без всенародно-державных катаклизмов не в счет), который длился примерно сто тридцать лет — от казни Пугачева и до революции 1905 года? Тем временем радикалы, не вы бывшие из своих когорт, без усталости роют тактические шурфы и закладывают в них организационно-пропагандистскую взрывчатку. Те, кто кажется себе прозревшим, почуют на пуховиках философической апатичности. А в шурфах уже горят фитили.

Итак, развязки у Струве нет. Да и какая развязка может быть у эссе, у потока мыслей?

Но мне бы хотелось остановиться на двух его идеях.

Я не берусь обсуждать по существу затронутые Струве религиозные вопросы. На мой взгляд, это проблематика не публицистическая, а либо интимно-личная, либо богословская и философская. Я же не богослов и не философ. Но все же один достаточно общий и внешний вопрос я позволю себе затронуть. В статье П. Струве сказано, в частности, следующее:

«В ту борьбу с исторической русской государственностью и с «буржуазным» социальным строем, которая после 17-го октября была поведена с еще большею страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17-го октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений и ни грана — религиозной идеи.

Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения — словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно, по существу, всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить угды такого радикализма, его жесткость и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устройства жизни есть нечто второстепенное. Поэтому как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, надчеловеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности.

Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отмечает проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устройством жизни» (стр. 167 — 168).

Насколько я знаю, религиозные войны, религиозные суды и самосуды, а также разнообразные последствия присвоения себе Церковью права земной власти отличались и отличаются в разных странах, вероисповеданиях, конфессиях, сектах и временах величайшей жестокостью. Упомянутые П. Струве «огромный фанатизм ненависти, убийственная прямолинейность выводов и построений... легковерие без веры... и нетерпимость без благоговения», ничем не смягчаемые «жесткость и жестокость», безразличие к человеку, к личности и все прочие перечисленные им пороки свойственны религиозному максимализму в такой же мере, в какой и безрелигиозному. Религиозный экстремизм бывает проникнут еще и чудовищным лицемерием. Он греховнее безрелигиозного, ибо порочные иерархи и клиры ведают, что творят. Беда здесь, вероятно, в жестокости, максимализме и фанатизме как таковых, а не в эпитетах к ним. Завет веры, подобно другим идеям, учениям и устремлениям, реализуется через человека, в человеке и человеком. А люди, в том числе и священнослужители, слабы, несовершенны и различны. Один и тот же догмат интерпретируется ими по-разному. Уже по одной этой причине религиозность автоматической гарантией от впадения в грехи, которые Струве приписывает лишь атеистам, служить не может. Она не снимает с человека задачи осмысления и выбора, хотя и дает для ее решения устойчивую систему координат. Насколько я в состоянии судить, промысл по отношению к человеку не фатален. И поэтому в каждом конкретном случае человек стоит перед размышлением и выбором. Вера в жизнь вечную — могучая опора, но ведь и она для каждого человека зависит от всех его выборов в жизни земной. П. Струве касается этих сверхсложных вопросов не просто поверхностно, а как-то наскоро, телеграфно.

Вторая идея Струве, которую хотелось бы затронуть в связи с ее растущей и все более грозной актуальностью, это идея национально-государственная. Всей меры расплывчатости и многозначности этой броской формулы нам, конечно, не охватить. Но имеет смысл хотя бы к ней прикоснуться. Струве пишет:

«Революция конца XVI и начала XVII вв. в высшей степени поучительна при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что в этой революции как таковой, как народном движении, непосредственно, минуя реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: «смута» была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598 — 1613 гг. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.

Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начал» (стр. 156 — 157).

«В облике интеллигенции как идейно-политической силы в русском историческом развитии можно различать постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий — содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему...

Но мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического» (стр. 160).

«В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции» (стр. 164).

«В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу» (стр. 161).

Может быть, и неуместно тут заниматься разработкой многими авторами антитезой: разъединяющая нацию социальная революция против объединяющей нацию освободительной войны. Но к этому вынуждают печальные и опасные обстоятельства, о которых апологеты национально-государственной идеи склонны не думать. Во-первых, национально-освободительная война из сознания патриотов часто опасно вытесняется войной за «расширение жизненного пространства нации». Во-вторых, Россия не моноэтническая держава. Да и любое расширяющее свои границы государство перестает быть (если когда-либо и было) моноэтнической державой. А конгломераты наций, этносов, субэтносов и т. п. эскалация национально(?)-государственной идеи разъединяет, а не сплачивает. Каждый народ, до того сравнительно мирно притиравшийся к общему бытию, спросит, с какой стати ему загораться, допустим, русской, а не, например, якутской национальной идеей. Православными, а не, к примеру, буддистскими, или исламскими, или... духовными истоками. Если вы так уж настойчиво фетишизируете государство, то почему русское, или молдавское, или... а не мое, например, гагаузское, или Мари Эл, или...?

Уже в эмиграции я прочитала подготовленный в России в 1918, но опубликованный за границей только в 1967 году сборник «Из глубины». У него другой состав авторов, но среди них осталась и часть веховцев. Весь этот сборник сегодня кажется выросшим из зачатков национально-государственного идеализма и романтизма П. Струве. Сам он в большой новой статье развивает там свои религиозно-патриотические идеи. Победа большевиков представляется ему прямым следствием оппозиции большинства российских интеллигентов национально-государственной идее.

Между тем во время гражданской войны наблюдалось иное. Белым силам, которыми владела идея единой и неделимой российской державы, нечего было противопоставить лживому и лицемерному, но крайне соблазнительному большевистскому лозунгу «права наций на самоопределение вплоть до отделения». В нужное место и в нужный час (например, когда Польша могла помочь наступлению Деникина, но не помогла) он срабатывал так же прицельно, как «немедленный мир без аннексий и контрибуций», «земля — крестьянам», «грабь награбленное» и т. д. и т. п.

Русские государственники могли не пугаться так уж панически лозунга самоопределения наций и даже сделать его, вплоть до отделения, реальным (а не лживым, как у большевиков). В огромной империи русские и считавшие себя русскими составляли больше половины населения, а в самой собственно России (будущей РСФСР и РФ) — около 90 процентов. И такой диаспоры русских внутри империи, как сегодня, тогда не было. И хозяйство было свободным, конкурентным, международным и частным, а потому распад экономических связей никому не грозил. Не отрезали бы себя от свободной конституционно-монархической или республиканской России ни хозяйственно, ни культурно издавна с ней связанные сопредельные народы. А у иноэтнических островов внутри русского океана и мысли об отпадении (куда?) не было. Но государственники-«неделимцы» оставили большевикам их крапленый козырь. Коммунисты заменили административно-территориальное, за немногими исключениями, деление империи мнимоетническим. При этом они так переменяли в одной республике, области, крае национальные анклав, что любая попытка любого из них «самоопределился» не могла (и не может!) не задеть живейших чужих интересов. Они так разместили добывающую, обрабатывающую и перерабатывающую промышленность, машиностроение, энергетику, так районировали сельскохозяйственные культуры, что ни один участок гигантской централизованной государственной махины не мог (и не может!) одеть, обуть, обогреть и накормить себя сам. Они три четверти века перемешивали народы, оставляя за территориями национальные названия, а в паспорте каждого гражданина проставляя национальную принадлежность, что сегодня нет более опасной взрывчатки, чем «самоопределение вплоть до отделения». И вместе с тем — нет по сей день более заманчивого миража. В общем, куда ни кинь — всюду клин.

Но мы говорим о прошлом. И вот тогда, в этом прошлом, в еще единой, мирной (за исключением нескольких жаждавших независимости окраинных скорее стран, чем земель), многонациональной и разноречивой стране трудно было подвести под хрупкое равновесие сил более мощную мину замедленного действия, чем ажиотаж вокруг национальной государственной идеи одной из ее наций. Пусть даже самой большой (или самой маленькой).

Чем же могло быть предусмотрено лучшее будущее? Государственной идеей. Идеей единого мощного правового государства. Без панического ужаса перед сепаратизмом нескольких народов, рвавшихся к независимости, иноверных и монолитных. Большая Россия и без них осталась бы великой державой, и, повторим, от многообразнейших связей с ней никто в ее сфере влияния не ушел бы. Тогда при очень большой и умелой работе, хотя бы отдаленно сравнимой по мастерству с пропагандой большевиков, великодержавную идею, может быть, и можно было бы укоренить. Но без оттенка правовых преимуществ какой бы то ни было нации и, повторяю, без панического страха перед сепаратизмом.

Когда все — разные, когда много народов и вер, много слоев и сословий, то легкого пути для достижения и поддержания компромисса нет. Но при «пещерном неприятии компромисса» (А. Солженицын) жизнь просто гибнет.

* * *

Блестящая и глубокая статья С. Франка «Этика нигилизма (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции)» достойно венчает «Вехи».

Несколько слов о ее терминологии. Часто употребляемое С. Франком словосочетание «нигилистический морализм», как свидетельствует о том его контекст, синонимично скорее понятию «внеморализм». В наши дни понятие «морализм» принято связывать с опорой на нравственные постулаты, лежащие выше нас, а не с нигилизмом, возводящим в абсолют лишь отрицание. Но можно принять и противоречивое, казалось бы, словосочетание С. Франка, ибо «нигилистический морализм» (в контексте его статьи) — это навязчивое идеологическое морализаторство и моральная внеположность одно временно.

Подобно некоторым своим коллегам по сборнику, С. Франк не раз говорит о «неудаче революции» как о факте прискорбном и предопределенном недостатками пытавшейся осуществить эту революцию интеллигенции.

Непонятно: какой «удачи» веховцы хотели бы от революции? Провидение позволит им увидеть две «удачи»: Февраль и Октябрь. Из всего строя и смысла «Вех», в том числе и из статьи С. Франка, следует, что удачей было именно поражение первой, похожей на пробу сил, революции, которую Россия к тому времени пережила. Страна вышла из нее, получив Манифест 17 октября, со Столыпиным во

главе кабинета министров. Но инерция интеллигентского отношения к революции на какой-то миг (в статье С. Франка есть один-два таких момента) преодолевает глубокую ревизию традиционного культа революционерства в остальном тексте.

В статье (и такой взгляд тоже становится традиционным) российская интеллигенция предстает перед читателем одновременно и двигателем революции, и ее горючим. Но в такой ли уж степени монопольна роль интеллигенции в революции? Чтение «Красного Колеса» А. Солженицына и многих документальных, в том числе и мемуарных, источников свидетельствует о завязанности к 1905 году в тугой узел сложных тенденций и взаимодействий если не всех, то большинства общественных и народных слоев и сил России — от царских палат до курной избы. В лице авторов «Вех» не придает ли себе интеллигенция, в том числе и отошедшая от основного потока, несколько больший вес, чем она имела в действительности?

Впрочем, С. Франк шире толкует самоназвание «интеллигенция», чем Б. Кистяковский и П. Струве. Правда, порой возникает впечатление, что и он, подобно этим своим коллегам, едва-едва вышел из замкнутого духовного пространства интеллигентского ордена. Об этом свидетельствуют, к примеру, высказывания такого рода:

«Конечно, бесспорно, что партия, защищавшая «старый порядок» против освободительного движения, сделала все от нее зависящее, чтобы затормозить это движение и отнять от него его плоды. Ее можно обвинять в эгоизме, государственной близорукости, в пренебрежении к интересам народа, но возлагать на нее ответственность за неудачу борьбы, которая велась прямо против нее и все время была направлена на ее уничтожение, — значит рассуждать или просто недобросовестно, или ребячески-безмысленно; это приблизительно равносильно обвинению японцев в печальном исходе русско-японской войны...

Напротив, к настоящему положению вещей безусловно и всецело применимо утверждение, что «всякий народ имеет то правительство, которого он заслуживает». Если в дореволюционную эпоху фактическая сила старого порядка еще не давала права признавать его внутреннюю историческую неизбежность, то теперь, когда борьба, на некоторое время захватившая все общество и сделавшая его голос политически решающим, закончилась неудачей защитников новых идей, общество не вправе снимать с себя ответственность за уклад жизни, выросший из этого брожения. Бессилие общества, обнаружившееся в этой политической схватке, есть не случайность и не простое несчастье; с исторической и моральной точки зрения это есть его г р е х» (стр. 176).

Не имея корпоративных шор на глазах, в 1909 году уже можно было бы и увидеть, что Россия получила после революции правительство, возглавленное зорким, талантливым и готовым на сотрудничество с конструктивными силами р е ф о р м а т о р о м. Но С. Франк этого не замечает. Он горестно недоумевает:

«Как могло случиться, что столь, казалось, устойчивые и крепкие нравственные основы интеллигенции так быстро и радикально расшатались? Как объяснить, что чистая и честная русская интеллигенция, воспитанная на проповеди лучших людей, способна была хоть на мгновение опуститься до грабежей и животной разнузданности? Отчего политические преступления так незаметно слились с уголовными и отчего «санинство» и вульгаризованная «проблема пола» как-то идейно сплелись с революционностью? Ограничиться моральным осуждением таких явлений было бы не только малопродуктивно, но и привело бы к затемнению их наиболее характерной черты; ибо поразительность их в том и состоит, что это — не простые нарушения нравственности, возможные всегда и повсюду, а бесчинства, претендующие на идейное значение и проповедуемые как новые идеалы. И вопрос состоит в том, отчего такая проповедь могла иметь успех и каким образом в интеллигентском обществе не нашлось достаточно сильных и устойчивых моральных традиций, которые могли бы энергично воспрепятствовать ей» (стр. 177).

А чему удивляться? Часто ли бывало иначе? Надо ненадолго погрузиться в историю (хоть бы и в западную, революции коей еще представляются С. Франку одухотворенными органичной для нации высокой идеей) — и недоумение начнет убывать.

Да, людям приходится убивать себе подобных. И в войнах, и в самозащите, и в революциях, которые кажутся им необходимыми, неизбежными и очень-очень редко бывают на деле таковыми. Но самодозволение, приказание, согласие убивать — всегда опаснейший и чреватый катастрофой для личности шаг. Убийство не может не увечить убийцу.

Имеется еще одна опасность: приступая к развернутым и активным действиям, революционеры неизбежно вовлекают в свою орбиту маргиналов, маньяков и профессиональных преступников. Они не столько убивают сами, сколько посылают на «дело» уже разложившихся людей. Одну старуху-процентщицу и попутно еще Лизавету-другую разрешатель убийства может убить и собственноручно. Но массовые действия такого рода одиночке или группке инициаторов не под силу. Кого же вовлечешь в подобные акции если не самые низменные и патологические элементы общества? Революционеры всегда подстрекают люмпенскую и психопатологическую стихию, дают этому горячему руслу, а потом... В 1905 году над этим «потом» лишь приподнялся на миг краешек завесы. Почувствовав, очевидно, всю необъятность завязанных на революции взаимодействий, С. Франк ограничивает проблематику своей статьи:

«Нижеследующие строки посвящены лишь одной части этой обширной и сложной задачи — именно попытке критически уяснить и оценить н р а в с т в е н н о е мировоззрение интеллигенции» (стр. 177).

В начале именно этого раздела статьи сосредоточено то разночтение терминов, о котором сказано выше.

«Морализм», «моральный», «нравственный» и прочие производные от тех же корней интеллигент-радикал, по наблюдениям С. Франка, обязательно отождествляет с целесообразностью, с «пользой» («народной», «общественной», «классовой») — то есть со своей идеологической установкой.

«Нравственно все, что идет на пользу нашей великой цели» — эта ленинская индугленция, внеположная морали как таковой, возникла в среде радикальной «интеллигентщины» задолго до большевизма. Она есть лишь доведенный до своего логического предела, извратившийся в своем развитии культ «пользы». Ч ь е й пользы? Моего идеологического ф а в о р и т а («народа», класса, сословия, нации, расы, державы, клана, единоверцев — не важно). Кем установлена полезность (или ненужность, или опасность, или вредность)? Моей идеологией, мной (но только не самим опекаемым, хотя бы за его обобщенностью и абстрактностью). С. Франк пишет:

«Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям. Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет. Начиная с восторженного поклонения естествознанию в 60-х годах и кончая самоновейшими научными увлечениями вроде эмпириокритицизма, наша интеллигенция искала в мыслителях и их системах не истины научной, а пользы для жизни, оправдания или освящения какой-либо общественно-моральной тенденции...

Еще слабее, пожалуй, еще более робко, заглушенно и неуверенно звучит в душе русского интеллигента голос совести эстетической. В этом отношении Писарев, с его мальчишеским развенчанием величайшего национального художника, и вся писаревщина, это буйное восстание против эстетики, были не просто единичным эпизодом нашего духовного развития, а скорее лишь выпуклым стеклом, которое собрало в одну яркую точку лучи варварского иконоборства, неизменно горящие в интеллигентском сознании» (стр. 179).

«Что касается ценностей религиозных, то в последнее время принято утверждать, что русская интеллигенция глубоко религиозна и лишь по недоразумению сама того не замечает; однако этот взгляд целиком покоится на неправильном словоупотреблении. Спорить о словах — бесполезно и скучно. Если под религиозностью разуметь ф а н а т и з м, страстную преданность излюбленной идее, граничащую с *idée fixe* и доводящую человека, с одной стороны, до самопожертвования и величайших подвигов и, с другой стороны, — до уродливого искажения всей жизненной перспективы и нетерпимого истребления всего несогласного с данной идеей, — то, конечно, русская интеллигенция религиозна в высочайшей степени... При всем разнообразии религиозных воззрений, религия всегда означает веру в реальность абсолютно-ценного, признание начала, в котором слиты воедино реальная сила бытия и идеальная правда духа. Религиозное умонастроение сводится именно к сознанию космического, сверхчеловеческого значения высших ценностей, и всякое мировоззрение, для которого идеал имеет лишь относительный человеческий смысл, будет нерелигиозным и антирелигиозным, какова бы ни была психологическая сила сопровождающих его и развиваемых им аффектов» (стр. 180).

Здесь подчеркнуто главное и всечеловечески важное явление: идеологическая относительность, чистая инструментальность того, что С. Франк называет русским интеллигентским морализмом. Это явление, конечно же, не исключительно русское или российское. Но в российской истории XIX — XX веков его усиливает до угрожающей степени заимствованный характер радикалистских моделей «пользы». Локальная беспочвенность радикалистских идеологий, запаздывание сильной альтернативы в лице свободного и зажиточного «третьего сословия» и безграничный релятивизм атеистической «морали пользы» резонируют и взаимно усиливают друг друга. Мираж «пользы», у каждой идеологии свой, оборачивается смертельной опасностью для жизни в самых ее основах.

Но вернемся к размышлениям С. Франка. Я вспомнила страстную, доходящую до одержимости ненависть Маркса и Ленина к религии, когда читала:

«Кто любит истину или красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу и осуждают за забвение насущных нужд ради призрачных интересов и забав роскоши; но кто любит Бога, того считают прямым врагом народа. И тут — не простое недоразумение, не одно лишь безмыслие и близорукость, в силу которых укрепился исторически и теоретически несостоятельный догмат о вечной, имманентной «реакционности» всякой религии. Напротив, тут обнаруживается внутренне неизбежное, метафизическое отталкивание двух мирозозерцаний и мироощущений — исконная и непримиримая борьба между религиозным настроением, пытающимся сблизить человеческую жизнь с сверхчеловеческим и абсолютным началом, найти для нее вечную и универсальную опору, — и настроением н и г и л и с т и ч е с к и м, стремящимся увековечить и абсолютизировать одно лишь «человеческое, слишком человеческое». Пусть догмат о неизбежной связи между религией и реакцией есть лишь наивное заблуждение, основанное на предвзятости мысли и историческом невежестве. Однако в суждении, что любовь к «небу» заставляет человека совершенно иначе относиться к «земле» и земным делам, содержится бесспорная и глубоко важная правда. Религиозность несовместима с признанием абсолютного значения за земными, человеческими интересами, с нигилистическим и утилитаристическим поклонением внешним жизненным благам. И здесь мы подошли к самому глубокому и центральному мотиву интеллигентского жизнепонимания.

М о р а л и з м русский интеллигенции есть лишь выражение и отражение ее н и г и л и з м а» (стр. 180 — 181).

И все-таки в качестве подлежащего последнего предложения уместнее кажутся термины «аморализм» или «внеморализм», чем «морализм».

Что же есть, по С. Франку, нигилизм? Читаешь написанное ниже и видишь, как сплошным селево-лавовым потоком разливается ныне по планете это м и р о н е п о н и м а н и е. С. Франк воссоздал этот феномен экспрессивно и точно:

«Под нигилизмом я разумею отрицание или непризнание абсолютных (объективных) ценностей» (стр. 182).

«Символ веры русского интеллигента есть б л а г о н а р о д а, удовлетворение нужд «большинства». Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того — то от лукавого. Именно потому он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей — он даже прямо боится и ненавидит их. Нельзя служить одновременно двум богам, и если Бог, как это уже открыто поведал Максим Горький, «суть народушко», то все остальные боги — лжебоги, идолы или дьяволы. Деятельность, руководимая любовью к науке или искусству, жизнь, озаряемая религиозным светом в собственном смысле, т. е. общением с Богом, — все это отвлекает от служения народу, ослабляет или уничтожает моралистический энтузиазм и означает, с точки зрения интеллигентской веры, опасную погоню за призраками. Поэтому все это отвергается, частью как глупость или «суеверие», частью как безнравственное направление воли. Это, конечно, не означает, что русской интеллигенции ф а к т и ч е с к и чужды научные, эстетические, религиозные интересы и переживания» (стр. 183 — 184).

«Но интеллигент, к а к и н т е л л и г е н т, т. е. в своей сознательной вере и общественной деятельности, должен быть чужд их — его мировоззрение, его идеал враждебны этим сторонам человеческой жизни» (стр. 184).

«Все это — и чистая наука, и искусство, и религия — несовместимо с м о р а л и з м о м, с служением народу; все это опирается на любовь к объективным ценностям и, следовательно, чуждо, а тем самым и враждебно той утилитарной вере, которую исповедует русский интеллигент» (стр. 184 — 185).

«Нигилистический морализм есть основная и глубочайшая черта духовной физиономии русского интеллигента: из отрицания объективных ценностей вытекает обожествление субъективных интересов ближнего («народ»), отсюда следует признание, что высшая и единственная задача человека есть служение народу, а отсюда в свою очередь следует аскетическая ненависть ко всему, что препятствует или даже только не содействует осуществлению этой задачи. Жизнь не имеет никакого объективного, внутреннего смысла; единственное благо в ней есть материальная обеспеченность, удовлетворение субъективных потребностей; поэтому человек обязан посвятить все свои силы улучшению участи большинства, и все, что отвлекает его от этого, есть зло и должно быть беспощадно истреблено — такова странная, логически плохо обоснованная, но психологически крепко спаянная цепь суждений, руководящая всем поведением и всеми оценками русского интеллигента. Нигилизм и морализм, безверие и фанатическая суровость нравственных требований, беспринципность в метафизическом смысле — ибо нигилизм и есть отрицание принципиальных оценок, объективного различия между добром и злом — и жесточайшая добросовестность в соблюдении эмпирических принципов, т. е., по существу, условных и непринципиальных требований, — это своеобразное, рационально непостижимое и вместе с тем жизненно крепкое слияние антагонистических мотивов в могучую психическую силу и есть то умонастроение, которое мы называем нигилистическим морализмом» (стр. 185).

Можно было бы поражаться тому, как быстро этот твердокаменный сплав превратился в кисель и кашу советской «образованщины». Но вот случилось мне недавно перечитать свои юношеские тетради (1939 — 1944), сохранившиеся в архиве КГБ Казахстана, и я увидела воочию, как это произошло. Есть там множество моих выписок из любимых поэтов. Разумеется, XX века: нас преследовали мысли о современности и мы еще не умели искать их в более ранних пластах словесности. Вокруг происходило нечто ужасное. И наши любимые писатели это видели, поскольку видели мы, шестнадцати-двадцатилетние. У них я искала ответа на страшные вопросы: как мы (мой ровесники и я) должны относиться к происходящему? чем практически следует на него откликаться? Прошел уже голодомор 30-х (а они, властители наших дум и чувств, пережили взрослыми людьми и 1918 — 1922 годы). Прошел «большой террор». Шла страшная своей избыточной кровью война. Уже не только старшее (их) поколение, но и наше (их детей) пошло в лагерь. Но ответа я у них не нашла — только вопрос. Прямо все его сформулировали Ильф и Петров: «А может быть, в этом и есть великая сермяжная правда?» Они иронизировали, но вопрос-то был отнюдь не ироническим, а стержневым.

И мы боялись шевельнуть языком и пером (но — шевелили), чтобы не помешать, не повредить «в е л и к о й с е р м я ж н о й п р а в д е». Нет, не только от страха за себя и близких, но и от многопоколенного интеллигентского исповедания «великой цели». От фетишизации политической «пользы» «интеллигентщина» повредилась в «образованщину». Пусть не вся, но немалая ее часть. Эта поврежденность, ущербность личности, недоверие к собственным оценкам и самооценкам, замена приоритета истины и личной совести (совесть ведь и сознательно и бессознательно опирается на Заповеди) приоритетом партийного диктата всего сильнее проявились у «образованцев»-партийцев. Но не у них одних. Не случайно же возник (повторю) термин «попутчики».

С. Франк великолепно эту угрозу и перспективу распознал, объединив все разновидности радикалистской идеологии в понятие «народничество», трактуемом им нетривиально:

«Понятие «народничества» соединяет все основные признаки описанного духовного склада — н и г и л и с т и ч е с к и й у т и л и т а р и з м, который отрицает все абсолютные ценности и единственную нравственную цель усматривает в служении субъективным, материальным интересам «большинства» (или народа), м о р а л ь з м, требующий от личности строгого самопожертвования, безусловного подчинения собственных интересов (хотя бы высших и чистейших) делу общественного служения, и, наконец, п р о т и в о к у л ь т у р н у ю т е н д е н ц и ю — стремление превратить всех людей в «рабочих», сократить и свести к минимуму высшие потребности во имя всеобщего равенства и солидарности в осуществлении моральных требований. Народничество в этом смысле есть не определенное социально-политическое направление, а широкое духовное течение, соединимое с довольно разнообразными социально-политическими теориями и программами. Казалось бы, с народничеством борется марксизм; и действительно, с появлением марксизма впервые прозвучали чуждые интеллигентскому сознанию мотивы уважения к культуре, к повышению производительности (материальной, а с ней и духовной), впервые было отмечено, что моральная проблема не универсальна, а в известном смысле даже подчинена проблеме

культуры и что аскетическое самоотречение от высших форм жизни есть всегда зло, а не благо. Но эти мотивы недолго доминировали в интеллигентской мысли; победоносный и всепожирающий народнический дух поглотил и ассимилировал марксистскую теорию, и в настоящее время различие между народниками сознательными и народниками, исповедующими марксизм, сводится в лучшем случае к различию в политической программе и социологической теории и совершенно не имеет значения принципиального культурно-философского разногласия. По своему этическому существу русский интеллигент приблизительно с 70-х годов и до наших дней остается упорным и закоренелым н а р о д н и к о м: его Бог есть народ, его единственная цель есть счастье большинства, его мораль состоит в служении этой цели, соединенном с аскетическим самоограничением и ненавистью или пренебрежением к самоценным духовным запросам. Эту народническую душу русский интеллигент сохранил в неприкосновенности в течение ряда десятилетий, несмотря на все разнообразие политических и социальных теорий, которые он исповедовал; до последних дней народничество было всеобъемлющей и непоколебимой программой жизни интеллигента, которую он свято оберегал от искушений и нарушений, в исполнении которой он видел единственный разумный смысл своей жизни и по чистоте которой он судил других людей» (стр. 188 — 189).

Я уже писала о том, что марксизм веховцы, даже из бывших марксистов, знали плохо. Читали они «основоположников» скорее всего выборочно, полагаясь более на труды отечественных марксистов, чем на оригиналы. Даже те, кто подобно П. Струве в свое время сам писал марксистские сочинения, увлекаясь в основном экономической стороной учения, утопизма именно этой ипостаси учения так и не рассмотрели. Не только в пору своего марксистского «экономизма», но и в «Вехах». П. Струве корень этого утопизма увидит, но позднее. Почему же они из марксистской «церкви» ушли? Их оттолкнул нравственный облик партийных функционеров, радикалистский политический инструментарий, диктаторство лидеров, предвещавшее диктатуру как строй. Они отвергли яростный атеизм марксизма. Но даже С. Франк в своей статье говорит об утопичности целеполагания доктрины как целого, опуская моменты очень важные. Простое, своевременное и широкое объяснение практико-экономического утопизма марксистской модели будущего могло бы с 1905 по 1917 год многое еще изменить. «Вехи», однако, его не дали.

С. Франк, повторим, очень близко подходит к основаниям этого утопизма, когда пишет:

«Нигилистический морализм или утилитаризм русской интеллигенции есть не только этическое учение или моральное настроение, он состоит не в одном лишь установлении нравственной обязанности служения народному благу, психологически он сливается также с мечтой или верой, что цель нравственных усилий — счастье народа — может быть осуществлена, и притом в абсолютной и вечной форме» (стр. 190 — 191).

«Здесь именно и обнаруживается, что интеллигенция, отвергая всякую религию и метафизику, фактически всецело находится во власти некоторой социальной метафизики, которая притом еще более противоречит ее философскому нигилизму, чем исповедуемое ею моральное мировоззрение. Если мир есть хаос и определяется только слепыми материальными силами, то как возможно надеяться, что историческое развитие неизбежно приведет к царству разума и устройению земного рая? Как мыслимо это «государство в государстве», эта укоряющая сила разума среди стихии слепоты и бессмыслия, этот безмятежный рай человеческого благополучия среди всемогущего хаотического столкновения космических сил, которым нет дела до человека, его стремлений, его бедствий и радостей? Но жажда общечеловеческого счастья, потребность в метафизическом обосновании морального идеала так велика, что эта трудность просто не замечается, и атеистический материализм спокойно сочетается с крепчайшей верой в мировую гармонию будущего; в так называемом „научном социализме“, исповедуемом огромным большинством русской интеллигенции, этот метафизический оптимизм мнит себя даже „научно доказанным“» (стр. 191).

Вне внимания автора остается (как и у остальных веховцев той поры) производственно-управленческая (так сказать, и н ф о р м а т и ч е с к а я) несостоятельность социализма. Зато сугубо распределительную основу его логики С. Франк анатомировал беспощадно:

«Современный социальный оптимизм, подобно Руссо, убежден, что все бедствия и несовершенства человеческой жизни проистекают из ошибок или злобы

отдельных людей или классов. Природные условия для человеческого счастья, в сущности, всегда налицо; нужно устранить только несправедливость насильников или непонятную глубину насилюемого большинства, чтобы основать царство земного рая. Таким образом, социальный оптимизм опирается на механико-рационалистическую теорию счастья. Проблема человеческого счастья есть с этой точки зрения проблема внешнего устройства общества, а так как счастье обеспечивается материальными благами, то это есть проблема распределения. Стоит отнять эти блага у несправедливо владеющего ими меньшинства и навсегда лишить его возможности овладеть ими, чтобы обеспечить человеческое благополучие» (стр. 191 — 192).

«Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения» (стр. 198).

«Превознесение распределения за счет производства вообще не ограничивается областью материальных благ; оно лишь ярче всего сказывается и имеет наиболее существенное значение в этой области, так как вообще утилитаристическая этика видит в материальном обеспечении основную проблему человеческого устройства. Но важно отметить, что та же тенденция господствует над всем миропониманием русской интеллигенции. Производство благ во всех областях жизни ценится ниже, чем их распределение; интеллигенция почти так же мало, как о производстве материальном, заботится о производстве духовном, о накоплении идеальных ценностей; развитие науки, литературы, искусства и вообще культуры ей гораздо менее дорого, чем распределение уже готовых, созданных духовных благ среди массы. Т. наз. «культурная деятельность» сводится именно к распределению культурных благ, а не к их созиданию, а почетное имя культурного деятеля заслуживает у нас не тот, кто творит культуру — ученый, художник, изобретатель, философ, — а тот, кто раздает массе по кусочкам плоды чужого творчества, кто учит, популяризирует, пропагандирует.

В оценке этого направления приходится повторить, в иных словах, то, что мы говорили только что об отношении между борьбой и производительным трудом. Распределение, бесспорно, есть необходимая функция социальной жизни, и справедливое распределение благ и тягот жизни есть законный и обязательный моральный принцип. Но абсолютизация распределения и забвение из-за него производства или творчества есть философское заблуждение и моральный грех. Для того чтобы было что распределять, надо прежде всего иметь что-нибудь, а чтобы иметь — надо созидать, производить. Без правильного обмена веществ организм не может существовать, но ведь, в конце концов, он существует не самим обменом, а потребляемыми питательными веществами, которые должны откуда-нибудь притекать к нему. То же применимо к социальному организму в его материальных и духовных нуждах. Дух социалистического народничества, во имя распределения пренебрегающий производством, — доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, — в конце концов подтачивает силы народа и увековечивает его материальную и духовную нищету» (стр. 198 — 199).

Насколько могущественна эта распределительная утопия, мы убеждались постоянно. Ради нее в 1918 — 1939 годах (при некотором послаблении 1921 — 1927 годов) была растоптана отлаженная самозаводящаяся машина конкурентных рынков с их формами собственности. Осмелюсь на основании близкого знакомства со многими судьбами свидетельствовать: иные крушители «старого» делали свое дело, жестоко подавляя себя самих и ломая в себе людей. Ряд судеб завершился трагически еще до начала «большого террора»: кончали с собой, спивались, рушились от инфарктов. Но «делу» не изменяли: ими двигала вера в фантом («...потом будет все правильно»). Они были среди поколения моих родителей — мне случалось говорить с ними откровенно и «на воле» и в лагере.

Итак, производство (а прежде того, разумеется, распределение) большевики попытались организовать «правильно», «справедливо», «разумно». Делалось это централизованно, путем сбора отчетности, ее анализа и планирования нужных (?) заданий и вознаграждений для всей колоссальной страны. Такой способ организации систем, обладающих бесконечными количествами динамичных параметров и связей, лежит, однако, в не законности природы. Нельзя объять и просчитать бесконечное, к тому же непрерывно и непредсказуемо изменяющееся. И когда этот природный запрет проявился в сплошную и зримо, когда накопившая критическую массу шумов машина стала рушиться у всех на глазах — о чем вопила вскормленная социализмом стихия начала 90-х годов? О неправильном распределении. О справедливом перераспределении. И демагоги стали снова наяривать на той же струне. И почти никто так же не занялся толкованием первопричин разрухи, как до 1917 года — ее предсказанием.

Ниже сформулирована еще одна очень точно подмеченная С. Франком особенность социализма:

«Теоретически в основе социалистической веры лежит тот же утилитаристический альтруизм — стремление к благу ближнего; но отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам. Социалист — не альтруист; правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою и де ю — именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и с другой стороны — виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может, так как его деятельность должна принести пользу лишь их отдаленным потомкам; поэтому в его отношении к ним нет никакого действительного аффекта; последних он ненавидит и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действительную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устройению земного рая становится страстью к разрушению, и верующий народник-социалист становится революционером» (стр. 192 — 193).

Во всякой утопии есть, к несчастью, одна не невозможная в принципе часть: разрушение сущего («старого»). Так, построить вечный двигатель невозможно в силу универсального закона природы. Но разрушить любой рукотворный, а порой и нерукотворный (не «вечный», не совершенный», но возможный) двигатель — почему же нет? «Против лома нет приемы, кроме другого лома». Но ведь ломом ничего не построишь. То же самое и в социальных или национальных утопиях: разрушить (всегда несовершенное) сущее в принципе можно, была бы достаточно сильная взрывчатка и умелые подрывники.

Утопия всегда начинается с «расчистки места». Второй закон термодинамики облегчает ей эту работу. Создается впечатление, что теория действует. Но увы: ее созидательная часть не работает, ибо тот же второй закон термодинамики, или непоправимый дефицит информации-времени, или еще какой-то фундаментальный закон, или другие неустраняемые обстоятельства ей работать созидательно не позволяют. Утопия замкнута в разрушительстве и обречена либо на него, либо (наибезопаснейший вариант) на то, чтобы оставаться мечтой.

Не решая в своей статье исчерпывающе вопроса о том, почему именно утопия социализма импотентна в созидательном смысле, С. Франк эту ее особенность констатирует:

«В основе революционизма лежит тот же мотив, который образует и движущую силу социалистической веры: социальный оптимизм и опирающаяся на него механико-рационалистическая теория счастья. Согласно этой теории, как мы только что заметили, внутренние условия для человеческого счастья всегда налицо, и причины, препятствующие устройению земного рая, лежат не внутри, а вне человека — в его социальной обстановке, в несовершенствах общественного механизма. И так как причины эти внешние, то они и могут быть устранены внешним, механическим приемом. Таким образом, работа над устройением человеческого счастья с этой точки зрения есть по самому своему существу не творческое или созидательное, в собственном смысле, дело, а сводится к расчистке, устранению помех, т. е. к разрушению. Эта теория — которая, кстати сказать, обыкновенно не формулируется отчетливо, а живет в умах, как бессознательная, самоочевидная и молчаливо подразумеваемая истина — предполагает, что гармоническое устройство жизни есть как бы естественное состояние, которое неизбежно и само собой должно установиться, раз будут отменены условия, преграждающие путь к нему; и прогресс не требует собственно никакого творчества или положительного построения, а лишь ломки, разрушения противодействующих внешних преград. «Die Lust der Zerstörung ist auch eine schaffende Lust», — говорил Бакунин; но из этого афоризма давно уже исчезло ограничительное «а и с h», — и разрушение признано не только одним из приемов творчества, а вообще отождествлено с творчеством или, вернее, целиком заняло его место» (стр. 194).

«Чтобы установить идеальный порядок, нужно «экспроприировать экспроприрующих», а для этого добиться «диктатуры пролетариата», а для этого уничтожить те или другие политические и вообще внешние преграды. Таким обра-

зом, революционизм есть лишь отражение метафизической абсолютизации ценности разрушения. Весь политический и социальный радикализм русской интеллигенции, ее склонность видеть в политической борьбе, и притом в наиболее резких ее приемах — заговоре, восстании, терроре и т. п., — ближайший и важнейший путь к народному благу, всецело исходит из веры, что борьба, уничтожение врага, насильственное и механическое разрушение старых социальных форм сами собой обеспечивают осуществление общественного идеала...

Психологическим побуждением и спутником разрушения всегда является ненависть, и в той мере, в какой разрушение заслоняет другие виды деятельности, ненависть занимает место других импульсов в психической жизни русского интеллигента. Мы уже упомянули в другой связи, что основным действенным аффектом народника-революционера служит ненависть к врагам народа» (стр. 195).

Вспомните у Некрасова: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».

Один из отрывков статьи С. Франка, посвященный любви и ненависти и их взаимозамещению в сердце революционера, живо напомнил мне о Ленине. С. Франк говорит:

«Вера русского интеллигента о б я з ы в а е т его ненавидеть; ненависть в его жизни играет роль глубочайшего и страстного э т и ч е с к о г о импульса и, следовательно, субъективно не может быть вменена ему в вину. Мало того, и с объективной точки зрения нужно признать, что такое, обусловленное этическими мотивами, чувство ненависти часто бывает морально ценным и социально полезным» (стр. 196).

С Лениным этого не случилось: его фанатическая ненависть (см. его письма) к «врагам» не имела ни грана «ценного и социально полезного» содержания, как и его революция. Объяснимую ненависть себе представляю. Вынужденную — тоже. В конечном, высоком смысле полезной ненависти не знаю, не встречала, не видела. Но С. Франк и сам говорит:

«Но, исходя не из узкоморалистических, а из более широких философских соображений, нужно признать, что когда ненависть укрепляется в центре духовной жизни и поглощает любовь, которая ее породила, то происходит вредное и ненормальное перерождение нравственной личности» (стр. 196).

У Ленина это перерождение было полным.

Вполне уверенно мы можем отнести к нынешним российским эпигонам революционного экстремизма (при всем их ниже чем пародийном по сравнению с российскими дооктябрьскими радикалами культурном и нравственном уровне) следующий вывод С. Франка:

«Подводя итог развитому выше, мы можем теперь сказать: основная морально-философская ошибка революционизма есть абсолютизация начала борьбы и обусловленное ею пренебрежение к высшему и универсальному началу производительности» (стр. 197).

Собственно говоря, русская радикальная интеллигенция как слой, исповедующий пусть извращенную, но искреннюю до самозабвения антимораль революционной «пользы» и «конечной цели», — это в основном тип до и не большевистский. Исключения среди большевиков были, но реальность их быстро отсепарировала. Путь к власти и устояние у власти потребовали от победителей такой степени морального нигилизма, что они окончательно нравственно и культурно гибридизировались с маргиналами, добывавшими для них власть, со злодеями, возглавившими их штабы.

Если С. Франк говорит: «Русская интеллигенция не любит богатства», то о тех, кто привел радикалов к власти, удерживал эту власть чуть ли не три четверти века и пыгается восстановить всю полноту этой власти сейчас, вернее будет сказать, что они не любят чужого богатства. С в о е о н и л ю б я т. А в жизни, которую они создали, богатство стало понятием достаточно мизерным (большая пайка лагерного придурка). Сейчас мерки выросли, и вчерашние хозяева большой пайки снова очень не любят чужого богатства.

Да и о нынешнем «образованном слое», даже в меру сил порядочном, не скажешь уже словами С. Франка:

«Русская интеллигенция не любит богатства. Она не ценит прежде всего богатства духовного, культуры, той идеальной силы и творческой деятельности человеческого духа, которая влечет его к овладению миром и очеловечению мира, к обогащению своей жизни ценностями науки, искусства, религии и морали; и — что всего замечательнее — эту свою нелюбовь она распространяет даже на богатство материальное, инстинктивно сознавая его символическую связь с общей идеей культуры. Интеллигенция любит только справедливое распределение богатства, но не самое богатство; скорее она даже ненавидит и боится его. В ее душе любовь к бедным обращается в любовь к бедности. Она мечтает накормить всех бедных, но ее глубочайший неосознанный метафизический инстинкт противится насаждению в мире действительного богатства. „Есть только один класс людей, которые еще более своекорыстны, чем богатые, и это — бедные“, — говорит Оскар Уайльд в своей замечательной статье „Социализм и душа человека“. Напротив, в душе русского интеллигента есть потаенный уголок, в котором глухо, но властно и настойчиво звучит обратная оценка: „Есть только одно состояние, которое хуже бедности, и это — богатство“» (стр. 201).

Если такая оценка еще и звучит, то все глуше, — и, может быть, это нормально?..

* * *

«Вехи» написаны людьми, жизнеоисмыслительный путь которых еще во многих отношениях только начинался. Уже далеко не юноши, они пребывали в фазе глубокого переосмысления воззрений своей молодости. Основное, что ими создано и внесено в русскую и мировую духовность, было для многих из них еще впереди. Этого будущего и судеб авторов я не касаюсь. Мой обзор сугубо конкретен и не претендует ни на что, кроме еще одного, в ряду многих других, прочтения «Вех».

Сравнение дореволюционной интеллигенции (в тех границах понятия, которые обозначены «Вехами»: оппозиционный, радикализованный пласт образованного слоя) с образованным слоем советской эпохи дал в «Образованщине» А. Солженицын. «Образованщина» обиделась, но крыть было нечем: Солженицын ничего не примыслил к типическому портрету. Кроме того, он был из числа тех исключений из правила, которые имеют право судить. Но «Образованщина» писалась в годы «зрелого социализма», когда порядочность без применительности к подлости была подвигом или граничила с таковым. Во всяком случае — в глазах обласканной властями образованщицкой номенклатуры, знати и полужнати.

И вот грянула «гласность», а за ней и свобода слова. Трудно сказать, навсегда ли и даже надолго ли, но грянула. И очень быстро (буквально у себя, ошарашенной, на глазах) «образованщина» начала расслаиваться на группы с несовместимыми взглядами и рефлексам. И об этом тоже предупреждал в своей публицистике Солженицын и звал к заблаговременному сближению взглядов, к отысканию компромиссов, к обнаружению как можно большего числа общих отправных точек. Но — не услышали.

Пожалуй, о воспрянувшем духом в годы «гласности», а затем впадшем в разных степеней разочарование образованном слое не скажешь сегодня ни «интеллигенция» (в вековом смысле), ни «образованщина» (в солженицынском). Этот слой перестал быть чем-то более или менее единообразным и потому поддающимся пусть неизбежно схематизированной, но все-таки общей характеристике. Людям довелось по выволзне живыми из-под катка большевистской диктатуры попасть не в эдем свободы, равенства, братства и западного или российского (1913 года) довольства, как мечталось, а (после короткой эйфории) в нынешний разор и распад с их непредсказуемым исходом. Легко ли при этом сохранить или обрести душевное равновесие? То, что начали рушить в 1917 году, продолжает рушиться до неведомых и потому ужасающих пределов («до основанья»).

А в немедленную подмену и замену этому никто ничего не подготовил ни внутри рушащейся империи, ни за ее пределами. Да и не мог подготовить. Самоподготовкой и подготовкой такого рода даже и сегодня немногие озабочены. Что же говорить о вчерашнем дне, когда это было не только трудно, но и опасно? Тем более что и в самиздате, и в переброске рукописей за рубеж сразу возникла и самоцензура и агентура власти. «Образованщина», даже вроде бы и оппозиционная, предпочитала не верить, что когда-нибудь еще пригодится строительная, конструктивная мысль. Припомните отношение большинства (в том числе читателей самиздата и слушателей «голосов») к «Письму вождям» и даже к ныне канонизированному первому мемуарандуму Сахарова. А как нужно было в них вдуматься! Но еще и сегодня мысль о том, что Солженицын и в конструктивном смысле опередил всех, воспринимается многими как ересь.

К особенностям социализма, замеченным С. Франком и отчасти Б. Кистяковским, можно добавить еще одну, весьма существенную. Уничтожая частную собственность и самоорганизующийся конкурентный плюрализм (экономический, политический, информационный — во всеобъемлющем смысле последнего), этот строй срубает дерево общественной эволюции. Он располагает свои институции как бы на срезе пня. В них не только не поступают соки из почвы — из них не растут ветви будущего.

Теперь надо реанимировать корни и тем самым пень, привить к нему здоровые черенки и помочь разрастись из них ветвям и кроне. Но и этот образ грешит неточностью: социалистические новообразования вьелись в пень. Они впились в него уже с в о м и корнями, метастазировали в умы и души людей. Они бешено, безоглядно сопротивляются спасательным для усыхающих корней работам и стараются отторгать прививаемые черенки. И значительная, как бы не преобладающая, часть «образованщины» тяготеет к этим, почти вековым уже, новообразованиям: они ее как-никак кормили, она составляла часть их духа, была их языком. А та ее, «образованщины», немалая часть, в которой проснулись на свободе рефлексы очерченной «Вехами» интеллигенции, вспомнила (как всегда, не ко времени), что «оппозиция к любому правительству есть стержень позиции истинного интеллигента» (цитата). И тут же приняла отнюдь не безмолвную позу иронико-скептической отстраненности. От кого же она отстраняется (не без язвительных подковок) на этот раз? От единственных за три четверти века правительства и лидера, которые плохо ли, хорошо ли, но попытались двигаться в спасительном, а не в губительном направлении. Не безупречные, не всевидящие, но впервые за семьдесят четыре года (1917 — 1991) не злодеи, не маньяки и не дикари, они настоящей (деловой, повседневной, организованной) поддержки от «образованщины», вновь ставшей (в веховском смысле) интеллигенцией, не получили. Только приливами и отливами, чисто словесно, с быстро остывающими приступами энтузиазма и снова накатывающим неверием, от случая к случаю интеллигенция одаряет поддержкой безальтернативного лидера демократии. Предреволюционный (1860 — 1910-х годов) и постфевральский (февраль — ноябрь 1917 года) опыт ее не колышет, как теперь говорят.

К несчастью, у рафинированного меньшинства «образованного слоя» идеологизм, партийность, пропаганда, которыми его душили три четверти века, вызвали столь органическое отвращение к политике, такую к ней идиосинкразию, что наиболее сильные умы и светлые души предпочли уединение и неучастие в политических событиях. И лишь малая часть осталась на печатном поле и бьется без лат и шлемов с количеством превосходящим противником. В политике же из этого клана активно действуют и вовсе немногие.

Получилось так, что организационно структурированы в основном наследники разрушителей и примкнувшие к ним реваншисты и реставраторы от «образованщины». Вероятно, они все-таки не понимают зловещей парадоксальности того, что делают. Пытаясь по-своему остановить распад, о н и о х р а н я ю т и р е а н и м и р у ю т п е р в о п р и ч и н ы т о г о ж е р а с п а д а. Но реставраторы представляют собой силу, искони партийно и аппаратно организованную и технически умеющую манипулировать массами. Правда, не более здравомыслящую, чем раковая опухоль, стремящаяся одолеть организм. Те же, кто в отличие от злокачественных клеток мыслит, вкраплены желеобразными или пескообразными островками в «агрессивно-послушное» или пассивно-послушное большинство и чужды всякой организации. В конечном счете реформаторы могут оказаться в такой же изоляции, как Столыпин, но при неизмеримо худших объективных условиях и при гораздо меньшем личном потенциале.

Сегодня на всей территории современной веховцам России, а затем — СССР (ныне и вовсе еще непонятого образования), особое значение обретают по меньшей мере три занимавших авторов «Вех» вопросы. Важны и другие, но эти (без преувеличений) суть вопросы жизни и смерти. Я имею в виду размышления веховцев о морали, праве и о единстве России.

Вопрос о единстве тогдашней России («н а ц и о н а л ь н о-государственную идею» П. Струве) сегодня приходится волей-неволей заменять обсуждением и решением задач разностороннего мирного и равноправного взаимодействия между бывшими частями бывшего СССР. Кроме того, насущной проблемой стало сохранение государственного единства собственно России (бывшей РСФСР, нынешней Российской Федерации).

Опыт современного человечества показывает: «вплоть до отделения» — очень рискованная часть формулы о «праве наций на самоопределение». Из этого риска,

который на наших глазах оборачивается морем крови (подчеркиваю: во всем мире), видится выход только в одно пространство — пространство личного и гражданского права. Реально обеспеченные права человека и гражданина, по определению, подразумевают и его национальные права: религиозные, культурные (в широчайшем значении слова), административные. Но (кроме как в исключительных, рассмотренных всеми сторонами конфликта и соответствующими международными институциями случаях) не должно быть у более или менее автономных субъектов государственного образования автоматического права выхода из федерации или многоземельного государства иного типа. Это право чревато слишком многими нарушениями других, не менее существенных прав, для того, чтобы действовать без оговорок, автоматически.

Чтобы такая, по сегодняшним катастрофическим меркам почти утопическая, идиллия сбылась, необходим выход в главную сферу, поглощавшую основное внимание авторов «Вех». Это сфера этики. У одних веховцев она прямо отождествлена с религией. У других, например у Изгоева и Кистяковского, вопрос об источнике нерелятивной этики не обсуждается. Но (и по их убеждению) право в качестве гарантии достойного человеческого сосуществования и общежития невозможно вне неподвижных координат этики, нравственности, переживаемой и признаваемой субъективно.

Внимание авторов «Вех» к вышеозначенному триединству: гражданскому и национальному миру в сильном государстве, вытекающему из права, покоящегося на нерелятивной этике, — придает высокую степень актуальности как их прозрениям, так и их ошибкам. Веховцам представлялось, что у русской интеллигенции есть еще время для нравственной, концептуальной и житейской перенастройки и переустремленности. Но, во-первых, времени уже почти не было, а во-вторых, предупреждения веховцев, при всей их сдержанности, интеллигенция отринула и презрела. Сегодня времени остается меньше, чем оставалось тогда. Не только потому, что тогда распад и разнос империи были лишь угрозой, а сегодня речь идет уже не об империи, а о самой России, но и потому, что в экологию человечества вошел новый фактор: радионуклиды. Но это уже другая глава истории...

1993.



В 1994 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ

**новую книгу Доры Штурман «Дети утопии
(Фрагменты идеологической автобиографии)»**

***НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!***

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

НЕ БЛИЗНЕЦЫ, НО — БРАТЬЯ

Споры немецких историков о нацизме и коммунизме

История — наука, которая вряд ли должна претендовать на окончательные, не подлежащие пересмотру ответы. То, что сегодня кажется неопровержимым, то завтра обнаруживается как сознательная («партийность») или несознательная, обусловленная непрофессионализмом, фальсификация. Но нередко бывает и так, что завтра и не наступает, а уже историки об одном и том же явлении, совершившемся не в какие-нибудь далекие времена, а при жизни этих самых историков, судят совершенно различно. При этом оппоненты частенько убеждены, что другая сторона или невежественна, или партийна, или подкуплена. Австрийский же культуролог Эгон Фридель, покончивший с собой, когда нацисты вошли в Вену, никакого криминала в разночтениях исторических письмен не видел: история, утверждал он, наука субъективная, и в этом ее прелесть. Объективным историком, добавим мы, мог бы быть лишь Бог, но он поручил писать историю людям. Несколько изменяя слова Пушкина, можно сказать: «Следить за мыслями умного историка и его оппонентов — занятие весьма увлекательное».

Особый интерес к тем или иным историческим концепциям вспыхивает тогда, когда история вдруг, вроде бы и совсем неожиданно, возвращается и становится современностью, причем не в виде каких-либо аллюзий на сцене Театра на Таганке в так называемые застойные времена, а чуть ли не буквально: в подвалах Белого дома маршируют ударные группы русских нацистов, на Красной площади ветераны коммунизма поднимают красные знамена и портреты вождя, на размазанных свастиками стенах домов Москвы, еще недавно столицы международного коммунистического движения, можно прочесть: «Бей жидов!», возле Музея Ленина торгуют «Майн кампф», немецкий «Штурмер» продается под названием «Пульс Тушина», певец коммунистических экспансий заявляет с экрана московского телевизора, что Россию может спасти только фашизм, на улицах восточногерманских городов недавние пионеры и комсомольцы кричат: «Германия немцам!»

В этих фангасмагорических условиях вновь обращаясь к так называемому спору историков, то вспыхивающему, то тлеющему на страницах немецких научных и популярных журналов. В этом году исполнилось семьдесят лет Эрнсту Нольте, из-за работ которого и разгорелся весь сыр бор: в своих многочисленных исследованиях о коммунизме и нацизме Э. Нольте доказывает, что эти два политических течения (в сущности) одинаковы и отличаются лишь в нюансах.

Спор вокруг работ Эрнста Нольте вызван не только интерпретацией в них исторических фактов, но прежде всего — его методологией.

Не цитируя пушкинского Пимена, с монологом которого из «Бориса Годунова» немецкий ученый вряд ли знаком, Нольте уверяет читателей, что он «добру и злу внимает равнодушно, не ведая ни зависти, ни гнева». Он называет себя *Geschichtsdenker* (что в вольном переводе с немецкого означает «размышляющий над историей»), а свой метод — феноменологическим. Суть этого метода — в рассмотрении исследуемого исторического объекта, в конкретном случае — нацизма, изнутри: не осознав субъективных намерений нацистов, невозможно, утверждает Эрнст Нольте, понять феномен национал-социализма.

Нольте склонен сравнивать процесс исторического исследования с судебным разбирательством. А как известно, демократический суд стремится найти в действиях преступника и смягчающие обстоятельства. Свой феноменологический метод Нольте продемонстрировал во множестве книг об истории, теории и практике национал-социалистов: «Фашизм и его эпоха», «Прошлое, которое не хочет уходить», «Фашистские движения», «Европейская гражданская война» и в других.

Нольте всякий раз бывал буквально ошарашен тем шквалом обвинений, подчас даже в непарламентских формах, который обрушивался на него после выхода каждой из этих книг. Именно объективности, которая, как верил Нольте, обеспечивает его феноменологический метод, и не обнаруживали в его трудах коллеги-историки: один из них еще в 1963 году заклеил его позорной для Германии кличкой «защитник фашизма». Нольте с тех пор никак не может отмыться. Он упорно повторяет: я не защитник и не обвинитель фашизма, я хочу его понять, а обвинительная история — это вариант большевистских и нацистских показательных процессов; я же хочу демократического суда над нацизмом. «Ага! — возмущенно восклицает историк Август Винклер в рецензии на книгу Эрнста Нольте «Европейская гражданская война», — Нольте хочет справедливости для Гитлера». Сторонники Нольте, а они в меньшинстве среди немецких историков, называют позицию Винклера обывательской: это толпа на суде над страшным преступником вопит: «Какие там адвокаты, нечего с ним чикаться — расстрелять, и все!»

Думается, что феноменологический метод сыграл с Эрнстом Нольте злую шутку. Сразу отметим, что Нольте к нацизму и к коммунизму относится с естественным отвращением европейца-гуманиста. В письме в либеральную газету «Цайт» он сказал об этом с достаточной определенностью. Но будучи типичным западным ученым, Эрнст Нольте, как черт ладана, боится того, что называется здесь ангажированностью, страстной защитой своего мирозерцания. Для западных ученых незыблема максима Спинозы: «Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intellegere» («Не смеяться, не грустить, не проклинать, а только понимать»). Стоит заметить, что этот страх перед открытым выражением своей позиции проявился и у части российской интеллигенции, возмущенной откровенной радостью, которую выразили победители национал-большевистского мятежа после 4 октября. В общем, каждый историк, каждый философ стоит перед выбором между Бенедиктом Спинозой и русским философом Львом Шестовым, который не верил в возможность сохранять невозмутимость при исследовании человеческих трагедий и не очень доверял интеллектуальной честности «объективистов». И если Александр Невзоров торопится поделиться вычитанным из газеты фактом, разумеется, ради объективности, что Гитлер мог просвистеть наизусть все оперы Вагнера, вряд ли кто-нибудь усомнится в тайных симпатиях пропагандиста «наших» к одному из самых страшных преступников в истории человечества. Более корректной была все же «ангажированная» оценка, которую незадолго до своей казни дал гитлеризму прожженный бандит, один из главарей нацистской шайки Ганс Франк: «И через тысячу лет не забудутся эти преступления немцев», — и не прибавил при этом, что Гитлер любил цветы и собак, опасаясь, вероятно, что Господь будет его проверять не на объективность, а на верность христианским заповедям.

Неангажированный, феноменологический метод Эрнста Нольте не убедил очень многих читателей его книг. При этом редко подвергается сомнениям компетентность Нольте как историка, владеющего богатейшими знаниями. Сомнения вызывают его основные тезисы. Все свои усилия по собиранию исторических фактов Нольте направляет на поддержание двух своих главных постулатов. Первый: нацизм — это реакция на русский большевизм. Второй: нацизм и большевизм — явления одного порядка, а преступления нацизма вовсе не уникальны, на совести большевиков жертв не меньше.

Коллеги-историки не пришли в восторг от откровений Нольте. Почти все они отвергли первый его тезис и лишь с большими оговорками приняли второй.

Полемика вокруг теорий Эрнста Нольте проходила отнюдь не в духе завещания Спинозы, подчас она больше напоминала (в статьях левых историков) стиль советских идеологических кампаний. Так, Юрген Хабермас объявил тезисы Нольте «политически опасными». (Разумеется, он не читал статью Бердяева в «Вехах», где тот обвинял русскую интеллигенцию в том, что она ищет не истину, а политическую пользу).

Сдержаннее звучит критика со стороны Вольфганга Моммзена, внука великого немецкого историка. Моммзен упрекает Нольте в том, что тот игнорирует социальные предпосылки нацизма, созданные конкретными условиями Веймарской республики («нельзя выводить немецкий нацизм из истории развития другой страны — России»).

Все же у того, кто читал относительно раннюю работу Нольте «Фашистские движения», не возникает впечатления, что историк игнорирует местные, национальные предпосылки националистических движений.

Оспаривая те или иные действительно сомнительные утверждения Эрнста Нольте, некоторые его оппоненты выдвигают соображения столь же оригинальные, как и безнравственные. Так, редактор леволиберального журнала «Шпигель», один из самых популярных журналистов Германии Аугштейн, доказывая, что преступления немецких нацистов были уникальными, не имевшими аналога ни в современном мире, ни в истории, отдает предпочтение сталинским преступлениям, которые-де были «реалистическими» в отличие от гитлеровского сумасшествия. Только тот, кто знаком с имморализмом западных интеллектуалов, понимает, что имеет в виду Аугштейн, называя сталинские преступления «реалистическими»: они способствовали развитию прогресса, движения от жуткого капитализма к светлым вершинам самого справедливого коммунистического общества. Вообще левые критики Нольте выражений не выбирают (тем российским публицистам, которые любят оглядываться на «образцовый Запад», было бы интересно прочитать в весьма уважаемой немецкой газете «Цайт» статью историка Иекеля против Нольте «Жалкая тактика фальсификатора»).

Но как бы ни были несправедливы отдельные наскоки коллег на Эрнста Нольте, трудно не признать, что он сам подал повод для такого рода критики.

Слабое место Нольте — это логика. Он пренебрегает предупреждением Аристотеля: «post hoc» — это не всегда «propter hoc».

К тому же не все похожее — следствие подражания. Еще Орест Миллер, крупнейший русский фольклорист, заметил, что в литературах разных народов, даже не соприкасавшихся друг с другом, возникали схожие явления, естественно, не вследствие подражания, а из-за схожести социальных ситуаций и каких-то психологических реакций, общих у самых разных народов. Миллер говорит о «самозарождении сюжетов».

Нольте прав: концлагеря для политических противников первым придумал Ленин, а не Гитлер. Но, замечает историк Фест, биограф Гитлера, этого факта временной последовательности еще недостаточно, чтобы истребительную программу Гитлера выводить из действий Ленина. Перенеся литературоведческий термин на рассматриваемый нами феномен, можно говорить о «самозарождении сюжета», имеющего общую основу — обезчеловечение европейского человека XX века в результате первой мировой войны, поражения либерализма и торжества коллективистских учений, отбросивших понятие о личной вине и личной ответственности. Понять Нольте можно, оправдать как историка, да еще феноменалиста — вряд ли: тезис о подражательности нацизма, об ученичестве Гитлера у Ленина, конечно же, облегчает душу немца-патриота. Русские патриоты тоже никак не могут признать большевиков инициаторами страшнейших преступлений: этому их то ли жиды подучили, то ли люди «кавказской национальности». Но при чем здесь объективность, где тут место «феноменализму»? Хотя Нольте и выдает себя за судью на процессе над нацизмом, он нередко и, вероятно, незаметно для самого себя выполняет функции его адвоката. Конечно же, в любом цивилизованном суде кто-то должен представлять интересы подсудимого, однако самый честный защитник, выгораживая своего клиента, должен выискивать пусть даже и сомнительные аргументы в его пользу. Но это вряд ли задача судьи или историка. Только беспардонный адвокат смог бы заявить, как это делает Нольте, что его подзащитный действовал чуть ли не в ситуации необходимой обороны: политика уничтожения евреев стала-де ответной реакцией на заявление одного из руководителей Всемирного еврейского совета в сентябре 1939 года, что евреи будут воевать на стороне Англии против Германии. В интересах подзащитного «адвокат» подзабыл, что к 1939 году уже состоялся гражданский холокауст евреев. Естественно, что оппоненты Нольте напомнили ему и о гитлеровской «Майн кампф» и об учителе Гитлера Дитрихе Экардте, задолго до заявления Еврейского совета разъяснявшего будущему фюреру, почему должен быть окончательно решен еврейский вопрос.

Дабы доказать подражательный характер преступлений Гитлера, следовало бы как минимум установить, знал ли он вообще о методах карательной политики Ленина и Сталина. Публицист Рихард Лёвенталь заметил в письме во «Франкфуртер альгемайне», что в 20-е и даже в 30-е годы мало кто знал в Европе об архипелаге ГУЛАГ. Эрнст Нольте подробно рассуждает об «азиатчине» большевиков (что выразилось-де и в их зверской расправе с царской семьей, и в практике заложничества во время красного террора, и в других преступлениях). Он наиподробнее образом перечисляет и зверские акции нацистов. Но как-то у него получается, что Гитлер заразился этой «азиатской чумой» от русских большевиков. Более же серьезные исследователи обращают внимание на западное происхождение са-

мой коммунистической идеи, а сегодняшние российские нацисты апеллируют не к русским национальным традициям, а к опыту немецких фашистов.

Сотни исторических исследований показали, что немецкий нацизм — это результат прежде всего внутреннего, национального развития Германии, а не слепок с какого-то образца. Этот вывод сделан с достаточной убедительностью в работах немецкого историка российского происхождения Леонида Люкса. Свою рецензию на книгу Нольте «Европейская гражданская война» он не без иронии озаглавил: «Братья? Враги? Или — братья-враги?» Как и некоторые другие историки, Леонид Люкс с полным основанием говорит о различии идеологических установок нацизма и коммунизма и о разнонаправленности в функционировании этих двух систем. Но возникнув (русский большевизм на русской почве, а немецкий нацизм — на немецкой), эти два течения обнаружили не только сходство, но и готовность признать некоторое родство между собой. Молодой Геббельс, принадлежавший к социалистическому крылу национал-социализма (идеологи — братья Оскар и Грегор Штрассеры), кричал в 20-е годы, когда в России возникли национал-большевистские настроения, что Советский Союз — естественный партнер немецкого национал-социализма в борьбе с прогнившей западной демократией. Встречные соображения высказывались и с коммунистической стороны. Так, в одной статье журнала «Коммунистический Интернационал» говорилось: «...у фашизма и большевизма — одинаковые методы. И тот, и другой рассматривают определенные политические акции не с той точки зрения — законны они или незаконны, демократические они или нет. Они идут к своей цели, растаптывая законы». О сходстве методов фашизма и большевизма говорил и Бухарин на XII съезде РКП(б) в 1923 году. Впрочем, тогда не могло идти речи о национал-социализме, имелся в виду фашизм, главным образом — итальянский. На протяжении 30-х и 40-х годов бывали и случаи явного подражательства: так, председатель нацистского «народного» суда над заговорщиками 20 июля Роланд Фрайслер доказал, что он способный ученик Вышинского.

События 1991 — 1993 годов в России показали, что нацизм и коммунизм гораздо ближе друг другу, чем это представляли себе даже идеологи этих двух течений в 20 — 30-е годы. В обновляющейся России русские коммунисты и русские нацисты без всякого труда, без трений (во всяком случае, видимых) объединились в противостоянии демократии. И те и другие вошли во Фронт национального спасения и в одном строю вырвались из Белого дома, атакуя правительственные здания. Судья-коммунист (пусть и в прошлом) разрешает печатать и распространять «Майн кампф». Нет различий между российскими коммунистами и нацистами в определении задач внешней политики; они ратуют за восстановление Российской империи (националисты) или Советского Союза (коммунисты), они видят главного врага в западной, прежде всего американской демократии, а союзников — в деятелях вроде Саддама Хусейна или Милошевича.

Самым большим вопросом для немецких историков остается все же вопрос об уникальности нацистских преступлений. Нацизм не уникален, утверждает Эрнст Нольте, перечисляя факты неслыханной бесчеловечности, практически не только нацистами, но и коммунистами. В Германии такой тезис неизменно вызывает аллергическую реакцию, а политик или публицист, выступивший с ним, попадает — по весьма спорным основаниям — в разряд неонацистов. Стоило, например, кандидату в президенты Германии от ХДС/ХСС Хайтману высказаться в том духе, что преступления нацистов ужасающи, но они вписываются в общеевропейское развитие XX века, как его шансы быть избранным упали чуть ли не до нуля. Уже упоминавшийся редактор журнала «Шпигель» Рудольф Аугштейн обозвал историка Хилльгрубера, поддержавшего тезис Нольте, «природным нацистом».

Думается, что спор этот вызван неясностью самого понятия «уникальный». Разумеется, ни одно историческое явление не имеет близнеца. Конечно же, само происхождение нацизма и коммунизма делает их если и родственниками, то весьма далекими: коммунизм, например, вышел из европейского Просвещения, а нацизм — из течений, ему враждебных (отсюда, между прочим, и тяготение европейских интеллектуалов 20 — 50-х годов к коммунизму и неприятие ими нацизма). Вряд ли стоит большого труда увидеть в немецком нацизме проявление ментальности одного народа, а в русском большевизме — другого. Так что ни о каком тождестве, с научной точки зрения, между нацизмом и большевизмом говорить не следовало бы. Да Нольте и не говорит о тождестве.

Все же более убедительной представляется позиция тех участников спора историков, которые рассматривают коммунизм и нацизм как два различных прояв-

ления европейского тоталитаризма. Карл Дитрих Брахер писал: «Стыд из-за поражения как раз культурного народа, развивавшегося на основах ценностей христианства, гуманизма и просвещения, может помочь распознанию опасностей тоталитарных манипуляций. Указания на подобные же феномены у других народов никак не релятивируют этот опыт, но расширяют его и делают общезначимым. Это означает не только воспоминания о прошлом, но и предостережение современности и будущему».

Сегодня можно дать ответ на вопрос Леонида Люкса, были ли нацизм и коммунизм родственниками. Да, были, хотя и не прямыми и одно время даже враждовали (впрочем, теперь эта вражда в прошлом и родственные, объединяющие черты и свойства берут верх над прежними семейными недоразумениями).

Но вот с точки зрения теории тоталитаризма, разработанной Ханной Арендт, коммунизм и фашизм — близнецы-братья. Мировоззренческая основа у них общая: мифологизация надличностных структур нации, государства, класса, партии; замена понятия личной вины и личной ответственности коллективными («евреи виноваты», «буржуи виноваты»). Создаваемые нацизмом и коммунизмом системы носят отчетливо уголовный характер. Нацизм и реализованный коммунизм на ходятся на равном удалении от демократии, права, гуманизма, духовности...

Для миллионов евреев, уничтоженных нацистами в газовых камерах, и миллионов русских крестьян, доведенных коммунистами до голодной смерти или замученных в сибирских лагерях, спор историков уже не актуален...

Герман АНДРЕЕВ.

Гермесгейм, Германия.



Читайте в № 7, 8, 9 «Нового мира» за этот год

новый роман Даниила Гранина

«БЕГСТВО В РОССИЮ» —

драматическое повествование о «левых» американских ученых, которые в годы холодной войны бежали с Запада на Восток — в СССР...

***НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!***

ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ

Великий князь Константин Константинович
в письмах и воспоминаниях

Перед нами письма великого князя Константина Константиновича, августейшего поэта К. Р. (ГАРФ, ф. 564, оп. 1, ед. хр. 2180). Они так же мало известны читателю, как и имя, жизнь и деятельность их автора.

Великий князь, к счастью, не дожил до 1917 года, который вряд ли бы помиловал его, несмотря на все заслуги перед отечеством. Смерть освободила его и от ужасного знания о последних днях своих молодых сыновей, которые были сброшены живыми в шахту под Алапаевском в 1918 году.

Посмертная известность поэта К. Р. началась только сегодня. До недавнего же времени его имя не звучало даже в концертных залах, где исполнялись шедевры Чайковского, Рахманинова, Глазунова, написанные на слова его императорского высочества.

А между тем деятельность этого человека является частью истории отечественной культуры.

Родился великий князь Константин (1858 — 1915), внук Николая I, в семье управляющего флотом и морским ведомством России великого князя Константина Николаевича. Отец хотел видеть сына морским офицером. Константин Константинович плавал в эскадре Морского училища, участвовал в боях против турецкого флота в 1877 году. Много лет отдал армейской службе: командовал ротой гвардейского Измайловского экипажа, был командиром лейб-гвардии Преображенского полка, занимал пост генерал-инспектора военно-учебных заведений. «Жизнь моя и деятельность вполне определились, — записывал в 1888 году в своем дневнике великий князь. — Для других — я военный... Для себя же — я поэт. Вот мое истинное призвание» (ГАРФ, ф. 660, оп. 1, ед. хр. 35). Стихи К. Р. начал писать в 1879 году. Но в печати первое стихотворение «Псалмопевец Давид» появилось лишь в 1882 году. Высокое положение августейшего поэта во многом определило его творческую судьбу: возможность издаваться, обилие хвалебных отзывов, сравнения с высокими поэтическими именами вплоть до Пушкина. Но сам Константин Константинович знал цену своему небольшому дарованию и был честен перед собой. «Невольно задаю я себе вопрос, — записывал он в дневнике, — что же выражают мои стихи, какую мысль? И я принужден сам себе ответить, что в них гораздо больше чувства, чем мысли. Ничего нового я в них не высказал, глубоких мыслей в них не найти, и вряд ли скажу я когда-нибудь что-либо более значительное. Сам я себя считаю даровитым и многого жду от себя, но, кажется, это только самолюбие и я сойду в могилу заурядным стихотворцем. Ради своего рождения и положения я пользуюсь известностью, вниманием, даже расположением к моей Музе...» (ГАРФ, ф. 660, оп. 1, ед. хр. 35).

Образцом для подражания К. Р. считал для себя поэзию А. К. Толстого, А. Н. Майкова и особенно Афанасия Фета. Фета он боготворил. В дневнике Константин Константинович оставил интересную для литературоведов запись о посещении своего кумира Афанасия Афанасьевича Фета в 1886 году в Москве: «Обедал и провел весь вечер у Шенишина (Фета). Смеркалось, было морозно и уши щипало, когда я выехал сквозь Троицкие ворота из Кремля и неся в санях по Воздвиженке и Арбату на Плющиху. В конце ее неподалеку от Девичья поля его дом, хорошо знакомый лишь по адресу. Я вошел. Маленькие низенькие комнаты, на окнах растения, повсюду цветут гиацинты — такая уютная обстановка для милых бездетных старичков. Я в первый раз увидел Марью Петровну Шенишину (рожд. Боткину, сестру доктора), но мне сейчас же показалось, что я давно с нею знаком. Приняли меня радушно и ласково, как родного. Сперва Марья Петровна боялась моего посещения, но всякий страх прошел, и, кажется, скоро. Мы сели обедать; кроме нас троих была тут и молоденькая девушка,

которую называли Екатериной Владимировной, — фамилии ее я не узнал. Она слушает Фету секретарем — я хорошо знаю ее почерк, — старичок называет ее своими глазами... Разговор не умолкал ни на минуту. Я сразу заметил, что старички самые нежные супруги, он очень рассеян, и без старушки ему пришлось бы плохо. Она, кажется, только и живет что заботой и попечениями о нем. Время летело так быстро, мне было так хорошо у них, как будто я всю жизнь был знаком с ними. Он читал мне свои последние, мне еще незнакомые стихи. Пили чай, говорили, о чем только не говорили...» (ГАРФ, ф. 660, оп. 1, ед. хр. 35).

До конца жизни К. Р. сохранил привязанность к поэзии Фета и сам следовал образцам его «чистого искусства». Отсюда приоритет чувства над мыслью, мелодичность языка, простота формы — конечно, на фоне иной силы дарования.

70 стихотворений К. Р. положены на музыку. Среди композиторов — П. Чайковский, С. Рахманинов, Р. Глиэр, А. Гречанинов.

В поэтическом творчестве К. Р. особняком стоит его военная лирика. Это самая демократическая часть поэзии К. Р. Сам великий князь к своим стихам о русском солдате относился особенно пристрастно. «Иногда меня берет сомнение... не впадаю ли я в сентиментальность, не выйдет ли у меня игрушечный, пасторальный солдатик? Страшно! Я придаю этим стихам немалое значение», — записывал он в дневнике (ГАРФ, ф. 660, оп. 1, ед. хр. 35). Военные стихи К. Р. сравнивали со стихами Некрасова и Дениса Давыдова. Особенно популярны они были в годы первой мировой войны.

К. Р. выступил как переводчик пьесы Шекспира «Гамлет», снабдил перевод подробнейшим комментарием. Современники находили перевод великого князя благозвучным и изысканно простым. Известны были широкому кругу почитателей пьесы К. Р. — «Возрожденный Манфред», «Севастьян-мученик», «Царь Иудейский». К драме «Царь Иудейский» написал музыку А. Глазунов.

Великий князь считался знатоком живописи, театра, музыки. Сам был талантливым пианистом и композитором. Положил на музыку не только ряд собственных стихотворений, но и произведения А. К. Толстого, А. Майкова, В. Гюго.

Становится понятно, почему в 1889 году, когда встал вопрос о кандидатуре нового президента Императорской академии наук, было названо имя великого князя Константина Константиновича Романова. «Мое тщеславное самолюбие было в высшей степени польщено, — записывал великий князь в дневнике, — но вместе с тем я немало смутился при мысли о таком высоком положении» (ГАРФ, ф. 660, оп. 1, ед. хр. 35). Двадцать с лишним лет он был президентом Императорской академии наук. Как отмечают современники, именно в это время «последовал ряд благотворительных реформ, в особенности в отношении русского языка и словесности». В академии появился отдел изящной словесности, в число почетных академиков вошли Л. Толстой, А. Чехов, В. Короленко, П. Боборыкин, И. Бунин.

Современниками отмечался удивительный такт, который проявлял князь по отношению к литературной среде: «...венчал таланты, не обращая внимания на направление их обладателей». Предлагаемая читателю публикация подтвердит, что «венчание талантов» не мешало субъективное отношение августейшей особы к некоторым произведениям Бальмонта, Бунина, Андреева, даже Толстого.

В 1899 году Константин Константинович избирается председателем Комиссии по празднованию столетия со дня рождения А. С. Пушкина. Заботится об обогащении коллекций Пушкинского Дома. Сохранилось в ГАРФе (ф. 660, оп. 2, ед. хр. 1094) письмо великого князя, адресованное правнуку Е. Баратынского. Приводим здесь его впервые:

«Евгений Юрьевич,
получив от вас в дар для состоящего при Императорской Академии Наук Пушкинского Дома подлинный, исполненный в двадцатых годах прошлого столетия, портрет Вашего прадеда поэта Е. А. Баратынского, Я приношу Вам выражение Моей искренней признательности за обогащение собраний Дома этим ценным изображением одного из друзей Пушкина. Вместе с тем препровождаю Вам при сем, в воспоминание об этом пожертвовании, бронзовую медаль, выбитую в память столетнего юбилея со дня рождения Пушкина.

Пребываю к Вам благосклонный

Константин.

30 апреля 1915 г.».

Великим князем была создана постоянная комиссия помощи нуждающимся литераторам, ученым, музыкантам. В ГАРФе хранится интереснейшее письмо Модеста Чайковского, брата Петра Ильича Чайковского, Константину Константиновичу

(ф. 660, оп. 2, ед. хр. 491). Многое проясняет это письмо: и личность великого Чайковского, и личность великого князя, к которому, несмотря на его высокое положение, можно было столь свободно и эмоционально обратиться. Вот выдержки из этого и сегодня очень актуального письма:

«Ваше Императорское Высочество!

<...> Я долго колебался, прежде чем приступить к этому письму, и решил написать его только потому, что глубоко убежден в полном согласии моих слов с волей Петра Ильича. Со времени его кончины я с умилением слышу отовсюду о желании почитать его память. Везде говорят о памятниках, о домах благотворения во имя его. И все это прекрасно, но если бы прежде воздвижения статуй и умножения стипендий кто-нибудь в знак почитания памяти брата догадался смягчить несправедливость, от которой он сам столько потерпел и о которой так часто и много говорил, тот поистине совершил бы дело, в котором была бы «душа» покойного. Несправедливость эта — есть материальное положение композитора-симфониста. Из всех художников это единственные, произведения которых не вознаграждаются ничем. Это единственные деятели, которые, чтобы кормиться, должны прибегать к способам зарабатывания, чуждым их специальности. Написать симфонию, сюиту, квартет — труд не меньший, чем создать роман или драму, а между тем в лучшем случае в самом выдающемся положении единственною наградою является их «даровое» исполнение в двух-трех концертах и в очень редком — «даровое» печатание партитуры. Лучшее время дня, иногда всей жизни художника-симфониста должно быть отдано заботам о хлебе, а стало быть — занятиям, совершенно чуждым его специальности.

Если бы в 1877 году, когда оперы его не давали еще денег, у брата Петра не явились неожиданные средства, позволившие ему оставить каторгу преподавания, если бы немного позже Государь Император, тогда еще Цесаревич, не являлся изредка ему на помощь, то нервная болезнь, начавшая развиваться у брата, не дала бы создать половины того, что он сделал с тех пор; скажу большие, вряд ли он дожил бы и до 53-х лет при таких условиях, потому что во время своего профессорства, чтобы сочинять, надо было урывать часы в такое время, когда занятия губительно действуют на здоровье нервных людей, т. е. вечером и ночью. «Евгений Онегин» никогда бы не был написан, если бы как раз в это время существование брата не было обеспечено помимо заработка в консерватории. Он не мог, не смел бы написать такой вещи, потому что и во время создания ее и долго после считал эту оперу «фантазией обеспеченного человека», делом, которое ничего не принесет ему в материальном положении. Только при таких условиях творчества ему удалось написать вещь свободно, как хотелось, без боязни, что она не даст денег, и именно она-то и обогатила его впоследствии. Высочайше пожалованная пенсия затем еще более увеличила его благосостояние и дала возможность сознавать себя вполне обеспеченным до конца жизни, независимо от успеха той или иной оперы. Это было великое благодеяние, которое он очень ценил и еще несколько дней до кончины говорил мне, что отсутствие в репертуаре его опер далеко не так уже заботит его вследствие постоянной, верной помощи, дарованной ему Государем Императором.

Я долго остановился на примере брата, потому что как бы от его имени только считая себя вправе обратиться к Вашему Императорскому Высочеству, но я бы мог привести много грустных примеров того, как даровитые люди вроде Римского-Корсакова, Аренского, Лядова и др. тратят много времени и труда на преподавание, где их с успехом могли бы заменить менее талантливые музыканты, а они могли бы трудиться над настоящим делом своего призвания.

Цель этого письма не одни рассуждения на эту печальную тему, а главное, обращение милостивое внимание Вашего Императорского Высочества вообще на материальное положение композиторов, просить хотя бы об одном из них <...>

2 декабря 1893 года».

Константин Константинович, имея широкое музыкальное образование, проявлял особую заботу о развитии национальной русской музыки. В дневнике — о многом говорящая запись: «Были в Дворянском собрании на 2-м русском симфоническом концерте под управлением Римского-Корсакова. Зала наполовину, если не более, оставалась пуста. Мне хотелось там быть из внимания к русской музыке. И я не раскаялся: 1-я симфония Es-dur просто меня восхитила» (ГАРФ, ф. 660, оп. 1, ед. хр. 35).

Великий князь был членом и почетным членом различных обществ: императорского общества поощрения художеств, любителей естествознания, антропологии и этнографии; действительным членом императорского русского музыкального общества, почетным попечителем педагогических курсов при петербургских женских гимназиях, Московского общества испытателей природы, любителей русской словесности при

Московском университете. Работал Константин Константинович в различных комиссиях по вопросам русской филологии, правописания, организовывал научные экспедиции, был председателем комиссии при Академии наук по градусному измерению на островах Шпицберген.

В силу всей этой многообразной деятельности Константин Константинович Романов поддерживал отношения со множеством замечательных людей России. Среди них: Тургенев, Достоевский, Чайковский, Фет, Страхов, Куинджи, Глазунов, Полонский, братья Майковы, Менделеев, Ковалевский... Был среди них и выдающийся юрист, общественный деятель, писатель Анатолий Федорович Кони (1844 — 1927). Он оставил воспоминания о Григоровиче, Гончарове, Тургеневе, Писемском, драматурге Островском, Достоевском, Льве Толстом, Алухтине, Стасове, Короленко, Чехове. Сказал свое слово и о почетном академике, поэте К. Р. (ГАРФ, оп. 1, ед. хр. 86).

Познакомились великий князь и Анатолий Федорович Кони в 1890 году, 31 ноября. В дневнике великий князь первую встречу описывает так: «Вчера познакомились с известным юристом сенатором Анат. Фед. Кони, очень приятным человеком. Пригласил его в Мраморный <...> У Кони много знакомств в литературном кругу. Он был дружен с покойным Ив. Ал. Гончаровым. Я узнал от Кони, как Иван Александрович был ко мне расположен и как дорожил каждым моим письмом, каждой строчкой. Раз в присутствии Кони он получил от меня записку и прочел ему ее. Кони попросил его подарить ему конверт с адресом, написанным моей рукой, чтобы отдать его некоему Гогелю, собирателю автографов. Ив. Алек., не говоря ни слова, спрятал конверт в ящик и запер на ключ» (ГАРФ, ф. 660, оп. 1, ед. хр. 38). Дружба, семейная, деловая, творческая, длилась четверть века.

Письма великого князя, адресованные А. Ф. Кони, говорят о высоком уровне отношений двух неординарных людей. А воспоминания Кони о К. Р. дают неожиданное представление о личности драматурга, композитора, актера из царского дома Романовых.

Письма К. Р. и воспоминания А. Ф. Кони о нем предлагаются в извлечениях, с небольшими сокращениями, без комментариев.

Предполагается выход отдельного комментированного издания дневников и писем К. Р.

Большую помощь в подготовке материала оказала публикатору заведующая отделом ГАРФ З. И. Перегудова.

И. А. Ф. КОНИ <СЛОВО О К. Р.>

<...> Когда была возобновлена Пушкинская Академия под названием Разряда Изыщной Словесности, то в числе первых 9 почетных Академиков, из представителей изыщной литературы, критики и живого слова, были избраны Великий Князь и Лев Николаевич Толстой. Из этих 9 лиц, к сожалению, остались в живых только двое — я и Короленко. Оглядываясь на нашу деятельность в течение 16 лет, я не могу не отнестись с чувством благодарного и сердечного уважения именно к Почетному Академику «К. Р.». Каким я его и буду называть. Прежде всего возникает вопрос, за что он был избран. Чтобы быть почетным академиком, нужно иметь те или другие заслуги, правильно или нет оцененные в области живого или печатного слова, а вот когда мы с этой точки зрения посмотрим на работу К. Р. <...>, то прежде всего окажется, что в его лице был избран Лирический поэт, прямой преемник Фета, Майкова и Тютчева. Сладость и чистота слога, целомудренность пера сливались у него с задушевностью и глубиной содержания. Вместе с тем и искусный переводчик, он не только переводил правильно и точно выдающиеся произведения на русский язык, но сопровождал их большими комментариями, делавшими его труд самостоятельным и глубоко продуманным. Достаточно указать на его перевод «Ифигении» Гёте, к которому он присоединил исследования об условиях, при которых была написана знаменитая трагедия. Во всем том, что писал Великий Князь, сказывается чуткое, отзывчивое сердце, глубоко чувствующее и переживающее всякое душевное настроение, всю духовную сущность любви и дружбы. Как пример тех трогательных слов или живых звуков, которые умел К. Р. издавать на своей лире, достаточно привести следующее стихотворение:

«Уж гасли в комнате огни...
 Благоухали розы...
 Мы были молоды с тобой.
 Так счастливы мы были

Нас окружавшею весной —
 Так горячо любили.
 Чему не смел поверить я,
 Что в сердце ты таила —
 Все это песня соловья
 За нас договорила...»

Это отзывчивое и чуткое сердце билось в груди восторженного ценителя природы — «от Финских хладных скал до пламенной Колхиды». Действительно, большей частью его стихотворения описывают природу. Он восторгается ею во всех ее видах: и зимой, и летом, весной и осенью — среди палящего зноя Египта и холодных пустынь Севера — везде для него звучит этот тайный голос природы и видится «не мертвый лик», как говорит о нем Тютчев.

Это восторженный поклонник искусств во всех его видах: и в живописи, и в драматическом искусстве, и в музыке. Известно, что он был очень дружен с Чайковским и проводил долгие часы в беседах с ним. По словам Чайковского, они пробеседовали раз пять часов, причем Великий Князь советовал Чайковскому написать оперу на сюжет «Капитанской Дочки», а Чайковский подал мысль Великому Князю написать драматическое произведение на сюжет Евангельский.

Это сердце билось в груди человека, горячо любящего свою родину и тоскующего в разлуке с ней. Вот что он говорил в одном из своих стихотворений:

«И вздохом я вздохнул таким,
 Каким вздохнуть один лишь русский может,
 Когда его тоска по Родине изгложет
 Недугом тягостным своим»

Или в другом месте:

«Несется благовест.. Как грустно и уныло
 На стороне чужой звучат колокола.
 Опять припомнился мне край отчизны милой,
 И прежняя тоска на сердце залегла.
 Я вижу север мой с его равниной снежной,
 И словно слышится мне нашего села
 Знакомый благовест. И ласково и нежно
 С далекой родины гудят колокола...»

Служил он этой родине верой и правдой во всех случаях, где только можно было ей служить, и в этом отношении в его стихотворениях рассыпано очень много указаний именно на его желание служить родине всеми силами души. Он так понимал русского солдата, он ценил его, ценил в нем те достоинства, которых не поймет и не оценит чуждый взор, иноплеменный. Несмотря на его высокое положение, его отношение к нижнему чину было удивительно простым и сердечным. Во всех стихотворениях, посвященных солдатам, чувствуется такое понимание солдатского горя и радости, солдатских нужд и печали, солдатских надежд и горестей, что эти стихотворения сами по себе одни могли бы составить уже значительный вклад в русскую литературу. Вот за что был избран Великий Князь. Но затем, конечно, может возникнуть вопрос о другом: будучи избран, что он делал, чтобы оправдать свое избрание. Разряд Изящной Словесности не есть Олимп, где, по выражению поэта, все избранные академики спят, как боги, «сном силы и покоя». Напротив, нужно работать, и только этой работой, так сказать, искупается то почетное положение, которое создается независимо от каких-нибудь официальных прав, ценза и преимуществ. И в этом отношении можно сказать, что К. Р. нес свою службу с тою же верой и правдой, с какой он служил вообще. Выразилось это, во-первых, в том, что во время пребывания Почетным Академиком он сделал огромный и важный перевод «Гамлета», который в окончательном виде был издан в 1902 году, написал ряд стихотворений, создал ряд отзывов о сочинениях на Пушкинскую премию и издал драматическое произведение «Царь Иудейский».

Надо заметить, что в стихотворениях Великого Князя огромную роль играло религиозное чувство, настоящее, глубокое, твердое, непоколебимое и восторженно относящееся к Христу, к его Учению и к его личности <...>

Но вера все-таки создается не сразу; обыкновенно верующий человек начинает в юности с веры, принимаемой на слух, с примеров окружающих старших, с их внушений и т. д. Эта вера, принятая, так сказать, в кредит, часто глубоко проникает в душу, связывает человека на всю жизнь. Но эта вера все-таки не такая, которая может остаться после неизбежного периода сомнений. Эта вера < > выражена хорошо у Толстого в «Войне и мире», когда Николай Ростов на волчьей охо-

те ждет, чтобы волк выскочил на него, и молится: «Господи, сделай так, чтобы он выскочил на меня, что тебе стоит» <...> Когда человек вглядывается в жизнь, то оказывается, что жизнь ему дает примеры, которые заставляют его усомниться в том, так ли это все, как ему говорили и как он принял на веру. У слепо верующего являются сомнения ввиду бессмысленности смерти молодых людей, полных сил и надежд, рядом с бессмысленностью существования разрушившихся и разлагающихся окружающее старцев, которые сами ждут смерти и не могут ее дожидаться, — при виде рек слез и крови, проливаемых человечеством, одним словом, при виде всего того, что Гамлет перечисляет в своем монологе «Быть или не быть». И тогда нередко начинается отрицание, человек начинает расходиться с верой, и если он поэт, и если ее отклонение очень сильно в отрицательную сторону, то он становится скептиком и пишет вещи, свойственные Байрону, Ришпену, Леопарди.

С другой стороны <...> Когда это сомнение пройдено, является положительная сторона религии, и если это касается поэта, то у него слышатся те ноты, которые звучали у Лермонтова, говорящего с твердой уверенностью о существовании Бога. И вот эта же вера, твердо укрепившаяся, была и у Великого Князя, как это сквозит во всех его стихотворениях, но несомненно, что был период сомнений и являлось стремление к пантеизму — признанию безличного Бога в природе, разлитого везде. Вот что писал К. Р.:

«О если б воедино слиться
С цветком, и птицею, и всей землею
И с ними, как они, молиться
Одной мольбою,
Без слов, без думы, без прощенья,
В восторге трепетном гореть
И в жизнерадостном забвеньи —
Благоговеть».

Но и эти ноты пантеизма скоро проходят, и наступает торжество веры. Однако сомнению надо было отдать известную дань, и, как поэт, как человек с склонностью и с любовью к драматургии, поэт К. Р. во всяком случае не мог не остановиться на великих произведениях Шекспира, и он выбрал то, что отвечало этому периоду сомнений, — то есть Гамлета. Дело в том, что сомнения играют огромную роль в произведениях Шекспира: или это сомнение в справедливости предприняемого дела, — тогда это будет Макбет; или это сомнение в разумности совершенного, — тогда это будет Лир; или это будет сомнение, благодаря которому разрушено личное счастье, — тогда это будет Отелло; или это будет сомнение во всем и во всех, и прежде всего в самом себе, — тогда это будет Гамлет. Тут применимо мнение известного критика Крейзига, говорящего, что герои Шекспира несут свою судьбу в себе. С этой точки зрения Гамлет есть жертва своих постоянных сомнений... «Быть или не быть» — весь этот монолог отвечает сменяющим его сомнениям. И, наконец, Гамлет, умирая, ничего не находит другого сказать, что «конец — молчание».

Этому переводу К. Р. посвятил много лет и много труда. Можно сказать, что перевод лучший из тех, которые существуют у нас. Если он не всегда совершенен по стиху, то, во всяком случае, по точности, по соблюдению подлинника, что по особенностям английского стихосложения очень трудно, это перевод, представляющий громадные достоинства. Правда, есть один перевод, который мог бы стать еще выше, но это не перевод, а переделка, очень талантливая, в которой много произвольного, а именно — «Гамлет» в переводе, или переделке, Полевого. Достаточно, чтобы охарактеризовать эту переделку, сказать следующее: все мы знаем чудесное и глубокое выражение «человек он был», но этого у Шекспира нет, это ему Полевой приписал, а у Шекспира Гамлет говорит: «во всем, во всем король был человек совершенный».

Но в смысле точности, верности, затем любви к своему делу Гамлет Великого Князя, конечно, достоин занять одно из первых мест. Везде в нем чувствуется могучее веяние шекспировского духа. Этот перевод сопровождается обширными приложениями. Во-первых, к нему присоединено подробное изложение и исследование источников самой трагедии, потом исследование изданий и оценки их, потом цитаты игры тех или иных актеров, — Мочалова, между прочим, — затем примечания, в высшей степени богатые, филологические, исторические, из области ботаники, психиатрии и юридической, — причем тут оказалось широкое и благородное отношение Великого Князя к труду некоторых лиц, которым он сделал честь обратиться за специальными разъяснениями. Я лично давал некоторые разъяснения юридического свойства по очень сложным вопросам, возникающим

из разговора могильщиков. Я был тронут, что Великий Князь в III томе поместил целиком мои разъяснения с указанием, что они принадлежат не ему, а мне.

Итак, сомнение было побеждено, и затем наступила полная вера и умиленное отношение к Христу, учителю любви к людям, затем явилось, как всегда бывает <...>, желание пропаганды, желание поделиться с другими и в той форме, которая наиболее доступна человеку, — оратору в речи, священнику в проповеди, поэту в драматической форме. Но как поделиться, каким образом передать свою веру в Христа, в искупление, в лучшую жизнь, в награду за земные страдания?

<...> Можно обратиться к народному эпосу, к народной легенде, к тому, как представляет себе народ праведную жизнь на Земле, состоящую в умении жертвовать собой для других и страдать с твердой верою и перейти затем в то иконописное царство небесное, которое себе представляет народ, — и тогда это будет «Град Китеж» с чудною музыкой Римского-Корсакова и чудесным либретто Бельского. Наконец, можно обратиться прямо к Христу и изложить эпизоды из его жизни таким образом, чтобы величие и высота Его учения, прелесть и чистота того аромата, который истекает из этого учения среди толпы невежд, враждебных людей, лицемеров, фарисеев, трусов и ожесточенных людей, являлось бы с особенной силой. Этот последний путь избрал Великий Князь. Но затруднение выведения Христа на сцену все-таки существует, и у многих могут в этом отношении явиться некоторые соображения, которые, конечно, приходили в голову и Великому Князю. В средние века существовали мистерии, когда действующим лицом являлся Христос, но это были, так сказать, особые духовные представления, это были религиозные вещи, которые давались с возвышенной целью и в известной обстановке. Надо заметить, что и ныне в «Страстях Господних» обстановка особенная, там люди готовятся в течение 7 лет, там роли наследственные в известной семье. Они в обыкновенное время уже ничего не играют, готовятся постом и молитвой и причащаются перед тем, как начать представление; это своего рода священнодействие. Но допускать на обыкновенном театре представления с выведением на сцену Христа, причем накануне будет даваться какая-нибудь модная пьеса о «получении пощечин» или о «заcone дикаря», или тот же самый актер, который накануне произнесил злостные монологи Франца Мора, на другой день будет благоговевать словами Иисуса Христа, — довольно рискованно <...> В Западной Европе существуют пьесы, в которых выведен Христос, например, «Дочь Пилата», есть ненапечатанная пьеса пастора голландского, тоже посвященная Иудее, касающаяся Христа. Но в них Христос не главное действующее лицо, Он остается в стороне, и едва мелькает. Великий Князь остановился на таком приеме: он решил *не выводить на сцену Христа*, а представить *струю Его божественного учения*, захватывающую женщин, восторженного Иосифа Аримафейского и сомневающегося Никодима и текущую среди трусости и злобы людской. И он выполнил эту задачу чрезвычайно удачно. Во-первых, действие представления, взятого из последних дней земной жизни Христа, развивается естественно и жизненно, и интерес к нему не ослабевает ни на минуту <...> В этой трагедии помещены такие глубокие контрасты, которые придают действию чрезвычайную силу. Все, кто присутствовал на представлении, подтвердят, что в некоторых местах невозможно удержаться от волнения <...>, таковы, например, сцены с Пилатом.

Пилат — это, в сущности, губернатор, которому хочется показать лицом свою губернию, свою Иудею. Приезжает ревизор-префект из Рима, а в это время евреи кричат, шумят, требуют, чтобы им отдали того человека, которого Пилат совсем не знает, который ему представляется полусумасшедшим <...> Грозиящие возмущением вопли надо утолить, иначе это может быть понято как бездействие власти, как неумение управлять губернией и народом, соблюдать возможность сказать, что «все обстоит благополучно». Префект приедет в Рим и скажет, что в губернии не все обстоит благополучно, и Пилат может быть причислен к министерству, что очень неудобно. И вот является сцена, в которой Пилат старается быть любезным со своим гостем и тревожится криками толпы, и жена Пилата, которая втайне следует Христу, но которая все-таки должна занимать гостя, говорит с ним о скачках в Риме и новостях и модах, когда у нее сердце не на месте. Это волнует зрителя. Затем Пилат несколько раз оставляет гостя, выходит на балкон, говорит с народом, а народ требует распятия Христа. Наконец, народ говорит ему жестокое для труса слово: «Еси не казнишь, не друг еси Кесарю». Это окончательно грозит опалой Тиверия <...> И в то время, когда идет светский разговор, приводит на сцену раб, цедит из фонтана кувшин и уходит с этим кувшином, не произнося ни слова. Зритель понимает, что Пилат решил **УМЫТЬ РУКИ**.

Помимо поэтических достоинств «Царя Иудейского», впечатление от него таково, что можно с уверенностью думать, что многие, которые пришли на это представление как на светское удовольствие, больше заботясь о своем наряде и о том впечатлении, которое они произведут на окружающих, они ушли с расстроенным, взволнованным, потрясенным и умиленным сердцем и, быть может, повторили слова Филарета в ответ Пушкину: «вспомнись мне — забытый мною!»

В этом состояла общественная заслуга автора этой драмы. Она была поставлена на сцене, когда наше общество чрезвычайно предалось разным суетным удовольствиям, когда все время у светского общества проходило в забавах, на скачках, в кинематографах, в игре на тотализаторе, в созерцании танго, в утонченных мечтах, поливаемых реками шампанского.

Великому Князю пришлось, однако, много испытать тревог и волнений по поводу своего произведения. Не все его понимали, сыпались осуждения, неосновательные, поверхностные. Я имел случай слышать от одной дамы, супруги довольно высокопоставленного лица, нападения на это произведение, причем она негодовала, что на сцене выведен Христос и Божия Матерь, а также Апостолы. На мои уверения, что нет ничего подобного, я получил ответ: «Помилуйте, ведь мой муж был в Эрмитаже и сам это видел и возмущался». Пришлось снова подтвердить, что на сцене Христоса нет и 11 Апостолов тоже нет. «Но почему же 11? — спросила она меня недоумевающе, — а не 12-ти?» И каюсь в том, сказал, что 12-й — Иуда — сидит среди публики.

Между «Гамлетом» и «Царем Иудейским» стоят отзывы Великого Князя по сочинениям, которые представлены были в Академии на Пушкинские премии. Из этих отзывов выясняется чрезвычайно привлекательный и ясный образ Великого Князя как человека. Мы знаем его отношение к Родине, его отношение к Богу, но тут мы видим его отношение к людям. Он называл себя в одном стихотворении «баловнем судьбы», и, действительно, его высокое положение, его высокое родовое происхождение, та обеспеченность, в которой он находился, — это избавляло его от тех камней преткновения и терний, которые приходилось преодолевать и испытывать многим, чтобы достичь жизненных благ. Но он смотрел глубже на жизнь, этот баловень судьбы, страдая от созерцания жизненных печалей и недостатков. И поэтому <...> не сделался тем, чем мог сделаться, блестя образованием, высокопоставленный, обеспеченный, то есть по выражению Герцена, «умной ненужностью». Напротив, он всей душой старался служить людям, насколько мог и умел; в его душе звучало: «tat twamasii» — изречение браминов: «это тоже ты». В этом состоит, по их мнению, задача жизни, это же в сущности и задача всякого истинного христианина, т. е. в умении ставить себя на место другого. Во многих произведениях Великого Князя звучит этот голос совести. Он сам говорит: «О если бы совесть в жизни уберечь». Это его лучшая мечта <...>

И затем, в одном из стихотворений содержится синтез жизни в том смысле, как он его понимал:

«Поверь, мой друг, не страшно умирать,
 Когда средь огорченья и страданья,
 Средь испытаний и труда
 Ни разу грешные уста
 Не изрекали слов роптанья,
 Когда умели нежною душой
 Мы разделять чужое счастье,
 Когда в печали, полные участия,
 Мы жили радостью чужой,
 Мы плакали чистосердечно
 О горемычной участи людей,
 И относились беспечно
 К печали собственной своей».

Это сказалось и в его отзывах. Будучи поэтом, он имел право предъявлять строгие требования и к себе, и к другим поэтам <...> Требовал, чтоб поэт не потворствовал переменчивым и преходящим вкусам толпы и не был стихотворцем, к которому дрессированная муза является по первому зову. Вдохновение, по его мнению, должно являться не по Заказу, а в силу потребности.

Задача поэта представлялась ему возвышенной и ответственной. Но рядом с этим его радовало и восхищало, когда оказывался талант в каких-либо подлежавших его разбору произведениях. Он готов был забыть теньевую сторону произведения и приветствовать его светлую сторону с восторгом в своих отзывах <...> Это свойство его выражалось далее в том, что когда кто-либо из начинающих поэтов

оказывался даровитым человеком, но материально в тяжелом положении, требующем поддержки и одобрения, Великий Князь приходил к нему на помощь. Мы знаем произведения второстепенных поэтов с предисловием, написанным Великим Князем, мы знаем, как он стремился подвязывать крылья разным самоучкам, испрашивая для них пенсии, рекомендуя дать премию и т. д.

Одним словом, доброе, снисходительное отношение к людям, умение поставить себя на место начинающего поэта и понять все те трудности, которые он должен испытать, прежде чем он пробьется, было свойственно Великому Князю. Но зато он был непоколебим в своей любви к русскому языку, отличая те злоупотребления в русском языке, которые проявлялись в последнее время до крайности, то обилие иностранных слов, совершенно не нужных, те выражения, в которых пустая форма блуждает в пустой мысли; он отличал фальшивые и изысканные выражения <...>

Вот, собственно, все, что можно сказать о деятельности Великого Князя как литератора. Надо сказать, что мы, его товарищи по Разряду Изыщной Словесности, давно уже видели, как колеблется его здоровье, как пламя его жизни все больше угасает на ветре житейских волнений и тревог. Он пережил тяжкие минуты тревог за близких и дорогих ему лиц, когда ему пришлось возвращаться из Германии после объявления войны. Затем судьба нанесла ему тяжкий удар, отняв у него сына, который являлся его продолжателем, который горел, пылал и был полон тем, что Некрасов называл «святым беспокойством» <...>

Он задумал новое драматическое произведение, очень интересовался биографией Великой Княгини Елены Павловны, но в душе чувствовал, что ему осталось жить немного. В одном из стихотворений он говорит:

«Как знать, — неведомым крылом
Уж веет смерть и надо мною...
И если б с радостным челом
Отдаться в руки ей без боя
И с тихой кроткою мольбою,
Безропотно, с улыбкой ясной,
Угаснуть осенью безгласной
Пред неизбежною зимой».

Здесь, разумеется, осень жизни и зима жизни, но прошла весна, недавняя весна нынешнего года, и она не дала свершиться зиме в жизни Великого Князя <...> Смерть наложила на него свою леденящую руку неожиданно, почти во время чтения мемуаров Кюстина об Елене Павловне <...>

В разборе стихотворений Лохвицкой, представленных на Пушкинскую премию, он отмечает с особенным чувством одно из стихотворений этой поэтессы, посвященное душе ее знакомой, покинувшей земную юдоль:

«Ты была безропотно покорна,
Ты умела верить и любить,
Дни твои — жемчужин белых зерна,
Низанных на золотую нить...
Вечный мир душе твоей прекрасной,
Отстрадавшей муки бытия».

<...> Мы можем повторить, обращаясь к незабвенной тени: «Вечный мир душе твоей прекрасной, отстрадавшей муки бытия!»

II. ПИСЬМА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА К АНАТОЛИЮ ФЕДОРОВИЧУ КОНИ

(1891 — 1915)

1

Петербург,
14 ноября 1891.

Многоуважаемый Анатолий Федорович, <...>

Во исполнение данного мною обещания посылаю вам письма ко мне Ивана Александровича¹ (Гончарова. — Э. М.). Я уверен, что чтение их доставит вам не мало удовольствия, и не прошу вас спешить возвращением этих писем.

Константин.

¹ Переписка К. Р с Гончаровым началась в 1884 году И. А. Гончаров написал К. Р 34 письма.

Пользуюсь случаем выразить вам признательность за доставление № Недели, в котором помещена ваша любопытная заметка о покойном Ив. Ал. Гончарове

2

Павловск, 30 августа <18>97.

Многоуважаемый Анатолий Федорович, прежде чем отдать I акт переведенного мною «Гамлета»² в печать, не могу не представить на ваш суд переделок, которые я ввел в текст по вашим указаниям. Вы так верно и тонко заметили неудачные места, что я воспользовался каждым из ваших замечаний за одним только исключением, а именно, *гробные* пелены (1, 4, 48) остались без изменения на том основании, что это прилагательное встречается в славянском переводе пасхального Канона Иоанна Дамаскина: «Видите *гробные* пелены, тецйте и миру проповедите». Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз выразить вам благодарность за столь внимательное отношение к моему труду <...>

Искренно вас уважающий

Константин.

3

Павловск, 30 августа <18>97.

Многоуважаемый Анатолий Федорович, я обращался к вам с просьбой помочь мне в некоторых сомнениях, как перевести на русский язык слова Гамлета в последнем акте. Это слова специальные, юридические, и, следовательно, никто лучше вас не может оказать мне содействие. Если бы мое письмо затерялось, я надеюсь, что вы не посетуете на меня за вторичное описывание монолога и по-английски, и в немецком переводе <...>

Искренне вас уважающий

Константин.

4

Павловск, 21 августа — 10 сентября 1897

Многоуважаемый Анатолий Федорович, в последнем акте, где Датский принц поверяет своему другу Горацию размышления над черепом, выброшенным могильщиком из могилы, которую он копает для Офелии, я стал в тупик перед рядом выражений мне, как специалисту, неизвестных <...> По мере того, как перевод подвигается, мне неоднократно приходилось прибегать к знающим людям, например, к академику Веселовскому за толкованием некоторых темных мест, к покойному К. Н. Бестужеву-Рюмину, большому знатоку Шекспира, к зоологам за названиями **животных** и т. д. Очень надеюсь, что вы не откажете мне в ваших сведениях.

Искренно вас уважающий

Константин.

5

Павловск, 29 октября 1897.

<...> Вы много утешили и ободрили меня, многоуважаемый Анатолий Федорович, лестным отзывом о I акте «Гамлета» в моем переводе. Уж и не знаю, за что больше благодарить вас, за похвалу или за драгоценные замечания. Читая их, я невольно припомнил слова покойного Майкова, которыми он отозвался на мои замечания об одном из его последних стихотворений, присланном мне на разбор, вот эти слова: «Я должен сознаться, что вы поймали меня и пристыдили <...> Я сам знал и чувствовал, да думал: «Так сойдет, не заметят? Ан вот и не сошло!» Вы тысячу раз правы <...> (Я вполне отдавал себе отчет, насколько «О, как спешит она к одру любодеежня» слабо передает оригинал). Я совершенно согласен с вашими указаниями и по ним пересмотрю и постараюсь переделать все замеченные места. Од-

² К. Р. перевел Шекспира в 1889 — 1900 годах. «Гамлет» в переводе К. Р. ставился в Александринском театре.

ного только не уступлю вам, это «*гробных* пелен» <...> Вы скажете, что это по-славянски; но обращению Гамлета к призраку отца подобает приподнятый тон, в котором славянские слова вполне уместны <...>

Посылаю вам II акт и 1-ю сцену III-го с примечаниями <...> Нечего и говорить, что я буду бесконечно вам благодарен за всякое порицание, которое трудящемуся всегда полезнее одобрения; и прошу вас, будьте поосторожнее и отложите попечение задеть за живое авторское самолюбие.

Искренне ваш
Константин.

6

21 февраля 1899.

Многоуважаемый Анатолий Федорович, с искренней благодарностью возвращаю вам очерк И. А. Гончарова о «Гамлете». Не скрою от вас, что мне очень бы хотелось поместить кое-что из этого очерка в свои примечания к переводу. Но у меня рождается вопрос: не противоречил ли бы такой поступок предсмертной воле покойного Ивана Александровича?

Крепко жму вам руку
Константин.

7

3 марта 1899.

Многоуважаемый Анатолий Федорович, ввиду того, что из 20-ти страниц рукописи И. А. Гончарова о «Гамлете», принадлежащей Никитенко, мне надо для моих «Примечаний» воспользоваться только какими-нибудь 7-ю страницами, я снова решаюсь обратиться к вам с вопросом: законно ли такое позаимствование, или оно недопустимо до юридического определения прав г-жи Никитенко на имеющиеся в ее руках бумаги?

Я всегда слышал, что напечатание извлечений из чужого напечатанного сочинения не считается плагиатом и законом не возбраняется. Если это так, то распространяется ли подобный взгляд на рукописные, еще не появившиеся в печати произведения? Словом, буду ли я в праве пользоваться 7-ю страницами рукописи и поместить их среди приложений к моему переводу? Если бы могла возникнуть хотя малейшая тень неблагоприятности от такого поступка, то, конечно, я от него откажусь.

Искренне ваш
Константин.

8

Мраморный, 8 января 1900.

Многоуважаемый Анатолий Федорович, я бы желал, чтобы вы верили, как искренно я вам благодарен за сочувствие и содействие приложениям к моему переводу «Гамлета». Выборкам из статьи И. А. Гончарова «Опять «Гамлет» на русской сцене», составляющим несколько более 1/5 всей статьи, я полагал бы предпослать следующую заметку: «Два отрывка из статьи И. А. Гончарова по поводу исполнения г. Нильским роли Гамлета. Эта статья, не бывшая напечатанной, досталась в рукописи среди писем и других бумаг Софье Александровне Никитенко, в конверте с надписью на нем покойного Гончарова: «Прошу Софью Александровну все ненужное или не имеющее значения, что она найдет в этом пакете, — уничтожить».

Книжка «Гамлета» будет послана Софье Александровне немедленно.
Константин.

9

Мраморный, 14 января 1900.

< .. > Вы бесконечно обязали меня, многоуважаемый Анатолий Федорович, сообщив письмо Мочалова к Беклемишеву и предоставив мне включить выдержку из него в мои приложения к переводу «Гамлета».

Сердечно преданный вам
Константин.

10

Петербург 11 апреля 1900, вторник.

Христос воскрес!

Искренно уважаемый Анатолий Федорович, <...>

Сегодня я проводил к месту вечного упокоения нашего дорогого вице-президента Л. Н. Майкова. Это и для всей Академии, и для Русского отдела, и лично для меня тяжкая, незаменимая утрата.

Сердечно вам преданный

Константин.

11

Мраморный дворец, 1 января 1901.

Любезные, сердечные и сочувственные ваши строки искренно обрадовали и тронули меня. Спешу откликнуться вам, многоуважаемый Анатолий Федорович, в свою очередь пожелав вам здоровья, счастья и, главное, душевного мира в этом первом году XX-го века. Что-то принесет он нам, задаете вы себе вопрос. Для разума, хотя бы во всеоружии знаний и науки, этот вопрос неотразимо страшен, но для сердца, разогретого непоколебимой верой в правосудие Промысла, будущее, как оно ни загадочно, не представляет ничего пугающего. Лишь бы каждый совестливо исполнял свой долг. Я думаю, каждый век имеет свои светлые и темные стороны и великих и малых людей, и, хотя подобно вам возмущаюсь упадком нравственного уровня в наши дни, утешаюсь уверенностью, что есть же и хорошие люди. И не ради ли десятка праведников была обещана пощада Содому?

Хочется мне поделиться с вами новинкой; может быть, вы скажете словами Фета, что я «дерзаю на запретный путь», пускаюсь в портретную живопись, но тем не менее отгадайте, с кого списан мною нижеследующий сонет, заглавие которого нарочно опускаю:

* * *

Не только тем велик и дорог он,
Что бранной славой жизнь его богата
И что нигде он не был побежден —
Нет: верой в родину была объята

Его душа; он верю силен,
Он полюбить умел меньшого брата,
И светлый образ русского солдата,
Наш чудо-богатырь в нем воплощен.

Молитвою готовился он к бою
И, глазомер венчая быстротою
И натиском, врага шел поражать.
Сразив, его шадил он милосердно.
Вот отчего Россия чтит усердно
Создателя науки побеждать.

Эти 14 строк стоили 4-х месяцев труда искренно преданному вам

К. Р

12

2 января 1903.

<...> Вы несказанно тронули и обрадовали меня, глубокоуважаемый Анатолий Федорович, присылкой автографа Ф. И. Тютчева. Его стихотворение г-же Плетневой неподражаемо хорошо; по страстности, ясности и образной красоте нельзя требовать большего совершенства от лирической пиесы. Этот драгоценный листок обогатит мое собрание редких автографов. Если бы не постоянно доброе ко мне отношение ваше, я бы стыдился принять такой ценный подарок <...> Верьте моему искренно-признательному уважению.

Константин.

13

2 октября 1903.

Многоуважаемый Анатолий Федорович, вместо благодарности за доставление экземпляра издания «Главных деятелей освобождения крестьян» скажу вам, что с захватывающим увлечением прочел вашу статью о В<еликой> К<нягине> Елене Павловне. А знаете ли вы, кто натолкнул покойную мою тетку на ее широкую деятельность? Не понимаемая мужем и не слишком счастливая <...>, она делилась своими печальми с императором Александром I. Он посоветовал ей вознаградить себя за недостаток личного счастья устройством счастья других <...>

Позвольте указать на маленькую неточность. На стр. 15 вы приводите разговор Николая I с Киселевым, в котором император говорит, что в мысли о необходимости преобразования крепостного права встречает прямое противоречие даже в братьях своих. Разговор происходил в 1834, когда у государя оставался в живых только один брат, так как Константин Павлович умер три или четыре года перед тем.

Крепко жму вам руку.

Константин.

14

6 апреля 1904.

<...> Заведующий сооружением храма Воскресения Христова на Екатерининском канале генерал граф Ив<ан> Дм<итриевич> Татищев вручил мне проекты надписей, которые предполагается вырезать на гранитных досках наружных стен храма для увековечения главнейших деяний императора Александра II. Гр<аф> Татищев сказал мне, что весьма желал бы узнать и ваше, многоуважаемый Анатолий Федорович, веское мнение об этих надписях.

Искренно ваш

Константин.

15

Петербург, 15 июня 1904.

<...> Одна из столичных газет, кажется, «Биржевые ведомости», указала на истечение 25-летнего срока со дня первого появления в печати моего стихотворения, или нет, не появления в печати, а создания первого стихотворения. Действительно, 1879 год означен на первой странице моей книжки, но я сам совершенно упустил из виду это обстоятельство. Оглядываясь на эту четверть века, я искренно и сокрушенно сознаю, что сделано очень мало и что сделанное слишком ничтожно и незначительно. За последние 15 лет Муза очень скупо дарит меня своими улыбками, а иногда, как, напр<имер>, за весь 1903 год, совсем не дарила; я не хозяин своего вдохновения и вызывать его насильно не умею <...>

Вчера предали земле человека, мне еще более близкого, А. А. Ильина. Вы, может быть, помните ряд моих стихотворений под заглавием «Жениху и невесте», в которых некоторые неосторожные мои критики хотели находить биографические черты, считая меня «женихом», а мою жену «невестой». На деле «женихом» был теперь покойный Ильин; мне случилось быть свидетелем его романа. Это объяснит вам, что в Ильине я утратил близкого сердцу человека...

Крепко, сердечно и благодарственно жму вам руку.

16

13 марта 1905.

Сердечно благодарю вас, многоуважаемый Анатолий Федорович, как от имени жены, так и своего, за доброе ваше сочувствие нашей радости по поводу появления восьмого ребенка и второй дочери. В эти невыразимо грустные дни тяжелых испытаний, разочарований, смуты, брожения и всеобщей и повсеместной распатанности и бестолочи отрадно найти хотя б в родной семье покой и забвение.

Надо быть бодрым, нельзя падать духом, должно верить в лучшее будущее, не поддаваясь малодушным сомнениям. Но все же тяжело, и стыдно, и больно.

Душевно ваш

Константин.

17

16 дек<абря 1>905.

Искренно благодарю вас, глубокоуважаемый Анатолий Федорович, за «Очерки и воспоминания», которые, как и все выходящие из-под вашего пера, мне дороги.

Сердечно ваш

Константин.

18

Павловск, 17 февраля 1907.

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович, как не сочувствовать вашей мысли о чествовании столетия со дня рождения покойного нашего друга И. А. Гончарова торжественным заседанием в Академии наук. Было бы очень хорошо, если бы вы взяли на себя труд произнесения речи в память Ивана Александровича. Ввиду нескромностей, которые вопреки определенной воле покойного позволил себе Г. Военский, предав гласности некоторые письма И<вана> А<лександровича> и выставив его в непривлекательном и ложном свете, полагаю, что его друзьям и почитателям необходимо всеми мерами восстановить истину; если для этого понадобится почерпать эти и другие подробности из находящихся в нашем распоряжении писем И<вана> А<лександровича>, то, полагаю, и сам дорогой наш покойный одобрил бы такое нарушение его завета, направленное на его защиту. Знакомые вам письма И<вана> А<лександровича> ко мне по первому востребованию будут вам доставлены. Целиком они не могут быть напечатаны ни теперь, ни даже через много лет <...> Мне кажется, извлечениями из писем можно и даже должно пользоваться, но лишь поскольку они послужат опровержению недобросовестных обвинений покойного, но и в этом пользовании надо соблюдать всевозможную осторожность.

<...> Речь Н. А. Котляревского об А. К. Толстом имела очень большой успех, большая зала Академии с трудом вмещала нахлынувшую публику <...>

Скоро вы за границей будете с удвоенным нетерпением ожидать известий об открывающейся через 3 дня Г<осударственной> Думе, и ваше больное сердце забьется еще тревожнее и мучительнее. Дай бог, чтобы ему было суждено биться не только болезненно, но и радостно.

Искренно ваш

Константин.

19

Павловск, 27 апреля 1907.

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович, <...> Поздравляю вас с праздниками. Думаю, что невесело было вам встречать Пасху на чужбине <...> Перерыв занятий или, вернее, разглагольствований, и притом часто далеко не добросовестных или прямо изменческих и преступных, в нашей Г<осударственной> Думе «народного невежества» должен был и вам доставить некоторый отдых; за эти две недели газеты прочитывались бегло. Благодаря отсутствию вестей о Думе, а потому и настроению духа менее подвергалось испытанию, если, впрочем, не считать безобразий, которые и при молчании Думы, но несомненно не без содействия ее представителей, продолжают неустанно твориться.

Письма Ивана Александровича поджидают вашего возвращения на Север. Как не согласиться с оценкой поэтического чутья, которую вы делаете, говоря о большинстве членов Разряда изящной словесности. Для примера укажу на Н. П. Кондакова, который как-то выражал мне сетование на Буренина за беспощадное гонение на Надсона, обладавшего-таки поэтическим даром по мнению Никодима Пав-

ловича <Кондакова> Я же глубоко убежден, что если Буренин и виновен в нападках на личность Надсона, т. к. писал не биографию, а критические очерки, то тысячу раз прав, отрицая в нем поэтичность. Укажу на К. К. Арсеньева, не умеющего ценить по достоинству тонкой и неподражаемой поэзии Фета <...>

В вашей ссылке на Тургеневский отзыв о Стасове я невольно прочел и ваше личное сочувствие этому отзыву и очень ему обрадовался. Еще лет 30 назад, безусым юношей, я прочел одну из статей Стасова об искусстве и помню, что пренебрежительный взгляд на Рафаэля больно оскорбил меня, как кощунственная выходка. Суждение же Стасова о Пушкине как об «ничтожестве», вами приводимое со слов Тургенева, привело меня в такое негодование, что я умышленно не присутствовал вчера в Академии на публичном чествовании нашего покойного сочлена.

Насколько легковесны, необоснованны и переменчивы были литературные мнения Стасова, достаточно явствует из след<ующего> случая со мною: издав первую книжку своих стихотворений, я послал экземпляр ее и Стасову; он ответил мне письмом, в котором предостерегал от *lamentoso* или *doloroso*, точно не помню, отличающ<его>, по его мнению, мои стихи. Это было в 80-х годах. Прошло более 10-ти лет, и тот же Стасов пишет мне в самых восторженных выражениях о моем стихотворении «Я баловень судьбы» (весьма слабым в поэтическом отношении) <...> Он его вычитал в каком-то журнале <...> Стасов решил, что оно превосходно <...> и что Публичной библиотеке необходимо иметь первоначальный черновой набросок этих стихов для хранения в отделе автографов. Я поблагодарил за честь и напомнил, что стихотворение, о коем шла речь, напечатано в книжке, имеющейся у него, Стасова, уже давно, а черновика не послал, считая по меньшей мере нескромным давать свои наброски в книгохранилища.

Искренно вам преданный

Константин.

20

Павловск, 11 сентября 1907.

<...> Должно быть, мы скоро соберемся в Академии для ознакомления с рецензиями сочинений, присланных на Пушкинскую премию. Только вчера приступил к разбору доставшегося на мою долю.

Крепко жму вам руку.

Константин.

21

5 ноября 1907.

<...> Посмотрим, что будет дальше: обстоятельства, сопровождавшие открытие Гос<ударственной> Думы третьего созыва, представляются мне утешительными и положительно невероятными после того, что пережито Россией за последние два-три года. Можно ли было при открытии первой Думы, и особенно второй, предугадать, что настроение настолько изменится? Поверил ли бы кто-нибудь, если бы тогда сказали, что через полтора года избран будет в председатели человек, подобный Хомякову?

Константин.

22

Павловск, 27 ноября 1907

Дорогой Анатолий Федорович, было бы любопытно узнать мнение о «Жар-Птице» Бальмонта. Не могу сказать, чтобы мне эти последние его стихи были вполне по душе. Правда, в иных есть русский дух, есть народная поэзия, есть сказочная прелесть и таинственность; но эти положительные стороны «Жар-Птицы» испорчены недостатком искренности автора, деланностью, искусственностью, а подчас и прямо нелепостью и бессмыслицей, до которой очень падают Бальмонт на протяжении всего своего творчества.

Ваша мысль о предложении Академии дать этой книге почетный отзыв возбуждает во мне сомнение; если бы Разряд изящной словесности и признал «Жар-Птицу» достойной такого отзыва, то ради справедливости должен бы был одно-

временно высказать негодование и отвращение по поводу стихов Бальмонта, помещенных в прилагаемых книжках «Красного Знамени». Некоторые из этих «Песней мстителя» (какое почтенное в устах истинного поэта заглавие!) помечены 21 июня 1906 г., а на первой странице «Жар-Птицы» значится: «1906 — Лето», след^довательно», Бальмонт еще в прошлом году блуждал по «извилистым и порою грязным», как вы выражаетесь, путям, одновременно выступая на свою настоящую дорогу национального, «народного поэта».

<...> Обратите внимание на рассказ М. Горького «Русский царь» < ..>

Искренно ваш

Константин.

23

Стрельна, 8 июля 1908.

Сердечно уважаемый Анатолий Федорович, <...> давно не заглядывал я в «Вестник Европы» и, не укажи вы мне на майскую его книжку, я бы не узнал, что в ней помещены отрывки из ваших воспоминаний <...> Позвольте указать вам на одну неточность: Ф. М. Достоевский скончался не в годовщину дня смерти Пушкина, 29 января, а днем раньше, 28-го, в день смерти Петра Великого и памяти преподобного Ефрема Сирина, творца великопостной молитвы «Господи и Владыка живота моего». Весть о кончине Федора Михайловича дошла до меня в Алжире и произвела на меня приблизительно такое впечатление, как на описываемого вами Лоренца. Я знал, любил и почитал Федора Михайловича, он бывал у меня, читал вслух и дарил добрым вниманием. С уверенностью утверждаю, что день его кончины 28-го, а не 29 января.

Искренно ваш

Константин.

24

Павловск, 25 ноября 1908.

<...> Я боюсь, как бы вам опять нельзя было порадовать нас в субботу присутствием на втором литературно-музыкальном вечере, посвященном истории и искусству Великого Новгорода.

<...> Вероятно, вы прочли 1-й том изданных Э. П. Радловым писем Вл. Соловьева, в которых несколько раз упоминается и ваше имя. Верно, у вас тоже сохранились его письма. Как хорошо бы было увидеть их хотя бы во 2-ом томе. Какие неподдельно веселые, блещущие остроумием и увлекательные письма!

Крепко жму вашу руку.

Константин.

25

Павловск, 17 февраля 1909

<...> Меня очень обрадовало, что вы с Онегиным знакомы, что он вам пишет и, по-видимому, склонен поддаться вашему влиянию. И вот я возлагаю большие надежды на вас, уповая, что вам удастся разубедить Онегина в предвзятом недоверчивом отношении его к Отделению русского языка и словесности и склонить к уступчивости. Он почти intractable в вопросах о приобретении Академией его богатого собрания <...> Мы вскоре соберемся в комиссии по устройству Пушкинского Дома. Кончаю разбор Бунина, недоумевая, почему понадобилось ему при переводе Байроновского «Каина» оставить непереверденными изрядное число стихов.

Искренно ваш

Константин.

26

Павловск, 17.VI.09.

<...> Отрадным впечатлением веет от письма архиепископа Антония авторам сборника «Вехи» < . > .

27

Павловск, 18 сентября 09.

Имею вновь вышедший 2-й том писем Вл. С. Соловьева, в числе которых с удовольствием нашел и обращенные к вам. В Соловьеве пленяет постоянное стремление к добру и правде, неизменное, иногда, быть может, непрактичное и незаслуженное благоволение к людям и незлобивость с бодростью духа и юмором.

Мой перевод Гётевой «Ифигении» окончен и подвергается теперь последней отделке

Крепко жму вашу руку, искренно вас любящий

Константин.

28

Павловск, 24.X.09.

«Сердце сердцу весть подает»; я собирался писать вам, милый Анатолий Федорович, как обрадовал меня на письменном столе вид вашего конверта <...> Я думаю, что не опшибусь, сказав, что угадал, о ком вы говорите, упоминая в статье об авторском праве об одном лице, с которым переписывался И. А. Гончаров, полагаю, что вы разумеете его письма ко мне, выражая желание, чтобы они были напечатаны. Если я понял верно, то не встретил бы к этому затруднений, как при переводе с иностранного языка иногда следует удаляться от дословной точности, чтобы приблизиться к мысли подлинника, так и для того, чтобы сохранить в неприкосновенной чистоте волю и добрую память дорогого умершего, можно и должно нарушить его завещание. Письма И<вана> А<лександровича> ко мне теперь у вас. Может быть, вы подумаете, как бы и где их напечатать целиком, или в извлечениях. Думаю, что моих писем печатать не следует.

Наконец я нашел время прочесть ваши воспоминания о совращениях в православию в Балтийских провинциях <...> Стыдно и обидно становится за тупость и недальновидность государственных мужей, часто вовсе не глупых и очень просвещенных (как, напр<имер>, К. П. Победоносцев), которые даже в XX веке еще не додумались, что палкою и полицейскими мерами смешно, и глупо, и бесцельно, и гадко ограждать господствующую веру, борясь с отпадающими от нее. Еще в XVIII веке Екатерина говорила сыну Павлу, что пушками нельзя бороться с идеями.

Дружески жму вашу руку.

Константин.

29

Павловск, 13.X.09.

Милый Анатолий Федорович, <...> вы, может быть, уже слышали, что выпущенная только 25 сентября в числе 15 т<ысяч> экземпляров академическая книжка поэта Кольцова уже успела разойтись без остатка и постановлено выпустить второе ее издание, исправленное и даже дополненное, на этот раз в количестве 20 т<ысяч> экземпляров. Это отрадное явление в обновленной издательской деятельности Академии. Читались Записки о Златовратском и Бунине. К. К. Арсеньев не возвращался к вопросу о поощрении Бор. Зайцева <...>

Крепко жму вашу руку.

Константин.

30

Павловск, 28.X.09.

Эти дни меня держит взаперти ангина, что дало мне возможность прочесть только что вышедшую книгу Родионова (отставного боевого капитана, живущего в Боровичах) «Наше преступление». Это роман из современной крестьянской жизни, дышащий неподдельной искренностью и несомненной правдой...

Жму вашу руку.

Константин.

31

Мраморный, 21.XII.09.

Дорогой Анатолий Федорович, меня больно кольнули в сердце ваши слова о предчувствии, что вы еще недолго проживете. Сердечно желаю, чтобы оно не скоро сбылось. Мне сегодня вырвали зуб, и доктор не пустил на вечернюю панихиду у гроба В<еликого> К<нязя> Михаила Николаевича, последнего из детей Николая I <...> Примите от меня мою последнюю работу — рецензии о некоторых сборниках стихов, которые я не признал достойными Пушкинской премии.

Не так давно перевел я из Гейбеля:

Три птицы

Я горлице сказал: Лети в тот край прекрасный,
Где плещет Ганга тихая волна,
И мне достань цветок любви всевластной, —
«Далеко», молвила она.

Орлу сказал я: Дай мне молнию из тучи,
Любовь, что хладно мной пренебрегла,
Пускай согреет пламень неба жгучий. —
«Высоко», был ответ орла.

Я коршуну сказал: О, выключой образ милый,
Запечатленный в сердца глубине:
Переболеть, ни позабыть нет силы.
«Уж поздно», молвил коршун мне.

Крепко жму вашу руку.

Константин.

32

Павловск, 2 мая 1910.

Дорогой Анатолий Федорович, <...> действительно, в дневнике моего покойного отца встречается много подробностей, с которыми из сыновнего почтения я не решился бы ознакомить даже и вас. Но постараюсь доставить вам выборки мест, касающихся деятельности Гл<авного> Комитета по устройству сельского хозяйства — под председательством моего родителя. Предупреждаю, однако, что в конце 50-х — начале 60-х годов он не вел дневника и впоследствии, как хорошо помню, часто сетовал на этот досадный пропуск.

Сердечно ваш

Константин.

33

Павловск, 5.5.10.

Милый Анатолий Федорович, знаю, как вы заняты, как мало у вас досуга, как плохо ваше здоровье, как вы утомлены, — и все же решаюсь утруждать вас <...> Из прилагаемых бумаг, весьма многословных, но, как мне кажется, искренно чистосердечных, вы увидите, что г-жа Блок, лично мне совершенно неизвестная, заступаясь за невинно, как она убеждена, обвиненного и осужденного, просит меня передать в собственные руки Его Величества свое всеподданнейшее прошение о его помиловании. Я почти никогда не исполняю подобных просьб, советуя подавать прошения установленным порядком. Но в данном случае этот порядок неминуемо привел бы к волоките, а дело, думается мне, ясное <...> Вот я и вздумал обратиться к вам за советом: можно ли мне лично Государю передать прошение г-жи Блок, основываясь на невинности пострадавшего. Ваши ценные разъяснения юридических выражений не существовавшего принца Гамлета украсили примечания к моему переводу великолепной Шекспировской трагедии; быть может,

новые ваши же разъяснения помогут скрасить молодую судьбу живого человека, впавшего неповинно в великую беду.

Искренно, сердечно вас любящий

Константин.

34

Осташево, Московск<ой> губ<ернии>, 1 июля 1910.

Дорогой Анатолий Федорович, наши письма встретились, свидетельствуя о том, что мы одновременно друг друга вспомнили <...> В деревне работается легко и скоро. Я уже закончил рецензию о стихотворениях крестьянина-поэта Дрожжина, который представляет собою выдающееся явление, и прошу Разряд присудить ему какую-либо премию <...>

Мы с женой и дочерью поговариваем о том, как бы хорошо было заманить вас в нашу деревенскую глушь на несколько дней. Решились ли бы вы на это маленькое путешествие?

Сердечно ваш

Константин.

35

Павловск, 13.I.11.

Возвращаю вам, милый Анатолий Федорович, «охапку навозной кучи без жемчужного зерна» — не приберу другого названия новинкам якобы литературного творчества, которыми вы пожелали поделиться со мною. Стихи Сологуба и безжизненны, и гнусны, так же как и психопакоость — виноват: психодрама В. Брюсова. А его «Последние страницы из дневника женщины» просто чудовищны по цинизму не только порнографии, но и самих животных чувств, например, отношение к матери <...> А нам так надо высоких примеров и совершенных образцов <...>

Искренно ваш

Константин.

36

1 июня 1911.

Дорогой Анатолий Федорович, у меня два ваших письма, на которые я еще не успел отозваться. Одно получено из Павловска около 10 мая. Приложенный к нему № газеты с продолжением «Александра I» Мережковского я прочел с отвращением, вполне присоединяясь к вашему суждению об этой вульгарной попытке создать художественное произведение, которое дает только бесцветную, но не лишённую тенденции безвкусную фельетонную болтовню <...> Заметили ли вы в № 122 «Русского Слова» рассказ «прославленного» Леонида Андреева под заглавием «Покой»? Это еще образчик современной литературы. Смысл этой далеко не поэтической и тривиальной фантазии решительно мне непонятен. К умирающему сановнику входит черт «под видом священника, ладана и свечей» и предстает кончающему жить «во всей своей святой правде». Загробное существование делится в рассказе на два вида: на нирвану и ад. Как вам понравятся следующие строки: «Шел дождь, и все были под зонтиками, стекала с зонтиков вода и поливала мостовую. Блестела мостовая, а по лужам молчаливо топорщилась рябь, — был ветер при дожде...»?

Искренно ваш

Константин.

37

Мраморный, 8 июля 1911.

Дорогой Анатолий Федорович, ценя ваш художественный вкус, я бы очень желал знать ваше мнение о новом моем литературном труде. Издавна мечталось мне попытать силы на драматическом произведении, и года два назад я наконец ре-

шился приступить к 1-му действию «Царя Иудейского»³, в котором главное действующее лицо Христос — ни разу не должен появиться, а между тем вся драма создается только ради Его. Пока у меня готово только это 1-е действие, и раньше, чем приняться за продолжение, я хотел бы узнать ваше веское мнение: стоит ли продолжать этот плод долгого, четвертьвекового обдумыванья. Рукопись, хотя и не черновая, полна вставок, выпусков, перекосов и помарок и представляет некоторые затруднения в чтении <...> Если вы не одобрите дерзкого моего начинания, то не стоит и переписывать набело <...>

Сердечно ваш
Константин.

38

Мраморный, 15.7.11.

Искренно благодарю вас, милый Анатолий Федорович <...> за поздравление с помолвкой нашего первенца <...> Раньше чем приступить к 2-му действию своей драмы, в котором привожу в дом Пилата несколько римлян, я погружен в чтение Светония, Тацита, Фридендера и других. Надо проникнуться римскими веяниями.

Сердечно ваш
Константин.

39

Стрельна, 13.8.11.

Дорогой Анатолий Федорович, <...> от вас первого услышал я про «Сказания о любви» Щепкиной-Куперник. И заглавие, и дарование этой писательницы, а главное, ваш похвальный отзыв придают этой книге особую заманчивость <...>

На днях я написал предисловие к «Стихотворениям» начинающего, впервые печатающегося автора Мезька (?), за которым признаю истинное поэтическое дарование. Как только брошюра выйдет — пришлю вам. Как хорошо, что вы не «за рубежом», а совсем близко.

Сердечно ваш
Константин.

40

Стрельна, 6 сент<ября 19>11.

Дорогой Анатолий Федорович, ваши строки и милый подарок — книгу Щепкиной-Куперник «Сказания о любви» я получил перед отъездом в Белгород, а благодарю по возвращении отсюда. Какая истинно изящная поэтическая книга! Действительно, она своим настроением напоминает Тургеневскую «Песнь торжествующей любви»

Пишу вам под дивными впечатлениями в Курской губернии на величавых, проникнутых неподдельным благочестием и непоколебимою верою нашего народа торжествах прославления святителя Иоасафа. Эти молитвенные дни омрачились вестью о покушении на жизнь Столыпина и его кончине. Тяжело и больно переживать мучительную тревогу за настоящее и будущее России, обреченной переносить столько испытаний. Утешает только вера в наш народ и его нравственную силу. Виденное и пережитое в Белгороде только укрепляет эту веру <...>

Константин.

³ Пьеса написана К. Р. по совету композитора П. И. Чайковского в 1913 году. Снабжена подробным комментарием. Была поставлена по личному разрешению Николая II в придворном Эрмитажном театре. Играли в ней участники Измайловских досугов (некоторые погибли на фронтах первой мировой войны). Постановка драмы на «большой» сцене для широкой публики была запрещена Синодом. Суть запрещения — история Христа не для обычного лицедейства, не для суетного развлечения. Скандальное запрещение не распространялось на издание драмы, которая выходила дорогими и дешевыми книгами.

41

Мраморный 9 сентября 1911

Дорогой Анатолий Федорович, позвольте перед вашим отъездом в Ораниенбаум потревожить вас просьбой. Она состоит в том, чтобы вы не отказали бросить взгляд на прилагаемую рукопись.

Не помню, говорил ли я вам, что академические устроители предстоящего Ломоносовского юбилея предложили мне написать слова кантаты, музыку к которой намерены заказать А. К. Глазунову или С. И. Танееву. Я не счел себя вправе отказать, хотя очень не хотелось приступать к предложенной работе. Она стоила мне не мало умственного напряжения, терпения, труда и должен сознаться — даже скуки, плодом чего оказалась упомянутая рукопись. Обращаюсь к вам как к собрату по Разряду изящной словесности, прося высказать откровенно, не будете ли вы и другие члены Разряда краснеть за это порождение насильственного вдохновения <...>

Желаю вам приятно провести время в местах, которые так любили две наши императрицы — великая и блестящая матушка Екатерина и тихая и кроткая Елизавета Алексеевна⁴.

Сердечно ваш
Константин.

42

Стрельна, 21 сент<ября 19>11.

<...> Последнее заседание Разряда изящной словесности, так же как и на вас, произвело на меня грустное впечатление. Решительно не постигаю неуместной снисходительности, с какой наши сочлены прощают представляемым кандидатам погрешности, которые, казалось бы, не должны растворять им дверей в Разряд, учрежденный в память нашего Пушкина. Вы пишете, что Гучков смотрит чрезвычайно мрачно на ближайшее будущее. Он мне не знаком, я не знаю, можно ли доверять его дальновидности, но невольно сжимается сердце и охватывает страх за возможные преступления, из которых гибель Столыпина была первой по возобновлении серии жертв <...>

Сердечно ваш
Константин.

43

Петербург — Оренбург, в вагоне 6 октября 1911.

Милый Анатолий Федорович, <...> пишу с дороги. «Живой труп» и мне показался произведением слабым, не вылежавшимся, полным неясностей и ничего не прибавляющим к славе Л. Толстого <...>

Мне больно было прочесть ваши мрачные предчувствия. Впрочем, зачем называть их мрачными? Я знаю, что вы из тех, кому смерть представляется преддверием вечности и кто терпеливо и покорно ждет, когда Промыслу угодно будет отпереть эту дверь. Но с близорукой и себялюбивой точки зрения сына Земли мне бы так хотелось, чтобы дверь эта еще долго оставалась для вас закрытой.

Сердечно ваш
Константин.

44

Павловск, 30 марта 1912.

Воистинно Христос воскрес!

<...> Вскоре надеюсь прислать вам рукопись еще незнакомого вам 4-го акта моей драмы. Теперь с увлечением работаю над 5-м, и, кажется, труд близок к

⁴ Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа, 1779 — 1826) — русская императрица, супруга Александра I. Отличалась скромностью, много и серьезно читала. Вела уединенный образ жизни, занималась благотворительностью. Умерла в Белеве.

окончанию. Он, вы верно угадали, тот самый, о котором мы говорили с Иваном Александровичем (Гончаров. — Э. М.) 26 лет назад. Долго же пришлось ему вынашиваться в голове и в сердце. Мне пламенно хотелось бы дать посетителям театра, особенно народного, здоровую пищу, удовлетворить их потребность в зрелищах, душу возвышающих, а не щекочущих низменные поползновения, которым, к прискорбию, потворствует многое из современного репертуара <...>

Сердечно ваш

Константин.

45

Осташево, 9 июля 1912.

Дорогой Анатолий Федорович <...> Я прочитал ваше описание Гончаровских торжеств в Симбирске и был очень тронут, что по поводу чествования нашего друга вы и меня вспомнили.

Сообщите, где предполагаете вы провести остаток лета и не приедете ли к нам на берега Рузы <...> Попадают сюда со станции Волоколамск на Московско-Виндаво-Рыбинск<ой> ж. д. и надо телеграфировать в Осташево за день, чтобы были высланы лошади. Дорога со станции неважная, но в сухую погоду сносная, 20 верст. Здесь тишина и приволье...

Сердечно ваш

Константин.

46

Осташево, Москов<ской> губ<ернии>, 17 июля 1912.

<...> Драма моя «Царь Иудейский», с внесенными в нее некоторыми поправками и изменениями, побывала как в театральной, так и в духовной цензуре. Первая ввиду содержания драмы, заимствованного из евангельского повествования, не встречая с своей стороны препятствий, ожидает решения второй. А эта последняя по указанию В. К. Саблера внесла вопрос о допущении драмы на сцену в Св. Синод. Архиепископ Финляндский Сергей пожелал ознакомиться с драмой, и Синод поручил ему дать о ней заключение. Я написал преосвященному Сергию и изложил ему побуждение, руководимое мною при создании «Царя Иудейского», но еще не получил ответа. Как бы Синод ни решил, я не намерен отдавать своей драмы никакому театру, пока не поставлю его сам в любительском спектакле <...> Только во время репетиций может выясниться, что подлежит сокращению или изменению <...>

Во время лечения в Вильдунгене я переработал свой перевод «Мессинской невесты» Шиллера. Он был исполнен 30 лет назад, когда я был слабее, чем теперь, во владении стихом и не мог передать текста Шиллера таким же числом стихов, как у него. Теперь этот недостаток устранен и трагедия переведена строка в строку < .>

Сердечно вас любящий

Константин.

47

Осташево, 9 августа 1912.

Дорогой Анатолий Федорович, посылаю вам копию с письма архиепископа Финляндского по поводу «Царя Иудейского». Как и можно было ожидать от близорукости наших современных иерархов, Синод, хотя и признает благотворное влияние моей драмы, могущее умирить душу верующих еще сильнее при сценическом представлении, чем в чтении, все же не желает воспользоваться этим добрым воздействием и запрещает постановку драмы на сцене ради второстепенных и пустоватых соображений.

Пишу Государю, приводя выписки из письма Владыки Сергия и прося разрешить представление, если не в общественных театрах, то в Эрмитажном или Китайском, в исполнении любителей. Не знаю, пожелает ли Государь по примеру

своего Прадеда, повелевшего, несмотря на запрещение цензуры, поставить «Ревизора», дать мне очутиться в положении Гоголя.

Сердечно ваш
Константин.

48

Павловск, 13 октября <19>12.

Дорогой Анатолий Федорович, от души благодарен, что вы не забыли предложенного мною вопроса о книгах для будущей Осташевской читальни. Каталогом, любезно вами присланным, воспользуюсь при помощи Олега.

<...> Когда же мы поумнеем! Наше совместное выступление с Австрией представляется и мне постыдным. Что же мы скажем, если балканские государства победят турок?

Сердечно ваш
Константин.

49

Павловск, 24 окт<ября 19>12.

Дорогой Анатолий Федорович, благодаря вашему неизменному вниманию мое книжное собрание пополнилось новым томом ваших трудов. Перелистывая его, я напал на вашу речь в Гос<ударственном> Совете о необходимости ассигнований на флот. Мне вспомнились наши беседы в Осташеве, и отозвалась в душе ваша горячая привязанность к родной нашей Родине, свободная от каких бы то ни было партийных соображений. Я уверен, что вы с болью в сердце и с затаенным восторгом следите за успехами оружия союзных балканских государств. Не решается ли на наших глазах пресловутый Восточный вопрос?

Сердечно ваш
Константин.

50

Хелуан, 1/14 декабря 1912.

Милый и дорогой Анатолий Федорович,
<...> пришло ваше дорогое письмо. Оно шло до Египта 11 дней <...> Как бы хотелось вместе с пожеланиями здоровья послать вам в мрачный и холодный Петербург хотя немного солнечного света и тепла... По любопытному совпадению вы напоминаете мне о жалобе детей последней, доживающей на Миллионной старческие дни, грузинской царицы на отсутствие солнца, а я здесь погружен в чтение грузинской истории, литературы, географии и археологии для будущей своей работы. Но человек так создан, что не умеет достаточно ценить настоящего: как ни наслаждаешься здесь тишиною, красками и необозримостью пустыни, пальмовыми рощами на берегу Нила, между стройными стволами которых сквозят по ту сторону реки пирамиды — царственные гробницы фараонов Мемфиса, мечтавших победить ими вечность, а невольно пугаешься при мысли, что еще полгода остается мне до возвращения на родину. Африканское солнце не зажгло во мне вдохновения <...>

Об упоминаемой вами законодательной импотенции думаю здесь и я, читая в «Нов<ом> Времени», какими мерами различные земские собрания думают бороться с хулиганством <...>

51

2/15 декабря <1912>

<...> Вы сожалеете о забаллотировании Гучкова при избрании его в Гос<ударственную> Думу. Я не разделяю ваших сожалений. Гучков мне не знаком о нем и его деятельности я знаю слишком мало. Но его выступление в Думе по поводу

Распутина весной текущего года произвело на меня неприятное впечатление <...> Мне показалось, он более бил на политический скандал, а не говорил по требованию истинного патриотизма. Его речь ничему не могла помочь и не помогла, а только сильнее разогрела страсти.

Вы разочаровались в Деларове. Я было находился под его обаянием — он прелестный собеседник и необыкновенно сведущ в истории искусства. Но мне пришлось прекратить с ним знакомство, несмотря на то, что он постоянный жилец Павловска и, след<овательно>, наш сосед. — Из Павловского дворца лет шесть-семь назад весьма искусным загадочным образом были украдены две очень ценные картины Греза; у нас были косвенные указания на причастность Деларова к этой пропаже: он промышляет покупкой и продажей художественных предметов и преимущественно картин старинных мастеров.

<...> Наша гостиница Аль-Хаят, что по-арабски значит — жизнь, представляет собой оазис в пустыне, на краю городка Хелуана, в получасах езды по жел. дороге от Каира. Хелуан возник недавно, лет 10 — 20 назад, состоит из нескольких пересекающихся под прямым углом улиц и расположен в 5 верстах от правого берега Нила. Из него к нам проведена вода, благодаря чему на каменисто-песчаной возвышенности, на которой стоит наш дом, много тропических растений и тени.

На одной из скал, видимой из наших окон, за загородкой заведены птук семь местных газелей, очаровательных по грациозности движений и легкости, серо-желтых, с белыми брюшками, на таких тоненьких ножках, что кажется, они должны преломиться от малейшего дуновения. Одно из этих прелестных животных хотя робко и опасно, но берет хлеб у меня из рук. Прилагаю вид гостиницы, причудливого здания, окруженного живописными террасами, соединенными между собою ступенями из дикого камня. В цветниках между террасами много пальм, финиковых, саговых, кактусов, агав, сикомор, алоэ; розы в изобилии <...> А кругом — голая пустыня. Казалось бы, ее ровное однообразие, песок и камень должны наводить уныние, но она однообразна только на первый поверхностный взгляд. В действительности в ней встречаются и лощины, и овраги, и целые холмы и горы, по которым устроены каменоломни. Но главная прелесть пустыни — это ее тишина и яркость окраски, изменяющейся по мере движения солнца. А оно здесь царит неизменно и если скрывается за редкие тучи, то на минуты <...> Закаты солнца — настоящий праздник для глаз. Лишь оно скроется за одной из видных из наших окон пирамид, вырезающихся резкими треугольниками на синеве неба, далеко по ту сторону Нила, который светлой и узкой полосой тянется слева — направо, небо окрашивается в бледно-желтый лимонный цвет <...> Над пустыней воцаряется сумрак, очень кратковременный. Бледно-желтый отлив на западе, куда обращены пять окон нашей полукруглой гостиницы, превращается в ярко-оранжевый, постепенно переходящий в багрово-красный, а горы Мекатала, каменной гряды, тянувшейся от Каира к Хелуану, отливают лилово-розовым оттенком. И сразу наступает ночной мрак. Заката надо остерегаться, одеваясь потеплее, в это время на несколько минут становится прохладно. Но только погаснет вечерняя заря и сменится ночью, опять тепло. Как ярки здесь звезды!

Здесь нельзя не любоваться местным населением. Арабы очень живописны, когда не отказываются от своего бурнуса и чалмы, променяв их на опошливающий европейский пиджак. Они рослы, стройны, у них благородная поступь, изящные движения. Много очень смуглых и даже совсем черных, но с красивыми, тонкими чертами лица, блестящими черными глазами и ярко-белыми зубами. Черные, когда не негры, — суданцы, потомки древних египтян, очень напоминающие их старинные изваяния. Эта порода людей далека от вырождения; а между тем турецкое влияние, подчинившее себе арабов, уничтожило арабскую культуру, стоявшую, бывало, на значительной высоте: арабы, давшие нам изумительные образцы зодчества, славившиеся в астрологии, географии, истории, замерли в своем развитии. Современный культурный Египет обязан англичанам или вообще европейцам.

Встретьте и проведите Рождество и Новый год в добром здоровье и поминайте иногда искренно вас любящего почитателя

Ассуан <1913>.

<...> Здесь <...> еще теплее, чем в Нижнем Египте; наша гостиница не в 5-ти верстах от Нила, как в Хелуане, а на самом правом берегу реки Фараонов. Здесь первая гряда нильских порогов, образуемая несколькими скалистыми островами, из которых наибольший, Элефантина, заросший густой тропической зеленью и стройными перистыми пальмами, красуется перед самым моим окном. Свое название получил он, как говорят, от прибрежных омываемых в половодье волнами Нила гранитных глыб; в этих плоских, гладких, неуклюже-округлых скалах есть, правда, что-то слоновье: точно спины, бока и плечи огромных окаменелых слонов. Цветы в изобилии, олеандры розовые и белые; желтые, пахучие шарики мимозы, хорошо знакомые по котильонам петербургских балов; только мимоза здесь — тенное дерево, и ее шарики втрое крупнее привозимых на берег Невы. Розы во множестве, есть и гвоздики, и родные подсолнухи <...>

<...> Не знаете ли вы нового М<инистра> Вн<утренних> Дел Маклакова, занявшего самый трудный, ответственный в России пост? Можно ли возлагать на него надежды? И удастся ли ему, такому молодому и едва ли опытному деятелю, внести в работу правительства единство, систему и ясное сознание цели, об отсутствии которой вы так справедливо сокрушаетесь.

Очень, очень вам благодарен за вырезки из различных газет и журналов с образчиками современного «пленной мысли раздражения». Действительно, разве не пленные мысли в головах гг. Философовых, Мережковских, Зинаид Гиппиус и П. Б. Струве? И понимают ли сами они, что хотят сказать? Я читал ваши вырезки, пока наш поезд мчался берегом Нила мимо пальмовых рощ, убогих, мазанных из глины лачуг в деревушках феллахов и тучных, ярко-зеленых полей, возделываемых обнаженными земледельцами с черными или бронзовыми стройными телами.

Стихи некоего А. Конге, в которых «солнце низится, готовое от горизонта *отколотся* (!!)», напомнили мне, что надо поделиться с вами моей попыткой описать солнце не откальвающееся, а просто садящееся за одной из пирамид Дашура, видных вдали за Нилом из наших окон в Хелуане. Но предупреждаю, что это очень ничтожное стихотворение:

Вечер в Египте

Алеет Нил румяным блеском...
Длиннее тени пирамид...
Багряный вал ленивым плеском
С прибрежной пальмой говорит.

Объята заревом пустыня;
Все ниже солнце... Через миг
Надгробья царского твердыня
Сокроет пламеносный лик.

Коснувшись грани мавзолея,
Горит он кругом огневым
И закатился, пышно рдея,
За исполином вековым.

С удовольствием читаю «Житейские встречи», и мне словно слышится ваш знакомый голос, так как некоторые из этих встреч мне известны по милым рассказам в Осташеве и Павловске.

24 февр<аля>/9 марта 1913.

Дорогой Анатолий Федорович, <...> проведя 5 недель в Ассуане, мы 12 февраля перебрались в Луксор и здесь пробудем 3 недели. 5/18 марта собираемся на неделю в Каир, а потом в Сицилию. За этот месяц муза меня посещала: я написал два довольно крупных стихотворения, навеянных Египтом... Мне хотелось бы, что-

бы эти стихи понравились вам более написанных тоже под южным небом Бальмонтом, в которых только и есть хорошего, по-моему, что теплое чувство к далекой родине, но поэзия в них отсутствует, будучи заменена каким-то кликушеством...

Разысканный «Русским библиофилом» вариант «Моряка» Лермонтова если и не есть важное открытие, то все-таки может быть приветствуем, как каждая строка гениального поэта. — Как я сочувствую вашему намерению выступить в поход против засорения и коверкания русского языка, блестящий образчик такого непозволительного отношения к языку содержится в присланной вами вырезке <...>, как бы я хотел помогать вам в этом «походе». Хорошо бы, если бы каждый из членов Разряда изящ<ной> словесности принял в вашем походе участие <...>

Из Измайловского полка мне пишут о деятельной подготовке к исполнению моего «Царя Иудейского» на сцене Китайского театра; идут считки, рисуются декорации и костюмы, Глазуновым сочиняются музыкальные номера. Драма должна пойти осенью. Государь желает присутствовать на одной из последних репетиций, чтобы ввиду исключительности содержания пьесы решить, можно ли будет исполнять ее в Эрмитажном театре при большом собрании зрителей.

Вы упоминаете, что скончалась хорошая ваша знакомая, жена добрейшего П. Н. Воронова. Я ее видел один раз в жизни в Красном Селе, когда командовал последний год Преображенским полком, а ее муж был начальником штаба нашей дивизии. Я только что закончил формальные и скучнейшие аттестации офицеров полка и отослал их в штаб. Но Павел Николаевич заметил, что в последней графе аттестационных списков мною не было вписано против фамилии каждого офицера слова «достоин», означавшего, что аттестуемый может быть подвигаем по службе <...> И вот Воронов, тогда еще полковник, отыскал меня где-то в лагере, заманил в свою квартиру и заставил 70 раз вписать в пустую графу «достоин» <...> Если увидите П. Н., пожалуйста, выразите ему мое сердечное соболезнование.

Сердечно вас любящий

Константин.

55

Афины, 19 апреля 1913

Дорогой Анатолий Федорович, начинаю это письмо дня за три до отбытия из Греции — мы поплывем в старую столицу дождей, чтобы налюбоваться перед отъездом в Штутгарт, Альтенбург и Вильдунген ее застывшею, но все еще очаровательною мраморною грезой...

Вы упоминаете о «Жизни за царя» на парадном спектакле в один из дней празднования Романовского юбилея, и это неудачное представление наводит на грустную мысль о незадачливости многих наших современных начинаний. Куда ни посмотришь, на всем лежит отпечаток какой-то неумелости, неловкости, бессилия. Все чаще приходит на память выражение из «Гамлета», переданное в моем переводе так: «Подгнило что-то в датском королевстве» <...>

Быть может, не зная вполне всех обстоятельств внешней политики, мы судим с односторонностью, а потому неправильно. Напр<имер>, я никак в толк не возьму, что согласие России с австрийской выдумкой Албанского герцогства вяжется с нашими старинными историческими задачами... Я спрашиваю себя, может ли быть сильно правительство, действующее наперекор общественному мнению? <...>

Вполне присоединяюсь к вашему мнению о желательности, чтобы письменные доклады о премиях предварительно рассылались наличным членам Разряда для ознакомления. Значительное число и объем этих докладов не дает возможности прочтения их целиком в самом заседании. И вот мы судим в нем о том, что сами хорошенько не знаем...

Получил книгу Э. Л. Радлова о В. С. Соловьеве. Она читается с наслаждением и будто очищает душу... Здесь стоит теплая, ясная, душистая весна, часто заманивающая меня в чудесный, огромный, тенистый, весь пропитанный сладким запахом цветущих апельсиновых деревьев дворцовый сад с темными кипарисами, увитыми белыми, желтыми и красными розами; с пальмами, платанами и южными соснами. В этом саду я нашел восхитительный уголок: среди густой зелени описывает круг дорожка <...> и приводит к одинокой скамейке под навесом вьющихся роз всех оттенков. Здесь уселся я с книгой Радлова. В головах доверчи-

во шелкал, свистал и заливался соловей, какая-то птичка возилась в листе надо мной, и ко мне на колени упал малиновый лепесток розы <.. >

Теперь скоро полночь. Пора и честь знать, а потому прерываю эту болтовню.
Сердечно вас любящий

Константин.

56

Вильдунген, 13 июня 1913.

Дорогой Анатолий Федорович, <...> в одной со мною гостинице живет очень привлекательная особа — Ольга Владимировна Гзовская, известная артистка оперы Московского Малого Театра, а теперь труппы Станиславского. Она <...> насколько не похожа на актрису: ни цвет лица, ни привычка держаться, ни наряды, всегда изящные и безукоризненно скромные, не носят отпечатка крикливости и задора. Я не мог упустить случая и не познакомить ее с «Царем Иудейским», мнение даровитой артистки так дорого драматическому автору. И я не раскаялся: она дала мне немало полезных и очень тонких указаний. Одновременно пришло письмо с замечаниями академ<ика> Корша, весьма ценными. <...> Я был с ним в оживленной переписке относительно как «Мессинской невесты», так и «Царя Иудейского». Уйдя с головой в направление обоих этих трудов, я теперь покончил с ними...

Вести ваших писем и приносимые газетами полны печали, заставляют с тревогой смотреть в будущее. Но велик Господь и среди нашего измельчавшего поколения, ужели не найдется хотя бы горсть праведников, по молитве которых Он помилует и спасет. Не понимаю, как могла ваша речь о допуске в университет кадета, реалистов и семинаристов не подействовать на Госуд<арственный> Совет <...>

Сердечно жму руку.

Константин.

57

Осташево, Моск<овской> г<убернии>, 28 июня 1913.

Дорогой Анатолий Федорович, <...> теперь хочу приняться за статью о поэзии Гр<афа> Голенищева-Кутузова, которую предполагаю прочесть в академических поминках <...> покойного, но смущаюсь и трушу, как бы не повторить уже много раз говоренного <...> и не впасть в общее место <...>

Сердечно вас любящий

Константин.

58

Осташево, 29 июня 1913.

<...> Мне хотелось бы окончить сочинение речи о Гр<афе> Голенищеве-Кутузове. Около половины уже написано, а именно, самые обстоятельные отзывы о поэзии покойного, составленные Страховым и Вл. Соловьевым; основываясь на их авторитетах, выскажу свой взгляд на творчество покойного поэта. Справившись с этой более мучительной, чем увлекательной работой, мечтаю начать примечания к «Царю Иудейскому», который после вашего отъезда превратился из пятиактной в четырехактную пьесу... Это сокращение на целый акт, думаю, хорошо отзовется на драме, освободившейся от излишних подробностей и повторений и выигравшей в развитии драматического действия от устранения скучных для зрителей задержек и пауз. Мне пишут, что музыка, сочиняемая к моей драме А. К. Глазуновым (увертюра, антракт, трубные звуки и пр.), обещает быть очень удачной.

Крепко жму руку.

Константин.

59

Осташево, 9 августа 1913.

<...> Я только сегодня вернулся из-под Петербурга, где на Преображенском празднике после полутора лет опять увидел Государя. В Павловске вчера и третьего дня принимал многочисленную толпу вновь произведенных офицеров, бывших моих милых питомцев, из которых многих помню еще малымя детьми. И радостно было разделить их радость при вступлении в самостоятельную жизнь, и жаль

отпускать на волю этих оперившихся птенцов, с иными из которых, быть может, никогда уже не придется свидеться. Храни их господь <...>

Крепко жму вашу руку.

Константин.

60

Осташево, 22 августа 1913.

<...> Теперь я погрузился в примечания к «Царю Иудейскому», первое из них относится к Пилату <...> и обещает быть пространным и довольно любопытным. Но работа эта кропотлива; вообразите, что о Пилате существует целая литература, насчитывающая более 100 названий.

До свидания, дорогой Анатолий Федорович <...>

Сердечно вас любящий

Константин.

61

Павловск, 15 сентября 1913.

Дорогой Анатолий Федорович, ваши оба письма застали меня в Москве 31 августа и 1 сентября. Живя в 1-м Московском кадетском императрицы Екатерины II корпусе (бывшем Головинском дворце, выстроенном Кваренги на месте прежнего деревянного, в котором Екатерина была присоединена к православию), я в течение шести дней посещал военно-учебные заведения и знакомился со вновь поступившими кадетами, а в обоих военных училищах повидал кадет, знакомых еще малыми детьми. Ответить вам не было времени <...>

Примите от меня отгиск «Нивы» с моими египетскими стихотворениями. <...> Письмо студента Алексева, при всей своей наивности, польстило моему самолюбию. Поручу у себя в конторе переслать <...> экземпляр «Гамлета» и написать, что пришло и новое издание моих стихов...

Сердечно к вам привязанный

Константин.

62

Мраморный, 11 октября <19>13.

<...> Возвращаю вам вырезку из «Русск<их> Ведомостей» с речью нашего сочлена Бунина. В ней высказаны очень верные мысли. Но по прочтении не хочется ли сказать автору: «Не вам бы говорить, не нам бы слушать!»

Искренно ваш

Константин.

63

Павловск, 14 янв<аря> 19>14.

Дорогой Анатолий Федорович, эти строки — благодарственные и вместе прощальные: сегодня мы с моей Велик<ой> княгиней и сыном Гавриилом уезжаем в Египет. Заранее поздравляю вас с приближающимся вступлением в 8-й десяток жизни. В этот день — 28 января — вспомню вас в озаренном солнцем Ассуане, у самых нильских порогов. «Царь Иудейский» едва ли будет поставлен на общественной сцене. Но жаловаться я не могу, постигшее его запрещение только окружило его некоторой таинственностью и служит его успеху. О нем много говорят и пишут, он переводится на языки немецкий, французский, латышский, чешский. .

До свидания, надеюсь в Осташеве будущим летом...

Константин.

64

28 января/10 февраля 1914, Ассуан.

Дорогой Анатолий Федорович, не могу не вспомнить вас сегодня, в день вашего 70-летия <...> Да пошлет вам Господь «старость покойную». Как говорит Лермонтов, молясь перед иконой Матери Божией, «теплой Заступницы мира холодного», за «душу достойную». Надеюсь, вы уже получили именной экземпляр моего «Царя Иудейского» <...> Хотелось бы приступить к новому драматическому произведению, но нужно еще много прочесть, чтобы изучить эпоху, из которой я хочу воспользоваться содержанием будущей пьесы. Задумываю показать в ней сопри-

косновение русской истории с грузинской в век царицы Тамары. Но у меня еще далеко нет убеждения, что мой план удастся.

Сердечно ваш
Константин.

65

Ассуан, 23 февраля 1914.

Дорогой Анатолий Федорович <...> как бы хотелось без помощи чернил и бумаги поговорить с вами о совершившихся правительственных переменах, о вашей работе по борьбе с пьянством, о литературных ваших занятиях, о биографии В<еликой> К<нягини> Елены Павловны. Вы опасаетесь, что у вас не хватит сил и, главное, времени на окончание этого последнего труда. <...> И вот мне пришла в голову дерзкая мысль предложить свои услуги <...> Надеюсь, что не погрешу ни односторонностью, ни недостатком художественности, ни тенденциозностью. < ..> Взвесьте хорошенько все доводы за и против моего предложения...

Несмотря на поход Пуришкевича и К° на «Царя Иудейского» или, может быть, именно благодаря этому походу, 10 000 экземпляров 1-го издания разошлись без остатков в 2 1/2 недели, выпускаю 2-ое издание. Драма переводится на девять языков, и из-за границы приходят предложения поставить мою пьесу на сцене <...>

Сердечно ваш
Константин.

66

Харакс, 9 апреля 1914

Христос воскрес! Дорогой Анатолий Федорович, успех «Царя Иудейского» (20-я тысяча которого уже разошлась без остатка) побуждает меня писать опять для театра, уже более года обдумываю план пьесы и только в самое последнее время набросал его начерно. Очень долго и медленно зреет у меня в голове мой создания <...> У меня задумана драма на любопытный случай, упоминаемый еще Карамзиным в примечаниях к «Истории Государства Российского», привлечший мое внимание лет 25 назад. Это появление младшего сына Андрея Боголюбского, Юрия, в Иверии и его брак с царицей Тамарой. Мне кажется, это сюжет весьма оригинальный, живописный, картинный и никем не тронутый.

На днях узнал я, что в Урюпине (войска Донского) один податной инспектор взялся прочесть в клубе без платы за вход моего «Ц. И.» перед публикой. Хоперский окружной атаман чтение разрешил. Напечатали и расклеили афишу, но на третий день помощник пристава взял с чтеца подписку, что он читать не будет, т. к. чтение пьесы запрещено Синодом. Подат<ной> инспектор написал частное письмо окр<ужному> Атаману, указывая, что едва ли удобно запрещение, т. к. всем известно, кто такой К. Р. <...> Чтение разрешили <...>, но директор реального училища запретил на общей молитве ученикам быть на чтении. То же сделали в Женск<ой> гимназии. Зато эту молодежь пустили в вечер чтения в кинематограф, где показывалась порнографическая драма «На дне полусвета». Как это умно! Подобные запрещения чтения напечатанной книги имеют место по всей России и даже в Петербурге.

Сердечно ваш
Константин.

67

3/16 июля 1914, Вильдунген.

<...> Здешние русские сильно были взволнованы известием о покушении на Григ<ория> Распутина и о том, что он при смерти. Бывают случаи, когда ловишь себя на радости смерти ближнего и силишься подавлять эту грешную радость. Я никогда не видел Распутина, но его соблазнительная знаменитость внушала мне опасения и тревогу. Грустно, когда подобные темные люди приобретают значение, еще грустнее, когда ими пользуются личности, добивающиеся для себя выгод.

Будьте здоровы

Константин.

68

8 августа 1914, Павловск.

Дорогой Анатолий Федорович, прочтя вчера в «Вечернем Вр<емени>» перечень лиц, о которых их близкие просят сообщить какие-либо сведения, я заключил, что вы еще не получили таковых о белой вашей сестре <...>

Всей душой сочувствую понятной вашей тревоге. Даст бог, вы скоро утешитесь, узнав, что с вашей дорогой исчезнувшей все — благополучно. Очень я был тронут, прочтя 5 дней назад ваши добрые строки.

<...> От детей у нас вести хорошие, но, по-видимому, последний кавалерийский бой, завершившийся взятием у немцев целой батареи, стоил нам многих потерь. Генерал Ермолинский известил меня телеграммой, что наш ручной багаж найден. Так как по имеющимся у меня сведениям эти вещи остались в Гумбаннеме, следует полагать, что этот городок прочно занят нашими войсками. Среди этих вещей должен быть и мой портфель, в который я спрятал полученный от вас пакет с письмами к Эдите Фед<оровне> Раден некоторых дипломатов 60-х годов, Полины Виардо и других лиц. Остальные материалы к биографии В<еликой> К<нягини> Е<лены> П<авловны> находятся в большом багаже, задержанном в Германии, не знаю, где именно. В числе этих материалов были письма, касающиеся музыкальной деятельности Елены Павловны. Так как вы проводите в Царском еще неделю, то, может быть, пожелаете повидать в Павловске мою сестру: в воскресенье 10-и — 11-и утра она приедет к обедне, а в 12 будет завтрак. Не пожалуйте ли и вы, просто в сюртуке.

Крепко жму вашу руку.

Константин.

69

7 сентября 1914, Павловск.

Дорогой Анатолий Федорович, жена очень сердечно благодарит вас за память о дне ее именин и, особенно, за сочувствие ее материнской тревоге. До сих пор, благодарение Богу, у нас хорошие вести о всех пятерых сыновьях и зяте. Вы, конечно, приняли к сердцу, притом больному, а следовательно, более чувствительному, утрату нашей милой старушкой Ю. Ф. Абаза ее внука, павшего на поле брани среди преображенцев, понесших крупные потери, а также гибель знакомых вам Измайловцев. Двое из последних принимали участие в «Царе Иудейском» — Чигарев — Никодим и Кучевский — трибун. Моя муза упорно молчит уже более года. В переживаемое нами время требуется исключительное вдохновение; есть вещи, о которых лучше молчать, если не находишь силы сказать что-либо веское и важное.

Сердечно ваш

Константин.

70

Осташев, 5 октября 1914.

Дорогой, сердечно любимый Анатолий Федорович, в тяжкие, горестные дни, последовавшие за 29-м сентября, когда не стало нашего сына, «новопреставленного воина, за веру, Царя, Отечество на поле брани живот свой положившего», моя мысль не раз обращалась к вам в уверенности, что найдет вас плачущим и сочувствующим нашей незаменимой потере. И строки ваши от 30-го IX подтверждают, что я не ошибся. По желанию, неоднократно выраженному нашим незабвенным усопшим, мы похоронили его в Осташеве. Если выйти из комнаты, в которой вы здесь гостили, и направиться вправо, вдоль реки, где начинается лес, есть дорожка, ведущая на небольшой холмик, возвышающийся над берегом, совсем близко от дома, минуток в 3-х ходьбы. Быть может, вы помните там круглый, крытый берестой стол и скамейку. Тут нашел наш дорогой сын Олег последнее пристанище. Тут же 9 лет назад мы часто сидели с женой, оплакивая покойную дочь Наталью, которая родилась и прожила свою двухмесячную жизнь, пока ее старшие братья были в Крыму. Таким образом, они ее не знали и никогда не видели, но одному из них было суждено теперь встретиться с нею там, «идеже несть болезнь ни вздыхание». Он любил вас, любил бывать у вас, любил вас слушать.

Господу угодно было взять у меня того из сыновей, который по умственному складу был наиболее мне близок. Да будет Его господняя воля.

Ваш благодарный

Константин.

71

Павловск, 18 октября 1914.

Дорогой и сердечно любимый Анатолий Федорович, передо мною ваши четыре последние письма, от 29-го и 30 сентября, 10-го и 17-го октября, из которых я ответил только на второе, полученное в Остаеве ранее первого, дождавшегося меня в Павловске после того, как, справив 9-й день по сыне на его могиле, мы вернулись сюда. За эти дни мы с вами обменялись своими книгами, и мне очень совестно, что я до сих пор вас не поблагодарил. Надеюсь, что в иллюстрированном издании, на странице, следующей за примечаниями, вы прочли свое имя. Сегодня вы прислали мне при сем возвращаемое письмо бывшего священника Г. С. Петрова. Как бы хотелось, чтобы эта заблудшая овца вернулась к «избранному стаду». Мне тоже было весьма желательно поделиться с вами письмом, но предварительное должно объяснить вам повод, по которому оно написано.

<...> С неделю назад граф С. Ю. Витте спрашивал по телефону у Управляющего моим Двором, нельзя ли побывать у меня, чтобы изложить несколько мыслей и привлечь меня к деятельности, которая по окончании войны может получить немаловажное значение. Было время, когда я питал доверие к С. Ю. и охотно беседовал и переписывался с ним. Но после 1905 года по понятным вам причинам я разочаровался в графе, прекратил с ним всякое общение и всячески его избегаю.

На предложение работать с ним заодно я поручил ему передать, что, поглощенный своим горем, стесняюсь принимать предложение <...> Иностранной политикой я не занимаюсь и не могу себе представить рода деятельности, при помощи которой можно было бы предотвратить беду, если она действительно надвигается. Может быть, вы растолкуете мне эту загадку. Мне невольно чувствуется какой-нибудь подвох или попытка снова вкрасься в утраченное доверие. — Каким теплом повеяло на меня от вашего отзыва о «Царе Иудейском»! А знаете ли вы, что м-р Вн<утренних> Дел, разрешив циркуляром чтение моей драмы *по ролям* со сцены, при условии отсутствия костюмов и декораций, м-ца через два или три воспретил эти многочисленные чтения и допустил только единоличные. Никак не могу уверовать в мудрость такого распоряжения.

Сердечно ваш

Константин.

72

Павловск, 11.XI.14.

Дорогой Анатолий Федорович <...> посылаю вам очень для меня лестное обращение П. С. Пороховщикова, на случай, если вы его не читали. Мне тем более приятно последовать его совету — переиздать перевод «Гамлета» с моими примечаниями, — что я сам давно уже подумываю о новом, дополнительном издании. Но раньше, чем приступить к переизданию, мне нужно кое-что добавить к примечаниям. Нужно будет получить сведения обо всем существующем, обогатившем литературу о «Гамлете» с 1901 г., когда был издан мой первоначальный труд. У меня имеется обстоятельный трактат А. Д. Бутовского, большого знатока истории фехтовального искусства, объясняющий многие темные подробности последнего поединка Гамлета с Лаэртом, их обмен рапирами и пр. Быть может, и у П. С. Пороховщикова найдутся сведения о новейшей Гамлетовской литературе и он не откажет поделить ими со мною.

На этих днях я понес чувствительную утрату в лице Александры Алексеевны Майковой (вдовы Леонида Николаевича), которую очень любил и почитал, полный благодарности за чтение корректур моих трудов и составление указателей алфавитных и библиографических. Всего за три дня до ее кончины, последовавшей от разрыва сердца, она писала мне, трудясь над последними корректурными листками 2-го тома будущего издания моих стихов за годы 1879 — 1912. Присланная вами и возвращаемая записка Леонида Андреева действительно очень образна и написана как бы огненным языком. Сердце сжимается от мысли, что Болгария поддается австро-германским дипломатическим козням и наущениям. Вчера директор русского археологического института в Константинополе академик Успенский сообщил мне со слов С. Д. Сазонова, что между правительством нашим и

великобританским уже состоялось соглашение относительно обладания Россией Босфором и Дарданеллами. Дай бог дожить до этого великого события. Мнение Снегирева (в «Русск<ой> Старине») о вредном влиянии на нашу словесность Карамзина, а на юношество Пушкина поразило меня не менее развязных, граничащих с цинизмом признаний автора. «Старины и Новизны» я не получаю, а потому не мог, к сожалению, ознакомиться с письмами А. Н. Карамзина к матери. По-сылаю вам милую заметку Эрн<еста> Льв.<?> Радлова, посвященную <нрзб>. Тепло и сердечно, памяти нашего воина Олега.

Крепко жму руку.

Сердечно вас любящий

Константин.

73

Павловск, 13.XI.14.

Сердечно любимый Анатолий Федорович, как мило и любезно с вашей стороны, что вы прислали мне книгу «Старины и Новизны» и при этом снабдили ее закладками в наиболее любопытных местах. Действительно, взгляды Анд<рея> Карамзина обличают в нем верного и тонкого наблюдателя современных ему событий. Качество, как мне кажется, очень редкое. Нам так часто недостает исторической перспективы при суждениях о том, что происходит вокруг нас. В наши дни совершенно выродился тип гвардейского офицера, подобно Карамзину, способного так чутко отзываться на разнообразные явления духовного и художественного мира.

Статья Л. Андреева о Сербии написана так пламенно, что наверно найдет себе отклик в обществе.

Последнее стихотворение П. С. Соловьевой — весьма забавный и остроумный фокус стихосложения.

Как замечательны и радостны последние известия из-под Лодзи!

Сердечно ваш

Константин.

74

Мраморный, 24 января 1915.

Сердечно любимый, дорогой Анатолий Федорович, глубоко тронуло меня ваше сочувствие моему недомоганию. В самый Новый год началось у меня удушье и затруднение дыхания, которые по приезде в город на обеде у Императрицы Марии Федоровны врач приписал влиянию инфлуэнцы. Вместо обеда я попал в кровать, в которой меня продержали дней шесть <нрзб>, у меня легкое, в котором у меня до сих пор держатся хрипы, и замечается неправильность в деятельности сердца, что в связи с угрожающими морозами препятствует нашему возвращению в Павловск.

<...> В данное время из наших сыновей только Измайловец Константин находится в действующей армии под Радомом, где его полк на отдыхе считает раны и обречен, по выражению Лермонтова, «товарищей считать». Много уже пало этих товарищей!

Вы не ошиблись: дочь Татьяна ездила в Варшаву на свидание с мужем и вчера вернулась, украшенная Георгиевской медалью за раздачу подарков офицерам Кавказского Лейб-Эриванского полка в сфере артиллерийского огня.

Сердечно ваш

Константин.

75

Павловск, Вербное воскресенье, 15 марта 1915.

Дорогой мой Анатолий Федорович, если беда никогда не приходит одна, то, по счастью, это иногда может быть сказано и о радости. Я испытал это 9 марта, подарившем всех нас вестью о падении Перемышля, а лично мне принесшем ваше милое письмо. Незадолго перед тем только успел я перед вами похвастаться восстановлением здоровья, как вновь испытал две неприятности: 6 марта потерю памяти, длившуюся целое утро, а 8 марта обморочное состояние с усиленным сердцебиением. Теперь выздоровление опять налажилось. Не сумею выразить, как ваши строки тронули меня своей заботли-

востью. Будьте уверены, что я плачу вам тревогой, не меньшей, чем вы обо мне, узнав о вашем падении на рельсах, ушибах и костылях.

А как умел писать Ф. И. Тютчев. Его письма жене, которые он, конечно, не предназначал для печати, так и искрятся остроумием, глубиной мысли и неординарными ее оборотами <...>

(Письмо не закончено.)

76

Павловск, 31 марта 1915.

<...> В последнем вашем письме, начинающемся радостным пасхальным приветствием «Христос воскрес», вы затрагиваете струну, на которую чутко отзывается моя душа, а именно, вы говорите о неудовлетворительности русского перевода Евангелия. Этот перевод отзывается какой-то канцелярщиной, и неудивительно, что он уже дважды вызывал попытки «художников слова» дать новый, более приближающийся к церковно-славянскому тексту перевод. Это переводы В. Жуковского и К. Победоносцева. Известны ли они вам?..

Сердечно ваш

Константин.

P. S. В этот же вечер. Опять температура у меня сегодня выше, чем полагается.

77

31 марта 1915.

<...> Возвращаю вам статью Валерия Брюсова «Маленькие драмы Пушкина». Она, мне кажется, не лишена справедливости и подкупает почтительным отношением к «Солнцу нашей словесности». Тем не менее я не хотел бы видеть В. Брюсова облеченным званием Почетного академика. Есть грехи не прощаемые, и он, как мне кажется, не свободен от них. Мне не забыть его прежнего гаярства.

Сердечно ваш

Константин.

78

Павловск, 8 апреля 1915.

Дорогой и сердечно любимый Анатолий Федорович <...> в моей библиотеке нашелся перевод 4-х евангелистов, исполненный Победоносцевым, и я смогу послать вам эти книги. Обратите внимание на предисловие к переводу Евангелия от Иоанна. Я бы пошел еще дальше Победоносцева, приближаясь в переводе к церковно-славянскому тексту: напр<имер>, слово *искони* в первых же стихах 1-й главы от Иоанна вполне могло бы быть сохранено без изменения. Перевода Жуковского у меня еще не отыскали.

Вы упоминаете Б. Садовского, а незадолго до получения вашего письма мне прислали его книжку <...> под заглавием «Озимь». В книжке есть дельные мысли, как, например, избличения Валерия Брюсова в отсутствие поэзии его «простыночных» стихов якобы о любви. Но не могу согласиться с мнением автора о лиризме А. Блока, признаваемого первым в наше время лириком, «последователем» или, по крайней мере, преемником Фета <...>

К искреннему своему прискорбию, я не могу, хотя сильно хотел бы того, подержать вашего укора Б. Садовскому за упоминание об «убежденном атеизме» Фета. Незабвенного Афанасия Афанасьевича я близко знал и крепко любил, так же как и жену его Марью Петровну, родную сестру знаменитого Боткина. От нее я знал, что Фет действительно был «убежденным атеистом», по крайней мере, по внешним проявлениям религиозности или, вернее, по отсутствию последней. М<арья> П<етровна> говаривала мне, что ее муж в последние годы избегал приятия Св<ятых> тайн, и в предсмертные дни было невозможно убедить его причаститься. Не указывает ли этот недостаток религиозности у Фета, как и «абсолютный ноль» вместо будущей жизни в устах творца «града Китежа», на присущую людям, и даже самым одухотворенным из них, раздвоенность души? Вы правы. нельзя не сказать про них: «Бедные слепцы!» <...>

Всем сердцем любящий вас

Константин.

79

Павловск, 25 апреля 1915.

Милый, дорогой Анатолий Федорович <...> Вы писали о бывшем у вас сильнейшем сердечном припадке; а одновременно (в ночь на 17-ое) у меня был сильный приступ удушья, длившийся часа три-четыре. Как бы хотелось знать, что лучше и вам! Да поможет господь вам успеть написать все то, что душа ваша требует написать до того, как Он позовет вас к Себе. Я глубоко верю, что и волос с головы нашей не спадает без Его воли, и, следов<ательно>, верю, что эта его благая воля *вовремя* отрывает нас от здешних наших дел. Поэтому ходячее выражение *безвременная кончина* для меня звук пустой. Эта всеблагая воля лучше нас знает, когда должен последовать последний призыв <...>

Не могу не согласиться с вами относительно некоторых недостатков перевода Евангелий, принадлежащего перу Победоносцева. Не знаю, как передали бы вы славянское «благообразный» в применении к Иосифу Аримафейскому. Это слово в русском языке имеет свой, отличный от церковно-славянского смысл и, след<овательно>, не может быть оставлено без перевода. Я бы перевел его *именитый*. Как и вы, не могу одобрить ругани Садовского, которая вообще недопустима в добросовестной критике. К сожалению, нередко прибегали к ней и Буренин, и до него <...> покойный Стасов. — Возвращаю с благодарностью стихи из «Русской мысли», допущение коих на страницы журнала ложится на совесть Брюсова...

Как сжимается болью и опасениями сердце в ожидании известий о сражении между Вислой и Карпатами!

До свидания, дорогой Анатолий Федорович.

Сердечно ваш

Константин.

80

11 мая 1915.

Дорогой Анатолий Федорович, я до сих пор не смог собраться ответить на добрые ваши строки от 4 мая. Видеть вас в Павловске 30 апреля было для меня большой радостью. По поводу исполнения у нас моих произведений вы приводите известный стих Пушкина «и звуков и смятенья полн»...

(Письмо не закончено.)

Умер великий князь Константин Константинович (К. Р.) 2 июня 1915 года, читая мемуары о великой княгине Елене Павловне.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИВАН ЕСАУЛОВ



САТАНИНСКИЕ ЗВЕЗДЫ И СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

*Современный роман в контексте русской
духовной традиции*

I

Последний роман В. Астафьева «Прокляты и убиты», опубликованный «Новым миром», появился как раз к сроку: завершается короткое постсоветское безвременье, а далее — только одно из двух. Либо действительное возрождение России, либо окончательное ее падение и гибель. Так или иначе, все более очевидно завершение какого-то большого исторического отрезка пути, далеко не сводимого только лишь к советскому периоду российской истории.

Астафьевское произведение с его апокалиптическим названием, эпиграфом и финалом, эксплицирующими определенную духовную традицию, представляет собой богатый материал для размышлений не только о нем самом, но и о некоей духовной грибнице, на которой произросло произведение, прорываясь сквозь «паршу» иных напластований. Тем более что христианские мотивы не используются здесь в качестве готовых нейтральных блоков, а настолько органичны, что вряд ли рефлексированы и самим автором. Так не задумываешься порой о самом близком и родном, ставшем уже и частью тебя самого, а лишь ощущаешь его.

В полном соответствии с магистральной христианской традицией ставится вопрос о **н а к а з а н и и** **Б о ж и е м** русских людей советского времени, наказании «по грехам нашим», после «чертовой ямы» нашего атеизма. По сути дела, впервые художественно рассматривается проблема, не загромождаемая военными поражениями и удачами советского оружия. Ведь Россия (пусть советская и социалистическая) в п е р в ы е за свою тысячелетнюю историю вела о т ч е с т в е н н у ю войну, не будучи уже христианским государством. Более того, будучи государством не абстрактно атеистическим, но последовательно а н т и х р и с т и а н с к и м (с «верой», по выражению Н. Бердяева, «противоположной христианской»). Не православный крест, а сатанинская звезда была нашим официальным путеводным знаком в этой войне. Красные знамена и комиссары вели нас в бой, а также та самая партия, которая сокрушила перед этим христианскую Россию.

Немецкий фашизм к н а ч а л у войны для большей части населения был соломленным пугалом после куда более страшных домашних расправ. О б р а з в р а г а, создаваемый младшим лейтенантом Щусем, не находит никакого действительного отклика у старообрядца Рындина. «„Товарищ боец! Перед тобой враг, фашист, понятно?.. Если ты его не убьешь, он убьет тебя. Н-ну!“... Щусь в бешенстве отбрасывал винтовку, ругался, плевался, кривил губы, пытался разозлить Колю Рындина, но тот *никак не мог поднять в себе злобы...*¹ „Тебя же с твоими святыми в первом бою прикончат“. — „На все воля Божья“».

У большинства своих героев Астафьев не находит ни грана патриотического воодушевления. Люди из сибирской глубинки едут защищать совершенно ч у ж о е государство. Государство с совершенно чужими ценностными координатами. Но как бы чужды и непонятны для большинства крестьян ни были эти ценности, враждебную им доминанту новой власти герои-страдалцы чувствуют безошибочно.

¹ Здесь и далее курсив в цитируемых текстах мой. — *И. Е.*

Это методичное искоренение на осваиваемых советских просторах островков православной (крестьянской) России, расхристианивание страны. В совдеповском миропорядке прежде всего выкорчевывают как наибольшую опасность самое дорогое: веру аборигенов. Так, с в я т о й угол превращают в «затемненный угол, где при царе стояли царские иконы над лампадой и где вместо богов ныне значились и лепились вожди мирового пролетариата». Поэтому же главная забота замполита «повернуть... лицом к коммунистическим идеалам» вверенных ему для обработки темных новобранцев, что в переводе с с о в е т с к о г о языка на язык х р и с т и а н с к и й означает — отвлечь от Бога небесного. Ведь русский народ злостно «затаился с верой, боится, но Бога-то в душе хранит, на него уповает».

Несмотря на беспрецедентный государственный геноцид, все еще теплится выработанный за без малого тысячелетие и проникший уже в самую сердцевину христианской морали о б ы ч а й, особая российская ментальная структура человеческого поведения. Он-то и истребляется в астафьевской «страшной казарме», где наиболее нагляден процесс превращения «скопища людей» в «скотину», «животных», заживо лишаемых христианской души. Для Коли Рындина такое превращение — кара Господня: «...карает его вместе со всеми ребятами невиданной карой».

В отдаленном новосибирском тылу — в глубине России — нарастает ощущение б о г о о с т а в л е н н о с т и, несводимое лишь к неизбежной последующей физической гибели. Вспомним, что в «Капитанской дочке» Белогорская крепость (гарнизон которой чем-то весьма напоминает астафьевские новобранцев — вплоть до неумения значимую для христианского сознания оппозицию «правого» и «левого», к которой мы еще вернемся, свести к нейтральному знаковому обозначению — маршрутовке) — крепость эта «б о г о с п а с а е м а я», несмотря на последующее взятие ее мятежным Пугачевым. Топос, «где готовил кадры на фронт двадцать первый стрелковый полк», — тоже особый. Но эта особенность диаметрально противоположного духовного свойства. По утверждению Ашота Васконяна, Господь «не пгисугствует... здесь. Пгоквятое, поганое место». В послесловии упоминается «паршой покрытая» земля вокруг строений «новых времен».

Однако повествователь, подобно древнерусскому автору, способен подняться над «проклятым местом» ввысь и обозреть всю страну целиком. При этом Святая Русь отчетливо демонстрирует атрибуты геенны огненной. «Революция и революционеры зажгли русскую землю со всех сторон, и до сих пор она горит с запада на восток (н а п р а в л е н и е авторского взгляда тут также не случайно и предопределено традицией. — *И. Е.*), и нет силы у ослабевшего народа погасить тот дикий огонь».

И здесь как бы в согласии с канонами соцреализма, идущими от Горького и Маяковского, подчеркивается н е ч е л о в е с к а я сущность вождя революции — но не как предмет любования, а с иной этической позиции. Астафьев измеряет масштабность советского героя российским «аршином» христианской морали: «Выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший, будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием, мстя за это всему миру, принес бесплодие самой рожалой земле русской, *погасил смиренность* в сознании самого добродушного народа...»

Существенно также, что красная звезда прямо названа «дьявольским знаком», «прикрываясь» которым антагонист крестьянина-хлебопашца — «дармод» — рядится «в кожаные куртки комиссаров» и «плюет в руку, дающую хлеб». Красная звезда соприродна «ревушему, все пожирающему огню». По Астафьеву, «современные революции, затеянные провозглашателями передовых идей», и завоевательные походы степняков-кочевников имеют типологическую антихристианскую общность. Это именно о г о н ь, та сила, которая «разрывала и испепеляла земную плоть». Вспомним в этой связи ужас *И. Бунина* перед «огнем пожирающим» в одноименной новелле.

«Новая, подлая аристократия, под названием советская», выплавленная в сатанинском пламени, придумывает «слова, лозунги, заповеди» именно для того, «чтобы им не следовать». Ради создания «подлой аристократии», как с ужасом понимает Ашот Васконян, сам к ней принадлежащий, но желающий «хоть чуть-чуть» расплатиться «за сладкий хлеб своего детства» и разделить, таким образом, общую судьбу, и была зажжена русская земля. У этой элиты — собственная мораль, чрезвычайно близкая уголовному самоотторжению от основной массы народа («свою шкуру ценящая больше римских патрициев»). Хотя обычный аристократ Страны Советов и соответствует обобщенному «облику скоточеловека», однако же имеются и особые разряды. «За короткое время в селекции были достигнуты невиданные

результаты, узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия».

Мы видим в романе Астафьева художественную детализацию реализовавшегося-таки в пределах нашей страны шигалевского проекта из «Бесов», при котором «одна десятая доля» получает законное «безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо... при безграничном повиновении». Советскую (новую) аристократию и большинство народа, для которого она и придумывает «слова, лозунги, заповеди», практически ничто не объединяет.

Охотникам выводить придуманный «десятой долей» образ абстрактного «советского человека» (это и есть «лозунг» для потребления «девятью десятыми»), а затем, вывернув его наизнанку, подавать как homo soveticus'a, не мешало бы помнить о существенно различной доле вины и ответственности. Общая, коллективная вина — продукт новейшей (и очень удобно-безответственной) мифологии тоталитаризма. Тогда как все мировые тоталитарные системы практически осуществили программу Шигалева. Можно спорить о п р и р о д е правящей «доли», но принципиальная двухчастность, разноуровневость тоталитарной структуры бесспорна.

Председатель трибунала в астафьевском романе помнит свое место в рядах «подлой» советской элиты: публика в зале, собранная на показательный суд, для него — «серая шпана», «казарменная вшивота». Одновременно «на всех этих лицах, как и всегда, как и везде, где он работал, прочитывались уже привычная настороженность, неприязнь, даже и ненависть. Анисим Анисимович понимал: не к нему лично ненависть, к тому делу, которое он исполнял, была, есть и всегда пребудет она, ибо еще он — он! — завещал: «Не судите да не судимы будете!» Но что нынче он? Да ничто! *Отменили его в России, выгнали, оплевали, и суд здесь не божий идет, а правый, советский*, по которому выходит, что все людишки, наполняющие эту страну, всегда во всем виноваты и подсудны».

Эпизод расстрела (по сути дела, убийства) братьев Снегиревых, Снегирей — один из самых пронзительных в романе. Буквально все персонажи (кроме отведавшего уже «советского правосудия» Володи Яшкина) ожидают помилования братьям за самовольную четырехдневную совершенно детскую, к матери, отлучку. Это ожидание («там, в высоких, строгих инстанциях поймут.. писали.. деревенские люди, газет не читающие, никаких приказов не знающие. Может, проникнутся...») — инерция х р и с т и а н с к о г о мышления, когда приговоренные — «парнишки... братья... по Богу завету». (Сравните с репликой пушкинской Маши Мироновой, за которой в свою очередь мерцает православная ценностная оппозиция з а к о н а и б л а г о д а т и: «Я приехала просить *милости*, а не *правосудия*».) Однако категория новозаветного братства способна разрушить двухчастную структуру тоталитарного социума, отменяющего «милость» и возвратившегося к з а к о н у, принципиально отвергающему всякое христианское милосердие в пределах «советского правосудия». Именно поэтому расстрел Снегиревых образцово-показательно восполняет неудачу предыдущего суда над «дерзким блатником» Зеленцовым и методично ведет к данному финалу: «Погибла семья Снегиревых. Выкорчевали благодетели еще одно русское гнездо. Под корень».

Расправа вытекает из самой природы с о в е т с к о г о патриотизма, отличительные особенности которого — демонстративный разрыв с русской ментальностью, построение нового (своего) отечества и обычное для узурпаторов ожидание расплаты. Поскольку «девять десятых» невозможно, воспользовавшись советом Лямшина из тех же «Бесов», «взорвать... на воздух», эта «серая шпана» всегда представляет потенциальную опасность для «подлой аристократии». Внутренний враг поэтому всегда опасней врага внешнего. Не прекращается война со своим народом — гражданская. Под лозунги агитпропа, адресованные «серой шпане»: «все для фронта, все для победы!» — концентрируются силы подавления. «Пятеро на двух безоружных огольцов!» — качал головой Володя Яшкин, и недоумевал Шусь, ходивший в штыковую на врага. Помкомвзвода видел под Вязмой ополченцев, с палками, ломами, кирками и лопатами брошенных на врага добывать оружие, их из пулеметов секли, гусеницами давили. А туг такая бесстрашная сила на двух мальчишек!..»

Впрочем, «шпану» нужно еще суметь использовать — для своих целей. Как замечает Нержин из комедии Солженицына «Пир победителей» (1951):

Вот это здорово! Ивана заманили,
Ивану насулили, Ивана натравили,
Пока он нужен был, чтоб к Балтике протопать.

Особого рода патриотизм предполагает и особое искусство, его, собственно, и формирующее. В астафьевском романе представлены работники «того советского искусства, которое скорее и точнее назвать бы бесовством»: они «вроде бы совсем не слыхивали о великой русской музыке, живописи, литературе, безгробвали родным, в первую голову деревенским наследием в силу его полного и непоправимого отставания». Давно отмечено, что в русской христианской традиции молчание всегда предпочтительнее гвалта и шума. Замечено также, как эта особенность отразилась и в литературе, даже и патриотического содержания. Так, в «Бородине» Лермонтова тихий «наш бивак» тем и отличается от лагеря противника: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз». Между тем после апокалиптического превращения России в СССР торжествует какофония — полное господство шума над сдерживающей бесовство тишиной. «Я у знамени стою и присягу охраняю» — «Патриотическое стихотворение это было поставлено на сцене в виде спектакля-монтажа, с барабанным боем, с ревом горна и развевающимся над головами пионеров красным знаменем». В другом случае культурное «действие грохотало, улюлюкало, свистело, с визгом вело беспощадный огонь по врагам...».

Роман во многом организован вокруг глубинного разлада между патриотизмом (в советском его варианте) и христианской совестью. Горестная противоположность военного долга перед государством, солдатской честью и христианского миропонимания — реальность этого художественного мира. Если советский суд противоположен Божьему суду как заведомо неправедный («...суд здесь не божий... а... советский»), значит, защищать антихристианское государство (то есть советских учителей, советских врачей, советских политработников, советских судей) в определенном — страшном — смысле означает поступать против своей христианской совести.

С дилеммой «патриотизм — христианская совесть» во время оборонительной войны не сталкивалась ранее русская литература. Роман Астафьева — может быть, первый роман об этой войне, написанный с православных позиций и при полном осознании трагической коллизии.

II

Насколько художественное видение Астафьева, зафиксированное текстом произведения, отличается от лучших образцов лучших советских авторов, обращавшихся к той же тематике? Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся заново прочесть — под обозначенным уже нами углом зрения — хотя бы некоторые произведения о войне, многими любимые и доныне.

Например, повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — первое относительно искреннее произведение, которое, помимо всего прочего, интересно не только с историко-литературной, но и с чисто художественной стороны. Спустя чуть ли не полвека после ее опубликования в журнале «Знамя» нет никакого проку ни в панегирических похвалах впавшему впоследствии в немилость автору, ни в высокомерных упреках за чужую читательскую рецепцию — за то, что вождь народов лично изволил включить Некрасова в число лауреатов Сталинской премии 1947 года. Но хорошо бы все-таки не зашориваться выигрышным сопоставлением с казенными образцами соцреализма.

Первое, что можно отметить, — художественная убедительность, с которой автору удается примирить каноны официоза и обыденную фронтовую жизнь. Для рассказчика и одновременно главного героя Керженцева война — это первое серьезное нарушение былого идиллического довоенного жизнеуклада, при котором герой «проходит как хозяин необъятной родины своей», и проходит, надо сказать, с большим комфортом. Трудности вынесены за пределы мирного времени — и всецело относятся к гражданской войне, непосредственным продолжением которой и оказываются «окопы Сталинграда». «Был же когда-то семнадцатый год. И восемнадцатый и девятнадцатый. Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. «Максим» и трехдвоймовка — это все. И выкрутились все-таки».

После того как «выкрутились», заканчиваются все нестроения. Своего рода апофеозом довоенного счастья выглядит описание Киева на первых же страницах повести. Упоенность безмятежным прошлым, позволяющая вызвать в памяти мельчайшие детали быта, своей ностальгической тональностью напоминает многие страницы из «Лета Господня» Ивана Шмелева. Однако страна, в которой полным хозяином чувствует себя некрасовский герой, — вовсе не Россия. Это совершенно иное государство, с совершенно иной душой и внешней оболочкой. Это — страна советская, эмблемой которой является открытка от мамы, бережно хранимая Кер-

женцевым: «На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботинках. А справа — марка — станция метро „Маяковская”».

Двухчастная природа тоталитарного советского социума у В. Некрасова мерцает и прорывается наружу, но, в отличие от астафьевского мира, здесь она включена в кругозор рассказчика-к о м а н д и р а, героя весьма привлекательного и искреннего, однако же начисто лишенного покаянного сознания, присущего хотя бы тому же Ашоту Васконяну. Керженцев идеально вписывается в тот светлый, праздничный мир, изображенный на открытке и возникающий в мысленных прогулках по Киеву. Это удобный и завершенный советский космос, и герой, подобно Антею, то и дело приникает к символам комфортной реальности, подпитываясь животительной для него энергией, без которой немислимо военное существование Керженцева. Такие «приникания», как правило, сигнализируют о некоторой стабилизации походного быта, либо по крайней мере обозначают установление «порядка в душе» самого героя. «Жизнь текла спокойно и равномерно. *Даже «Правда» московская стала до нас добираться.* Потерь не было никаких»; «Начинаем обжигаться в своей шели... У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки...»; «...наслаждаюсь чтением московских газет».

Оживляя в памяти эмблемы стабильности советского довоенного миропорядка, в котором так вольно ему дышалось, рассказчик весьма и весьма терпим к в р е м е н н ы м бытовым неудобствам, причиняемым войной. «И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю... о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — вот эта землянка и котелок с лапшой, *лишь бы горячая только была*, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и галстуки в полоску, и в булочной я ругался, если недостаточно поджаренный калач за два семдесят давали». Впрочем, и на фронте есть кому позаботиться, чтобы Керженцеву не пришлось «котелок с лапшой» принимать и в самом деле за «идеал».

«Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке.

— Вы чай или кофе будете? — спрашивает Валега.

— А кофе с чем?

— С молоком сгущенным.

— Тогда кофе.

Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи...» Валега — связной, с и б и р я к. Он выполняет при Керженцеве те же функции, что Савельич при Гринева: «Он... ни одной минуты не сидит без дела... Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, *без всякого напоминания* с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не *пришлось* на него *рассердиться*». Последнее звучит как высшая похвала, которой Валега должен быть к тому же весьма доволен.

Валега — в «избытке авторского видения» (М. М. Бахтин) — и в самом деле счастлив. Характерен разговор ординарцев, в подобострастности далеко превосходящий лакейские пересуды прежних слуг. Они, «усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров». При этом Валега так отзывается о Керженцеве: «Зато подавай им книжки. Все прочтут. Ши хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные». Поэтому Керженцев уверен: «Я знаю — будет привал, и он расстелет плащ-палатку на самом сухом месте, и в руках у меня *окажется* (как бы сам собой. — *И. Е.*) кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет *лежать рядом*, маленький, круглоголовый...»

Немаловажно заметить, что, в отличие от Савельича, Валеге «всего восемнадцать лет». Но повторяется и р е в н о с т ь Савельича («Валега ревнует меня»), и з а б о т л и в о с т ь, выходящая далеко за пределы обязанностей ординарца и совершенно неотличимая от отношения слуги к барину: «Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега шупает, морщится: «Лейтенант не будут на такой дряни спать» — и приносит другую...» В другом случае, когда тот же Седых картошку «хотел *просто так*, в мундирах варить... Валега ни в какую. Лейтенант, мол... *не любят* (характерна грамматическая форма глаголов в разговоре с третьим лицом. — *И. Е.*) *шелуху чистить*, любят чистую».

«Он все-таки всовывает мне в карман краюху хлеба и кусок сала, завернутого в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу мне завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом». Мы видим здесь — в буквальном смысле — «сладкий хлеб **своего** детства», о котором с горечью вспоминает и Васконян, стыдясь его сладос-

ти перед товарищами, поскольку это именно отнятый у них в довоенное время хлеб, а потому искупить свою невольную вину перед ними п о л н о с т ь ю уже нельзя. Понимая это, Васконян и счастлив расплатиться хотя бы «чуть-чуть».

Для некрасовского же рассказчика двухчастный социум — как раз та созданная гражданской войной реальность, которую и нужно отстаивать — до последней капли крови — не только сражаясь, но и включившись в агитацию и пропаганду «не по службе, а по душе», как выразился однажды поэт. И в самом деле. Лейтенант Керженцев по возможности не упускает случая для политинформации. Он в некотором роде ретранслятор — для не читающих газет бойцов: «Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, *чуть приоткрыв рот*, не мигая»; «Вечером однажды идет разговор о героях и наградах... «А что нужно сделать, чтобы орден Ленина получить?..» Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча...» В итоге стараний Керженцева «охват» бойцов агитацией увеличивается. По сути дела, мы получаем ответ на вопрос «остовки» Галины — героини уже цитированной нами комедии Солженицына:

...каким же роком?
 Какими зельями? какую силой
 Вас всех *понутили* служить *морлокам*,
 Врагам народа нашего, врагам России?

Однако нужно помнить, что рассказчик — не профессионал в этом деле. Для него газетная информация, распространяемая вширь, естественнейшим образом гармонирует с Пятой симфонией Чайковского, которой он с волнением внимают под стук пулемета. Но есть и штатные, настоящие агитаторы. В мире некрасовской повести они так же необходимы, как боеприпасы. И их так же не х в а т а е т. «Политработники *нарасхват*. Полковой агитатор наш, веселый, подвижной, *всегда возбужденный* Сенечка Лозовой, прямо с ног сбивается... А там, *на передовой*, только и слышно: «Сенечка, сюда!», «Сенечка, к нам!»... Очень любили его бойцы». Наиболее лестная характеристика агитатора Сенечки в устах комиссара: «Работает, как дьявол... Ну как на него рассердишься?» «А работает Сенечка, *действительно*, как дьявол», — одобряет политработника рассказчик. Понятно, что герой, заслуживший столь ответственное сравнение, не может остаться без награды. Он ее и получает, отправляясь в самое средоточие сакрального советского космоса, отвергнувшего Бога: «Как лучшего в дивизии агитатора послали в Москву учиться».

В повести можно обнаружить и некоторые христианские реалии. Так, во время отступления Советской Армии рассказчик роняет: «У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят. *Только одна бабушка* в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шагом <...> Кто-то из бойцов подставляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро *крестит его* и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь». Но именно в э т о й главке повести имеется и прообраз астафьевской самовольной отлучки домой. Выясняется, что село и дом и здесь таят в себе внутреннюю опасность, мешая исполнению военного долга. Оказывается, что беглецы Сидоренко и Кваст о д н о с е л ь ч а н е. «Всегда *держались вместе*, хотя были в разных ротах (единение односельчан на п е р е к о р распределению в полки чревато уже дезертирством! — *И. Е.*). Раньше за ними ничего не замечалось...»

Самое, пожалуй, любопытное в поэтике этой повести — прорывающаяся надежда на некую с в е р х ь е с т е с т в е н н у ю с и л у, которая только и может остановить немецкое наступление. Инженер Георгий Акимович убежден: «Нас спасти может *только чудо*. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками». Рассказчик, напоминая о патриотизме, замечает: «Возможно, это и есть *то чудо*, которого так жлет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность». Однако чудесное вмешательство, изменившее весь ход войны, вполне подготовлено сюжетной динамикой. Комбат Ширяев в беседе с Керженцевым говорит о Сталине: «А все-таки воля у него какая... Два таких отступления сдержат... Сумел отогнать от Москвы... И немцы ничего не могут сделать со всеми своими «юнкерами» и «хейнкелями»... Каково ему было?.. Ведь второй год лямку тянем. А он за *всех* думай <...> *Весь фронт держит*... И до победы доведет. Вот увидишь, что доведет».

Спустя главу описывается воздействие сакрального с л о в а вождя на весь земной универсум: от солдатской землянки до Северной Африки. «Седьмого вечером приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удастся... Только — «и на нашей улице будет праздник» — разо-

брали. Фразу эту обсуждают во всех землянках и траншеях <...> Сталин выступил шестого ноября. Седьмого союзники высаживаются в Алжире и Ороне. Десятого вступают в Тунис и Касабланку». Налицо материализовавшееся наконец ч у д о, которого «уже давно ждем». Вполне заурядная ф р а з а, прорвавшаяся сквозь эфирный шум, становится символом в о л и, с которой «немцы ничего не могут сделать со всеми своими „юнкерами” и „хейнкелями”». Таким образом, «окопная правда» рассказчика поддерживается эпической установкой на обожествление вождя и вполне языческой верой в его всемогущество.

В повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» (1961) рассказчик изначально находится целиком во власти о ф и ц и а л ь н о й политической оценки — похвалы либо порицания как итога жизни: «Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении задания...» и «Ваш сын оказался трусом». То и другое — возможные р о л и, примеряемые и отбрасываемые персонажем, однако роли з а д а н н ы е, заранее предусмотренные ф о р м о й извещения. Однако, примеряя обе версии, рассказчик между тем не забывает сообщить: «За невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет». Возраст школяра — это как бы и напоминание о помехе выполнению «задания» и в то же время словно мольба о помиловании — в случае действительного его «невыполнения».

Тогда как отношение к жизни и смерти д р у г и х (кому как бы п о л о ж е н о воевать) у школяра несколько иное. «Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. Специально подобраны... И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки... Потому что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы?.. Просто мы не привыкли». Вполне мифологическое представление о д р у г и х, которым гораздо п р и в ы ч н е е умирать, а потому, вероятно, и не в п р и м е р л е г ч е, да и словно п о л о ж е н о по чину («они все охотники, медвежатники»), совершенно произвольно проникает в ткань текста. Однако на этой же странице, если сослаться на знаменитые «Тарусские страницы», трогательная ремарка о не привыкших к смерти, таких, как сам рассказчик: «Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются...»

Поэтому не случайно возникает соблазн з а м е н ы тех, кто не привык, теми, кто «привыкли» — «с детства». И раздражение, направленное на н е п о н и м а ю щ и х качественной разноразности, чреватой смертью н е т е х. Вспомним хотя бы реакцию школяра, вернувшегося с действительно опасного задания: «Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством...» В этом пассаже в сублимированном виде можно различить многие уже знакомые нам мотивы. Тут и трансформированная, но узнаваемая мораль: «Умри ты сегодня, а я — завтра». И убеждение в наследственном праве на именно такую очередность («мой отец создавал... комсомол»). И даже — после всего этого — упоминание о благородстве, словно опирающееся на комсомольскую линию. И обида: школяра захотели «послать», подвергнув опасности, хотя он еще ведь «ничего не создал». А оставили незадействованным Колю Гринченко, который, как мы узнаем далее, «ведь и царапины не получил». Поразительно, что и в этом тексте мы замечаем уже знакомое нам с о г л а с и е д р у г и х (а не только самого героя) на весьма специфическое распределение тягот военного времени. Свя-зистка Нина убеждает рассказчика: «...тебе не воевать надо».

...Однако же к к о м у обращается с мольбой о спасении рассказчик? У Окуджавы можно заметить некоторую неуверенность именно в адресованности стеноидный школяра. Правда, важно, что у героя рождается с а м в о п р о с об адресате: «Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж?» Затем в памяти возникает «старуха-соседка Ирина Макаровна», и школяр переадресовывает свою мольбу ей: «Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть». Симптоматично само метание мысли школяра — от нсодушевленных бревен к немощной старушке — в поисках п а с е н и я. Явно ощущается некоторое з и я н и е, значимое отсутствие Спасителя, которое надлежит хоть как-то заполнить, дабы не остаться один на один со смертью.

Перед лицом смерти открывается и неполнота личного существования школяра. Поэтому особого типа карнавальное ряжение героя в повести Окуджавы (уместна бахтинская формула: «карнавал, переживаемый в одиночку с острым осознанием этой своей отъединенности») может быть понято и как судорожные попытки обрести такую в н е ш н ю ю а в т о р и т е т н ю з а щ и т у, растворив-

пись в которой можно уберечь-спасти собственное «я». Таким образом, наступает момент, когда, по словам Мандельштама, «мне уже не хватает меня самого...».

Правда, внедренный в сознание мотив «я сам себе судья» с неизбежностью приводит к тому, что школяр становится «судьей» не только себя, но и других. Осуждается, в частности, Федор Лаврентьевич Любимов, обманным образом получивший бронь, то есть гарантированное право на жизнь. Существенна здесь л о г и к а осуждения: Любимов пытается с а м о в о л ь н о занять н е п о д о б а ю щ е е (с точки зрения рассказчика) м е с т о в структуре советского миропорядка, уравнивать себя в праве на жизнь с теми, кто действительно, по мысли школяра, достоин этого, чья жизнь имеет д р у г у ю ц е н н о с т ь. «Наверно, он и сейчас по броне живет. Как будто он известный конструктор или великий артист». Напомним, Любимов, желающий обманно выжить, всего-навсего «в мастерской работал».

Но нельзя не отметить и противоположного душевного движения к о т к а з у от осуждения. Так, начальное определение соседки Ирины Макаровны («Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила») отменяется итоговым: «*Прости меня. Разве я знал?*» Правда, последние слова звучат уже п о с л е того, как «появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток», но мольба о спасении обращена ведь именно к ней... Аналогично изменение оценки д р у г о г о, признание собственной в и н ы перед ним и в финальном: «Прости меня, Шонгин — старый солдат». Шонгин — предмет постоянных насмешек рассказчика, поскольку «служил во всех армиях во все времена» (следовательно, и в «царской» — тоже). Оказывается, что даже л о ж к а Шонгина имеет «индивидуальность», в отличие, правда, от ложек немецких, непереносимых для героя.

Для того чтобы и в немце-враге увидеть д р у г о г о — своего ближнего, надо было преодолеть не только эстетический, но и этический барьер. Проживая в стране, специализировавшейся на разоблачении разнообразнейших разновидностей врагов (от русских патриотов до безродных космополитов — в зависимости от политической конъюнктуры), советские авторы и героев своих наделяли соответствующей установкой. Даже вполне достойные авторы вполне симпатичных героев.

Так, в повести «На войне как на войне» (1965) В. Курочкин изображает очердного младшего лейтенанта, которому «ужасно не везло», поскольку «вот уже полгода, как он на фронте, а еще не выпустил по врагу ни одного снаряда». Не удивительно, что при виде убитого немецкого офицера «Сане... стало *весело...* А как же иначе? Это же *не люди, а фашисты!*»

Не нужно забывать и о всегдашней проекции внешних врагов на врагов внутренних, которые, конечно, тоже «не люди». «Малешкин... думал о богатом доме, о красивой неприветливой хозяйке и сам себя спрашивал: „Почему они такие жадные и черствые? Или действительно с фрицами якшались? Или она и в самом деле попова дочка?“»

III

Повесть К. Воробьева «Крик» (1961) типологически тяготеет к только что рассмотренным, прежде всего все той же выделенностью рассказчика-героя. С констатации этой выделенности, как с некоего ставшего уже почти ритуальным вдоха, и начинается повествование: «Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах». Но именно этот текст резко отличается как принципиально новыми акцентами, так и редкой психологической достоверностью изображения. Завершающий произведение колокольный звон, который «несся» от поленницы, сложенной из трупов тифозных больных, — лишь последний выразительный аккорд воробьевского реквиема, пронизывающий все произведение.

С о з н а т е л ь н о с т ь, внедряемая пропагандой, здесь впервые появляется в отчетливо н е г а т и в н о м контексте — как нечто чужеродное, неуместное и навязываемое. Командир отделения Крылов, допытывающийся у хозяина избы, где остановились солдаты, «за что отбывал», характеризуется как «*сознательный* малый. *Один* на весь взвод оказался... Валенки тоже его работа» Последняя фраза указывает на д о н о с т о г о же Крылова о самовольной смене замерзающими рядовыми обуви. Таким образом, б д и т е л ь н о с т ь («...бдительные люди нам с тобой позарез нужны», — с иронией заявляет один из персонажей), с о з н а т е л ь н о с т ь и д о н о с и т е л ь с т в о образуют один значимый ряд. Единство этого ряда и является откровением для «военной прозы» 60-х годов.

«Один на весь взвод» — это ведь тоже особое и з б р а н и ч е с т в о, базирующееся на неукорененности в мире других, на игнорировании элементарной житейской морали. Может быть, оттого и возникает в тексте понятие, *антиномич-*

ное укорененности: «...мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было *«проходимец»*. Хуже такого *определения* человека она не знала».

Но как же в р а г и и как же штабеля трупов? Враги у Воробьева входят в общечеловеческое единство «всех людей». Поразительно, что осознается это как раз во время п л е н е н и я рассказчика. «...среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он (Васюков. — *И. Е.*) зачем-то перестал дышать (вот момент как бы мгновенной с м е р т и персонажа, за которым — отказ от «ветхого» представления о врагах. — *И. Е.*) — соображал, наверно, потом сказал: *«Да на вид они как мы. Одежда только не наша.* . Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все...» Стало быть, «наши» и «не наши» рознятся лишь «одежей». Важно отметить и другое. Если немцы отличаются лишь одеждой, то «сознательный малый» Крылов отличается от «нас» гораздо резче. Он неизмеримо дальше от Васюкова, нежели «враги»-немцы: «курва» и «испортил всё» — весьма выразительные формулы отторжения.

Этот новый водораздел, пусть только едва-едва намеченный, — настоящее открытие героя Воробьева. Осознание общечеловеческого родства людей происходит мучительно (это лишний раз свидетельствует о том, что «как дьявол» работал не один Сенечка): «Я подумал тогда сразу о многом — о том, что эти два немца *совсем похожи на нас, на людей*; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники...» Если в повести Окуджавы и наши мифические сибиряки представляют собой пекую недифференцированную военную массу медвежатников, то в рассматриваемом произведении враги — л ю д и, вполне сравнимые с неповторимым «я» рассказчика, имеющие собственные х а р а к т е р ы. «Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-моровом у нас на Куршине, году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго...»

За этим описанием, завершающимся выстраданной мудростью, произнесенной в то самое довоенное время, благополучие которого куплено ценой мора других, приоткрывается возможность иного видения войны. Читатель ощущает сомнительность универсального разделения на «наших» и немцев и вероятность иной градации: между теми, кто «в беде», и теми, «кому хорошо» А упоминание о «тридцать третьем» опрокидывает навязываемое представление об о б щ е м с о в е т с к о м благополучии, которое осмелился нарушить лишенный человеческого лица враг. Инстинктивное тяготение героя к чужому «очкастому», с каплей на носу, которому тоже вряд ли «хорошо», и отталкивание от своего «сознательного малого» приоткрывают неведомые ранее перспективы переосмысления с у т и в о й н ы, в некоторой степени реализованные — спустя тридцать лет — Астафьевым.

О неслучайности для Воробьева пристального внимания к изображению в р а г а и о явном его недоверии к агитпроповским картинкам, главная цель которых — заставить поверить «девять десятых» в н е ч е л о в е ч е с к у ю природу врагов, можно судить и по повести «Убиты под Москвой» (1963). Алексей Ястребов (еще один лейтенант) мучительно размышляет: «Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них *всё*, что писалось в газетах и передавалось по радио, но *сердце упрямылось* до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог *заставить* себя думать о них иначе как о людях... Но какие же они? Какие?»

В другом месте при виде насаженного курсангом на штык, но еще живого немца, умоляющего «*Um Gottes willen*» (ради Бога) добить его, герой у г а д ы в а е т «чем-то *тайным в себе* темный смысл фразы поверженного немца». Было бы преувеличением говорить о вспыхнувшем христианском единении, основываясь на мольбе, сердцем услышанной Алексеем, который, конечно, отнюдь не является человеком Божиим. Однако же к с о л д а т у, который, собственно, и п о в е р г в р а г а, к о м а н д и р взвода испытывает небывалые в советской системе координат чувства: «Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвращения, которые он испытал к *курсанту*».

Прежде чем вернуться к астафьевскому роману, не избежать обращения еще к одному произведению, в котором демонстрируется з а з о р между представлением о жизни, формируемым революционно-партийной фразеологией, и самой реальностью — в этом случае курортного города. Речь идет о повести Б. Балтера «До свидания, мальчики!» (1962). Рассказчик, только еще собирающийся стать командиром, этот зазор по возможности пытается устранить л и ч н о. Разумеет-

меется, за счет давления на реальность — в полном соответствии с готовыми умозрительными конструкциями.

В какое энергетическое поле воздействия попадают юные герои Балтера? Авторская ремарка, дистанцированная от описываемого времени, указывает: «Мы, конечно, не подозревали, что и на нас бездумно-веселая жизнь курорта с детства оказывала свое влияние». Однако, констатируя «влияние» уличной жизни, нельзя не заметить и влияние внедренной пропаганды. Оно более чем ошутимо, поскольку все окружение героев состоит из больших любителей, охотников и ревнителей газетной информации. Это в полном смысле, по словам Цветаевой, «читатели газет». В небольшой повести Балтера упоминаются различные издания. Туг, конечно, и незабвенная «Правда», но есть и газета, передающая местный колорит, — «Курортник»; есть говорящая о военной специфике — «Красная звезда». Не удивительно, что искусственное — под весьма определенным ракурсом — «отображение жизни», претендующее, однако, на то, чтобы жизнь напирать по удобному для власти вектору, или, говоря попросту, и искусство проникает в сознание балтеровских отличников, нежели в сознание темных и незнательных астафьевских новобранцев.

Без всякого преувеличения можно констатировать, что советская ментальность в рассматриваемом нами случае действительно становится внутренней регулятором поведения. превратившись из предлагаемого внешнего словесного проекта в насмерть отстаиваемое личное дело каждого. Именно рафинированные герои гораздо легче поддаются внешним манипуляциям: в сознание уже словно вживлены датчики, незамедлительно реагирующие на определенные сигналы, поступающие из агитпроповской кухни.

Зачастую излишне всякое внешнее принуждение: герои Балтера сами и с большой готовностью выполнят (и перевыполнят) все, что от них требуется. Партия и комсомол вполне могут на них положиться, поскольку требуемое для исполнения почти всегда не только внешняя задача, но и резонирующая ей в сознании внутренняя установка.

Так, мама рассказчика на вопрос сына о ее втором муже отвечает: «Тот человек был самой большой моей ошибкой *перед партией и перед вами...* Упорный и убежденный троцкист. Когда я это поняла, я его выгнала». Конечно, автор дистанцируется от слов героини, а в иных случаях даже иронизирует над подобными неуклюжими (а потому и неприемлемыми для него) соединениями политически серьезного и профанного. «Алеша... мог произнести речь по любому поводу. Например, я отлично помнил его речь о вреде сусликов... Он открыл нам глаза на паразитическую жизнь сусликов — этих *коварных врагов* молодых колхозов и *советской власти*. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, Алешина речь *против сусликов* решила его судьбу: на собрании был секретарь горкома партии, и речь ему очень понравилась».

Однако явная ироничность описания вытекает именно из топорности, опошляющей идею. Между тем жизненность идеи не подвергается сомнению: не тот строй мышления. Мешает ранняя ангажированность, которая оказывается сродни наследственности: мама, комработник, переболевшая, подобно партии, кратковременным увлечением троцкистской заразой, имеет достойного ее сына.

Не удивительно, что специфические сигнальные слова («Речь идет о большой чести, — сказал Алеша, — о великом доверии, которые партия и комсомол готовы оказать вам...») в этом кругу вызывают единственную реакцию: «...мы.. не могли сдержать самодовольные улыбки и скрыть возбужденный блеск глаз».

Возбуждение, в которое приходят герои при упоминании о доверии партии и комсомола, еще более повышается, когда — по контрасту — им демонстрируют врага (так и в современной массовой культуре эротические сцены закономерно чередуются с актами насилия, регулируя возбуждение реципиентов): «...за рубежом *враги мечтают о реставрации в нашей стране старых порядков*. Они готовятся напасть на нас. И вот тогда вы поведете войска первого в мире рабоче-крестьянского государства... Вот почему мы решили обратиться к вам, лучшим из лучших...» Отметим здесь указание на главную опасность со стороны размечтавшихся врагов: реставрация «старых порядков», то есть восстановление российского жизнеуклада, выходящего за пределы советского периода отечественной истории. Оприродолевшего дореволюционного миропорядка ничего не сообщается даже в риторических пропагандистских формулировках. Вероятно, этого уже и не требуется: герои-отличники имеют в подсознании педаль, которая нажимается словесной формулой, основанной на ценностной оппозиции «ста

рое — новое». Отметим и другой существенный момент. «Трое из одного города» приглашаются отнюдь не в общие ряды войск «рабоче-крестьянского государства» (пользуясь иной терминологией, вовсе не на гибельные «общие работы»). Они нужны, чтобы повести эти войска, то есть превратиться именно в красных командиров, уже знакомых нам по произведениям Некрасова, Окуджавы, Воробьева, Курочкина. Надо сказать, герои действительно заслужили это приглашение.

Внутреннее родство юных героев-отличников и особо нуждающейся в них родной партии проявляется порой в самых неожиданных и самых невинных эпизодах. Например, во вполне искреннем пожелании врагам — во время выпивки, — «чтобы они сдохли... Разве мало на свете разного дерьма? В общем, кто-то кому-то всегда мешает жить. *Чтобы не мешал, пускай сдохнет*».

«Политическая кампания» по набору в военные училища, которую образцово помогают выполнить герои Балтера, будучи живыми примерами сознательности, закономерно увенчивается газетной статьей в «Курортнике», озаглавленной в выгодном контрасте с мирным названием издания «Подвиг молодых патриотов». Для ангажированной советской элиты, как выясняется, весьма важно даже количество газетных строк, уделенных тому или иному «патриоту».

В повести имеется очень важное авторское отступление об узоности тогдашнего «представления о мире», что подается, однако, как факт «моей личной биографии». Но за уверенностью рассказчика, «что для меня уготованы все радости жизни», за убежденностью в собственном праве на «миссию освободителей» планеты, начатую в СССР, где уже «был воплощен» тот «разумный мир, единственно достойный человека», конечно же, обнаруживается достаточно распространенная, а отнюдь не единично-индивидуальная установка.

При этом следует подчеркнуть и другое. Подавляющее большинство жителей страны не подсчитывало количество строк о себе и своих детях в советских газетах и на каждом шагу убеждалось в том, что «все радости жизни» властно «уготованы» отнюдь не для них, а для других, различными хитроумными законами и предписаниями огражденных от слишком неудобного соседства с «девятью десятками».

Поэтому, повторим, представления о мире, прекрасно сформулированные Б. Балтером, никак нельзя неоправданно расширять до несуществующего общего портрета мифического homo soveticus. Идеологам и пропагандистам советского режима очень хотелось и раньше убедиться «девятью десятками» в том, в чем вполне убедили благополучного героя рассматриваемой повести: в единственной разумности советского жизнеуклада. Однако сама эта «разумность» состояла в жесткой двухчастности и могла существовать только за счет разницы уровней, поддерживающей необходимое напряжение (включая страх перед «общими работами», да и — шире — перед общей судьбой с соотечественниками), при котором нарушитель должен был «сдыхать». «Мир», устроенный таким образом, и объявлялся «единственно достойным человека». При этом совершенно очевидно, что идеология и збранные чества (вооружась которой только и можно заниматься освобождением земного шара) присуща именно высшему ярусу советского социума.

К чести же Б. Балтера следует сказать, что, подойдя к обрыву в черную пустоту», он нашел в себе мужество переосмыслить хотя и не все, но многие весьма удобные юношеские представления. Сумел признать «теперь», что знал и понимал «очень мало», хотя (а может быть — потому что) «был крутым отличником».

IV

Возвращаясь после столь длинного отступления к центральному для нас произведению, интересно сопоставить с наставлениями юным командирам у Балтера столь же концептуально значимые «напутные слова» солдатам в астафьевском романе. У Астафьева их всегда по два, и всегда они противоположны по своей духовной направленности. Так, провожаемый в армию Феля Боярчик получает наставления «отпетой кулачки» Феклы Блажных, фактически воспитавшей его, и матери, «железной большевички» Степаниды. Первое: «Да сохрани тебя Господи!.. Да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю... Да помни об нас, горемышных, помни. Чем обидели-прогневили тебя — прости и о Боге, о Боге небесном не забывай». Второе: «...мать лупила сына в грудь: „За Родину! За Сталина... Смерть врагу!.. Гони ненавистного врага! Гони и бей!.. Гони и бей...”»

Трагична здесь, на мой взгляд, отнюдь не тесная увязка «родины» с выкидыванием имени вождя, хотя их неразделимость для подавляющего большинства со-

ветских солдат (пусть и на уровне слова) — грустная реальность времени. И какое моральное право у нас сегодня упрекать людей, соединяющих победу с именем Сталина, если даже в перестроечные годы ретивые пропагандисты-«демократические революционеры» (слово А. Солженицына) взахлеб прославляли пламенных палачей, неловко попавших в сконструированную ими же сталинскую мясорубку. А казалось бы: можно ли всерьез в банке с ядовитыми пауками, отправленными на погибель стране, подобно биологическому оружию, в запломбированном виде, пытаться найти «нашу» разновидность и разновидность не нашу. Не к поискам ли паучьих родословных (различных, это правда) сводились порой бурные дискуссии в советских толстых журналах? Но паук-победитель только тем и отличается от прочих, что он просто оказался сильнее.

Трагично, повторяюсь, не имя вождя в неподобающем контексте, а сам факт распада, разрыва напутствия надвое. Родина и Бог небесный накануне самой страшной войны в российской истории словно бы оказались враждебны друг другу. «Бог небесный» будто мешает воевать «за Родину» Коле Рындину: именно на советской родине Его «отменили... выгнали, оплевали». Глумление над Христом, знакомое ранее лишь по Новому Завету, повторилось, вплоть до его второго распятия, — это глумление стало одной из несущих опор нового «патриотизма», отвергающего Веру, Царя и Отечество. По прибаутке Еремея, пытающегося схитрить и тем понравиться патристически настроенному советскому командиру, «Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем! Хх-хх!».

Чтобы понять всю чудовищность для православного русского менталитета даже малого зазора между долгом перед Родиной, Россией и личной христианской совестью, необходимо вспомнить некоторые вехи осознания взаимосвязи этих двух начал, воплотившиеся в литературных текстах. Осознание происходило весьма драматично.

Начнем со злосчастного военного похода князя Игоря: ведь его описание и эстетическое осмысление уже зафиксировало инвариант интересующей нас проблемы. В самом начале «Слова о полку Игореве» автор, как известно, противопоставляет свою «песнь» «замышлению Бояню»². Определение Бояня как «соловья старого времени», ориентирующегося на некий особый обычай («замышление»), имеет более глубинную перспективу, чем это может вначале показаться. Затем на генетологию «замышления» Бояня указывает тропа Троянова, по которой «рища» (рыщет) «Велесовь внуче». Троян и Велес — языческие божества³. Так автор «Слова...» намечает доевангельскую языческую традицию для последующего описания похода князя — ту, которой наследует Боян, и христианскую у Ю, которой наследует сам автор «Слова...».

В первом же памятнике древнерусской литературы — «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона — указывается только два пути возможного выбора: старый (дохристианский) и новый (евангельский). Поэтому ориентация Бояня как естественного продолжателя былой славянской языческой установки («внука Велеса», идущего по «тропе Трояна») сразу же отвергается автором «Слова...». В то же время автор использует стиливые особенности «соловья старого времени», переводя их в христианскую систему этических координат.

Так, в отличие от Бояня, славившего своих героев как бы автоматически («живые струны», как помним, «сами княземь славу рокотаху»), для автора «Слова...» его герой должен пройти покаяние. В этом смысле важнейший момент художественного содержания «Слова...» — символическое оставление богатства на дне Каялы, утрата отцовского достоинства на чужбине. Не получивший благословения поход Игоря, его самовольный исход за пределы Русской земли, своеволие как таковое завершаются тем, что «Игорь князь выседе из седла злата, а въ седло кощиево». Тогда как чудесное возвращение героя в пределы Русской земли — прямое исполнение воли Божией.

Кажется, этот существеннейший поворот художественной мысли автора совершенно недостаточно привлекал внимание исследователей. В описании побега Иго-

² Это противопоставление — одно из самых «темных» мест «Слова...». Р. Якобсон игру Бояня сравнивает с ликованием библейского царя Давида во Второй Книге Царств. Б. Гаспаров в своей блестящей монографии о древнерусском произведении подтверждает и дополнительно мотивирует всю обоснованность указанного сближения героев отсылкой к пению царя Давида в 107 псалме. Таким образом, мы вправе предположить ветхозаветную установку Бояня, проявляющуюся и в особенностях его слова.

³ Причем последний «считался богом „всей Руси“» («Мифы народов мира». М. 1987. Т. 1, стр. 227).

ря видят скорее аргумент, доказывающий «двоеверие» автора. Но о б о р о т н и ч е с т в о героя, его «превращения» в горностая, гоголя, волка, сокола, рассматриваются вне соотнесенности с произведением как целым. Тогда как п р е д ш е с т в у ю т чудесному избавлению от неволи слова автора: «Игореву князю *Богъ путь кажетъ* изъ земли Половецкой на землю Рускую». Следовательно, все участки пути — земной, водный и небесный — благословляются Богом, именно христианским Богом, если вспомнить конечный пункт пути: церковь Богородицы Пирогощей в Киеве. Представляется, что т р о п а Троянова, воспеваемая Бояном, и указываемый Богом князю Игорю п у т ь имеют все-таки различное направление. Во всяком случае, отвергаемая автором «Слова...» гипотетическая возможность следовать «замышлению Бояню», как я полагаю, окончательно п р о я с н я е т с я в финале указанием на вполне определенный православный топос «святой Богородицы» — именно то место, куда «князю Богъ путь кажетъ».

Свободным выбором этого б л а г о д а т н о г о пути (но увидеть который герой смог, лишь лишившись в н е ш н е й свободы) отчасти можно объяснить и будто бы совершенно непонятные проявления воистину вселенского ликования на Руси после н е у д а ч н о г о (с военной точки зрения) возвращения князя Игоря, оставившего на поле брани перебитую «погаными» дружину. Между прочим, художественно отвергается первоначальная «гордая», героическая установка князя, совпавшая — спустя века — со сталинским отношением к плену и пленным: «Лучше жь бы потяту быти, неже полонену быти».

В древнерусском произведении нет ни одного упрека князю Игорю в гибели дружины: торжествует в е с ь христианский православный мир. «Страны ради, гради весели». Единственное объяснение такого вселенского веселия — христианская точка зрения самого автора «Слова...», для которого следование героя путем, угодным Богу (и тем самым спасение души князем Игорем; отказ от богоборческой позиции — невнимания к «знамению»), иерархически важнее земной военной неудачи и достойно итогового прославления. Христианская установка автора — единственное адекватное объяснение финального веселия после завершения погибельного похода: душа одного человека «перевешивает» в с е остальное.

Весьма показательно, что вселенская з д р а в и ц а ж и в о м у князю Игорю (а также другим князьям) и п о ч и в ш е й дружине, совершенно, казалось бы, неуместная после одинокого возвращения героя, как бы в о с к р е ш а е т и «пшкъ Игоревъ». Для Бога нет «мертвых». Молением князя Игоря в церкви «святей Богородицы Пирогощей» (оставшимся за пределами текста) безнадежное восклицание: «А Игорева храбраго пльку не кресити!» — отменяется.

Исход в Половецкую землю начинается с недоброго знамения, но не с молитвы в храме. Значимое отсутствие всякого упоминания о православной церкви в начале похода и ее появление как итогового пункта исхода (места, где з а к о н ч и л с я поход полка Игоря) позволяет говорить об обретении в финале не только з е м н о й родины — Русской земли, — но и родины н е б е с н о й.

В пределах произведения как художественного целого путь Игоря в в е р х, по Боричеву подъему, — обретение иной (горней) точки зрения, с которой можно обозреть разом «страни» и «гради». Та же точка зрения позволяет автору романа «Прокляты и убиты» увидеть сатанинское пожарище — с запада до востока. В соборе как вершине духовного пути для христианина возможно единение живых и почивших (в буквальном смысле с о б о р н о е е д и н е н и е). Крестный путь князя Игоря искупает, таким образом, его «позор».

Патриотизм и воинская честь в русской литературе традиционно поверялись христианским критерием. Как говорит Л. Толстой в «Войне и мире», «для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого».

В «Капитанской дочке» п а с п о р т Петра Гринева хранился в шкатулке вместе с сорочкой, в которой к р е с т и л и. Суждение о покоренной Пугачевым, но тем не менее «богоспасаемой» крепости можно понять только внутри православной ментальности: речь идет о спасении души перед Богом, но связано это спасение с честью и воинским долгом. Рассказчик не случайно отзывается о казенных как о «великодушных моих товарищах». Так, комендант крепости, успев благословить дочь (благословение вообще центральная проблема пушкинской повести), претерпевает мученическую физическую смерть, но спасает честь и душу. Для Ивана Игнатьича дуэль между Гриневым и Швабриным — «душегубство», неприемлемое для христианина («доброе ли дело заколоть своего ближнего»), и о д н о в р е м е н н о действие, противоречащее «долгу службы» («злодействие, противное казенному интересу»). Можно вспомнить и о решении существенного вопроса (обозначенного эпитафией) насчет сбережения чести. Андрей Петрович Гринев говорит о чести казенного «прашура», которая понималась последним

«святынею своей совести». Его сын заявляет Пугачеву: «Не требуй того, что противно чести моей и христианской совести», тем самым неразрывно связывая в единстве своей личности «честь» и «христианскую совесть», а также ставя это единство, как и «пращур», превыше жизни («...Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй...»).

И примечательно, что в «Бесах» Достоевского открытое «право на бесчестье» предполагает прежде всего личную свободу от христианской совести. Кармазинов приписываемую ему веру в Бога называет клеветой («Меня оклеветали перед русской молодежью»). Он же с одобрением определяет: «...сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести». Сопоставив это определение с другим («Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом»), можно понять, что и здесь свобода от Бога — это именно «право на бесчестье», позволяющее «одной десятой» вести в «первобытный рай» (коммунизм, как скажут позже) остальных. Однако ведомые к светлому будущему обязаны принять главное условие меньшинства — вернуться к дохристианскому состоянию: «должны *потерять личность* и обратиться вроде как в стадо».

Старшина Шпатор в астафьевском романе, хорошо знакомый уже с результатами советского перевоспитания (автор «Бесов» угадал, характеризуя шигалевский проект, что «меры, предлагаемые... для отнятия у девяти десятых человечества воли... посредством *перевоспитания целых поколений*, — весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны»), «боялся: *душу-то живую* не убили ль? не погасило ли в ней *быдловое существование* свет добра, справедливости, достоинства, уважения к ближнему своему, к тому, что было, есть в человеке от матери, от отца, от дома родного, от родины, России, наконец, заложено, передано, наследством завещано?».

Сам Шпатор, в «царстве юродивого деспота» вынужденный влачить такое же «быдловое существование», не потерял традиционалистского мироощущения: «Простите меня, дети, простите!.. Чем прогневал... чем обидел... Не уносите с собою зла... С Богом!» О значительных трудностях насильственного внедрения «революционной идеи» в традиционалистское сознание свидетельствует и напутствие родных перед отправкой на фронт солдат: «...усталые женщины... что-то привычное наказывали, говорили то, что век и два века назад говорили удивившим на битву людям... крестя украдкой служивого, вознося молчаливую молитву Богу, вновь в сердце вернувшемуся...»

Эта совершенно неожиданная для «одной десятой» стойкость остальных девяти, делающая возможной *возвращение* Бога, а потому и итоговое преодоление разрыва между традиционным русским патриотизмом и христианской совестью, дарует надежду, что «дикий огонь», зажженный «провозглашателями передовых идей», возможно-таки «погасить».

Ведь, читая первые талантливые произведения советской литературы, легко ошибиться и посчитать «право на бесчестье» уже *навсегда* реализованным в качестве главного из «прав человека» совдеповской России. По прогнозу Петра Верховенского, «новая религия идет взамен старой». В открывающем бабелевский цикл «Конармия» рассказе «Переход через Збруч» можно обнаружить словесно зафиксированный ритуал перехода в антиверу.

Конармия, вступая в несправедливый бой, форсирует реку. «Почерневший Збруч (в предыдущем предложении речь шла о «вчерашней крови»; напомним, в «Бесах», убивая «отступника» Шатова, слишком много рассуждающего о русском Боге, «наши» связывают друг друга «пролитую кровью» как «клеястер» и «мазью». — *И. Е.*) шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены (вот внешняя мотивировка ритуального погружения в воду. — *И. Е.*), и мы переезжаем реку вброд». Збруч принимает на себя функции реки Иордан, но, конечно, это крещение — *обратное* евангельскому, а потому словно отменяющее его.

Мы видим, по сути дела, ритуал инициации, сопровождаемый соответствующим шумовым оформлением. «Кто-то тонет и звонко *порочит* богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она *полна гула, свиста и песен, гремящих* поверх *лунных змей*». Символично, что солнце ко времени погружения в воды Збруча уже закатилось («Величаяя луна лежит на волнах»). Закат солнца в самом начале бабелевского цикла во время инфернального перехода символизирует и наступление нового дня — новой советской эры.

...Астафьевский «полк по боевой тревоге вывели из казарм *на рассвете*». Однако же *солнце* в тексте романа появляется не сразу, а спустя некоторое время. Как противовес «божецкому напутствию», последним ночным — советским — аккордом звучит «торжественное напутственное слово» «какого-то важного комис-

сара», «политического начальника». Таким образом, мотив расщепленного надвое благословения проступает и здесь.

Комиссар «всем своим видом... показывал, что... он, как на плакатах, — впереди их, с обнаженной саблей в одной руке и со знаменем в другой. И вдохновленные его пламенным словом, идут за ним патристические массы в кровавый бой и готовы умереть за него, за Родину все до единого». Существенна иерархия в сознании персонажа: «патристические массы», готовые умереть «все до единого» (с этим корреспондирует описание «выродка» в тринадцатой главе, с тяжелой руки которого исчезло понимание, «что за ценность каждая человеческая жизнь»), рассматриваются как материал для «Родины», но в первую очередь для «него». Чтобы комиссар сам не попал «в кровавый бой», необходимо в буквальном смысле «умереть за него» другим. Не общий ли механизм функционирования лозунгов продемонстрирован Астафьевым? Изобретатели тезиса о «рабоче-крестьянской власти» пуще огня боялись из рядов «подлой аристократии» быть разжалованными в превозносимый ими же иной — преобладающий — разряд общества, занять место в рядах «девяяти десятых».

Акцентируется узнаваемый облик советского аристократа: «шкура», «у оратора рожа», «морда»; он кричит, «выбрасывая пар из свежесбритой пасти». Примечательна и более глубинная характеристика «политического начальника». «Пока, надсаживаясь, все более багровея от словесных усилий... кричал оратор... в первую голову про героические сражения, кипящие там — указывал он на запад, — с обрванной стороны, с востока, выкатилось солнышко».

Багровеющий комиссар, указывающий в обратную восходу солнца сторону, конечно, — антихристианская, дьявольская фигура. Главное же, безблагодатное «патристическое» напутственное слово с призывом «умереть... до единого» — это **п р о к л я т и е**, предвещающее в самом деле гибель.

Не менее показательна и **з а в и с и м о с т ь** этой темной силы от восходящего солнца. Вслед за тем как «выкатилось солнышко» и начинает **о с в е щ а т ь** «многолюдный военный строй», «слово» начальника (то есть **а н т и-слово**) «иссякло».

В православном подтексте русской литературы, с его четким знаковым противопоставлением не только «востока» и «запада», но и «правого» и «левого», «голос» командира роты, звучащий в тексте сразу же **п о с л е** не собственно прямой речи «политического начальника»: «Н-ннн-на-пр-ря-о!» — означает **п р я м о** **п р о т и в о п о л о ж н о е** сатанинскому напутствию движение военного строя.

Нужно подчеркнуть, что и в этом случае противостояние выходит из плоскости «жизни — смерти», «победы — поражения». Предчувствие смерти, несомненно, присутствует: «сердце отца-матери уже угадало вечную разлуку»; да и самим «парням, идущим в строю», «подступило... сознание неизбежного конца». Однако же «рать» впервые в повести **д о г а д ы в а е т с я** «о предназначении свыше... объединенным (то есть уже соборным. — *И. Е.*) сознанием». **З а с о л н ц е м** «есть сила столь могущественная, что перед нею все земное слабо и беспомощно».

Ракумеется, не случайно уже в начале пути рати возникает водная преграда — речка Каменка, художественная функция которой аналогична как роли Збруча, так и реки Каялы в тексте древнерусского автора. Принципиально важен **с п о с о б** преодоления этого рубежа. Если для бабелевских конармейцев «мосты разрушены», то астафьевские герои **н а х о д я т** сохранившийся «мостик». «И когда первая рота уже спустилась к речке Каменке, ступила на старый... *при царе излаженный мостик*, последняя рота била шаг возле казарм, только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру». Этот мостик, как и казармы «царских времен», символизирует преемственность русской рати («рать должна лхнуть к другой рати»), которую не сумели истребить, несмотря на все старания, звездастые комиссары. Оркестр звучит «отдаленно» не только в пространстве, но и словно во времени. Ведь «в строю у всех разом сжалось сердце от *старинного*, со времен Порт-Артура звучащего по русской земле военного марша».

Солнце, закрытое тьмой в начале «Слова о полку Игореве», а затем приветствующее возвращение героя, и в астафьевском романе, «вкатившись горячим колом на крыши», вдруг «приостановило свой ход», чтобы затем «слился небесный огонь с сиянием медных труб». На это солнечное благословение, дающее чаемое соединение силы небесной и земной, идеального духовного измерения и защиты земной родины, резонируют звуки русского военного марша, обозначающие собой обретение патриотизма иного рода, нежели советский. Под звуки марша первая рота двинулась «сперва не вступ ногой, но с каждым шагом все уверенней, все слаженней», именно «в лад... оркестру».

Встреченная баба с пустыми ведрами, предсказывающая своим появлением физическую гибель «воинства», затем «размашисто, будто в хлебном поле сея зерно, истово крестила войско вослед — каждую роту, каждый взвод, каждого солдата осеняла крестным знаменем... по заветам отцов, дедов и царя небесного» В этом по сл е д н е м, самом важном — б е з м о л в н о м — напутствии тоже, несомненно, присутствует дыхание грядущей физической смерти. «Зерно» должно умереть, чтобы затем воскреснуть.

...В «Послесловии» же зерно не только не воскресает в следующем за «братиками-солдатыками из двадцать первого полка» поколении, но и, «падши в землю», не приносит «плода» вообще. По крайней мере, финальное поругание «гражданами родного отечества» всего святого неожиданно — в конце первой книги астафьевского романа — заглушает и звуки военного марша. Сокрушая фонари пляжа Академгородка, этих «рассерженных кобр с раздутыми шеями», служивые, выходящие из «безвестных могил», только так и «напоминают о себе и о своей доле... спасенным от фашизма гражданам родного отечества, забывшим и себя и нас, все святое на этой земле поругавшим». Можно сказать, что поругание — последнее, посмертное п р о к л я т и е от «подлой советской аристократии», в своем элитном благополучии охраняемой выползшими из этой земли фонарями-змеями, с которыми продолжает борьбу — по ту сторону жизни — ушедшая рать.

Значит ли это, что змей-сатана, однажды уже посрамленный, вполне торжествует ныне?

Р. С. Когда моя статья была уже передана в редакцию, в «Дружбе народов» (1993, № 10) появилась работа И. Дедкова с резким неприятием астафьевского произведения. Читая ее, как будто возвращаешься к противопоставлению «плохого» советского (сталинского) и советского «хорошего» (ленинского), так всем знакомому по перестроечной прессе. Для критика «казарменные ужасы», описываемые Астафьевым, — «явно из тех, что можно вытерпеть. Даже если кричать о них криком», а христианская вера мучеников «очень удобна». Критик словно бы лично обиделся на писателя за то, что «часть персонажей... не проходят в приличные люди по причине их „советскости”». Тогда как, по мнению И. Дедкова, «первопричина всех российских зол и бедствий» в том, что «революция переоценила свои силы». Сочувственно цитируя А. Воронского, с отвращением отзывающегося в 1932 году о «расейском» и с удовольствием констатирующего: «Революция вбила бурсе осиноый кол», — наш критик дважды в своей работе ностальгически сетует, что «кол давно сгнил». Ничего не поделаешь: у кого что болит... Вывод критика не очень оригинален: «В своем вечно ненасытном чреве революцию переварила старая российская бурса...» Бедная революция! Я не знаю, о чем будет печалиться читатель: об обитателях «чертовой ямы» или о сгнившем коле революции. Не знаю также, чем утешить И. Дедкова. Разве только тем, что старания пламенных революционеров, вбивавших когда-то кол в неблагодарную русскую почву, не остались забытыми. Комиссия при Политбюро ЦК КПСС сумела объективно разобраться в их былых коммунистических заслугах, восстановив в партии кровавых деятелей зари коммунизма просто списками. Но не является ли клановая реабилитация «своих» лучшим и надежнейшим доказательством их вины перед целым — Россией и народом этой страны? Настоящим доказательством — в отличие от сфабрикованных сталинскими соколами правосудия доказательств их мифической вины перед партией и советским государством...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДМИТРИЙ БАК



БРОНЗОВЫЙ ВЕК РУССКОЙ КРИТИКИ

«Как, что такое? Неужели обозрение?» — спрашивают меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обозрение, а похоже на то.

В. Г. Белинский

Перемены бывают очевидные и загадочные. Первые случаются на излете долгих периодов стабильности (означающей процветание либо культурный упадок). Вторые поражают следом, на перепутье, когда уже невозможен не просто возврат к привычному, но и то, что вчера еще выглядело непривычным и новым, вдруг утрачивает ореол желанного, меркнет... Литературная жизнь за последние годы изменилась дважды — вслед за давно назревшими переменами наступили перемены таинственные, непредсказуемые, возникающие обычно в непосредственной близости от тектонических разломов.

Общим знаменателем «вторичных» изменений литературной ситуации можно считать полную либо частичную утрату отечественной словесностью ее всегдашнего «критикоцентризма». Ценность ответственного суждения о литературе издавна приравнивалась к пророческим открытиям художников слова: не случайно же поэт — гражданин и борец за народное просвещение в списке жизненно необходимых идущему с базара мужику авторов первым поименовал Белинского и лишь вслед за ним Гоголя. Литературный оппонент Некрасова мог бы прибегнуть к другой «обойме». Но рядом, условно говоря, с Островским непременно присутствовал бы, например, Аполлон Григорьев.

Нынче нельзя и вообразить воскрешение былых жарких дискуссий, приковылавших к себе не меньше внимания, чем в наши дни — детективы и мыльные оперы. Споры «о реализме», «о художественном языке», даже бесконечные сериалы статей о деревенской прозе — все это дела давно минувших дней.

Было время, когда литературоведение и критика всерьез занимали прозаиков и поэтов (вспомним стиховедческие штудии покойного Давида Самойлова или статьи Андрея Битова, встроенные в «Пушкинский Дом»). Брошюра В. Пьецуха о «Литературных мечтаниях» Белинского — не более чем запоздалое эхо критического бума. Умирание жанра журнальной рецензии, почти повсеместное исчезновение из толстых журналов ежегодных критических обзоров — факт из того же ряда. Напомним еще об отсутствии сколько-нибудь внятной реакции на выход в свет весьма значительных переводных книг (скажем, «Даниэла Мартина» Дж. Фаулза или, того более, джойсовского «Улисса»). Даже обоймы писательских имен и свежее опубликованных повестей и романов как-то незаметно вышли из обихода: пожалуй, одна из последних навсегда осталась в перестроенном 1986-м («Плаха», «Пожар», «Карьер», «Все впереди», «Печальный детектив»), спорадические дискуссии о постмодерне не в счет, так как имеют чисто цеховой резонанс.

Отошли в тень и сами критики, догритные фигуры мэтров превратились в бледные силуэты. Невозможно сейчас допустить, чтобы на долю сочинения о критиках выпал успех, который в не столь уж дальнем прошлом сопутствовал серии статей С. Чупринина, позднее составивших книгу «Критика — это критики».

Впрочем, жанр литературоведческой книги, сборника критических работ пребывает в упадке не первый год. Именно эти издания часто оседали на пыльных задворках прежних книжных магазинов, добровольно-принудительно заполнявшихся полиграфической продукцией на основе регламентированной системы заказов книг по тематическим планам крупных издательств. Исключения, впрочем, были всегда: наверняка у многих из читающей публики без промедления возникнут в памяти названия запомнившихся книг, например В. В. Федорова (1984) или С. Г. Бочарова (1985)

Что можно считать определяющим для литературной критики эпохи коммерческих лотков, на которых даже изредка попадающийся на глаза том Шекспира непременно снабжен кричаще пестрой суперобложкой, где жуткие монстры и мутанты призваны изображать эльфов и мавров?

Критика по природе своей всегда оказывается в зоне влияния нескольких сил: реального развития литературы и расклада литературных направлений, законов сиюминутного читательского вкуса; зависит ее самочувствие и от господствующей манеры высказывать суждение о произведении словесности, от самого, так сказать, «образа научности». Так что же привело к нынешнему загадочному положению в критике? Предельная аморфность литературного процесса, когда в повседневном читательском восприятии рядом оказываются переведенный с полувекowym опозданием зарубежный шедевр, извлеченный из письменного стола роман полузабытого опального гения и первая подборка стихов юного поэта? Или, может быть, надлом былого стереотипа, когда покупатель (потребитель) литературной продукции стремительно привыкает считать нормальным явлением хроническое отсутствие на прилавках тех книг, которые людям прошлого поколения нередко казались надоевшей школьной классикой: Грибоедова, Тургенева, Блока? А может, причиной всему бум штудий, тщательнейших литературоведческих миниатюр, годных для раздела «Смесь» новейших журналов вроде «НЛО» или «De visu» и всячески избегающих прямого суждения о книге?

Варианты ответа на поставленный вопрос пусть так и останутся вариантами — равноправными и намеченными эскизно. Мы же попробуем конкретизировать задачу, ограничившись простым обзором и руководствуясь при этом не столько хронологией публикаций, сколько их тематической и жанровой близостью. Не будем следовать традиционным разграничениям между литературоведением и критикой. Эпоха неожиданных перемен сделала почти неразличимыми прежние дисциплинарные перегородки, накрыла всех говорящих и пишущих одним общим колпаком усталой немногословности. Академические фолианты и злободневные эссе в равной степени лишились привычного силового поля, живой реакции единомышленников и оппонентов. Именно это всеобщее молчаливое равнодушие побудило начать разговор, чтобы хоть в малой мере возместить отсутствующий публичный контекст вокруг нескольких книг последнего пятилетия (критических, теоретико-литературных — в равной мере).

1

А. Я. З и с ь. В поисках художественного смысла. Избранные работы. М. «Искусство». 1991. 327 стр.

А. Л. К а з и н. Образ мира. Искусство в культуре XX века. СПб. ВНИИИ. 1991. 210 стр.

Конечно, можно немедленно отложить в сторону сочинение А. Зисья, начинающееся словами: «Глубинными процессами революционного характера определяется возрастание роли гуманитарного знания в жизни современного советского общества». Есть ли нужда (для освежения памяти) пережить запоздалую встречу с книгой, в которой более или менее определенные тезисы, отмечающие логику авторских рассуждений, разбавлены бесконечной цепью «диалектических» оговорок насчет сложного переплетения, комплексного сочетания, противоречивого взаимодействия?.. Не довольно ли мы в свое время наглотались путаных трюизмов типа: «В произведении искусства художественная идея не подменяется философской идеей; его концепция — художественная. Произведение искусства не выступает носителем философского знания, но в нем живет определенное фи-

лософское умонастроение, придающее ему характер философичности?»

Можно ли сегодня всерьез воспринимать навязшие в зубах стыдливые оговорки: «Мы, разумеется, ни в чем не упрекаем ни Канта, ни Шиллера, ни нашего (? — Д. Б.) Достоевского, выдвигавшего аналогичные положения (подобные максиме о том, что «красота спасет мир». — Д. Б.) — в них сказалось время, историческая ограниченность названных мыслителей» — и т. д. и т. д.?

Главный изъян книги А. Зисья ни в малейшей степени не сводим к упрекам в марксистской ортодоксии. Существует же на Западе мощная традиция марксистской социологии и критики! В статьях А. Зисья господствует презумпция «готовой» (пусть «сложной», «диалектически неоднозначной») истины. Для ее добывания необходимо только обозначить «неприемлемые» крайности, сфор-

мулировать промежуточную позицию и прочертить пути ее формирования от Платона до М. Лифшица, попутно пожуриив западное искусствознание (не слишком, а слегка, в духе времени) за кое-какие ложные построения. В этом царстве железной предсказуемости результата можно доказать или опровергнуть все что угодно. Легко, например, заключить, что Хайдеггер «в своей интерпретации произведения Гёльдерлина приходит к «подмене» (кавычки, явно избыточные, принадлежат А. Зисю. — Д. Б.) смыслов, заложенных в стихотворении». Речь идет о стихотворении «Слово», принадлежащем вовсе не Гёльдерлину, а... Ст. Георге¹. Поэтому априори не верны все дальнейшие рассуждения нашего эстетика о том, что Хайдеггер, дескать, «переносил» «на художественное произведение прошлого столетия ту точку зрения на творчество, которая провоцируется многими течениями «философского» искусства столетия нынешнего». Но — и это самое удивительное! — несмотря на досадную подмену Стефана Георге Гёльдерлином, аргументы А. Зися не лишены внешней гладкости. Не важно, кому принадлежит стихотворение, ведь к нему прилагается не дающая сбоя клишированная мерка: набор общих мест из романтических концепций плюс тяжелая артиллерия в виде цитат из Шеллинга.

И все же книга А. Зися полезна — она помогает уяснить суть перемен, происшедших в литературной ситуации последних лет. Настойчивые декларации об «актуальности» теоретического изучения искусства напоминают о времени ином, когда работы теоретиков находили повсеместный и разногласный отклик в текущей критике и публицистике, когда столкновения «природников» и «общественников» (да что там — физиков и лириков!) будоражили любознательного читателя никак не меньше, чем нынешние публикации о накатывающих на страну путчах. А. Зись продолжает бороться с противником давно уже поверженным, ибо прямолинейный сциентизм бесповоротно отошел в прошлое. «Я далек от мысли противопоставлять естественнонаучное знание гуманитарному», — раз за разом уверяет наш автор, не замечая, что сама злободневность данной оппозиции канула в Лету.

Еще одна попытка систематического рассуждения на весьма общие искусствоведческие темы содержится в книге А. Казина². По крайней мере три ее раздела называются весьма недвусмысленно: «Искусство и истина», «Искусство и добро», «Искусство и красота».

Книга написана вполне свободно и живо, освобождена от балласта обязательных цитат. Однако стилистическая легкость стремительно оборачивается полной неопределенностью жанра. Поверхностный и торопливый анализ романов Т. Манна и Г. Гессе сменяется вдруг пассажем о судьбах русского символизма, тоже кратким и описательным. Затем следует пересказ фильмов Александра Довженко и иных режиссеров. Все это обильно приправлено многочисленными ссылками на Философский энциклопедический словарь либо на источники, смиренно принятые «из вторых рук» (Ахматова, скажем, цитируется по публикации Ф. Кузнецова в «Литературной газете»). Наконец, вместо заключения появляется раздел с простодушным подзаголовком «Философско-эстетический анализ русского бытия». Перед нами то ли конспект систематического курса лекций, то ли ряд популярных очерков (см. общеизвестные подробности о рождении кинематографа, подстрочные разъяснения слова «маньеризм»), то ли попытка монографии, то ли сборник публицистических выступлений «от первого лица».

Вечные вопросы А. Казин решает весьма просто. Например, констатируется «расхождение искусства с истиной на всем протяжении XIX века». Почему? Да потому что «поэзия и действительность собственников оказались столь враждебны друг другу, что примирить их была не в состоянии никакая теория» (камешек в огород старика Гегеля). В XX же веке между объективной истиной бытия и позицией художника согласно идеям А. Казина не возникло никаких принципиально новых барьеров, кроме участвовавших случаев злонамеренного искажения очевидностей. «Феллини — Бергман — Антониони — Шлендорф — Кубрик — Феррери — этими именами <...> обозначили бы мы «ступени нисхождения» десятой музы от правды, понятой как верность образу божию в человеке, к злорадному взгля-

¹ Мы благодарны В. В. Бибихину за исчерпывающую консультацию по вопросу об авторстве стихотворения «Слово».

² Статья А. Л. Казина «Искусство и истина», где сформулированы основные тезисы его будущей книги, в дискуссионном порядке была опубликована в № 12 «Нового мира» за 1989 год.

ду на людей как на скотов». Итак, «с кем вы, мастера культуры?»?

Охранительные усилия А. Казина простираются и в прошлое: «Ездит ли нос в Ригу, как в повести Гоголя? Скачут ли по дорогам розовые кони, как в стихах Есенина? На первый взгляд, перед нами ревизия (? — Д. Б.) действительности, неотличимая от модернистских искажений». Однако успокойся, благонамеренный читатель: «Творческий метод русской классики XIX — XX веков есть реализм».

Но вот наступил XX век — и «вся послереволюционная судьба художественной культуры в России», объявляет А. Казин, стала вызовом западным ренессансно-романтическим и модернистским представлениям о художественном творчестве. На Западе утвердился «протестантская этика и дух капитализма (это в XX-то веке? — Д. В.), у нас произошла социалистическая революция».

Можно привести еще немало цитат, от которых веет — как бы это сказать... — нездешним холодом: «В отличие от честного авангарда, постмодернизм не смакует «бинарные оппозиции», а просто переливает их из одного (так! — Д. Б.) в другое». Можно порас-

суждать об эклектичности, противоречивости изложения...

Главное все же не в этом. Книга А. Казина — поразительный пример неизбежной (то ли курьезной, то ли — фатальной) тавтологии. Вроде бы отказавшись от псевдонаучной ортодоксии прошлых лет, наш автор по собственной воле приходит в итоге к дежурному набору стандартных оценочных реплик, призванных заменить научные выводы. Возьмем, к примеру, рассуждение о народности «массового» советского искусства 30-х годов. «И все-таки (то есть несмотря на тоталитарное насилие. — Д. Б.) фильмы 30-х годов остались в истории нашего искусства. В своем стремлении к идеальной художественной цели — к совпадению вышей эстетической меры (попахивает 30-ми, не правда ли? — Д. Б.) произведения с его массовостью, всеобщностью — кинематограф 30-х годов достиг того, о чем иные эпохи могли только мечтать, — народного фильма». Вот такая получается диалектика.

Перейдем теперь к разговору о книгах иного ряда — традиционно литературоведческих, без пугающей надмирности.

2

- В л. Новиков. Книга о пародии. М. «Советский писатель». 1989. 540 стр.
 А. Чудakov. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М. «Современный писатель». 1992. 319 стр.

В книге Вл. Новикова равноправно властвуют две стихии: общие рассуждения о жанре пародии, ее истоках и закономерностях эволюции присутствуют здесь наряду с подробными экскурсами в область фактическую, с тщательным изложением множества полузабытых подробностей из истории отечественной пародии. А если упомянуть еще и об обилии иллюстративного материала (портретов, шаржей, воспроизведений обложек и титульных листов), то станет ясно, что Вл. Новиков предлагает читателю комбинировать и у м разнообразных сведений о пародии — в этом смысле название книги как нельзя лучше соответствует ее содержанию.

Вступительная часть книги носит отчетливо дефинитивный характер: здесь разграничиваются понятия пародии и пародийности, пародии и сатиры, пародии и стилизации и т. д. При внешней занимательности изложения академическая серьезность подхода к пародии не вызывает сомнения. Автор, напри-

мер, весьма самобытно разрешает «вечную» проблему пародийного комизма. Вопреки Тынянову Вл. Новиков считает комизм родовым свойством пародии, подчеркивая при этом особую его природу. «Первый план» пародии, безотносительный к объекту пародирования, может быть лишен каких бы то ни было комических обертонов, у Тынянова речь идет именно о нем. Своеобразный пародийный комизм, по мысли Вл. Новикова, возникает лишь на границе «первого» и «второго» (отсылающего к предмету пародирования) планов.

Вл. Новиков не без успеха балансирует на зыбкой грани между терминологической определенностью и доходчивостью, персональной адресованностью текста. «Прочтите всю строфу вслух, и вы почувствуете...» — то и дело обращается автор книги к своему читателю. Однако, справляясь с нелегкой задачей говорить внятно о вещах достаточно абстрактных, Вл. Новиков в «практических» разделах книги то и дело впадает в

литературное крючковорство и поясняет то, что ясно без каких бы то ни было подсказок. Скажем, цитируемый фрагмент из знаменитой пародии С. Смирнова на роман В. Кочетова «Чего же ты хочешь?» («„Октябрь” и „Огонек” — отвратительные органы! — ораторствовал Онуфрий. — Оголтело ортодоксальные оба») Вл. Новиков комментирует педантически добросовестно: «„Оканье” персонажа пародист гиперболически изобразил через речь, каждое слово которой начинается с «О», да еще к тому же и авторские «ремарки» сделал такими же». Так же гелертерски навязчиво обращается Вл. Новиков и с пародией М. Глазкова на В. Соснору. Вот начало приведенной в книге цитаты:

Хан Кончак однажды, кстати иль нехстати,
Встретил Виктора Соснору в Лениздате...

А вот пояснение: «Как видим, трансформация носит здесь активный характер: пародист прибегает к такому гиперболическому анахронизму, как появление хана Кончака в издательстве...» — и далее следует пересказ цитаты, причем не лишенный невольного оттенка самопародийности.

Немалый интерес в книге Вл. Новикова вызывает заключительная глава, содержащая ряд очерков по истории отечественной пародии от фольклора до Александра Иванова. В целом попытка создать эскиз общей истории пародии удалась. Обсуждение непростых проблем литературной теории последовательно увязано в книге Вл. Новикова с особенностями литературной ситуации последних лет. Однако бросается в глаза разномасштабность, различная степень подробности очерков, отсутствие единых, специфически литературных критериев описания эволюции пародийных явлений — сугубо внешняя увязка с общественно-политической атмосферой той или иной эпохи здесь явно недостаточна. Автор настойчиво идет по пути сближения «научно достоверных суждений» и критических оценок, что вовсе не всегда дает шансы на успех.

Последняя книга А. Чудакова посвящена теме также достаточно «теоретичной» — исследованию предметного, пластически индивидуального облика художественного мира, так сказать, на границе вещи и слова. Однако здесь (как, впрочем, и в прежних работах) А. Чудаков в отличие от Вл. Новикова не акцентирует задачу перевода академических разысканий на язык газетно-журнальных полемических схваток.

Книга А. Чудакова состоит из двух неравновеликих частей, причем сам автор сознает и на первых же страницах подчеркивает, что к изучению структуры художественного мира (первая часть) и к анализу концепций крупнейших отечественных литературоведов (вторая часть) применимы совершенно разные значения слова «поэтика». Тем не менее в подзаголовке книги («Очерки поэтики русских классиков») вынесено только одно из этих значений — первое. И это не случайно: первая часть книги выглядит гораздо более цельной, входящие в нее работы, хотя и были впервые опубликованы в разное время, демонстрируют устойчивость исследовательских интересов ученого. А. Чудаков формулирует свою главную задачу так: «Стоило бы вернуть в нашу науку почти исчезнувший из нее тип работ, где бы делались попытки установить доминанту художественного построения, <...> определить основные составляющие мира писателя».

Среди основополагающих закономерностей предметного мира в прозе Пушкина, например, А. Чудаков называет «разреженность», «равномасштабность», «дискретность» изображаемых реалий. У Гоголя определяющими оказываются «экзотичность», «всеохватность». Мир Толстого, по А. Чудакову, «авторски явлен (первая точка зрения). Но одновременно — с другой точки зрения — он и самоявлен». В романах же Тургенева воплощена «стихия всепроникающей авторской модальности»... Все эти формулировки вполне могут быть удостоверены непосредственным читательским опытом человека, не имеющего к литературной науке ни малейшего отношения. Именно по этой причине книга А. Чудакова (при отсутствии в ней каких бы то ни было популяризаторских деклараций) может быть интересна всем, кто знаком с русской классикой.

Усилия А. Чудакова направлены на реконструкцию художественной онтологии литературного текста. Ученый исходит из того, что «предмет большой литературы — не «отражение» реального, но результат его встречи с «внутренним предметом» поэта, следствием которой является деформация реального. И, не установив коэффициента деформации, этим материалом <...> пользоваться нельзя». Данный принцип, избавляющий от прямолинейного отождествления вещей в реальном мире и в мире большого художника, все же по сути своей достаточно дву-

смыслен. Дело в том, что анализ художественного мира у А. Чудакова преимущественно и н д у к т и в е н. Закономерность, замеченная в предметной сфере, далее проецируется на более «высокие» уровни произведения (сюжет, персонаж, повествование, идея). При этом «коэффициент деформации» нередко служит для прояснения не имманентных законов художественного мира, но лишь степени его несовпадения с миром реальным.

Вот, скажем, А. Чудаков упоминает знаменитую березу в саду Плюшкина, которая представлена Гоголем как «правильная мраморная сверкающая колонна». Немедленно отмечается «причудливость», «экзотичность» гоголевского описания, то есть, попросту говоря, — значительный «коэффициент деформации». Впервые работа А. Чудакова о Гоголе была опубликована в 1985 году в сборнике «Гоголь: история и современность». Знаменательно, что в том же издании присутствовала еще одна работа, автор которой (В. Федоров) тоже рассуждал о плюшкинской березе-колонне. Однако — без непременно оглядки на внехудожественную реальность, относительно которой выводится некий коэффициент. В. Федоров утверждал, что в мире Гоголя «предметы меняются местами и функциями: не ствол березы теперь сравнивается с колонной, а колонна со стволом. Ближайшим предметом описания фактически становится колонна». Потому-то «точку зрения повествователя, проводящего сравнение, приходится мыслить в действительности, в которой пребывает мраморная колонна». Говорить о «деформации» в данном случае, естественно, не приходится. Индуктивное восхождение от «низших» уровней художественного смысла к «вышним» у В. Федорова до-

полнено дедукцией: мир произведения нигде, ни в каком конкретном месте не начинается, но сразу и полноправно присутствует в любой «клеточке» текста.

Мы далеки от мысли противопоставлять «целостный» и «индуктивный» подходы к анализу литературного произведения. Оба опираются на мощную традицию и имеют полное право на существование. Цель нашего примера иная — яснее определить своеобразие исследовательской позиции А. Чудакова, которая, безусловно, самостоятельна и органична. Установка на изучение онтологии, «объективной реальности» художественного произведения, столь явно заметная в давней книге «Поэтика Чехова», построенной на скрупулезных (и небесполезных) статистических выкладках, постепенно уступает место иному подходу. Вместо «поэтики» в фокусе внимания ученого оказывается «мир» литературы. При этом А. Чудаков не порывает с тыняновской традицией «точного» литературоведения, демонстрируя гибкость и разнообразие аналитических методов.

Одна из статей, вошедших во вторую часть книги, воспроизводит знаменательное высказывание А. Чудакова, впервые обнародованное еще в 1979 году: «Специфика современной филологии <...> — в постепенном освобождении ее от опеки других дисциплин, в осознании ею своих эндогенных задач и собственных же методов их решения». Несмотря на кажущийся изоляционизм приведенного определения, А. Чудаков вот уже на протяжении нескольких десятилетий сохраняет и культивирует редкое умение вести разговор о серьезных литературоведческих материях на языке, внятном для читателя-эмпирика. Новая книга — лучшее тому подтверждение.

3

Д. Б. Пэн. Мир в поэзии Александра Кушнера. Ростов-на-Дону. Изд-во Ростовского университета. 1992. 63 стр.

Марк Липовецкий. Свободы черная работа. Статьи о литературе. Свердловск. Средне-Уральское книжное изд-во, 1991. 271 стр.

Обе книги, о которых пойдет речь, посвящены проблемам современного литературного процесса. Авторы решают задачи, для традиционной критики вполне привычные: высказывают мнения, оценки, не посягающие на научную непреложность.

Впрочем, книга Д. Пэна, как видно уже из заглавия, претендует и на концептуальный анализ творческой эволюции А. Кушнера, и, более того, на ака-

демические разыскания о природе «художественного мира». Автор подчеркивает, что «предпринятое исследование творчества крупнейшего современного русского поэта не самоценно, так как позволяет по-новому взглянуть на взаимосвязь терминов «литературский герой» и «мир», определить соотношение понятий «художественная концепция», «поэтическая категория», «тема», уточнить значимость поэзии Александра Кушнера».

ра для текущего литературного процесса».

Последняя задача, кажется, интересует Д. Пэна в гораздо меньшей степени, нежели первые. В книге упоминается немало имен, но этот конгломерат точечных отсылок и параллелей все же не дает ощущения живого творческого контекста лирики Кушнера. Сопоставления, как правило касающиеся атомарного, так сказать, уровня художественного смысла, порою выглядят и во все странно: «Трудно сказать, одно ли и то же лицо жена и возлюбленная, так как Кушнер больше поэтизирует свою героиню как возлюбленную, а не жену, чем романтически возвышается над чрезмерно обытовляющей женщину городской лирикой Е. Винокурова, О. Чухонцева, П. Вегина».

Против необходимости пристального «мотивного» анализа лирического текста возражать не приходится. Сомнение вызывает лишь явное преобладание в книге Д. Пэна унылой перечислительной интонации, переизбыток псевдодефиниций. Так, в изображении Кушнером жизни современного города выделяются — ни мало ни много — четыре уровня: «естественный географический», «искусственный неорганический», «естественный органический» и «социальный». Д. Пэн нередко прибегает к неряшливым, а то и попросту неверным формулировкам: «С субстантивацией поэтического мира связана и трансформация мотива разобщенности». «Субстантивация» — термин грамматический и к подразумеваемой здесь Д. Пэном «субстанции» никакого отношения не имеет.

Отвлекаясь от заявленной установки на исследование р а з в и т и я творческой манеры Кушнера, автор немедленно переходит к рассмотрению достаточно отвлеченных тематических блоков («семья», «досуг» и т. д.). Вот как описано, например, присутствие в лирике Кушнера упоминаний о разных временах года: «„Дымная весна“ ассоциируется у Кушнера с занятостью»; «как истый горожанин, он радуется лету»; «традиционна кушнеровская городская осень, время не сбора урожая, а туманов, дождей»; и наконец, «без особого энтузиазма воспринимает поэт и зиму». Все эти, что и говорить, малосодержательные определения даны на одной странице, какая уж тут эволюция!

Обширный перечень ссылок на статьи о Кушнере в начале книги (заставляющий вспомнить о жанре диссертационного вступительного обзора ис-

точников) неожиданно завершается смелым выводом: «О поэте писали многие, однако никто не пытался проанализировать художественную концепцию его мира». Хорошо, а что же наш автор, будто бы первым отважившийся проанализировать эту самую концепцию? Итог его исследований обескураживает не меньше, чем только что приведенное обоснование «актуальности» темы: «Изучение творчества Александра Кушнера дает возможность предположить, что он создает не просто оригинальную картину мира, но его художественную концепцию. Вот так, не в бровь, а в глаз, с исчерпывающей точностью: не картину, а концепцию. Полноте, а был ли Кушнер-то? О чем книга — о стихах или о «субстанционально-предметном состоянии»?»

Не таков сборник статей М. Липовецкого, одного из немногих критиков младшего поколения, чей голос отчетливо различим, чья интонация запоминается всерьез и надолго.

Работы, составившие книгу, написаны, по выражению автора, «на стыке двух состояний времени», и объединяет их в единое целое не единство аксиоматики, но «окружающий их ассоциативный фон», «энергия контекста». В первом разделе анализируются произведения, в более или менее недалеком прошлом составившие целую эпоху. Пьесы Е. Шварца, проза В. Гроссмана и Ф. Искандера... Все эти книги — каждая на свой лад — формулируют законы, определявшие жизнь личности в обществе насилия. Многие высказывания М. Липовецкого сегодня прочтываются совершенно иначе, нежели в момент написания той или иной статьи, излишним порою кажется разоблачительный пафос («О чем это написано? О гитлеризме? Сталинизме? Или, простите, о брежневизме?»). Навсегда устарели и риторические вопросы («Разве не основоположники марксизма учили, что мораль носит классовый характер?»). Конечно, все это легко узнаваемый романтизм эпохи «Покаяния» и «Дальше... Дальше... Дальше...». И все же перед нами не просто анахронизмы, способные в 1994 году вызвать лишь снисходительную улыбку. Ведь во многих тогдашних книгах (художественно весомых или достаточно незамысловатых) находил свое разрешение разительный парадокс жизни каждого «отдельно взятого» человека советской эпохи. Закон «абсолютной выговоренности» сохранял силу во всех сферах общественного и частного существования. Ру-

ководящие постановления выстреливались со скоростью пулеметной очереди по любому поводу, будь то бюджет на очередной финансовый год или срочное исправление оценок оперы либо симфонии. Однако с полной выговоренностью соседствовала столь же абсолютная немота. Повседневность, окружавшая человека, была совершенно прозрачной, она не только не подпадала под рубрики руководящих реляций, но и не подлежала свободному обсуждению вслух. Вот почему так важно было услышать, тем более — увидеть напечатанным, то, что каждому сохранившему трезвость рассудка обитателю империи было ясно, как простая гамма.

М. Липовецкий с великим тщанием реконструирует «энергию контекста» тех недавних лет, когда художественные достоинства романов Солженицына, Дудинцева, Рыбакова отошли на второй план, расчистив пространство для свершения столь необходимого и общественно значимого акта: преодоления болезненной тавтологии абсолютной выговоренности и — одновременно — немоты. Однако М. Липовецкий не только рассуждает об ускользнувшей от нас навсегда реальности первых лет перестройки. Уже в первом разделе книги критик демонстрирует навыки пристального чтения, особенно хороши его наблюдения над текстом романа Гроссмана.

М. Липовецкий умеет придать облик устойчивого терминологического обозначения, казалось бы, вполне обыденному слову или сочетанию слов. Для примера можно вспомнить «мотив незнания времени» у Искандера или «па-

фос нравственной осознанности» в прозе Маканина. Критик умеет также на сколь угодно малой площади подметить и зафиксировать силовые линии эволюции писателя. Так, в статье о повестях Маканина (одной из лучших в сборнике) М. Липовецкий подчеркивает, что уже упоминавшийся нами «пафос нравственной осознанности» имеет разный смысл у Маканина раннего и зрелого. То, что на протяжении довольно продолжительного промежутка времени казалось многим критикам знаком рассудочной холодности — пресловутая трезвость и расчисленность чувств маканинских героев, — в поздних вещах становится единственным средством избежать уничтожительного натиска житейского автоматизма, осуществить аргументированный нравственный выбор.

Не все в книге М. Липовецкого в равной степени удачно, в частности несколько спорным выглядит развитие стилистической манеры Ю. Кузнецова, слишком пестрым и неопределенным кажется предлагаемое понятие «артистическая проза». Однако перевешивает все же ощущение открытия, сопутствующее многим статьям молодого критика. Вот одно из таких открытий: «<...> еретичность поэзии А. Еременко <...> в том, что автор не пытается, следуя великой традиции — превратить хаос в космос <...> Он хаосу, абсурду, примитиву противопоставляет хаос же <...>, из хаоса извлекает энергию сопротивления». Вот и оказывается в итоге, что «хаос способен породить свободу», а критик — извлечь из хаоса постперестроечных литературных будней обнадеживающую весть о ее «черной работе».

4

Александр Архангельский. У парадного подъезда. Литературные и культурные ситуации периода гласности (1987 — 1990), М. «Советский писатель». 1991. 332 стр.

Бenedикт Сарнов. Смотрите, кто пришел. Новый человек на арене истории. М. «Новости». 1992. 590 стр.

Архангельский в своей книге сознательно концентрирует внимание на проблемах сиюминутных, ускользающе мимолетных, не поддающихся академической беспристрастности. «Время написания в данном случае — фактор содержательный», — говорит автор на первых страницах, а потом неоднократно вводит в текст датированные с точностью до одного дня подстрочные примечания, уточняющие, дополняющие те или иные приводимые факты, а то и собственные его устаревшие мнения. Это совершенно необходимо, что-

бы «продемонстрировать саму принципиальную возможность прочтения быстротекущей социальной жизни как текста».

Итак, недолгий период гласности позволил представителям российской интеллигенции вновь (в который уже раз!) подойти к парадному подъезду сильных мира сего. Бурлив и мутен был внезапно выплеснувшийся на страницы прессы поток эмоций, иллюзий, разочарований...

А. Архангельский предпринимает довольно-таки неожиданный заход в об-

ласть истории литературы, сопоставляя «социальный текст» эпохи гласности с событиями, последовавшими за воцарением императора Николая I. Тогда для многих мыслящих людей России, в том числе для Пушкина, попытки просвещенного диалога с престолом, надежды пробудить «милость к падшим» вдруг стали не так уж и невозможны.

Стержневой пункт первого раздела книги — анализ полемики, разыгравшейся несколько лет назад между «Огоньком» и «Нашим современником»³. Анализ этот замыслен в тот самый момент, когда «полностью угас интерес к «Огоньку», перестал раздражать „Наш современник“». А. Архангельский скрупулезно воссоздает факты, ныне довольно прочно забытые: говорит о непростой (хотя и стремительной, уложившейся в несколько месяцев) эволюции направления обоих журналов, которые, пройдя через краткий этап благодушного мирного сосуществования, стали затем непримиримыми противниками.

А. Архангельский, впрочем, пишет не только о злободневных проблемах перестроечной культурной жизни. Второй раздел книги — «Перед лицом культуры» — поначалу вызывает чувство недоумения: кажется, что под одной обложкой разместились две разные книги. Раздел открывается филигранным историко-литературным исследованием. Основываясь на обширнейшем фольклорно-литературном материале, А. Архангельский показывает, как в рамках ритмической схемы четырехстопного хорея «на протяжении долгих лет стихийно складывался канон стихотворения о русской сердечности, в котором изображения вольной стихии метафорически связаны со свободным движением душевной жизни частного человека». Прослеживается путь от державинской оды «На рождение в Севере порфирородного отрока» («С белыми Борей власами...») через пушкинский «Пир Петра Первого» («Над Невою резво вьются. ») до предсмертного стихотворения Блока «Пушкинскому Дому» («Имя Пушкинского Дома...»). От «контекстной» культуры золотого века русской поэзии — к «цитатной» культуре века серебряного.

³ Журнальный вариант этой статьи А. Архангельского был опубликован в № 2 «Нового мира» за 1991 год («Между свободой и равенством. Общественное сознание в зеркале «Огонька» и «Нашего современника»: 1986 — 1990»).

А. Архангельский как бы между прочим формулирует весьма важные положения теоретического свойства, вносит весомый вклад в разрешение загадки, над которой бились и бьются поколения филологов. Речь идет о закономерностях формирования, развития и последующего угасания жанрового начала в лирической поэзии, в рассматриваемой работе последовательно увязанных с историей поэтической циклизации. «...циклизация лирики, не формальная, по жанровому признаку <...>, а свободная, творчески непредсказуемая», по мысли А. Архангельского, «захватывает русскую поэзию практически *одновременно* с отказом от устойчивой жанровой рубрикации». Этот вывод мог бы стать поводом для написания целой серии теоретических работ.

Погодите, а что же случилось с перестройкой-гласностью? Какое отношение к публицистической проблематике первого раздела книги имеют стихи Муравьева и Рылеева, Жуковского и Бенедиктова? Оказывается, самое непосредственное! Ведь «семантический ореол» рассмотренной группы хореических стихотворений как раз и заключает в себе универсальную возможность (и желательность) контакта личности и государства (в лице державного властителя). Не случайно один из известнейших подтекстов пушкинского «Пира...» — косвенный намек императору на возможность смягчения участи ссыльных узников в десятую годовщину декабрьского бунта. Еще одно приближение поэта к парадному подъезду империи!

Увязка столь обычных для России политических приливов и отливов с... хореем? Именно так! Понимание глубочайшего, сущностного родства литературного и внелитературного рядов в пределах единой национальной культуры, удивительное чувство истории при полном отсутствии какой бы то ни было предвзятости — вот что отличает необычную книгу А. Архангельского.

Б. М. Сарнов тоже написал и выпустил в свет публицистическую книгу. В ней многочисленные цитаты (главным образом из текстов Зошенко) служат в качестве арматуры для нанизывания пространственных рассуждений о нравах и привычках явившегося на просторах России после 1917 года «нового человека». Сочинение Б. Сарнова написано, надо сказать, весьма живо, что не так уж и маловажно, если вспомнить, что

речь идет о томе в без малого 600 страниц толщиной⁴.

В чем суть многословных сентенций автора, бесконечно варьирующихся вокруг нескольких тем и проблем? После семнадцатого года в России появился ранее не виданный персонаж — «новый человек». К нему относились по-разному: то называли грядущим хамом, разрушителем священных устоев, то уподобляли грядущему гунну, который несет отжившему миру воскресительную катастрофу. По Сарнову, крайности сходятся: как прославление, так и неприятие «пришельца» основаны на ощущении незыблемости культурной традиции. Даже ее ниспровергатели, сбрасывавшие кого ни попадя с корабля современности, творившие гимны умирающим без причастия пионеркам, и те вносили свою лепту в укрепление культурного канона, системы ценностей, пусть даже относительных, классовых... Так, по идее Б. Сарнова, «смысл блоковской поэмы в том, что эти двенадцать гонителей Христа (автор следует здесь старой догадке Волошина. — Д. Б.) — они-то и есть самые верные и истинные его апостолы <...> религиозная иступленность, с какой они преследуют Христа, говорит о том, что они от него не освободились».

Вот и получается, что «герои Бабеля и Блока (а также Фадеева, Багрицкого и иже с ними. — Д. Б.), эти так называемые «новые люди», на самом деле — никакие не *новые*». И только герои Михаила Зощенко «в самом полном смысле этого слова *новые люди*». Знаете, почему? Все просто: «Они даже *не подозревают* о существовании каких-либо моральных координат».

Вот так. Без всяких там дистанций между позициями автора и героя. Зощенко, значит, сначала решил пародировать стиль писателя пролетарской эры, да маска вдруг намертво приросла к лицу. И слава Богу, ибо «старая русская нация <...> исчезла, растворилась, перестала существовать». Предлагаемая

схема рассуждений вполне понятна, более того — предсказуема. Неясно только одно: к чему весь этот пафос, пронизывающий порою самые тривиальные реплики, к чему стремление порезче сформулировать то, что в более взвешенной стилистике прошло бы вовсе незамеченным? Уж не преобладает ли здесь жажда привлечь внимание, вызвать шумный отклик? А скандала все равно не будет, и тут не поспособствуют никакие подсказки, кто и как должен отреагировать: «Это наверняка кое-кому покажется оскорбительным для русского народа. Не сомневаюсь, что найдутся патриоты...» Вряд ли найдутся. А ежели найдутся, то суд свой «объявят» (по выражению Б. Сарнова) между делом да непечатно — в смысле прямом и переносном. Другое ведь тысячелетие на дворе, когда, как мы знаем, «угас интерес к „Огоньку“, перестал раздражать „Наш современник“». Б. Сарнов пытается открыть неведомое, но неизбежно попадает в наезженную колею.

Цитируя Г. Федотова, с болью говорившего о «легкости религиозного отречения», вспоминая трагически двусмысленную фразу Достоевского о том, что «гуманность есть только привычка», Б. Сарнов с ходу переводит эти восклицания в иную, изъяснительную (а далее — без передышки — в императивную) модальность: «Если христианское сознание — всего лишь привычка, то есть нечто привитое, воспитанное, внушенное человеку, то, в конце концов, не так уж важно, прививали ему это в течение всего лишь двух столетий или в течение целого тысячелетия». Откуда такая неколебимая уверенность, граничащая с огнюдь не святой простотой?

Выход за пределы литературоведения задуман Б. Сарновым вполне намеренно, но осуществлен очень уж прямолинейно. Вопрос о глубинной связи художественного мира писателя (того же Зощенко) с силовыми линиями живого общественного контекста — вопрос этот даже не ставится. А все потому, что, согласно исходной установке Б. Сарнова, «в художественной литературе проблемы сугубо политические, социальные, а в иных случаях даже и экономические, сплошь и рядом выражаются гораздо ярче <...>, нежели в трудах многих историков, философов и политиков» Книга Б. Сарнова явно принадлежит к печальному списку подобных трудов.

⁴ Когда статья была уже написана, нам стало известно, что практически на ту же тему, с сохранением кое-каких подзаголовков и фрагментов текста, Сарнов выпустил в свет еще одну книгу (С а р н о в Б. М. Пришествие капитана Лебядкина. Вариант Зощенко М. ПИК. 1993. 600 стр.), в которой количество страниц ловедено до круглой цифры. Этот том снабжен послесловием Б. Хазанова, заглавие которого могло бы послужить лучшим эпиграфом к нашим дальнейшим рассуждениям «Жанр этой книги определить невозможно»

Б. И. Берман. Сокровенный Толстой. Религиозные видения и прозрения художественного творчества Льва Николаевича. М. «Гендальф». 1992. 207 стр.
Вячеслав Курицын. Книга о постмодернизме. Екатеринбург. Б. И. 1992. 128 стр.

Книга Б. Бермана необычна по многим причинам. Пристальный анализ художественного текста служит, как вскоре выясняется, вовсе не литературоведческим целям. Разговор о «сокровенном» Толстом в конце концов обрачивается рассуждениями о Толстом вполне привычном, «позднем», отчаянно пытавшемся отрицать ценность собственной литературной работы во имя напряженного искания нравственных основ жизни. Каким же образом зарождались идеи, на исходе жизненного пути приведшие писателя к известным драматическим событиям? По мнению Б. Бермана, «в духовном развитии Льва Николаевича были кризисы, но не было разрывов, творческий процесс всей его жизни был почти абсолютно непрерывным. Толстой не ломался, а переходил с одной ступени на другую». Доказательству этого тезиса и посвящены статьи, составившие книгу.

В первой из них исследуются функции мотива луны и воды в произведениях Толстого, написанных в разное время, — «Альберте», «Казаках», «Войне и мире», «Отце Сергии»... Тоска по любви и счастью, тайна, творчество — вот «семантическое поле» луны и воды у Толстого. Именно «присутствие света, идущего отовсюду», сопутствует желанию постичь и обрести этические гарантии творческого процесса, делает возможным отказ от эгоистических стремлений в пользу самоотверженной любви, которая представляет собою «главное побуждение героев Толстого». Сохранение основных смысловых обертонов луны и воды «на пространстве десятилетий», по мнению автора книги, «объяснить ничем нельзя, кроме как каким-то изначальным видением, образом-воспоминанием, которое хранит в себе Толстой». Подразумевается не конкретное единовременное событие, хранимое в памяти писателя на протяжении столь длительного времени, но факт духовного развития, нравственной биографии, опосредованный некоторым комплексом «внутренних представлений». «Мы имеем дело здесь, — резюмирует Б. Берман, — не с художественным приемом, а с каким-то внутренним представлением, определяющим поэтику».

Следует специально подчеркнуть, что, нащупывая семантические сходже-

ния между событиями духовной биографии Толстого и особенностями его поэтики, Б. Берман отказывается от изучения третьей возможной сферы формирования символических смыслов луны и воды — сферы независимого от чьих бы то ни было «внутренних представлений» вневременного функционирования культурных архетипов, — исследователь жертвует этой возможностью во имя сугубо толстовских обертонов.

Аналогичным образом поступает Б. Берман и во второй главе, посвященной, казалось бы, третьестепенному сочинению Толстого — стихотворению в прозе «Сон» (первая редакция написана в ноябре 1857 года). Здесь Толстой с непривычным для своей обычной взвешенной стилистики пафосом описывает «акт творческого апофеоза, vlastного творческого подъема». Герой «Сна», стоя на «белом, колеблющемся возвышении», обращается к несметной толпе с вдохновенной речью. И тут же экзальтация уступает место ощущению тайны (в более поздних вариантах — чувству стыда), вызванному появлением некоей таинственной женщины, которая молчаливо воспрещает герою продолжать его самозабвенную речь. По мнению Б. Бермана, «Сон» представляет собою «первичный образ», «некоторое образное зерно» целого ряда книг Льва Толстого, от «Альберта» (финал) до «Войны и мира».

В свою очередь, образ таинственной в своей молчаливой естественной простоте Женщины «становится каким-то личным мифом» писателя, а путь от сладостного упоения собственным избранным к «чувству сладкой боли о своей неполноте, недостаточности, душевной ограниченности» безусловно типичен для духовного саморазвития многих героев Толстого. От счастья творчества к счастью смирения — этот алгоритм развития самого Толстого и его героев в свернутом виде содержится в «Сне», который раз за разом «возникает у Толстого на переломе жизненного становления».

Еще дальше от традиционного литературоведения отходит Б. Берман в заключительной статье, написанной в соавторстве с И. Мардовым. В сущности, к тому же когда-то стремился Бердяев, предупреждая в первой главе «Мирозерцания Достоевского»: «Я не собира-

юсь писать историко-литературного исследования о Достоевском, не предполагаю дать его биографию и характеристику его личности. Менее всего также моя книга будет этюдом в области «литературной критики», — род творчества, не очень мною ценимый». Надо сказать, что книга Б. Бермана, типологически близкая бердяевской, выстроена гораздо менее прямолинейно. Исследуя универсальные состояния совершенствующейся души, автор мастерски использует данные текстологии, приводит выдержки из писем и дневников Толстого. С литературоведением автор не расстается, хотя оно и существует подчас на грани (и за гранью) собственных возможностей, философский дискурс не преобладает высокомерно над живо критической оценкой, но естественным образом вырастает из нее.

Этапы духовных прозрений Андрея Болконского во время предсмертной болезни (переход от «агапической», самоценной и всепрощающей любви к ближнему — к итоговому «пробуждению от жизни», отрешенности от мирских нужд и забот) рассматриваются не иначе как обобщенные характеристики отдельных состояний человеческой личности на пути к пророческому всезнающему бесстрастию. Последняя ступень земного бытия князя Андрея, по мысли И. Мардова и Б. Бермана, дана Толстым не как живое изображение конкретного чувства конкретного литературного героя, но как идеальная концепция духовного совершенства, пророчески содержащая в себе все то, что через много лет доведется испытать самому Толстому.

Можно по-разному относиться к тем образцам «паралитературоведения», которые представлены в книге Б. Бермана. Несомненно одно: безвременно ушедший от нас Б. Берман оставил книгу весьма самобытную, свободную от множества обзоров, столь часто превращающих литературоведческий труд либо в косноязычное изложение априорных конструкций, либо в безответственный поток перетолкований. Литературоведение под пером Б. Бермана, оставаясь собою, не утрачивает традиционной специфики, то и дело кажет читателю оборотную свою (метафизическую) сторону, размыкается в область феноменологии состояний человеческого духа — как применительно к жизненному пути персонажей, так и по отношению к проблемам нравственной самоидентификации современного человека.

Во многом сходным образом обстоят дела в книге В. Курицына — другом об-

разчике «паралитературоведения» последних лет. Здесь, конечно, нет ни слова о религиозных прозрениях, однако сам подход к литературному тексту отличается тем же стремлением к анализу «поверх барьеров», теми же настойчивыми попытками усмотреть в тексте бытийное начало, лишь по касательной затрагивающими собственно эстетические его характеристики. Ключевой раздел, броско нареченный «Антифонтаном», мне случилось впервые прочитать довольно давно, еще до опубликования книги. Впечатление тогда и сейчас, признаться, было весьма различным. Нет, все достоинства В. Курицына остались при нем: находчивость изложения, любовно-внимательное (несмотря на напускную небрежность) обращение со словом, ощущение глубокого исследовательского дыхания, не стесняемого цеховыми догмами. Однако ощущением стала «оправдательная» интонация, довольно-таки странная в устах писателю постмодерниста. Наивной показалась и настойчивая апологетика тех явлений, которые — по сути своей — в панегириках не нуждаются.

«...сегодня постмодернистское сознание, — пишет В. Курицын, — продолжая свою успешную и усмещающую экспансию, остается, пожалуй, единственным эстетически живым фактом «лит-процесса». Постмодерн сегодня не просто мода, он — состояние атмосферы, он может нравиться или не нравиться, но именно и только он сейчас актуален». В «Антифонтане» В. Курицын вовсе не «усмещисто» берет на себя роль этакого постмодернистского Гегеля: «Небытующий смысл как раз имеет отношение к бытию, ибо только через это отношение и именно в нем возможен вопрос о бытовании». Эта фраза, подчеркнем, приведена вовсе не в качестве примера пустой манерности. Наоборот, она (как и прочие подобные декларации) требует сугубо серьезного к себе отношения.

В. Курицын отправляется от дихотомии, предложенной Игорем П. Смирновым для различения авангарда и постмодерна. Авангард, по Смирнову, есть «онтология без семантики» (стремление слить продукт искусства с жизнью, не нуждающейся в толкованиях и определениях), а постмодерн, наоборот, — «семантика без онтологии» (абсолютизация бесконечных реестров — вторичного, цитатного, игрового нанизывания смысловых коннотаций без малейшей претензии на их укорененность в бытии). В. Курицын утверждает, что оба определения Смирнова суть одно, они в

своей совокупности описывают именно реальность авангарда, в которой онтология и семантика «взаимно отпускают друг друга». Холодная, как будто бы и не нуждающаяся в адекватном истолковании реальность «Черного квадрата» как раз и порождает множественные и вполне самоценные интерпретации. А что же постмодернизм?

Здесь, по В. Курицыну, происходит неразличимое слияние субъекта и объекта, онтологии и семантики. Безысходный разлад вещи и значения, приведший авангард к катастрофе, в постмодерне продуктивно преодолевается, заменяется ранее неведомым, свободным модусом существования человека, вернее — того нового биологического вида, в который разовьется человек, «усмешисто» расставшийся со своей индивидуальностью, субъектностью, человек, который сможет безропотно отождествиться с созданным им же самим текстом, стать «децентрированной» ячейкой нового бытия, неотделимого от непрерывного процесса текстопорождения. «На определенном этапе, — пишет В. Курицын, — который мы и называем эрой постмодернизма, сознания накапливается достаточно, чтобы организовать сферу мысли — ноосферу <...> В этой модели мы имеем «одухотворенный» онтос и онтологизированного человека. Речь, строго говоря, идет о бессмертии души».

Апология постмодерна у В. Курицына, как и положено апологии, опирается на три авторитетных источника («ноосфера» Вернадского, «сверхжизнь» Тейяра де Шардена и «принцип дополнителности» Бора), кроме того привлекаются и иные имена и понятия, от Делёза до «постиндустриального общества». Что же, рассуждения В. Курицына сами по себе вполне логичны, даже по-своему красивы, несмотря даже на изложение идей Гейзенберга — Шредингера по книжке Д. Данина, вышедшей в издательстве «Знание». Смущает, как это ни парадоксально, другое — сугубая серьезность тона. Где же она — честная безответственность новоявленных апостолов игры стеклянных бус, где их равнодушие к «онтосу»?

В. Курицын отваживается на самоотверженные поиски бытийственного обоснования грядущей эры постмодерна. И — тут же впадает в не свойственный постмодерну по самой его природе ригоризм. В «гегелевском» стиле нашего автора рискну спросить: что же это за плюрализм усмешистый, который отри-

цует все, кроме плюрализма? Разве невозможно вполне плюралистичное совместное бытие плюрализма и традиции? Неужели же реальность конца нашего столетия делится на постмодерн без остатка?

Вероятно, нет. Хотя бы потому, что, претендуя на монолитную единственность, постмодерн, как выясняется, активно нуждается в оппоненте, враге, предмете отталкивания. В. Курицын прямо (и «угрозисто») говорит, что «постмодернистское сознание <...> легко и приобретает многих — очень ярких — врагов». Вот в чем, оказывается, причина внезапного появления у нашего автора столь не свойственной ему оправдательной интонации!

Под пером В. Курицына «культура» в очередной раз стала омертвевшей «цивилизацией» и грядущая парадигма бытия «сверхжизненного» человечества пришла в противоречие с самой собою. Потому столь натужными кажутся усилия В. Курицына поддержать свой обычный ернический стилек новыми «примочками» и «заморочками». Он равняет соборность с тусовкой — а мы не шокированы, он уподобляет поиски собственного «я» «засовыванию головы меж ягодиц» — а нам не страшно за устои: ведь в соседних-то строках властвует унылая претензия на императивность, слышатся профетические камлания.

Не начало ли перемен? Не добралась ли змея, кусающая себя за хвост, до собственной головы? Полноте, да существуют ли на свете тексты, под которые подверстываются «ноосферные» обоснования? Создается впечатление, что В. Курицын за неимением оных текстов вынужден по ходу дела наспех создавать их картонные, лабораторные подобию — см. помещенную в книге повесть (?) «Любовь постмодерниста»...

Что же такое постмодерн? Промежуточная остановка культуры на пути к очередному воскрешению традиционных ценностей? Или раз навсегда достигнутая ленивая нирвана, сопоставимая с тейяровской «точкой Омега», — состояние, не предполагающее дальнейших качественных метаморфоз? Именно этот неразрешимый вопрос ставит со всею остротой талантливо написанная книга В. Курицына. Ставит вполне по правилам деконструкции — как бы помимо осознанного авторского намерения, между строк, содержащих строго дозированные панегирики (постмодернизму и постмодернистам) и инвективы (ярм врагам).

Мы с Тыняновым доказывали <...>, что пропасти между наукой и критикой теперь нет и не может быть. Дело не в бесстрастии, а в различном характере оценки.

Б. М. Эйхенбаум.

Поприще нашей литературы так еще просторно, что, не сбивая никого с места, можно предположить себе цель и беспрепятственно к ней подвигаться. Нам нужны опыты, покушения; опасны нам не утраты, а опасен застой.

П. А. Вяземский.

В России часто слышались сожаления насчет отсутствия литературы либо критики⁵. Кто только не сожалел: от Пушкина и Белинского до Эйхенбаума, — и всякий раз подобные жалобы с безукоризненной точностью фиксировали наступление паузы в привычном ходе литературных дел (тыняновский «промежуток»). Наш обзор тоже начался с традиционных оглядок на «кризис», «упадок» — в канонической форме «литературных мечтаний». От анализа сочинений, выполненных в традиционном советском жанре «актуального исследования» (то есть подтверждения на новом материале принятых к исполнению теоретических установок), мы обратились к книгам, покинувшим не только тесные рамки императивных теорий, но и пределы литературоведения как такового, выстроенным на грани науки и публицистики, и далее перешли к разговору о трудах, которые склонны конструировать свою собственную теорию, применимую лишь в модальности «здесь и теперь». И оказалось, что в туманной ситуации «вторичных» перемен в отечественной критике продолжают исподволь сосуществовать самые различные направления. Не просто противоположные друг другу, но, более того, вообще не способные друг друга увидеть, взаимно трансцендентные.

Эту ситуацию не следует поспешно и однозначно определять как кризисную. В русской критике по-прежнему живы две старые тенденции. Поиски уникальной, узкодисциплинарной литературоведческой специфики либо — сближение с иными образами научности, сферами обществознания, философии, с идеологиями. Отчетливая и до конца продуманная профессиональная замкнутость либо — неотрефлексированная открытость. Александр Дружинин либо Николай Чернышевский. Бесспорного приоритета одной из тенденций ведь и не было никогда, ибо отечественной литературной науке чужды то и дело разражающиеся «на Западе» бесконечные методологические революции, многократные «переводы» книг и статей на все новые научные «диалекты» в пределах одного национального языка.

Кризис можно усмотреть лишь в отсутствии прямого, социально выявленного резонанса, в прошлом сопутствовавшего даже отвлеченным научным дискуссиям. Однако это не отменяет тихой, ведущейся одновременно в разных направлениях черновой работы критиков, силящихся в разных системах отчета очертить контуры современной литературной ситуации. Бронзовый век русской критики соединяет в себе черты века золотого (нерасчлененность «направлений», почти полная неотличимость критического суждения от бытового высказывания о литературе) и неперенные атрибуты критики серебряного века: четкое размежевание научных манер, стремление отрефлексировать до предельно возможных глубин собственную аксиоматику, склонность к цитированию. Важно не переусердствовать в сетованиях и не переоценить радужных перспектив: бронзовый век — это всерьез и на долго...

⁵ Ср.: «Литература у нас существует, но критики еще нет» (Пушкин А. С. Собрание сочинений. В 10-ти тт. М. 1976, т. 6, стр. 280); «Критики у нас сейчас нет, но я верю, что она скоро будет. Она должна быть» (Эйхенбаум Б. М.; цит. по: Тынянов Ю. Н. Поэтика, история литературы, кино. М. 1977, стр. 461).

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



FESTSCHRIFT FÜR VIKTOR JUL'EVIC ROZENCVEJG zum 80. Geburtstag. Herausgegeben von Tilmann Reuther. WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH. Sonderband 33. Wien, 1992. 291 S. (ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК ВИКТОРУ ЮЛЬЕВИЧУ РОЗЕНЦВЕЙГУ. К 80-летию со дня рождения.)

Очень специальное издание, включающее статьи по теоретической, прикладной и экспериментальной лингвистике, составляющей сферу профессиональных интересов юбиляра. В юбилейном подношении приняли участие ведущие лингвисты из Москвы, Праги, Монреаля, Парижа, Кельна и Лос-Анджелеса; статьи публикуются на русском, английском, немецком и французском языках.

Для читателя, в данной сфере не особенно осведомленного, небезынтересным покажется небольшой мемуар В. А. Успенского «Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР и В. Ю. Розенцвейг. Как это начиналось (Заметки очевидца)», в котором рассказывается, как из небольшой поначалу группы энтузиастов машинного перевода развилось мощное научное направление, без которого невозможно представить современную филологическую науку. Проблемы исторического развития того направления отечественной филологии, которое принято условно именовать «семиотикой», преломленные через индивидуальную судьбу одного из ее «деятелей», — тема выразительно озаглавленной статьи А. Жолковского «Записки экс-пре-пост-структуралиста» (на англ. языке). Французский археолог и эпистемолог J.-C. Gardin также в жанре научного мемуара касается взаимных контактов ученых Франции и СССР в период 1960 — 1990 гг. и влияния работ, выполненных группой В. Ю. Розенцвейга, на разработку теории лингвистики и содержания понятий в научной информации и в науках о человеке («Linguistique et comprehension des enonces en information scientifique et dans les sciences de l'homme»).

В сборник также вошли работы, касающиеся различных аспектов традиционного художественного перевода. Так, если В. Топоров в статье «У истоков русского поэтического перевода: «Езда в остров любви» Тредиаковского и «Le voyage de l'isle d'Amour» Талемана» помещает проблему перевода художественного текста в широкий культурный контекст и рассматривает известное произведение Тредиаковского как «прорыв на более высокий уровень своей собственной культуры» (появление подобного рода переводов создает в культуре ситуацию, «когда „чужое“, усваиваемое „своим“, оказывается самым подходящим поводом для трансплантации образов, идей, стилей на новую почву и самым надежным залогом пробуждения и интенсификации внутренних потенций „своей литературы“»), то Е. Эткинд на материале немецких переводов песен Высоцкого разбирает редко встречающийся в переводческой практике случай обратного перевода, «возвращения» текста в исходный язык.

Предложенная в сборник Л. Копелевым работа написана на немецком языке и посвящена анализу политики Пруссии в отношении России в XVIII в.; ее заглавие — «Наш естественный союзник» — представляет собой одно из высказываний прусского короля Фридриха Великого, отражающее его общее отношение к России.

В сборнике также участвуют: Ю. Д. Апресян, Л. Н. Иорданская (Монреаль), О. С. Кулагина, Е. В. Падучева, Я. Паневова (Прага), I. Mel'cuk (Монреаль), P. Sgall (Прага).

АНДРЕЙ НИКОЛЕВ (АНДРЕЙ Н. ЕГУНОВ). *Собрание произведений.* Под редакцией Глеба Морева и Валерия Сомсикова. WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH. Sonderband 35. Wien, 1993. 364 стр.

Специальный том Венского славистского альманаха весьма оригинален: он представляет собой полное собрание сохранившихся художественных произведений Андрея Николева — под таким псевдонимом печатал свои произведения филолог-классик, переводчик античных авторов А. Н. Егунов.

Художественную прозу и стихи А. Н. Егунов писал в основном в конце 20-х — начале 30-х гг., когда он сблизился с Вагиновым и М. Кузминым; в 1931 г. вышел его роман «По ту сторону Тулы» (воспроизведен в альманахе факсимильно). В 60-х гг., побуждаемый «молодыми друзьями», он записал все, что сохранила память из ранее написанных стихов (архив был утрачен в годы войны). Эти записи составили вторую, поэтическую часть альманаха, где публикуется поэма «Беспредметная юность», стихотворения, объединенные автором в сборник «Елисейские радости», несколько отдельных стихотворений, а также фрагменты утраченных произведений. Кроме того, составители воспроизводят раннюю редакцию поэмы, обнаруженную в архиве М. Кузмина.

Научное исполнение тома безукоризненно: учтены все варианты, включая позднюю авторскую правку; тексты снабжены подробными текстологическими и историко-литературными комментариями; статьи С. В. Полякова «А. Н. Егунов как переводчик древних авторов» и Г. А. Морева и В. И. Сомсикова «Андрей Николаевич Егунов: Очерк жизни и творчества» воссоздают перед читателем ясный образ этого совершенно забытого писателя, поэта, ученого.

А. Н.



ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ «НОВОГО МИРА»:

литературно-критическую статью Андрея Немзера
«Современный диалог с Гоголем»,

а также статью Ольги Муравьевой
«Вражды бессмысленной позор...»

(Ода «Клеветникам России» в оценках современников)».

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!**

ПОПРАВКА

В № 2 этого года на стр. 185 первую строчку сверху следует читать: «Мне глубоко от-
вратительны слова Печерина...» Далее по тексту.

SUMMARY

The publication of Mikhail Arlov's book of memoirs, «The Legendary Ordynka» begins in the issue. Among its heroes there are Anna Akhmatova, Mikhail Zoshchenko and other famous as well as less renowned men of letters (to be continued in № 5).

This is followed by a selection of short stories by Grigory Petrov, «This Life of Ours», and three essays from Andrey Bitov's book «Eine kleine Arithmetics of the Russian Literature».

The poetry section presents poems by Semyon Lipkin, Vladimir Kornilov, and a large selection entitled «The Separation of Literature from the State» and including an introduction by Vladislav Kulakov and poems by Galina Andreyeva, Oleg Gritsenko, Stanislav Krasovitsky, Andrey Sergeev, Valentin Chromov, Leonid Chertkov and Nikolai Shatrov.

The publicistic section contains a study by Dora Sturman (Israel), «In Search of the Universal Con-science (On re-reading «The Landmarks»)».

In the section «Comments» there is an article by German Andreyev (Germany), «Not Twins but Brothers (The Controversy of the German historians on the nature of Nazism and Communism)».

The section «Echoes of the Past» contains materials titled «The Favourite of Fortune» and including the renowned lawyer A. F. Koni's memoirs about the poet K. R. (grand duke Konstantin Konstantinovich) and K. R.'s letters to A. F. Koni (publication by Ella Matonina).

The literary critics section contains an article by Ivan Esaulov «The Stars of Satan and the Sacred War: the Modern Novel In the Context of the Russian Spiritual Tradition».

In the book review section recent books of contemporary literary critics (B. Sarnov, A. Arkhangelsky, V. Novikov, A. Chudakov and others) are discussed by Dmitry Bak in his series of reviews «The Bronze Age of the Russian Criticism».

◆

**Читайте в следующем номере
воспоминания Е. Л. Фейнберга
«Сахаров в ФИАН».**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **С. П. Залыгин**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР **А. О. Петров**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.12.93 г Подписано к печати 15.02.94 г Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир» Формат бумаги 70x108 1/16 Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отг.) 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 53 120 экз. Зак. 893 Цена: в России — 290 р., в странах СНГ — 500 р.

При участии издательства «Известия» Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия»
103798, Москва, Пушкинская пл., 5

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГЛАГОЛЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

литературный, религиозно-философский
и историко-художественный журнал

МЪРА

(гл. редактор — В. И. Чернышев)

Редакция журнала, выходящего в Санкт-Петербурге, стремится соединить представителей духовного ядра русской интеллигенции и православной церкви (впрочем, и шире — христианства) и помочь Возрождению и Преображению нашего Отечества.

В ближайших номерах вы сможете прочесть:

- *Продолжение «Размышлений» Т. А. Шумовского;*
- *О религиозных воззрениях и метафизике Мережковских;*
- *Философские произведения В. И. Чернышева;*
- *О философских основах славянофильства;*
- *Материалы к биографии М. Ю. Лермонтова;*
- *«Земное-небесное, или Надежды России (Ф. М. Достоевский о русском странничестве)»;*
- *Отрывок из книги Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки»;*
- *Письма А. М. Ремизова;*

Вашему вниманию будут представлены разделы:

- *«ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»;*
- *«ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА»;*
- *материалы по русской и византийской иконографии;*
- *другие публикации.*

Превосходное полиграфическое исполнение. Цена одного экз. — 2 \$.

Адрес редакции:

Россия, 199053, Санкт-Петербург, В. О., 4-я линия, д. 13,
«Глаголь»

Тел.: (812) 213-37-34, факс: (812) 213-09-36.